

НОВЫЙ
МИР

1

1937

Н О В Ы Й

М И Р

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ

Ж у р н а л

**К Н И Г А
П Е Р В А Я
Я Н В А Р Ь**

М О С К В А

1 . 9 . 3 . 7

СОДЕРЖАНИЕ

Вкладка: Портрет ПУШКИНА работы худ. Тропинина

РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, СТИХИ, ПОЭМЫ:

	Стр.
1. А. С. ПУШКИН. — Неизданные тексты стихотворений	5
2. ПОЭТИЧЕСКИЙ ВЕНОК ПУШКИНУ (стихотворения)	9
3. СОВЕТСКИЕ ПОЭТЫ О ПУШКИНЕ	25
4. М. Ф. АХУНДОВ. — Восточная поэма на смерть А. С. Пушкина в переводе А. А. Бестужева (Марлинского)	34
5. ВАСИЛИЙ КАМЕНСКИЙ. — Пушкин	36
6. А. ПЕРЕГУДОВ. — Родной и близкий всем	42
7. ИВ. РАХИЛЛО. — Ассоциации	44
8. М. МАРИЧ. — «Ссылочный невольник»	46
9. ГЕОРГИЙ НИКИФОРОВ. — Мастера, роман, продолжение	51
10. ГЕОРГИЙ ЛЕОНИДЗЕ. — Сталину, стихотворение	108
11. ВАЛЕРИАН ГАПРИНДАШВИЛИ. — Дума о вожде, стихотворение	109
12. ТИЦИАН ТАБИДЗЕ. — Эрнсту Тельману, стихотворение	111
13. А. БЕЗЫМЕНСКИЙ. — Новогодний тост, стихотворение	113
14. ИЛЬЯ СЕЛВИНСКИЙ. — Челюскинiana, эпопея	114
15. К. ГОРБУНОВ. — Семья, повесть, окончание	169

ЛЮДИ И ФАКТЫ:

16. ВЛАДИМИР КАНТОРОВИЧ. — Тлядадь	183
--	-----

ЗА РУБЕЖОМ:

17. И. ТРАЙНИН. — Из истории испанских революций	207
--	-----

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО:

18. Н. ГЛАГОЛЕВ. — Пушкин и современность	221
19. Б. МЕЙЛАХ. — Литературные взгляды Пушкина	240
20. АН. ВОЛКОВ. — О пушкинском «Временнике»	254
21. Г. ГЕОРГИЕВСКИЙ. — Пушкин в Ленинской библиотеке	267
22. ГЕОРГИЙ ЧУЛКОВ. — Народный поэт	282
23. М. ЦЯВЛОВСКИЙ. — Новое о Пушкине в Кишиневе	287

БИБЛИОГРАФИЯ:

24. ГЛ. ГЛЕБОВ. — Массовые издания произведений Пушкина	291
25. А. ВОЛЬДЕМ. — «Пушкинская библиотека» Детиздата	295
26. Е. СИКАР. — Национальные республики — к юбилею А. С. Пушкина	296
27. Н. СЛАВЯТИНСКИЙ. — Ю. Данилин. «Театральная жизнь в эпоху Парижской Коммуны»	301
28. Новые книги об А. С. Пушкине	302

Статформат Б/5 176 × 250.

Уполн. Главлита Б-11663. Объем 19 печ. лист. по 64.000 знак. Одано в набор 15/1-37 г.
Подписано к печати 1/II-37 г. Техн. ред. С. Кривцов. Тир. 40.000 экз. Зак. 2863.

Тип. им. тов. И. И. Скворцова-Остепанова. «Известия ЦИК СССР и ВЦИК». Москва



А. С. ПУШКИН

С картины худ. Тропянина.

А. С. Пушкин

Неизданные стихотворные тексты

I

НЕИЗДАНЫЙ ВАРИАНТ „ПОДРАЖАНИЯ КОРАНУ“

В пустыне древле человека
Господь узрел и усыпил —
И протекло четыре века —
Он человека пробудил.

*

Скажи, под кладцем пустынным
В дремоте долго < ль > ты лежал?
Мне сон мой пока зался длинным —
Я крепко сутки верно спал...

Эти отрывочные стихи — начало IX «Подражания Корану», его первоначальная, отброшенная затем редакция, отличающаяся от окончательной иным стихом и иной обработкой темы. Здесь — обычный для Пушкина четырехстопный ямб, которым написаны и первые шесть подражаний Корану; рассказ очень сжат, очень краток и не дает никакой мотивировки совершившемуся чуду. Не удовлетворившись этой редакцией, Пушкин не только переработал рассказ, изобразив ропот путника, утомленного в пустыне, как мотивировку чуда, но и применил иной размер, сравнительно очень редко у него встречающийся, — 4-стопный амфибрахий.

И путник усталый на бога роптал:

Он жаждой томился и тени алкал.

В пустыне блуждая три дня и три ночи...

Впоследствии тот же размер повторил Лермонтов в «Трех пальмах» — этом своеобразном отражении «Подражаний Корану».

Печатаемые нами стихи находятся в черновой тетради, служившей Пушкину в 1824—26 гг., начатой в Одессе и привезенной в Михайловское (теперь — в Публичной библиотеке им Ленина, № 2370), на обороте 11-го листа. Это несколько торопливо набросанных и исчерканных строк, относящихся к сентябрю — октябрю 1824 г. и написанных в направлении, обратном всему остальному тексту. В. Е. Якушкин, составляя свое известное описание «Рукописей Пушкина, хранящихся в Румянцовском музее», не прочел этого наброска (см. «Русскую старину», 1884 г., том XLIII, июль, стр. 6). Все последующие редакторы сочинений Пушкина его также не разобрали. Читается он, действительно, с большим трудом, особенно второе четверостишие, где же все до конца понятно и связано, и кое-что разбирается предположительно, по вероятной догадке.

II

НЕИЗДАНАЯ ПЕСНЯ ИЗ „ПОЛТАВЫ“

Строфы 1-й песни «Полтавы» о казаке — гонце Кочубея, везущем Петру донос на Мазепу, написаны тем же размером, что и вся поэма, — 4-стопным ямбом, лишь разделенным на четверостишия с постоянной рифмовкой, что выделяет их из остального текста. Первонач-

ально, однако, была задумана, действительно, вставная песня — контрастирующая со всею поэмою не только рифмовкою, но и размером. Черновая рукопись «Полтавы» дает такой текст, легко извлекаемый из позднейшей переработки:

При звездах и при луне
Мчится витязь на коне.
Во степи необозримой
Конь бежит неутомимо —

Он на < север > правит путь ¹⁾
И не хочет отдохнуть
Ни в деревне, ни в дубраве,
Ни при быстрой переправе —

Сабля верная блесит
Кошелек его звенит
Конь бежит н<еутомимо >
По с<тепи> н<еобозримой >

Деньги надобны ему
Сабля верный друг ему
Конь буланый дорог тоже
Шапка ста <рая > дороже —

Строфы еще неотделанны: так, стихи 1-й и 2-й четвертой строфы оканчиваются одним и тем же словом: «ему»; параллелизм 3-й и 4-й строф требует еще отделки. Но чисто песенный характер отрывка несомненен: 4-стопный хорей, традиционный тогда стих для литературной «народной» песни, резко вступает в плавное движение ямбических стихов поэмы. Повторение через строфу одного двуступишия, лишь в обратном порядке стихов, и параллелизмы 3-й и 4-й строф еще усиливают песенный характер стихотворения. Точно таким же образом в «Цыганах» была вставлена песня о птичке — «Птичка божья не знает», — нарушающая общий ход поэмы. И характерно, что Пушкин в «Полтаве» не сразу остановился на этой песенной форме: он начал писать тем же 4-стопным ямбом:

В широком поле при луне
Несется витязь на коне —

а затем перешел на хорей, переделав эти два стиха. Но, тогда как в «Цыганах» стихи о птичке имеют действительно вставной, внесюжетный характер, — здесь, в «Полтаве», стихи о казаке играют чисто-сюжетную роль и входят необходимым составным элементом в повествование. Поэтому, вероятно, Пушкин и от-

казался от песенной формы и, не кончив ее, едва набросав 3-ю и 4-ю строфы, стал перерабатывать хорей в ямбы — притом крайне простыми и экономными средствами: состав строф не изменен, лишь повествовательная форма заменена вопросительной (как предполагалось и в самом начале); этим создалась глубокая пауза перед отрывком, и он, не выпадая из хода повествования, тем не менее выделен и метрически (куплетной формой с парными рифмами), и в смысловом отношении. Так, вторая строфа переработана в рукописи следующим образом:

Первая редакция.
Он на < север > правит путь
И не хочет отдохнуть
Ни в деревне, ни в дубраве,
Ни при быстрой переправе.

Вторая редакция.
Казак на < север > правит путь,
Казак не хочет отдохнуть
Ни в белой хате, ни в дубраве,
Ни при опасной переправе.

Точно так же — заменой и перестановкой отдельных, немногих слов — переработаны и другие строфы.

III

Искания и смены метров — явление нередкое в творчестве Пушкина. Очевидно, далеко не

¹⁾ Здесь и далее заключаем в угловые скобки редакторские конъектуры, т.-е. восстановленные по догадке или недописанные слова; в данном случае в подлиннике написано: «Он на запад правит путь» — повидимому, описка Пушкина.

всегда поэтический замысел сразу являлся его творческому сознанию, уже облеченный в определенную звуковую (метрическую) форму, и поэт, в процессе работы, иногда менял структуру стиха, переходя от одного размера к другому. Ряд случаев искания метра собран в книге С. М. Бонди «Новые страницы Пушкина» (М. 1931); так, неоконченная поэма о Тазите («Гасцб») была начата 4-стопным хореем, по-

том сменным на традиционный ямб; в «Братьях-разбойниках» рассказ разбойника о себе и своем брате сначала задуман в амфибрахиях, подобных «Черной шали»:

Нас было два брата, мы вместе росли
И жалкую младость в нужде провели...

Здесь, таким образом, процесс, обратный «IX подражанию Корану»; в стихотворении «Клеопатра» (1824) 6-стопные ямбы переработаны позднее в 4-стопные; в «Русалке» сцена между княгиней и мамкой начата была народным «песенным» стихом, а песня русалок подвергнута сложной переработке — от амфибрахий к ямба и обратно; переход от ямба к хорю, причем в 1-м и 2-м стихах — путем исключения по одному слову, был сделан в стихотворении 1829 года «Зорю бьют. Из рук моих...» (было: «Чул зорю бьют. Из рук моих...»¹⁾). К этим примерам работы Пушкина над своим стихом можно прибавить еще несколько. Одни из них указан Б. Мейлахом («Звезда», 1935, № 2, стр. 203—204, и «Резец», 1935 г., № 14): создавая стихотворение «Бесы», Пушкин хотел, нарушая его ямбический метр, дать в контрастном размере—4-стопном хорее — разговор путника с ямщиком:

Пошел, пошел ямщик. — Нет мочи,
Дорогу снегом замело...

Известны еще и другие случаи. Так, начиная трагедию «Вадим» (1821—22), Пушкин, помимо традиционного и принятого тогда александрийского стиха, пробовал применить к ней, — очевидно, под влиянием политических и литературных теорий В. Ф. Раевского, — «народный» песенный размер, подбирая его по песне «Уж как туман седой на синем море» (см. статью Б. В. Томашевского в «Литературном наследстве», № 16—18, стр. 274—280 и 283); «Бахчисарайский фонтан» был начат сначала 6-стопным ямбом:

Девлет Гирей задумчиво сидит,
Драгой январь в устах его дымится,
Ужасный двор вокруг его молчит...

Первоначальный набросок к «Черни» сделан был 6-стопным ямбом (александрийским стихом), от которого Пушкин затем отступил для более легкого, обычного 4-стопного ямба:

Толпа холодная поэта окружала
И [равнодушные] хвалы ему жужжала,
Но равнодушно ей, задумчив, он внимал
И звучной лирою рассеянно бряцал...

«Осень», обработанная позднее октавами в 6-стопных ямбах, в 1829 году была начата обычным для Пушкина 4-стопным ямбом:

Уж осень холодом дохнула
На обнаженные поля
Уже дубрава отряхнула
Последний лист — уже земля...

Наконец, так наз. «Сцены из рыцарских времен», написанные, как известно, прозой, дважды были испробованы в обработке стихами, и притом в разных метрах. Первый раз, — возможно, еще до начала прозаической обработки темы, — пьеса начата 4-стопным ямбом:

Ох, горе мне, Мартын, Мартын,
Клянусь, ей-ей, ты мне не сын...

Вторично Пушкин, повидимому, стал перекладывать уже написанные прозой сцены в классический 6-стопный ямб:

Эй, Франц, я говорю тебе в последний раз:
Я больше не хочу терпеть твоих проказ...

(см. Пушкин, акад. изд., т. VII, 1935, стр. 355 и 644—647).

Все эти явления, даже в незаконченных и необработанных произведениях, дают много интересного и поучительного материала и для исследователей творчества Пушкина, и для теоретиков-стиховедов, и для молодых поэтов, на примерах пушкинских стихов обучающихся стихотворной технике.

IV

Если интересны и поучительны явления смены размеров в творчестве Пушкина, то не меньший интерес представляют и некоторые первоначальные, но более или менее законченные редакции стихотворений, извлекаемые из рукописей. Такова первоначальная редакция «Воспоминания», 1828 г. («Когда для смертного умолкнет шумный день...»). Самый первый черновик его не известен. Но сохранилась рукопись — та, с которой печатается теперь вто-

рая половина стихотворения, неизданная Пушкиным при жизни, — где текст переписан с первого черновика и затем еще раз переработан. Что он переписан с другого, более раннего, видно из того, что в основе его лежит почти сплошной и связанный текст, написанный крупным, «беловым» почерком. Он легко выделяется, если снять все позднейшие поправки и отбросить некоторые, самые первоначальные, намеченные, но не согласованные между собою варианты. Конечно, этот первоначальный слой не является вполне единым: он писан кусками, перерабатывался в самом процессе писания, и потому представляет условную, в целом виде реально не существовавшую редакцию, притом не одинаково законченную, но местами

¹⁾ Опускаем еще два случая, указанные С. М. Бонди, из неотделанных черновых набросков. См. его книгу, стр. 66, 71—73, 75—77, 173—177.

совершенно неупорядоченную, с пробелами и повторениями, с нерифмующимися строками. Эта первоначальная редакция такова:

Умолкнул шумный день — и тихо налегла
 Немая ночь на стогны града.
 Полупрозрачная нисходит с нею мгла
 И сон, дневных забот отрада.
 Но сон меня бежит — влачатся в тишине
 Часы томительного бденья —
 И грустно бодрствую — живей горят во мне
 Эмен сердечной угрызенья —
 В уме, подавленном <пропуск> тоской
 Теснится горьких дум избыток.
 Воспоминание, зачем ты предо мной
 Свой мрачный развиваешь свиток?
 И я минувшую читаю жизнь мою,
 И содрогаюсь и <стих не дописан>
 И стою жалобно, и горько слезы лью
 Над <пропуск> строками.
 Я вижу в праздности, в безумстве и пирах
 Свою потопленную младость,
 В изгнании, в бедности, под стражей и в
 степях
 <Стих не написан>
 Я слышу вновь <пропуск> жужжанье
 клеветы
 Я вижу смех и <пропуск> ропот
 Измены гнусные, и легкой суеты
 Укор жестокой и кровавой

Я слышу вновь друзей предательский привет
 [Мне сердце жгут его обиды]
 Измену <пропуск> вновь наносит легкой
 свет

Неотразимые обиды.
 И нет отрады мне — и тихо предо мной
 Встают два призрака молодые,
 Две тени милые, два данные судьбой
 Мне Гении во дни былые —
 Но оба с крыльями, и с пламенным мечем,
 И стерегут — и мстят мне оба —
 И мертвую любовь сменила <в н>их огнем
 Неумирающая злоба —

В этой редакции, в целом довольно близкой к той, которая печатается теперь в качестве последней, но не окончательной, особенно замечательны два заключительных стиха: здесь, вместо позднейшей, отвлеченно-философской формулы («О тайнах щастия и гроба») — конкретное выражение чувств двух значительных, но неизвестных нам участниц биографии Пушкина. Реальные их образы остаются неразгаданными, но деталь сама по себе еще обостряет и углубляет значение стихотворения, как исповеди, полной негодования и горького сожаления о прошедшем.

Сообщение Н. ИЗМАЙЛОВА.

Поэтический венок Пушкину

ИЛЬЯ СЕЛЬВИНСКИЙ

Помарки, вычерки — бешенство перьев!!
Запекшейся кровью чернеет строка—
Как будто

накинут

невод

из нервов

На

золотую

рыбку

стиха...

И стих восходит призрачной леген-
дой,

Легчайшим почерком лаская глаз,

Как будто бы поэзия для Вас

Всего лишь — *dolce far niente*¹⁾.

¹⁾ Сладкое ничегонеделание.

Из столетия в столетье,
Лучезарный гений слова,
Ты во всем великолепии
Открываешься нам снова.

Всей советскую страну
Ты вождем поэтов признан
И могучею волною
Входишь в мир социализма.

Пушкин, Пушкин, будь же славен
Славой родины чудесной!

Да здравствует Сталин!
Да здравствуют песни!

★

Помню свет керосиновый, нежный.
За столом, возле печки нагретой,
Я в слезах, я в слезах безутешных
Над раскрытою книгой поэта.

Ленский, Ленский... Смертельную рану
За тебя бы я принял смело.
Вот такую бы мне Татьяну,
И чтоб сердце стихами кипело.

Чтобы так же, как я над Ленским,
Кто-нибудь бы ночной порою,
Впечатлительный, с сердцем женским,
Над моим заплакал героем...

Мне с тех пор по ночам не спится,
И не знаю: создам ли героя.
Но — открытые в детстве страницы
Вместе с жизнью своей закрою.

ВАСИЛИЙ КАЗИН

Хоть времени нашего грохот
На век твой совсем не похож,
Но чудится: локоть о локоть
Ты с новой эпохой идешь.

Твой голос — полета иного,
Но словно проносится он
Всей мудрою музыкой слова
И в говоре наших знамен.

Так здравствуй, отзывчивый гений,
Веселый, как солнечный дождь,
Бессмертья певучих волнений
И вечности образов вождь.

✱

Словно с глаз туманы сгонишь, —
Только взглядом невзначай
Чуть коснешься, еле тронешь
Хоть единой строчки край.

Солнцем звуков расторопных,
Словно море, налита,
В слух чудес четырехстопных
Вдруг влетает теснота.

И, светясь от совершенства,
Он легко тебя несет,
Вихрь могуществом блаженства
Потрясающих высот.

БОРИС КОРНИЛОВ

Это осень радости виною,
Сыпет изморозь,
Темнеет в пять,
За стихами и за тишиною
Заходите в Болдино опять.
Неспеша мечтаете о многом,
Спит Россия,
И туман высок.
Тихо по проселочным дорогам
Вас дорожный увезет возок —
Грызть перо в прекрасном
 утомлении, —
Песня зарождается, гляди...
Император,
Третье отделение —
Это все осталось позади.
Через сотню лет
И через двести
(Грандиозные годов ряды)
Все поэты соберутся вместе,
Вашими поэмами горды.
И опять грохочет гром победный,
Разрывая на куски покой,
Скачет всадник над Невой медный,
И поет Земфира над рекой.
Страшное прошло одно столетье,
Александр Сергеевич, гляди —
Император,
Отделение третье, —
Это все осталось позади.

А. ЖАРОВ

Лишь у нас, молодых и счастливых,
Наступило его торжество.
На районных партийных активах
Обсуждают творенья его.

Молодежь им по праву гордится.
Паренек девятнадцати лет
Говорит, не боясь ошибиться:
«Пушкин—наш, комсомольский поэт».

В. НАСЕДКИН

В строй чувств и мысли он вводил
Такую простоту движенья,
Что голос навек сохранил
И мощь, и свежесть выраженья.

И не в столетнем далеке,
А ныне, здесь, читатель слышит,
Как в золотой его строке
Живое сердце бьется — дышит.

Снег ложится полосами
у крыльца и у ворот.
Месяц белыми усами
над сугробами встряхнет.

За далекою горою,
мглою дымчатою скрыт,
то надеждой,
то тоскою
колокольчик прозвенит:

может быть, под лунным светом
долгожданный мчится друг;
может быть, спешит с пакетом
кто-нибудь из царских слуг.

И совсем не колокольчик, —
это ветер дует в щель,
а в пустых просторах волчьих
только месяц да метель...

Так проходит долгий вечер
в одиночестве глухом.
Опывая, меркнут свечи
над неприбранным столом.

Свечи тень кидают четко
на простенок, в переруб, —
от крутого подбородка
и больших, печальных губ,

от густых, светловолосых,
перепутанных кудрей,
как пророческий набросок
монумента наших дней.

Тень в простенке шевелится,
губы темные дрожат.
А в окно —
метель, как птица,
бьет и падает назад.

Бьет и падает,
как птица
с перешибленным крылом.

И поэту снова снится
за неприбранным столом,

что не вьюга
и не птица,
а в звено его окна
пятерней худой стучится
подневольная страна.

Тяжким вздохом угрожая,
вся в лохмотьях,
вся в тоске, —
непонятная, чужая
Петербургу и Москве, —

за окном стоит Россия,
за окном стоит народ,
руки черные, косые
грозно вымахнув вперед.

Из бесправья, из безлюдья,
где лишь темь
да глушь,
да зверь,
он идет
и всею грудью
надвигается на дверь.

Крепкий тес трещит,
и гвозди
в гнездах дедовских визжат.
Миг один, и влезут гости
и не вылезут назад.

Тушит свет поэт
и с дрожью
смотрит пристально в окно —
снеговое бездорожье
непробудно и темно.

Ни души в снегу усадьбы,
только ветер дует в щель,
да хмельные с волчьей свадьбы
мчатся месяц и метель.

А. КОВАЛЕНКОВ

Тот, кто, с горестями споря,
Помнил солнце детских лет,
Тот, кто видел волны моря,
Снег равнин и звездный свет,
Тот, кто жил, глаза не жмуря,
Знал врагов и знал друзей,
Тот, кто в непогодь и бурю
Шел дорогою своей, —

Тот найдет в поэте друга
И поймет (коли не знал),
Почему в часы досуга
Ленин Пушкина читал.

Л.БЕРГ

Старик-тунгус, приехавший на с'езд,
Задет лучами праздничного света.
Он теплый бублик на морозе ест
И ходит неспеша вокруг поэта,
Который шляпу комкает в руке.

Старик глядит на памятник высокий
И на родном тунгусском языке
Твердит тихонько пушкинские строки.

МАКСИМ РЫЛЬСКИЙ

В младенчестве моем она меня любила...
Пушкин.

Ще за дитячих літ він був для серця милий.
Як невідстояні чуття в душі бродили,
Як у півтемряві хиталися думки, —
Ласкавим приторком ласкавої руки
Він одсвіжав чоло і тихомирив муки,
Він ліру брав. Текли спід пальців віщі звуки, —
І я несміливо підспівував йому.
Цей спомин дорогий — в могилу я візьму.

Еще в ребячестве он был для
сердца близок,
Когда незрелых чувств слагался
смутный список,
Когда в неясной мгле клубился
мыслей рой, —
Касаньем ласковым, ласкающей
рукой

Он освежал мой лоб и умирал
волнение.
Он лиру брал. И звук рождался
в отдалении,
И вторил робко я кумиру моему
Да, память этих дней в могилу
я возьму.

С українського переклад
Борис Гурганов

НИКОЛО МИЦИШВИЛИ

Как олень на горах, пулей меткой стрелка пощаженный,
 Вдруг к скале припадает, трав молочных вдохнув аромат, —
 Так пришел я к тебе, подивиться на выси и склоны,
 Что окинул твой светлый, из Африки солнечный взгляд.

Я принес тебе соты медвяных стихов Руставели
 И вином его терпким наполненный доверху рог,
 Хоть когда-то с любовью отцовской и братской воздели
 На тебя его руки из рощи Гомера венки.

Чтобы лик твой, овеянный пламенной бронзовой пылью,
 Наслаждался привольно в садах виноградных Шота,
 Чтоб без справок в листах подорожных тебе мы открыли
 Наше сердце, как город друзьям открывает врата.

Как-то раз, в старину, скрыв глубокие раны печали,
 Ты явился в Тифлис тем путем, что исчез навсегда.
 Не случилось тебе, отовсюду гонимый скиталец,
 Соли песен вкусить на Парнасе грузинском тогда.

Так хоть ныне, когда тот Парнас не порублен, не продан,
 И, незыблем, цветет он под солнцем счастливых времен,
 И лемносский кинжал твой, сразивший тиранов народа,
 Победил, чтоб спаять нерушимое братство племен, —

Пей же ныне тот стих, наслаждайся вина тем дыханьем,
 Чтоб ты Вэпхи ¹⁾ узнал и Мерани ²⁾ приветное ржанье.

И у грабов тогда с горным ветром обнимется шорох
 Старых болдинских сосен, кивающих нам вдалеке,
 Заалет двух стран светозарное пламя во взорах
 И два имени близких сольются в единой строке!

Перевел Борис Серебряков.

¹⁾ «Вэпхи» (дословно — тигр) — «Носящий тигровую шкуру» — псема Шота Руста
 вели (XII в.).

²⁾ «Мерани» (дословно — Пегас) — стихотв. поэта-романтика Н. Бараташви
 ли (XIX в.).

კონსტანტინე ჩიჩინაძეკონსტანტინე კიკინაძე.

Прошло сто лет...

Пушкин.

მას შემდეგ ასი გავიდა წელი:
 იდექ ნიშანში ამოღებული,
 ნიშანი დიდი და დიდებული,
 რომლის მოხვედრა არ იყო ძნელი.
 „სად დამეწევა სიკვდილის ცელი?“
 და პასუხს მიხვდი თავდაღებული...

ასი გავიდა — რა დარჩენილა
 შენი უკვდავი ლექსების მეტი?
 ო, ალექსანდრეს ბედკრული სვეტი —
 მეხდაცემული გადაწვენილა!
 სამაგიეროდ ცად აწვდენილა
 შენგან დადგმული ქანდაკის წვეტი.

Дословный перевод с грузинского

С тех пор прошло сто лет:
 Стоял ты, взятый на прицел.
 Мишень была слишком большая,
 Попасть в нее не трудно было.
 «И где мне смерть пошлет
 судьбина?» —
 Ответ был дан — ты голову склонил...

Прошло сто лет — и что ж осталось,
 Кроме твоих бессмертных стихов?
 О, жалкий Александрийский столп —
 В ударах молний он склонился!
 Зато прорвался выше туч
 Тобой воздвигнутого памятника
 шпиль.

ИЛЪЯС ДЖАНСУГУРОВШыяс Ҷансығирт.

Asqar oıǵyǵ, asqar Ҷанып
 Aspandaǵan oǵ aǵyǵ,
 Bar qalamyǵ, bar zamamyǵ
 Ot Ҷyregi, ken aǵyǵ.
 Aǵyǵyǵyǵ dәmcranyǵ
 Atsadaǵy zalyǵ qanyǵ,
 Аты seniǵ ardaǵalyǵ.
 Qazaqtardy, qalmaqtardy
 Aǵartady ken genijin.
 Otanyǵnyǵ azat eli
 Qurmetejdi aǵyǵ seni,
 Qalqozymda „Evgenijin“
 Sen syjikti aǵyǵymyǵ
 Seni avdardym qalqym ycin.

Дословный перевод с казахского

Высоких дум, высокой души
 Славный и гордый поэт.
 Ты не только русских, а всего
 мира
 Пламенное сердце, неиссякаемый
 ум.
 Великана лиры
 Хотел убить злой свет,
 Но имя твое живет.

Казахам, калмыкам
 Любезен твой гений.
 Свободный народ моей родины
 Читет тебя, поэт.
 Твой «Евгений» в наших
 колхозах.
 Ты любимый поэт мой,
 Тебя перевел я для своего народа.

Ақыгън сьқыр алтын кун,
 Ala too вағын нур қыды,
 Ақ мөңгү еерип тамсылар,
 Aldastap төмөн ғылғыды.
 Альстан қойсу ун салыр,
 Azemdyu sözdy ыг қыды.
 Qadyrdap elim тыңсады,
 Qasapqь өткөн bulbuldu.
 Qарсықай қыгда bir қыгөн,
 Qыгъздын Puşkin qurvusuu.

* * *

Ardaqь volduң Tuңquzdun,
 Aqьpь volduң, qыgъzдыn.
 Talaada qalmaq sen menen,
 Çarqьpь volduң turmuştun.
 Çajdarь көркөm zamandy,
 Çardamdaş sen da quruştuң!

* * *
 Qыjalyң vugun сьп voldu,
 Qыgъzdar, Tuңquz el voldu.
 Qalmaqtьn çapan talaasь,
 Qulrunur, sonun oңoldu.
 Asqaluu toonu, talaanь,
 Tolqunduu deniz, araldь.
 Tumanduu, qarduu tyn çaqть
 Gyldegen тыştыk kыn çaqть.
 Aralar Puşkin çyresyң,
 Qazaqtь, tatar var çaqть.

* * *

Sajratsь аль qomuzun,
 Сьпьqь qыgъz volupsuң,
 Bir ovondo, bir tilde,
 Biz menen Puşkin çoluqtuң.
 Qucaqtajьn, өвөjyң,
 Çan qurvum menin egejym!

1936-çыл. 7-dekabr.

Frunze.

Дословный перевод с киргизского

Тихо взошло солнце золотое
 И озарило вершины Ала-Тау.
 Белеющий ледник растаял,
 И струи катились вниз.
 Издали слышится голос чабана
 Изящных слов песни.
 С любовью внемлет мой народ
 Навеки покойному соловью.
 И в горах, и в ущельях они
 вместе, —
 Киргизу Пушкин друг.
 И тунгусы тебя любят,
 Киргизы чтят тебя поэтом своим.
 И в степи калмык с тобой, —
 Ты стал светочем жизни.
 Великую, прекрасную эпоху
 И ты помог нам строить!

Мечта твоя стала реальной:
 И киргизы, и тунгусы стали
 народом!

Дикая степь калмыков
 Алеет бархатным блеском.
 На скалистых горах и в степях,
 В бушующих морях, на островах,
 На Севере, где туман и снег,
 И в цветущем, солнечном Юге, —
 Ты живешь везде, Пушкин,
 В странах татар и казахов.
 Спой под струны комуза ¹⁾,
 Ты ведь киргиз настоящий.
 В мелодии в одной и в языке
 общем
 Мы с тобой, Пушкин, встретились.
 Обниму и обожаю
 Тебя, мой друг. Пушкин.

7 декабря 1936 г.

Гор. Фрунзе.

¹⁾ Комуз — киргизский национальный музыкальный инструмент.

Советские поэты о Пушкине

ГАСЕМ ЛАХУТИ

поэт-орденоносец.

Огонь и сила! — вот первые слова, которые приходят в голову, когда думаешь о Пушкине. Поэт неукротимой страсти и потрясающей художественной силы, — таков Пушкин.

Им даны превосходные образцы политической лирики, богатой и мыслями, и горячим чувством. В этом смысле Пушкин особенно поучителен для поэтов.

Лично я сравнительно недавно знаком с литературным русским языком и творчеством Пушкина (припоминаю, что первое прочтенное мною русское стихотворение «Сижу за решеткой в темнице сырой» пленило меня, и я сразу выучил его наизусть). Все же и за этот короткий срок обаятельное творчество Пушкина успело найти отклик в моем сердце.

Недавно мне пришлось быть в Крыму, видеть счастливых колхозниц-табаководок, собравшихся на свой с'езд, писать от их имени письмо товарищу Сталину. Работая над этой поэмой о новом Крыме и его новых людях, я невольно вспомнил дивное творение Пушкина «Бахчисарайский фонтан» и под этим впечатлением написал следующие строки:

Не сыщешь в летописях след
От горестной судьбы татарок,
И ни один не пел поэт
Про нашу молодость и старость.
Когда ж на землю к нам вступил
Певец прославленный России,
Он в нашем прошлом различил
Лишь слез ручьи да кровь Марии.

Так было. Но жизнь крымчан, возрожденных партией Ленина — Сталина, теперь неузнаваема.

Где призрак пушкинской Марии.
Где душевного гарема ночь?
Лучи победы озарили
Марию — сталинскую дочь¹⁾.
Мария та в руках у хана
Терпеть училась и рыдать,
Мария эта нас, декханок,
Стихию учит побеждать.
Марию ту встречали мезтью,
Кинжала грозною игрой.
А нам обняться будет честью
С Марией — милою сестрой.

Мне хочется овладеть в совершенстве русским языком, чтобы еще живее почувствовать все оттенки благородной поэзии Пушкина.

¹⁾ Речь идет о Марии Демченко.

ЯКУБ КОЛАС

народный поэт БССР

Когда я думаю о Пушкине, я невольно вспоминаю свое детство. Пушкин и мои детские годы как-то неотделимо сливаются в одном образе. Если кратко рассказать историю моего знакомства с творениями гениального поэта, то прежде всего нужно сказать, что изучение русского языка в дореволюционной школе было неразрывно связано с именем Пушкина. Я не помню ни одной школьной хрестоматии, где бы не было хотя бы нескольких его стихотворений. Но в начальной школе я не слышал от своих учителей ни одного слова о Пушкине, как о поэте-художнике. Я заучивал на память стихи Пушкина, не зная их автора. Имя Пушкина я узнал впервые из оглавлений в хрестоматиях, равно как и имена Лермонтова, Гоголя, Крылова, первых русских писателей, которые положили начало моему литературному воспитанию.

Интересна одна деталь, сохранившаяся в памяти о моем детстве. Не помню, по какому случаю зашел разговор в нашей семье о Пушкине. Мой отец, человек, едва умевший расписаться, рассказывал, как Пушкин познакомился с польским поэтом Адамом Мицкевичем. По его рассказу, произошло это так. Идет Пушкин, встречает Мицкевича. «Набок, двойка: туз идет!» Мицкевич

отвечает: «Козырная двойка и гуза бьет!» Поэты дружески рассмеялись и познакомились. Впоследствии этот рассказ я слышал часто от других лиц в разных вариантах.

Более полно с произведениями Пушкина и с его биографией я познакомился приблизительно лет в двенадцать по окончании начальной школы. Я хорошо помню обстановку в тиши лесов на лоне природы, где я читал поэмы Пушкина — «Руслан и Людмила», «Кавказский пленник», «Братья-разбойники», «Братьев-разбойников» я заучил наизусть. Чтение Пушкина производило на меня огромное впечатление. Я не отдавал себе отчета, чем именно чарует меня волшебная поэзия Пушкина, но я чувствовал и осязал новый для меня, захватывающий мир образов и представлений. Любовь к поэзии, красоту неотразимо действующей на меня природы я почувствовал через Пушкина. Он же первый привил мне желание слагать стихи. Влияние Пушкина на поэтическое воспитание очень велико. Меня сейчас занимает вопрос, в какой мере отразился Пушкин на создании национальных литератур и поэзии. Этим вопросом следует заняться представителям национальной поэзии и историкам литературы, исследующим эту поэзию.

АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Белорусские поэты учились, учатся и будут учиться у великого Пушкина.

В своей творческой практике я стремился и стремлюсь использовать народное творчество («Белорусская сказка», «Незабываемая осень» и др.). А Пушкин учит бережному отношению к фольклору и методам его обработки. Пушкин осознал богатейшие возможности, которые таит в себе народное творчество для каждого поэта. Первым из русских поэтов-дворян он отметил «драгоценную свежесть, простоту, чистосердечность выражений народного творче-

ства». Пушкин любил, знал и хорошо понимал душу народной поэзии. «Кто из знавших хорошо Пушкина не слышал, как он прекрасно читывал русские песни? Кто не помнит, как он любил ловить живую речь из уст простого народа» — вспоминает профессор Шевырев, современник поэта.

Нужно ли говорить о том, что Пушкин благотворно влияет на развитие белорусского языка и белорусской культуры? Работа наших поэтов над переводами его произведений — незаменимая, превосходная школа мастеров.

САМЕД ВУРГУН

поэт-орденоносец

Над переводом крупнейшего произведения А. С. Пушкина, романа в стихах «Евгений Онегин», я работал в течение двух лет. Работа по своему объему была очень большая, а по содержанию — исключительно сложная, напряженная и ответственная.

До сих пор роман «Евгений Онегин» на азербайджанский язык еще никто не переводил. Это возлагало на меня еще большую ответственность. Я поставил перед собой задачу — сделать это большое и прекрасное произведение Пушкина достойным азербайджанского народа. Чем больше я работал над переводом, тем сильнее эта работа меня увлекала.

В своем переводе я полностью сохранил знаменитую онегинскую строфу — количество строк и порядок рифмовки. В некоторых местах по мере возможности старался сохранить даже рифмы.

Я уделил огромное внимание сохранению простоты пушкинского языка и глубины мысли. В процессе работы я всегда задавал себе вопрос: а как бы сам Пушкин выразил свою мысль на азербайджанском языке? Этот вопрос заставлял меня более внимательно и глубоко осмыслить образы Пушкина и передавать их как можно точнее, проще и выразительнее.

Большим подспорьем в работе были исторические материалы о творчестве Пушкина, критика и библиография. По этим материалам я изучал обстановку, в которой работал Пушкин, его настроения и т. д.

В работе меня неотступно сопровождала одна мысль — избежать схематизма в переводе, сделать перевод живым, полнокровным, доступным и понятным азербайджанскому народу.

В переводе «Евгения Онегина» я также старался сохранить чистоту, красочность, музыкальность и самобытность азербайджанского языка, избегая и отбрасывая арабско-персидские слова и выражения, которые столетиями засоряли его.

Как я справился с переводом романа «Евгений Онегин», судить не мне. Отдельные отрывки и главы из перевода я не раз читал своим товарищам и читателям, хорошо знающим творчество Пушкина. К столетию со дня смерти Пушкина роман «Евгений Онегин» выйдет на азербайджанском языке специальным изданием. Но свою работу над этим произведением я не заканчиваю. В дальнейших изданиях я буду шлифовать и отделять перевод.

Пусть мой перевод будет еще одним документом нашего интернационального единства и братства.

С. СЕЙФУЛЛИН

поэт-орденоносец

Подготовка к юбилею А. С. Пушкина превратилась в большое соревнование всех братских литератур Союза. Каждая из них стремится притти к юбилею великого поэта с достижениями и успехами по освоению богатейшего пушкинского наследства, по переводу и распространению в массах пушкинских книг.

Хотя мы знаем, что во многом еще отстаем, тем не менее преобразование

Казахстана в Союзную республику, успехи казахского искусства во время московской декады, неустанная забота и внимание партии и правительства вдохновляют нас, писателей Казахстана, и обязывают равняться на передовые отряды братских литератур.

Сейчас почти все основные произведения Пушкина частью уже переведены, частью переводятся на казахский язык.

Мы имеем значительное количество переводов Пушкина, сделанных еще до революции. Пушкина переводили Абай, Шах-Карим Худайбердин и другие казахские поэты. Одновременно с Абаем «Евгения Онегина», как обнаружено недавно, переводил тот же Шах-Карим Худайбердин, который перевел и «Дубровского», только не прозой, а в стихах.

Все эти старые переводы пересматриваются под моим руководством, некоторые из них будут переизданы.

В новых переводах мы взяли установку — сохранить подлинного Пушкина, не допускать никаких «вольностей», стремиться передать всю мощь и очарование пушкинского таланта.

Хотя максимально приближенные к оригиналу переводы Пушкина и будут, может быть, несколько затруднены, тем не менее мы избрали именно этот путь. Наша задача, задача работников социалистической культуры, — не «популяризировать» (в дурном смысле) Пушкина, не упрощать его, а наоборот — поднимать массу до глубокого и серьезного понимания Пушкина, воспитывать ее на пушкинском мастерском и высококультурном стихе.

Казахский народ знает Пушкина и читает его на родном языке уже 40 — 50 лет. Первым переводчиком, первым ознакомителем казахского народа с великим русским поэтом был Абай Кунанбаев. Сам крупный поэт, широко образованный для своего времени человек, Абай, конечно, не мог пройти мимо Пушкина. Он зачитывался его стихами и, плененный очарованием «Евгения Онегина», перевел отдельные места поэмы.

Переводы Абая при всем своем высоким поэтическом мастерстве весьма далеки от подлинника. Не говоря о том, что Абай совершенно не отразил в них особенностей пушкинского стиля и формы, он весьма вольно подошел и к са-

Сейчас казахские советские поэты напряженно работают над переводами Пушкина.

«Евгения Онегина» переводит поэт И. Джансугуров, причем первые три главы уже переведены. Поэт М. Давлетбаев полностью перевел «Медного всадника». Переведены: «Руслан и Людмила» (А. Тажибаев), «Кавказский пленник» и «Полтава» (Т. Жароков), переведено много отдельных стихотворений.

Лично я берусь за переводы таких замечательных стихов Пушкина, как «Памятник», «Пророк» и «Поэт». Переводы этих стихотворений на казахский язык есть, но недостаточно удовлетворительные. Мне хочется сделать переводы если не вполне достойные оригинала, так, по крайней мере, приближающиеся к такому определению.

Все эти стихи и поэмы будут изданы юбилейным изданием — «Избранный Пушкин».

Мы считаем переводы Пушкина на казахский язык серьезным экзаменом для нашей писательской организации и в то же время прекрасным уроком, необходимым каждому из наших писателей для повышения его культуры, вкуса, творческого уровня в целом.

И. ДЖАНСУГУРОВ

тому содержанию поэмы. Например, Татьяна превращена им в казахскую девушку, которая живет в типичной казахской обстановке.

Весьма любопытно, что Абай «ввел» Пушкина в казахское искусство не только при помощи своих переводов. Абай рассказывал о пушкинских стихах, о «Евгении Онегине» своим многочисленным друзьям и знакомым, поэтам-импровизаторам, акынам, любителям литературы.

В результате отрывки из «Евгения Онегина», подхваченные на слух отдельными певцами-акынами и передаваемые друг другу, распространялись по необъятным казахским степям.

Совсем недавно в печати Казахстана

были опубликованы сообщения о том, что в Ажсуйском районе и Каркаралинском округе обнаружены совершенно неизвестные переводы пушкинской поэмы, сохранившиеся как песни, передаваемые из уст в уста народными певцами-акынами. Имена героев в этих переводах переделаны на казахский манер: Татьяна называется «Татыш», Онегин — «Серы-жигит»¹⁾.

Кроме Абая Кунанбаева, Пушкина переводили до революции и другие поэты. Известен, например, переводчик «Дубровского» поэт Шах-Карим Худайбердин — племянник Абая.

Существуют дореволюционные переводы «Сказки о золотой рыбке», множества отдельных мелких стихотворений.

В основном все эти переводы, как и переводы Абая, очень далеки от подлинного Пушкина. По существу, это не были даже «вольные» переводы, потому что в них часто коренным образом изменялся даже сюжет. Это были скорее новые вещи, написанные «по Пушкину».

Новые переводы Пушкина, осуществляемые казахскими советскими поэтами и писателями, имеют совершенно иной характер. Мы должны дать широким казахским массам подлинного Пушкина со всеми особенностями его высокого поэтического стиля, формы, размера, рифмы и т. д.

Это чрезвычайно трудная задача, но мы пошли на нее сознательно, ибо Пушкин — этот величайший русский поэт XIX века — ценен для нас не только содержанием, но и как непревзойденный мастер формы, языка, ценен всем своим богатейшим поэтическим арсеналом.

Сейчас я, по поручению союза писателей, работаю над полным переводом «Евгения Онегина» и уже закончил перевод трех глав в первой черновой редакции.

Переводить Пушкина, в особенности «Евгения Онегина», сохраняя его изумительный реализм, необыкновенную

простоту, музыкальность, изящество, очень и очень трудно.

Несмотря на всю трудность, мне все же удается приблизиться к Пушкину. Я считаю, что до известной степени уловил его голос, его манеру, которой он пользуется в «Евгении Онегине». Вот для примера первая строфа поэмы в русской транскрипции:

Таза жолга берик агам,
Аурса шән түсек тортып,
Озин сонда силатторган,
Ой табалмай онан артык,
Ульгысе оку баска жанга,
Кандай кайги, жазган алла.
Кундыз, тюне ауру багу
Табжилмастан соған жагу;
Коядай харлык мекерлик ед —
Ульмелене алдандеру.
Оған жастык тузеп туру,
Дәри суну уаем жеп,
Иштә гартқан, иштен айтқан
Сене кашан ағар сайтан!

(Мой дядя самых честных правил,
Когда не в шутку занемог,
Он уважать себя заставил,
И лучше выдумать не мог;
Его пример другим наука:
Но, боже мой, какая скука
С больным сидеть и день и ночь,
Не отходя ни шагу прочь!
Какое низкое коварство
Полуживого забавлять,
Ему подушки поправлять,
Печально подносить лекарство,
Вздыхать и думать про себя:
Когда же чорт возьмет тебя!)

Переводя «Евгения Онегина», я чувствую, как великий Пушкин формирует казахский поэтический язык, вносит в него необыкновенную свежесть и новизну, колоссально обогащает его, раскрывает перед ним новые возможности.

Перевод «Евгения Онегина» я должен закончить в январе 1937 года с тем, чтобы к юбилею поэта поэма уже была напечатана. Постараюсь, чтобы это удалось мне, хотя считаю, что срок чересчур короткий. Для того, чтобы казахский перевод был максимально удачен, чтобы он дал массам казахских читателей действительно живого Пушкина, его драгоценную свежесть, простоту, все качества его мощного таланта, — нужно работать значительно больше.

¹⁾ Серы-жигит — одаренный молодой человек, любящий странствовать.

САБИТ МУКАНОВ

Русский язык я начал изучать с 1923 года.

Кто же был моим учителем?

Пушкин Александр Сергеевич. Он, а не кто-нибудь другой, дал мне почувствовать живую прелесть русского языка. И это крайне поучительно. Не овладев языком, я тогда Пушкина лучше понимал, чем некоторых советских поэтов. Очевидно, выручала великолепная пушкинская простота — качество, которого нехватает многим поэтам современности.

Второй раз я читал Пушкина в 1928 году. Это было сознательное творческое чтение. Я учился у Пушкина художественной простоте, сюжетности, народности, искусству изображения характеров. Всему этому учусь непрерывно, читая и перечитывая великого поэта. Совсем недавно в поэме, изображающей поход челюскинцев, «Белый медведь», мне пришлось процитировать следующие

строки Пушкина из «Медного всадника»:

... Народ

Зрит божий гнев и казни ждет.

Увы! все гибнет: кров и пища!

Где будет взять?

В тот грозный год

Покойный царь еще Россией

Со славой правил. На балкон,

Печален, смутен, вышел он

И молвил: «С божией стихией

Царям не совладеть». Он сел

И в думе скорбными очами

На злое бедствие глядел.

Пушкинские строки понадобились для того, чтобы противопоставить той далекой исторической эпохе наше счастливое время.

Пушкин для меня недостижимый образец. Я готов всю жизнь учиться у него мастерству в изображении характеров, учиться художественной простоте, уметь сказать многое и большое немногими словами.

С. ГАЛКИН ¹⁾

Мы живем в стране подлинной национальной свободы, где развитие поэзии и искусства совершается под знаком обновления мира и свободы личности. Именно поэтому мы чувствуем такую кровную близость к гениальному поэту. Не мешает столетие, которое физически отделяет его от нас. Пушкин нам больше современник, чем когда бы то ни было.

Пушкин бессмертен. Величие его гения особенно ощущает тот, кому приходилось переводить его произведения на тот или другой язык. Какой это гигантский и тяжелый труд! Казалось, ты хорошо, добросовестно поработал: выверен ритм, найдены увесистые слова, ты доволен. Казалось, ты победил. Но

¹⁾ Видный еврейский поэт, перевел «Короля Лира» Шекспира и драматические поэмы Пушкина.

стоит тебе отдохнуть от жестокого одиночества, стоит проясниться взору, как сразу замечаешь, что то был жестокий самообман. Начинаешь понимать, что дом, построенный тобой по всем правилам архитектуры, нежилой дом. Стекла отсвечивают первым невинным сиянием, живое дыхание их не коснулось, а на воздвигнутые ступени должен был стремительно подняться Пушкин. Работа начинается сызнова, мучительные поиски повторяются. Ты никак не можешь решить, что тебе автор скорее простит: несовершенно выявленный образ или недостаточно выявленную мысль, которая на один волос отклонилась от цели. Разумеется, ни то, ни другое недопустимо. И если кому-нибудь из нас удастся передать строфу «по-пушкински», мы чувствуем себя бесконечно счастливыми.

Д. ГОФШТЕЙН

Пушкина полюбил стихийно — еще в школьные годы. Ребенком, вырвавшись на простор из среды, жившей много веков в местечковой тесноте, я воспринял вольную жизнь лесов и полей, и Пушкин был для меня высшим поэтическим выражением этой красоты. Ненависть Пушкина к феодальным отношениям была для меня в те годы высшим выражением революционности.

Когда, после томительного писания стихов для себя, я осенью 1917 года получил возможность печататься в газете, моими первыми печатными произведениями оказались два очерка «Из деревни», где я рисую мрачную картину человеческой жизни и людские взаимоотношения на фоне прекрасной природы.

Пушкину я обязан созданием лучших моих стихов на еврейском языке о зиме, осени, о временах года. Работа над переводами его произведений (первые переводы появились в американском журнале в 1922 году) дала мне много. Она дисциплинировала мою творческую мысль и приучала к жесткой экономии изобразительных средств.

Поэты всех народов нашего многонационального Союза, руководимого партией Ленина — Сталина, славят имя Пушкина и тогда, когда они о нем не пишут: их работа по развитию социалистических по содержанию народных культур сама по себе есть высшее восхваление Пушкина.

И. АНТОКОЛЬСКИЙ

Для меня, как для сотен тысяч людей начала XX века, чьим родным языком был русский язык, вспоминать первое чтение Пушкина — это значит вспоминать первые уроки грамоты и — еще до них — первое прикосновение к искусству. И затем дальше: каждый этап душевного роста, и в школе, и в юности, и после того, как я стал поэтом, каждый важный поворот на поэтическом пути так или иначе связан с Пушкиным. Все живое, здоровое, действенное, все удачи идут от него.

Можно любить и разлюбить каждое из его произведений. Это продлится еще долго, — очевидно, до конца моих дней. Но сейчас я должен выделить одно из них. Оно не сравнимо для меня с другими, и с первого дня революции было определяющим в смысле влияния. Это «Медный всадник». В этой точке сходилась все, — точнее, из нее исходили лучи во все стороны: историзм, лирика, революционное пророчество, — словом, все то, чем живо для нас так называемое «классическое наследие». Осмелиться ли мне сознаться в том, что, не будь «Медного всадника», из меня никогда бы не вышел поэт? Но я

знаю, что я не один такой. Об этом можно было бы написать бесконечно много. Да ведь о «Медном всаднике» уже написано бесконечно много прозы и стихов. Кстати, когда думаешь о нем, оеджо задаешь себе вопрос: какой величины эта глыба? И для меня было просто открытием, когда около года назад переводчик «Медного всадника» на грузинский язык, Валериян Гаприндашвили, сказал, что в «Медном всаднике» меньше 500 строк. Вот хороший урок для многих из нас, которые представляют себе «большую вещь в стихах» исключительно в виде двенадцатиперстной кишки, протянутой в бесконечность!

Тема «Медного всадника» огромна. Она связана с самой глубокой страстью Пушкина, с центральным нервом его поэзии. В 30-х годах история стала основным его жизненным делом: история России, история класса, к которому он принадлежал, история ближайшей к нему по времени попытки социальной революции (Пугачев) «Медный всадник» диалектичен, как ни одно другое произведение Пушкина, связанное с историей, — не даром действие поэмы

растянуто на сто лет. Не даром живой Петр «Вступления» в дальнейшем окаменеет конной статуей на гранитной скале. Не даром статуя оживает, чтобы карать мятежника, нестись следом за ним, а этот мятежник безымянен, безумен, менее жив, чем его каменный враг. Смысл поэмы угадывается около темы, центральной для Пушкина: отношения между личностью и революционным государством. (Что Петр был для Пушкина революционером, это мы знаем; он видел в нем сочетание Робеспьера и Наполеона.) Но этим смысл «Медного всадника» не исчерпывается. Еще не раз будут расчленять эту короткую поэму на эпиграфы. Она, как и весь Пушкин, существует во времени, и каждый прочтет в ней свое, новое. Ее гневный ямб живет в тонах нашего чугуна и стали, в свежем оттиснутом наборе «Правды», в бодрящем воздухе наших дней. Пожалуй, пушкинский ямб не нуждается в этих восхвалениях. Есть одно произведение советского искусства, достойное встать около «Медного всадника» по лаконизму, по ошеломляюще быстрому

развитию темы, по способности растрогать и потрясти. Это «Броненосец Потемкин».

В свете указаний партии о преподавании родной истории в средней и высшей школе, в свете недавнего постановления Комитета по делам искусства относительно «Богатырей», — пример Пушкина-историка приобретает для нас особо поучительный характер.

Жизнь Пушкина рано оборвалась. Труд его не завершен. Основная забота пушкинистов — так же, как и всех работников советской культуры, — заключается в том, чтобы реконструировать один огромный, недописанный, частью, может быть, зашифрованный, черновик Пушкина, этот черновик можно назвать «тенденцией его развития». К чему он шел со своим широким пониманием истории, со своей отзывчивостью к народному творчеству, со своей лихорадочной работоспособностью и живой, открытой, горячей душой? Понять это — черный хлеб нашего познания Пушкина. Понять его — значит следовать за Пушкиным.

С великими светилами мировой литературы происходит отчасти то же, что и с небесными: будучи удалены от нас на большое расстояние, они сливаются с соседними, более мелкими, затмевают их и как бы поглощают, растворяя в себе целое созвездие, целое звездное скопление. Нужен телескоп исторического анализа, чтобы преодолеть эту aberrацию зрения. Диск светила тогда становится меньше, но зато выигрывает в чистоте и блеске. Так произошло, например, с Шекспиром, то же происходит и с Пушкиным, и это только лишнее подтверждение его величия. В Пушкине чудесно преломилась и засияла не только вся предшествующая ему литература, но — что еще более удивительно — и вся последующая. «Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы» открывают уже в 1830 году никому неведомого тогда Тютчева. Из нескольких антологи-

ческих стихотворений Пушкина выросла вся антологическая поэзия Майкова и Щербины. Из пушкинской «Песни о вещем Олеге» возникла вся балладная поэзия Алексея Толстого «Пленившись розой, соловей и день и ночь поет над ней» — пушкинский эпиграф для соловьиной лирики Фета. Даже Некрасов со всей своей школой, казалось бы, по форме своего стиха такой антипод Пушкину, и тот намечен в его поэзии:

Сват Иван, как пить мы станем,
Непременно уж помянем,
Трех Матрен, Луку с Петром,
Да Пахомовну потом...

Разве это не Некрасов? В пушкинском «Рыцаре бедном и простом, имевшем одно непостижимое уму видение» намечена вся лирика о «Прекрасной даме» и «Роза и крест» Александра Бло-

МИХ. ЗЕНКЕВИЧ

ка, а в пушкинской «Клеопатре» («Внемли же, мощная Киприда») — вся «правда вечных кумиров» Валерия Брюсова. Даже современный тактовик (стих Маяковского, Хлебникова и других) предсказан сказовым стихом пушкинских сказок и «Песен западных славян».

В Пушкине прежде всего поражает огромный диапазон его творчества — им даны совершенные образцы всех жанров. Пушкин, как и Шекспир, не боится заимствовать и делать из чужого посредственного великое свое. Из растянутой и поучительно-скучной пятиактной драмы Вильсона он выхватывает одну короткую сцену и, вставив в нее две своих песни и оборвав ее чуть не на полуслове, спасает «Пир во время чумы» и ее автора от забвения и дает им бессмертие. Пушкин, как бы шутя пробуя силу, соревнуется с мировыми гениями — с Данте (в «Терцинах»), с Гете («Сцена из «Фауста») и не уступает им. По-шекспировски обрабатывая порой чужие сюжеты, Пушкин в то же время

дает образцы удивительно оригинальных своих сюжетных построений, например, в «Пиковой даме», которым мог бы позавидовать Гофман и Эдгар По.

Пушкин — наиболее солнечный, наиболее жизнеутверждающий из всех наших великих писателей.

Да здравствуют музы! Да здравствует разум!
Да здравствует солнце! Да скроется тьма!

Эти слова его «вакхической песни» могут стоять эпиграфом ко всему его творчеству.

Подражать Пушкину нельзя — это наглядно показали все его многочисленные эпигоны. Подражания Пушкину всегда плохи, и тем более в наше время. У Пушкина можно только учиться — учиться его реализму, его народности, его художественным приемам, применяя их по-новому на новом материале, в таком изобилии, предоставляемом нам нашей великой социалистической эпохой.

М. ТАРЛОВСКИЙ

В определении своего отношения к Пушкину мне хочется опереться на Лермонтова. Голос Лермонтова звучит для меня на какой-то одной тревожной, душераздирающей ноте. Пушкин же — это «человек-оркестр», подобный тем чародеям, за которыми мы, визжа от ребячьего восторга, бегали в рваных штанишках по улицам провинциальных городов, подобный тем чародеям, которые играли одновременно на семи инструментах, работая всеми конечностями, локтем, коленом и головой. Лермонтов — это узкая, бездонная, увитая ди-

ким плющом, теснина мучительного познания, над которой мы наклоняемся с замиранием сердца. Пушкин же — это эстетическая энциклопедия, где собрано все, где все доступно, где все понятно.

Что такое Пушкин, я почувствовал в 17-летнем возрасте, благодаря Олеше и Багрицкому. Олеша пришел и сказал: «Пушкин — это космическое...». Я согласился, но не поверил. Багрицкий мне начал его читать, он мне его показал, как полагается. Тогда я поверил. Прошло еще 17 лет. Я верю и сейчас.

Восточная поэма на смерть А. С. Пушкина

М. Ф. АХУНДОВ

Не предавая очей сну, сидел я в темную ночь и говорил своему сердцу:

О, родник жемчужин тайны! Отчего забыл песни соловей цветника твоего?

Отчего замолк попугай твоего красноречия?

Отчего сталося, что запал путь твоей поэзии?

Отчего сталося, что гонец мечтаний твоих остановился?

Взгляни кругом — наступила весна, и все растения красуются юною прелестью, словно девы!

Берега ручейков, бегущих по лугу, подернулись фиалками. Огнистые почжи розы вспыхнули в цветниках.

Степь изукрашена, как невеста: угорье, мнится, собрало все цветы в полу свою, чтобы осыпать ее ими, как драгоценными камнями.

В невозмутимом величье, в короне цветов, как царь, возвышается дерево посреди сада, а лилия и ясини, будто вельможи, пьют в честь его росу из чашечек тюльпана.

Луг до того ярко блещет ясьминами, что от взора на него помутились очи упоенного нарцисса.

Приветливый соловей несет в дар гостю листик розы.

Готово облако обрызнуть цветник дождем, а ветерок — отдать ему свое благоухание. Сладко поют птички: красавица зелень, прогляни из-под фаты праха.

Все живое знакомо с каким-нибудь художеством — от каждого есть приношение на торжище природы.

Одно величается красотой или пленительными взорами; другое — стенанием выражает любовь свою.

Все теперь наслаждается и веселится, распроставшись с печалью.

Все, кроме тебя, мое сердце! Не участник ты в общей радости и восторге, не просыпаешься ты из безмолвия.

И в глубине твоей нет ни к чему склонности, нет ни к кому любви. Далеко ты от страсти к славе и от мечты поэзии.

Разве ты не то самое сердце, что погружалось в море мыслей на ловлю стихов, подобных жемчужинам царским, и дарило целые нити их в украшение тысячам игривых выражений, будто красавицам?

Откуда же теперь печаль твоя? Не знаю. Для чего ты теперь стенаешь и сокрушаешься, как плакальщица похоронная?

Отвечало на это сердце:

«Товарищ моего одиночества, оставь меня теперь самому себя. Если б я, наравне с красавицами луга — бабочками, не ведало, что за вешним ветерком дуют вихри осенние, о, тогда я препоясало бы мечом слова стан наездника поэзии на славную битву: но мне знакомо вероломство судьбы и жестокость этой изменницы! Я предвижу конец мой».

Безумна птица, которая, однажды увидев сеть своими глазами, для зерна вновь летит на опасность!

Что такое гром славы, что такое хвала за доблести, как не отклики

звучков внутри этого коловратного свода!

Не говори мне о поэзии! Я не знаю, чем это небо награждает своих поклонников.

Разве ты, чуждый миру, не слышал о Пушкине, о главе собора поэтов?

О том Пушкине, которому стократно премела хвала со всех концов света за его игриво текущие песнопения.

О том Пушкине, от которого бумага жаждала потерять свою белизну, лишь бы его перо рисовало черты на лице ее.

В мечтаниях его, как в движении павлина, являлись тысячи радужных отливов словесности.

Ломоносов красотами гения украсил обитель поэзии — мечта Пушкина водворилась в ней.

Державин завоевал державу поэзии — но властелином ее Пушкин был избран свыше.

Карамзин наполнил чашу вином знания — Пушкин выпил вино этой полной чаши.

Разошлась слава его по Европе, как могущество царское, от Китая до Татарии.

Светлого ума был он, любимец Севера, так, как взор молодой луны драгоценен Востоку.

Такого остроумного, такого даровитого сына не рождали доселе четыре матери от семи отцов [т.е. стихии и семь небес].

С удивлением теперь внимай мне: эти

родители не устыдились быть к нему жестокосердны. Прицелились в него смертной стрелой. Исторгли корень его бытия. Черная туча по воле их одной градиною побила плод его жизни.

Грозный ветер гибели потушил свечильник его души.

Как тюрьма, стало мрачно его тело.

Старый садовник-свет пересек его стан безжалостною секирою, как юную ветку своего цветника.

Глава его, в которой таился клад ума, волей змеенравного рока стала виталищем змей. Из сердца, подобного розе, в которой пел соловей его гения, растут теперь тернии.

Будто птица из гнезда, упорхнула душа его, — и все, стар и млад, сдружилась с горестью.

Россия в скорби и воздыхании восклицает по нем: «Убитый злодейской рукою разбойника-мира!»

Итак, не спас тебя от оков колдовства этой старой волшебницы-судьбы талисман твой.

Удалился ты от земных друзей своих — да будет же тебе в небе другом милосердие божие.

Бахчисарайский фонтан шлет тебе с весенним эфиром благоухание роз твоих. Седовласый старец — Кавказ отвечает на песнопения твои стоном в стихах Сабухия.

Перевод А. А. БЕСТУЖЕВА
(МАРЛИНСКОГО)

1837 г.

От редакции.

Настоящая поэма принадлежит перу Мирза-Фатали Ахундова, великого тюркского писателя XIX в., крупнейшего и передового мыслителя Азербайджана и Ближнего Востока. Поэма написана в 1837 г.

До самого последнего времени считалось, что оригинал поэмы утерян. Известна поэма была лишь по переводу на русский язык, сделанному декабристом А. А. Бестужевым (Марлинским) в 1837 г. за несколько дней до своей смерти. Перевод этот был опубликован впервые в 1874 г. в журнале «Русская старина» (том XI за сентябрь, стр. 76—79) известным востоковедом Адольфом Берже.

Недавно в газете «Бакинский рабочий», в номере от 18 ноября 1936 г., был напечатан найденный подлинник поэмы М. Ф. Ахундова, в сопровождении статей Азиз Шарифа и Микель Рафили. А также в этом же номере, впервые после революции, был напечатан полный текст перевода А. А. Бестужева (Марлинского), взятый из указанного выше номера «Русской старины».

Придавая особое значение этому выдающемуся произведению тюркской литературы XIX в., редакция считает целесообразным познакомить своих читателей с поэмой М. Ф. Ахундова в переводе А. А. Бестужева (Марлинского).

Пушкин

ВАСИЛИЙ КАМЕНСКИЙ

Помню — в детстве,
Школьником голубоглазым,
Я представлял Вас,
Гений, Александр Сергееч, так:
Вот Вы входите —
И сразу
Солнечный Ваш разум
Всех ослепляет,
И радугой звенит Ваша мечта,
Одетая в стихи
Чудесных слов,
Чтоб нас за Вами вслед
На счастье славных лет
На высоту несло.
И нас несло
На пушкинскую высь.
Кружилась голова,
А сердце билось птицей,
Сверкала молнией
Любая Ваша мысль,
Любая песня
Казалась нам зарницей.
О, эта
Власть поэта!
Мы, школьники,
Любили Вас,
Единственный на свете,
Любили, как любить
Способны только дети.
Воображений полные,
Как Вашими стихами,
Мы строчку каждую

Укладывали в сердце жить
И жили, и дышали Вами.
Учились познавать
Премудрые межи
Полей литературы изобилья
Неисчерпаемого урожая.
Так мы росли,
Свой рост опережая,
Во имя будущих
Пресветлых дней
С глазами изумительных огней
Надежд, желаний,
Пылких ожиданий,
Огней неостывающей борьбы.
И, наконец, в ответ —
Строй упоительных побед,
Наш большевистский строй —
Счастливейшее знамя.
Так мы росли,
Не расставаясь с Вами.
И наш народ-герой
В сердцах своих,
К источнику бессмертия припав,
Нес Ваше имя
Любимого поэта,
К которому не заросла
Народная тропа,
Чудесной славою одета,
Славою несметных масс.
Мы, школьники,
Всё знали это —
И мы любили Вас.

Мы даже думали
Ночами у подушки,
Только-что Вас
Страстно прочитав:
Вы с нами здесь —
Весь Александр Сергеич Пушкин,
Наша заветная мечта.
Ну, вот, Вы в комнате,
Живой и окрыленный,
Лучами жгучих глаз
Чарующе даря,
Читаете стихи,
В поэзию влюбленный,
Как в солнце —
Предрассветная заря.
Мы видим Вас,
Мы слышим голос дивный,
Мы ощущаем
Взмах крылатых рук,
Мы повторяем
Стих Ваш переливный,
Знакомый нам,
Как старый друг,
Как: *«Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя,
То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя».*
Так в каждом слове
Детство наше дышит
И пребывает в празднике
Великолепных строк
Прочитанных,
И выученных книжек —
На весь путь жизни
Пушкинский урок.
Вы — вечно с нами.
С самой колыбели
И до волос седых
Былых времен —
В буре, вихре,
В яростной метели
До победных шествий
Сталинских знамен.
В наши годы
Торжества свободы,

Когда мы, Ваши дети,
Строим новый строй,
Мы под эти своды,
Голубые своды
Поставили стоять Вас
Чудеснейший горой.
Гордость наша!
Солнце золотое!
Легендарной родины
Гениальный сын!
Славит Вас знакомое
Племя молодое
Молодой страны
Невиданной красоты.
Вам бы с нами
Жить живым в просторах
Изумительных
И сказочных затей —
Вы витали бы, как мы,
В сплошных восторгах,
Воспевая новых,
Социалистических людей,
Людей-богатырей,
Стахановских героев,
Людей особого покроя,
Людей — высоких птиц,
Людей — хранителей границ
Любимейшего строя,
Людей преславного труда,
Чьей красотой страна горда.
Что это — сон?
Иль сказка были?
Вам нашей родины,
Наверно, не узнать —
Кругом цветущая весна.
И, очарованные, не забыли
Мы Вашей веры
В наши времена:
*«Товарищ, верь: взойдет она —
Заря пленительного счастья:
Россия вспрянет ото сна
И на обломках самовластья
Напишет наши имена!»*
Ах, Александр Сергеич,
Свободные, могучие, не мы ль

Вписали Ваше имя
 В великолепную на свете бль,
 В которой до лазоревых высот
 Это Ваше благороднейшее имя
 Каждый с гордостью любви несет.
 Как по утрам мы все привыкли
 Улыбку солнышка встречать, —
 Так все привыкли
 Вашу славу
 Неизмеримо величать.
 С утра в полете всех мгновений
 Бодрствующего дня —
 Вы всюду с нами,
 Светлый гений,
 В трудах, в сердцах
 Призывностью звоня,
 Вы торжествуете,
 И каждый говорит
 Огнем зари:
 Вы — для меня!
 В лучах
 «*пленительного счастья*»
 Вы были для меня
 Ярчайшим светом,
 Вечности
 Чарующим приветом,
 Солнценосной
 Красоты венцом,
 Моим единственным
 Сверкающим певцом.
 При этом —
 Родины любимейшим поэтом.
 Чье имя —
 Гордость нации
 И всенародная любовь.
 Так наша расцветающая новь —
 Взволнованные миллионы
 Светоликих —
 В пылу больших стремлений
 Умеет чтить
 Своих людей великих.
 Этому учил нас Ленин.
 Этому нас учит Сталин.
 Мы славить
 И любить Вас

Не только не устали,
 Но, полные огня
 И мудрой воли к дали,
 Прорвавшиеся в эту даль
 Вперед на много лет,
 Лишь начинаем
 Познавать Вас,
 Необ'ятного величия поэт.
 Лишь впервые
 Новыми глазами,
 По-новому взглянувшие
 В глаза Ваших небес,
 Мы, изумленные
 И очарованные сами,
 Увидели Вас
 Гением чудес:
 Воистину мы
 Неразлучны с Вами —
 Ведь целый век прошел,
 А Вы еще живее,
 Еще взволнованней
 И ближе, горячей
 Встаете перед нами,
 Блистательностью вея —
 Жаром
 Поэтических речей.
 Вот так и кажется —
 В любом стихотвореньи
 С нами говорит
 Бессмертная душа:
 Мы слушаем
 В бесчисленном повтореньи,
 Лазурью Ваших слов
 Пленительно дыша.
 Вот так и чудится —
 Вы ныне вновь воскресли
 К нашим торжествам
 Неслыханных побед,
 Чтоб с нами петь
 Счастливейшие песни
 На весь вселенный свет.
 О, сколько раз
 В судьбе из нас любого
 Вы властвовали
 Гением своим.

И потому Вы для иного
Остаетесь
Кровным и живым.
А для всего народа —
Солнечным сиянием,
Незакатным днем —
Огнем любви,
Долговечным
Неисчерпаным признанием,
Чей порыв
Бессмертием обвит.
И так всю жизнь!
Идут года!
Как небо над глазами,
Ваш образ всюду,
И, к счастью, никогда
Нам не расстаться с Вами.
И в этом наша юность!
Идут года!
Летят пути.
От юности нам не уйти
В счастливый час,
Как Вам от нас.
Веселой памятью блистая,
Мы не забудем дней и лет,
Когда вся
Трепетная стая
Росла, цвела,
Влюблялась в Вас, поэт.
Мы выросли,
Как роща молодая,
Взнесли свои
Вершины ввысь.
И зашумела юность золотая
И расцвела в нас
Пушкинская мысль —
Ваша мысль огня
И африканской страсти —
Любить живую жизнь
Ликующего дня.
И так любить,
Чтоб ветер рвал
Натянутые снасти,
Чтоб буря младости
Кудрявых лет

Несла нам радости
Весенний след.
И так любить,
По-вашему взмывая
Орлиным пушкинским крылом,
Чтоб мы, певцы
Блистательного мая,
Летели с Вами напролом.
И мы летели!
И с Вашими стихами на устах
Не от вина,
А от восторгов спьяну
Влюблялись не просто
В каждую желанную Татьяну,
В каждую сверкающую Ольгу.
И каждый чувствовал,
Танцуя вальс иль польку
В круженьи женском,
Себя Онегиным иль Ленским,
Или взволнованным и броским
Таинственным
Владимиром Дубровским,
Иль сумасшедшим от страстей
Влюбленным Германом
Среди влюбленных
Взбудораженных гостей.
Иль каждая из нас,
Татьяна, Ольга,
Лиза, Маша, —
Не девушка ли
Пушкинская, Ваша,
Читая Вас с глубоким упоеньем,
Живет и дышит
Пленительным стихотвореньем
И в каждой строчке
Сердце свое слышит,
И, повторяя дивные слова,
Чувствует, взлетает выше
В лазурь мечты,
Неистовствует голова.
Перед любимым
Ей хочется предстать
Такой, чтоб вечно бы
Шептали его горячие уста:
«Я помню чудное мгновенье:

Передо мной явилась ты,
 Как мимолетное виденье,
 Как гений чистой красоты».

Ах, Александр Сергееч,
 Вы знаете —
 Какая это тайна...

Ведь, право, не случайно,
 Когда загорается любовь,
 Мы, чувствуя себя,
 Невестами и женихами,
 Горим лишь
 Вашими стихами,
 В которых светит
 Солнечная кровь.
 В часы волнующих свиданий
 Иль в письмах
 Почерка любви
 Ваш образ
 В стихотворной дани,
 Всегда он с нами,
 Счастьем обвит.
 Всегда в часы
 Таинственных признаний,
 Укрывшись где-нибудь
 От посторонних глаз,
 Мы ощущаем
 Третьего меж нами —
 Возможно ли любить без Вас!
 Пусть в комсомольском сердце
 Много песен
 И в бурных радостях
 Ликуют их лучи,
 Но голос Ваш
 Единственно чудесен
 И торжествующе звучит,
 И возвышает, окрыляя
 Высоким взлётом
 Вечных слов
 Ненсчерпаемого
 Пушкинского света.
 О, эта Ваша власть,
 Огненная страсть поэта!
 Любимейший,
 Возможно ли прожить без Вас,
 Когда вся жизнь

Поэзией одета.
 А юность наша
 В сталинской стране
 Сплошной весны —
 Ведь это праздника
 Любого краше,
 Ведь это —
 Наяву чудеснейшие сны.
 И к нашей славной чести,
 Как молодости
 Утреннее знамя,
 Вы всюду с нами
 Вместе, вместе.
 Вся комсомолия,
 Как легендарный рой,
 Вас окружает
 Трепетной горой.
 И каждый комсомолец,
 Грудь открыв,
 С жаром отдаёт
 Восторгов взрыв
 Великой дружбы,
 Повторяя Ваши же слова,
 От которых веселится голова:
 «Опять я ваш, о юные друзья!
 Туманные сокрылись дни разлуки,
 И брату вновь простерлись ваши
 руки,
 Ваш резвый круг увидел снова я».
 Вот именно —
 «Туманные сокрылись дни раз-
 луки» —

Ваш образ,
 Ваши книги,
 Ваши звуки,
 И весь Вы,
 Юностью любимый друг,
 Вошли всей бурностью
 В наш резвый круг,
 В круг сильных рук
 Счастливого кольца,
 В котором всех счастливей
 Пылает образ
 Вашего лица.
 Пушкин с нами!

Ах, как это звучит задорно
В взволнованных умах
Младой поры,
Когда живется нам
Чудесно и просторно,
Когда вся юность —
Сталинский порыв.
Мы все на крыльях!
Готовые всегда
Любую высоту
Схватить руками,
Это мы чудесности
Открыли —
Вас дружески любить
И быть большевиками.

Вы с нами!
В нас!
В крови больших волнений,
В романтике
Огромных чувств,
В огне пленительных томлений,
И Ваше имя потому
Не сходит
С юношеских уст.
И так всю жизнь!
Идут года.
Как небо над глазами,
Ваш образ всюду.
И, к счастью, никогда
Нам не расстаться с Вами.

Родной и близкий всем

А. ПЕРЕГУДОВ

Старый рабочий Балуюев замер в одной позе, слегка наклонившись вперед и приложив к уху руку, сложенную ковшиком. Эта морщинистая рука старика как бы бережно принимает каждое слово докладчика. Сурово и строго лицо Балуюева, сурово и строго нахмурены его седые брови. И когда мне удастся поймать его взгляд, — я замечаю в этом взгляде ненависть.

Комсомолка Таня Голякова стоит у стены, крепко сцепив пальцы рук. Ее лицо взволновано, на щеках жаркий румянец. Она, не отрываясь, смотрит на гипсовый бюст, стоящий на столе, — и в теплом взгляде ее глаз — большая и строгая любовь. Так смотрят на очень близкого и любимого человека.

Старик Балуюев более пятидесяти лет проработал на заводе, в прошлой его жизни немало было нужды и горя. Комсомолка Таня — ровесница Октября, ее жизнь светла и радостна. Каждый из них по-своему ненавидит прошлое, но он и она одинаково любят Пушкина, и пришли в этот зал провести вечер, посвященный памяти поэта.

Докладчик иллюстрирует жизнь и творчество Пушкина его стихами. Стихи, волнуясь, читают девушки, но их волнение — это не волнение чтеца перед аудиторией, их волнуют сами стихи. Таня читает: «Здравствуй, племя молодое, незнакомое, не я увижу твой поздний возраст...» — и голос ее дрожит, и вероятно она слышит в этих строках обращение Пушкина к моло-

дому, незнакомому для него племени — комсомолу...

Лица всех собравшихся в этом зале серьезны и внимательны, и во взгляде каждого любовь к великому творцу и доброму гению русской поэзии и ненависть к темным и злым силам, погубившим поэта...

В цехах заводов, в клубах, колхозах, школах, на квартирах рабочих проводятся пушкинские вечера. В районной газете, почти в каждом номере, печатаются заметки об этих вечерах.

«Из биографии А. С. Пушкина узнаю, как тяжела была его жизнь. Царское правительство травило поэта, но травля и ссылка не отняли от него любви к творчеству. Он писал и в изгнании. Мне представляется его жизнь в глуши по стихотворению «Зимний вечер» — ветхая лачужка, его няня Арина Родионовна, а за окном воев вьюга.

Я рисую портрет А. С. Пушкина, который отдам в устраиваемый в школе уголок поэта.

Филиппов Ваня».

«Александр Сергеевич очень любил и хорошо знал природу. Об этом говорят его стихотворения: «Зима», «Осень» и другие. Просто и ясно писал Пушкин о природе. Нам, ребятам, очень понятны его стихи, потому что каждый из нас видит то, о чем писал Пушкин.

Я тоже начну писать маленькие рассказы и стихотворения.

Боря Ходяшев».

Это пишут в газете школьники.

«Я прочитал поэму А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Это замечательное произведение. Высокохудожественное и музыкальное, оно произвело на меня неизгладимое впечатление.

Я с упоением читаю сейчас одну за другой книги Пушкина. Прочитал «Дубровского», «Кавказский пленник», «Повести Белкина» и в каждом новом произведении встречаюсь с гениальными творческими способностями Пушкина. Правильно его назвали великим русским поэтом.

Колхозник Горского колхоза
Иван Алексеевич Буянов».

«Мне 60 лет, — пишет колхозник Ф. К. Уткин. — Я перечитал все сказки Пушкина. Многие из них я знаю наизусть. Вспоминаю, как росли мои дети. Другой раз, сидя над их колыбелью, я напевал и рассказывал им отрывки из этих сказок.

... В синем небе звезды блещут,
В синем море волны хлещут;
Тучка по небу идет,
Бочка по морю плывет.

Или:

... У лукоморья дуб зеленый,
Златая цепь на дубе том,
И днем и ночью кот ученый
Все ходит по цепи кругом.

Любили дети эти сказки.

Скоро у нас будет пушкинский вечер. Я прочитаю на память сказки: «О попе и его работнике Балде» и «О рыбаке и рыбке»¹⁾

Дулево, 16 декабря 1936 г.

Колхозники и колхозницы деревни Кудькино, готовясь к пушкинским вечерам, разучивают арии из оперы «Русланка», поют «Я помню чудное мгновенье», «Узник», «Талисман», «Воротился ночью мельник» и др.

Пушкин—великий, солнечный поэт, такой близкий и понятный и школьнику, и старику-колхознику! Именно в наше время, в нашу сталинскую эпоху, так ярко расцвел его чудесный гений. «Слух обо мне пройдет по всей Руси великой...». И не только слух о Пушкине прошел по нашей великой стране, — вся наша страна и «всяк сущий в ней язык» с любовью читает его бессмертные произведения, и нерукотворный памятник поэта поднимается в наши дни выше, чем когда бы то ни было...

Старик Балуев, комсомолка Голякова, колхозник Буянов, школьник Ваня Филиппов и все сидящие в этом зале—люди сталинской эпохи. Они умеют ценить и беречь культурные сокровища прошлого и чтить память создавших их!

— Да здравствует светлый образ поэта, который через столетие родным и близким пришел в этот зал! Да здравствует его творческий гений, создавший великие произведения! Да здравствуют слезы и радость, любовь и ненависть, которые мы испытываем, читая биографию поэта и его книги!

Все поняли, что именно это хотел сказать комсомолец Гриша Степанов, когда закончился вечер, хотя Гриша выкрикнул только три слова:

— Да здравствует Пушкин!

¹⁾ Все эти высказывания о Пушкине взяты из дулевской газеты «Колотушка» от 15 декабря 1936 г.

Ассоциации

Ив. РАХИЛЛО

Скоро рассвет, Голова гудит после бессонной ночи. Но мне нравится это состояние, оно помогает выключению из конкретности и уходу в далекую, почти неуловимую тему.

... Бесконечное снежное поле... Телеграфные столбы... Они убегают вдаль и становятся все меньше и меньше... Они гудят от ветра... И вот это уже не телеграфные столбы, а верстовые... четырехугольные, полосатые... И вот тройка, бубенцы, заиндевшие кони. Я даже вижу лохматую шерсть. И он в кибитке... И одиночество... И стихи...

Ни огня, ни черной хаты...
Глушь и снег... Навстречу мне
Только версты полосаты
Попадают одна.

Пушкин!.. Он потрясает. Пожалуй, это не совсем верное определение, — я не могу сейчас подыскать более точных слов, для этого нужно очень много времени.

Томик его стихов я ношу в кармане. В поездке ли, на прогулке, на аэродроме, в перелете я с каким-то особенным, ненасытным удовольствием перечитываю его — еще и еще — бесконечное количество раз.

К своим любимым поэтам я отношу Пушкина, Лермонтова, Верхарна, Маяковского и некоторые произведения Есенина. Может быть, это несовместимо, но я объединяю их по одному общему признаку: после чтения этих поэтов меня всегда тянет за письменный стол.

Мне хочется привести здесь два маленьких эпизода, связанных с произве-

дениями Пушкина. Весной 1933 г. я прибыл в школу военных пилотов, на курсы переподготовки командного состава. О школе ходило много легенд.

Это одна из самых старых школ в стране. Почти четверть века Крымские горы видят над собой распластанные крылья перкалевых птиц. И я в жизни не предполагал встретить здесь людей, интересующихся литературой не меньше, чем авиацией. Это оказался кружок любителей литературы. Они не писали, не сочиняли, не обивали порогов редакций, не надоедали, — каждый вечер они собирались на квартире друг у друга и скромно читали вслух стихи. Это были: Павлов, Кутасин, летчик Соколов и командант аэродрома Гриша Кузнецов. Стихи исключительно двух поэтов: Пушкина и Маяковского. Разговоры здесь шли на высокие темы — о чувстве долга, дружбе, любви, жертвенности. Предполагал ли когда-нибудь Александр Сергеевич, что где-то на берегу моря, того самого моря, где он скитался в изгнании, будут собираться люди сурового, ему неведомого, воздушного ремесла и будут читать:

— Юноша! Скромно пируй, и шумную
Вакхову влагу
С трезвой струею воды, с мудрой беседой
мешай...

Читать и восторгаться!.. И живи в наши дни Пушкин, он получил бы исключительное наслаждение и отдых в обществе этих своих замечательных друзей. И именно Пушкин сумел бы описать ту суровость, нежность и невыра-

зимую жаркую страсть и любовь к небу и синему пространству молодых, нетерпеливых питомцев наших авиационных школ.

В этом все были твердо убеждены.

— В наши дни он обязательно летал бы на самолете. Типичные черты истребителя...

У Павлова тяжело заболела жена. Ее отвезли в Ялту. Павлов, зная, что положение безнадежное, два года — два года! — точно под каждый выходной день ездил в Ялту, к своей жене. Ни снег, ни дождь, ни ненастье не могли остановить этого человека. У него была настоящая глубина чувств.

И именно в этот тяжелый период жизни Павлов поддерживал свое моральное состояние чтением стихов Пушкина.

Стихи лечили душевную рану человека.

... Осенью прошлого года на берегу моря я случайно познакомился с группой подростков. Разговорились. Ребята ведут полубосаяцкий образ жизни. Мечта — заделаться рыбаками. Я стал доказывать, что в наше время жить так нельзя, что надо куда-то стремиться, чего-то достигать.

— Та мы стремимся...

— Куда ж вы стремитесь?

— Кто куда: кто в Краснодар, а кто и в Ростов.

— Чудаки-рыбаки, разве это стремление?.. Надо учиться, бороться...

Я привел им несколько биографий великих людей и одному из них, как мне

показалось (и я не ошибся!), наиболее талантливому, подарил томик драматических произведений Пушкина.

Я уехал и забыл об этой встрече.

Через год, рано-прерано, звонок: открываю дверь — стоит хлопец с сундучком, в руках Пушкин.

— Здравствуйте!.. Приехал доставить... Пятую ночь ночую на бульваре...

— Ну, давай, заходи!..

Он робко вошел в комнату, поставил в угол сундучок.

— Хочу на актера учиться...

Это было сказано с твердой убежденностью. Я подробно расспросил его: за этот год хлопец значительно вырос, стал сдержанней, серьезней. Стихи разбудили его. Он оказался человеком высокой одаренности. Я с удовольствием помог ему устроиться в одну из театральных школ Москвы.

Стихи Пушкина действуют облагораживающе. Они поднимают чувства и мысли к чистому воздуху снежных вершин. Так одинокий самолет плывет в голубой, недостижимой вышине, мимо пролетают чистые, нетронутые облака, внизу, под колесами, снежные горы и синие провалы таинственных ущелий, и где-нибудь, на одной из вершин, возле прозрачного фиолетового озерка, пастухи в бурках, подняв руки, машут палками, да овцы испуганно жмутся друг к дружке. И такая чистота, и наивность, и мудрость, и гордость за человечество, за чудесную, сказочную птицу...

Вот какие ассоциации вызывает у меня Пушкин.

Декабрь 1936 г.

„Ссылочный невольник“

М. МАРИЧ

I

Пушкин, запыхавшись, взбежал по лестнице, ведущей в канцелярию новороссийского генерал-губернатора графа Воронцова.

— Александр Иваныч у себя?—спросил он попавшегося ему в прихожей чиновника-инвалида.

Тот с испуганным удивлением взглянул в разгоряченное лицо поэта и, стонясь, сделал пригласительный жест в сторону кабинета правителя канцелярии.

Александр Иваныч, привстав из-за стола, указал на кресло:

— Покорно прошу садиться, Александр Сергеевич.

Пушкин, сняв широкополую шляпу, обмахивался ею, как веером.

Казначеев выжидательно глядел на него, теребя свои седеющие бачки.

Пушкин молчал, покусывая губы.

— Жара нынче невыносимая, — заговорил Казначеев, — не желаете ли кваску? Жена прислала с ледком. Пожалуй, и не растаял еще...

— Премного благодарен, — неопределенно бросил Пушкин.

— Вот и отлично, — обрадовался Казначеев и с готовностью обернулся к стоявшему рядом в простенке канцелярского шкапу. На нижней его полке, в зеленоватом от оконных штор сумраке, блеснула граненая пробка увесистого графина.

Казначеев взболтнул темнойантарный квас, и белая пена засияла радужными пузырями.

— И ледок в сохранности, — протягивая Пушкину наполненный до краев фужер, довольным тоном сказал Казначеев.

Пушкин с жадностью сделал несколько глотков.

— Сущий нектар, — проговорил он, держа перед собой недопитый квас, в котором весело ныряли и вновь всплывали золотистые точки...

— Уж моя Сашенька на сей счет куда какая мастерица. Иной раз превзойдет...

— Так вот что, — перебил Пушкин и тяжело поставил на стол свой фужер. — Вот зачем я вас беспокою, добрейший Александр Иваныч...

— Весь внимание, — настороженно нагнулся через стол Казначеев.

— Вам, конечно, известно, — строго заговорил Пушкин, — что граф Воронцов посылает меня в Херсонский, Елисаветградский и Александрийский уезды на предмет собирания сведений о появившейся в тех местах саранче и о средствах, употребляемых к истреблению оной?

— Как же, Александр Сергеевич. Распоряжение его сиятельства уж и в реестр занесено.

Пушкин вскочил с места:

— Поторопились... Однако прошу вас принять от меня официальные на сей счет объяснения.

— Слушаю-с, — покорно вздохнул Казначеев.

— Ни в какие сношения с начальством поименованных уездов я входить не стану. Рапорты сочинять я не горазд. На служебном поприще отличен

никогда не был — и по заслугам, ибо сам заградил себе путь выбором другой цели.

— Извольте говорить о стихотворстве? — тихо спросил Казначеев.

— Именно, — горячо продолжал Пушкин, — это мое ремесло, отрасль честной промышленности, доставляющая мне пропитание и независимость. И граф Воронцов не должен лишать меня ни того, ни другого.

Казначеев снова затеребил бачки:

— Я пытался было высказать его сиятельству мои соображения, что всякий иной чиновник будет более способен к исполнению...

— И что же? — снова перебил Пушкин.

— На мои доводы граф изволил отозваться в таком духе, что жалованье, положенное вам от казны, обязывает вас хотя бы в некоторой степени... — и растерянно замаялся под гневным взглядом Пушкина.

— Благоволите передать его сиятельству, — отчеканил поэт, — что, находясь в двух тысячах верст от Петербурга и Москвы, я лишен возможности своевременно сбывать написанное мною столичным книгопродавцам и журналистам. Правительству угодно было вознаградить меня за это мизерной суммой в семьсот рублей. Я принимал эти деньги не как жалованье, но как паек ссылочного невольника. И я охотно готов отказаться от него, ежели из-за этого не могу быть властен в моем времени и занятиях.

Казначеев откинулся к спинке кресла, подняв, как для защиты, обе руки:

— И слушать такие речи не могу, — испуганно заговорил он, — а уж передавать их его сиятельству... Да ни в коем случае. Ведь ничего, кроме лишнего противу вас неудовольствия, в результате не выйдет... Его сиятельство нипочем не отменит раз положенного решения. Тем паче, что оно уж пошло по инстанциям и в общие присутствия тамошних уездных городов...

— Так, следовательно, придется ехать?..

— Неминуемо, Александр Сергеевич, — категорически подтвердил Казначеев.

— Добро же, — протянул Пушкин. И, схватив шляпу, опрометью бросился вон...

— Экой шумной, — сокрушенно покачал головой инвалид-чиновник вслед промчавшемуся мимо него Пушкину.

II

В знойном от ослепительного солнца воздухе душно и сладко пахло отцветающей акацией. Ее бело-зеленые сережки устилали пыльные улицы, по которым Пушкин, энергично размахивая своей тяжелой тростью, стремительно направлялся к морю.

Сдвинутая набок широкополая шляпа бросала резкую тень на концы белого шейного фуляра и палевый жилет.

Прохожие — одни молча оборачивались на этого необычайной наружности франта, другие приветствовали его по имени, третьи открыто выражали свой восторг.

Но Пушкин шел, никого и ничего не замечая. У перекрестка улиц Ришелье и де-Рибаса, где стоял отель француза Рено, он остановился, подняв глаза к балкону своего номера.

Холщевые занавески на нем были приподняты, и возле пыльного в зеленой кадке кипариса виднелась какая-то женская фигура.

После мгновенного раздумья Пушкин махнул рукой и зашагал дальше.

— Свезу к морю, ваша благородия? — окликнул его с козел извозчик-молдаванин.

— А, Романыч, — чуть улыбнулся Пушкин и легко вскочил в рессорную пролетку. — Пошел быстреей...

— Куда завсегда? — вытаскивая изпод себя кнут, спросил Романыч и с места пустил лошадь рысью.

Клубы пыли поднялись над накатанной дорогой и долго, как тяжелый дым, висели в воздухе.

Вот и пустынный берег.

Отпустив извозчика, Пушкин стал спускаться с крутого обрыва. Мелкие камешки и ракушки шуршали под его торопливыми шагами и струйками катились вниз. Он приблизился к воде и, легко ступая с камня на камень, до-

брался до отлогого выступа подводной скалы.

Здесь он остановился и жадным взором окинул развернувшийся перед ним зелено-синий бескрайний простор. Солнце растворилось в море золотыми обручами, змейками, звездами, и они кружились в волнах, слепя глаза мелькающим сияньем.

Сняв шляпу, Пушкин широко взмахнул ею, как бы приветствуя любимую стихию.

Соленый ветер пахнул в лицо мириадами влажных пылинок. Стало легко дышать. Постояв немного, Пушкин сбросил скюртку и лег на скалу, подперев голову согнутой в локте рукой.

«Какой тяжелый выпал нынче день, — думал он, неотрывно любуясь морем. — Вот уж верно, что одна беда никогда не ходит...».

Кроме назревающей ссоры с Воронцовым, еще с утра Пушкина ошеломила горестная весть.

Как с ним часто случалось, зашел в приморский трактир выпить кофе помолдавски да послушать разноязычный говор моряков, со всего света приплывающих в Одесский порт. Обжигаясь душистым кофе, вдруг вздрогнул: матрос с греческого судна, жалуясь товарищу на приступ лихорадки, отчетливо произнес:

— Такая она опасная, хвороба эта. От нее ведь и этот самый лорд, англичанин Байрон, помер. О нем-то только и разговору от Миссолонги до самой Одессы.

Пушкин забросал матроса вопросами. И выяснил с ужасающей несомненностью: умер Байрон, творец «Гяура» и «Чайльд-Гарольда», «пламенный демон», чья поэзия прозвучала на весь мир и ему, Пушкину, доставляла неизяснимое наслаждение.

«Какой высокий предмет для поэзии — его смерть» — размышлял Пушкин, невольно вслушиваясь в ритмичный плеск волн.

В этом прибое поэту начинали чудиться сначала смутно, затем все явственней такие же ритмичные, глубокие и звучные строки стихов. Он провел

рукой по увлажненным слезами глазам, приподнялся...

Губы его дрогнули, и полились патетически-скорбные строки:

... Исчез оплаканный свободой,
Оставя миру свой венец..
Шуми, взволнуйся непогодой,
Он был, о море, твой певец.

Твой образ был на нем означен,
Он духом создан был твоим.
Как ты, могущ, глубок и мрачен,
Как ты, ничем неукротим.

III

Вера Федоровна Вяземская стала натягивать перчатки.

— Я приехала в Одессу с двумя опасно больными детьми. Ныне они поправились. Но то, что случилось с Пушкиным, которого мы с мужем так ценим и любим, делает нас обоих глубоко несчастными. Ведь заточить этого пылкого, кипучего юношу в глухой русской деревне за необдуманные слова, за неосторожный стих... это, это... — Вяземская от волнения не сразу нашла нужное выражение: — Это немилосердно...

— Это *coup de grace*¹, графиня. Кабы вы видели, в каком состоянии он прибежал ко мне, когда узнал, что его высылка из Одессы решена... Без шляпы, бледный, как мертвец... И самое ужасное, что ссылка обрывает его работу над «Онегиным», этим вторым «Чайльд-Гарольдом».

Графиня Елизавета Ксавериевна Воронцова, тоже до крайности взволнованная только-что законченной беседой, еще раз повторила:

— Я приложу все старания, чтобы смягчить гнев моего мужа.

Граф Воронцов, сидя в своем огромном, обставленном на английский лад, кабинете, занимался разбором донесения одного из своих агентов.

В каллиграфически написанных листах сообщалось, что:

«Благонамеренные стихи, о коих ваше сиятельство распорядиться изволили,

¹) В смысле добивающий удар.

воистину сочинены господином Пушкиным, доказательством чему служат прилагаемые строки, найденные среди подлежащих выметению бумаг одного стихотворца. Окрома сего, прилагается перехваченное письмо того же Пушкина к его столичному приятелю князю Петру Андреевичу Вяземскому с двумя стишками. Одни в виде поминаньица за упокой души некоего раба божия Байрона, другие, предезостные до крайности, не имея смелости сказать, к кому направили их сей отчаянный виршеплет».

Элегия «К морю», в которую входило «поминаньица за упокой души раба божия Байрона», уже ходила по Одессе в рукописных экземплярах, и Воронцов читал ее. Но четыре строки пушкинского письма после слов «каков Воронцов!»:

Полу-герой, полу-невежда,
К тому ж еще полу-подлец,
Но тут однакож есть надежда,
Что будет полным, наконец...

эти четыре строки, как четыре пощечины, горели на графском лице.

— Каков мерзавец! — прошипел он, комкая листки доноса. — Не в Псковскую губернию упечь его, а в крепость, в железа... В каторжные работы...

Резкий стук в дверь прервал гневные думы графа.

Он едва успел сунуть в стол смятое перлюстрированное письмо, как в кабинет вошла графиня Воронцова.

Ее обычно веселое, молодежливое лицо было искажено выражением едва сдерживаемого гнева.

— Что с тобой, Бетси?

Она, не отвечая, кусала дрожащие губы.

— Что с тобой, мой друг? — еще раз спросил Воронцов.

— А то, что вы, почитающий себя за цивилизованного европейца, поступили, как азиат... Низко... отвратительно...

— Бетси, я попрошу вас думать о том, что вы говорите...

— Написать донос на Пушкина, — продолжала Воронцова срывающимся голосом, — это не достойно порядочного человека. А вы к тому аристократ. Правда, русские аристократы — это особая опасная порода. Под их внешним

европеизмом таится такое варварство...

Воронцов гневно шагнул к жене.

— Я искренно сожалею, — с ледяным спокойствием заговорил он, — что вы поступили так опрометчиво, сочетав себя с русским, а не с кем-либо из польских претендентов на вашу руку. Но должен вас предvarить, что вы, видимо, ложно осведомлены о ходе дела с Пушкиным. Он сам просил отставки.

— Еще бы, служить у вас после того, как вы послали его на саранчу в качестве какого-то коллежского секретаря...

— Он и есть коллежский секретарь, — с таким же спокойствием прервал Воронцов.

— И это говорите вы, англоман и покровитель просвещения! — воскликнула Елизавета Ксавериевна.

— Кабы Пушкин должным образом выполнил возложенное на него поручение, — продолжал Воронцов, — я имел бы повод сделать о нем даже представление к какой-либо награде. Но вместо доклада он предпочел распространять о своей поездке вот эти озёрные стишки, — и брезгливым жестом он протянул жене ходившее по Одессе четверостишие:

Саранча летела, летела
и села,
Сидела, сидела, — все с'ела
И вновь улетела.

Как ни сердита была Воронцова, но, прочитав эти строки, не могла не улыбнуться:

— Однако ж сам Пушкин не представлял вам этих стихов...

— Но он представил прошение об отставке. А поскольку он числится по иностранной коллегии, я не мог не снести по сему вопросу с графом Нессельроде...

— ... и просить его убрать поэта из Одессы куда-нибудь подальше, — зло закончила графиня.

— Да, подальше от Одессы, где влияние крайних идей не будет столь пагубным для этого неуимчивого либералиста.

— Так ведь это ж и есть косвенный донос, — гневно вырвалось у Воронцовой.

Воронцов побагровел:

— Вы вынуждаете меня говорить еще об одной причине, по коей я нахожу необходимым убрать отсюда Пушкина.

— Что еще?!

— А то, что он не ограничивает своего волокитства кругом актрис и фитуранток из кордебалета. А я не могу допустить, чтобы его стишки связывались также и с вашим именем.

— Они прелестны, его элегические строки, — с восторгом проговорила графиня, вспоминая посвященные ей стихи.

— Однако ж я не возьму во внимание, что стихи провинившегося чиновника Пушкина усладительны для вашего слуха...

— Я не могу вас больше слушать, — и Воронцова хотела уйти.

Но муж крепко взял ее за руку:

— Нет, извольте слушать. Я не допускаю мысли, чтобы вам было лестно видеть среди своих поклонников влюбленного Пушкина. Ведь в сем случае вы разделили бы свой успех с разного рода гречанками, молдаванками, еврейками и даже с трактирными служанками.

Воронцова побледнела. «Так он к тому же ревнует» — и она мгновенно поняла всю безнадежность каких бы то ни было уговоров о смягчении участи Пушкина. Она поняла также, кому было выгодно направить мысли ее озлобленного против Пушкина мужа еще и по этому пути. Это открытие вызвало новую вспышку негодования и стыда за другого человека, с которым у нее была тайная связь в течение нескольких лет.

И поэтому, когда в сумерки лакей доложил о приезде Александра Николаевича Раевского, — настоящего отца ее младшего сына, — она резко приказала:

— Не принимать...

IV

Вера Федоровна Вяземская с радостным лицом вошла в номер Пушкина, в котором он доживал последние в Одессе дни.

— Пишите скорее в Петербург. Волконская уезжает сегодня и обещает передать письмо кому следует.

Пушкин, как мальчик, завертелся на одной ноге.

— Нет, нет! Вяземский, сколь ян люблю я его, не достоин такого ангела, как вы, княгиня... — и он крепко поцеловал ее руку. — Вы истинный друг. А душу отвести в письме с оказией вот какая охота!

Вера Федоровна по-матерински провела рукой по осунувшемуся за последнее время лицу Пушкина:

— Пишите же скорей. Меня ждут дети в экипаже.

Пушкин схватил лист бумаги, и быстрые строки одна за другой побежали из-под поскрипывающего огрызка пера.

«Вы уж узнали, думаю, — писал он Александру Ивановичу Тургеневу, — о просьбе моей в отставку... Дело в том, что Воронцов начал вдруг обходиться со мной с непристойным неуважением; я мог дожидаться больших неприятностей и своей просьбой предупредил его желание. Воронцов — вандал, придворный хам и мелкий эгоист. Он видел во мне коллежского секретаря, а я, признаюсь, думаю о себе что-то другое... Удаляюсь от зла и сотворю благо: брошу службу, займусь рифмой. Зная старую вашу привязанность к шалостям окаянной музы, я было хотел прислать вам несколько строф моего Онегина, да лень. Не знаю, пустят ли этого бедного Онегина в небесное царствие печати. На всякий случай попробую. Последняя перемена министерства обрадовала бы меня вполне, если бы вы остались на прежнем своем месте. Это истинная потеря для нас писателей. Простите, милый и почтенный. Обнимаю всех, т. е. весьма немногих. Целую руку К. А. Карамзиной и княгине Голицыной, *constitutionnelle* ou *anti-constitutionnelle* mais toujours adorable comme la liberté¹⁾.

А. П.».

¹⁾ Конституционалистка она или антиконституционалистка, но которую обожаю всегда, как свободу.

Мастера

Роман

ГЕОРГИЙ НИКИФОРОВ

КНИГА ВТОРАЯ

Часть третья¹⁾.

I

Встретились они по дороге из Москвы на Клязьму. (Часто герои повествования встречаются в местах, не предусмотренных даже и автором). Лето было в самом разгаре: шлепушилась земля, лениво бродили в степях отощавшие речушки, и молчаливо стояли ошеломленные леса, не в силах вырвать лап своих из недр очерствелой земли. В соснах суетливо ползал неугомонный дятел, нарушая деловитым стукотком тишину, но тишина эта тотчас же восстанавливалась, только подавала голос сиротливая кукушка.

Леонтий Чемерицын угодил сюда от великой тоски и задумчивости. «А-ах! — не произносил — думал он, — Алевтина все еще стирает господское белье. Ефимка выбивается на дорогу: еще месяц-другой — и будет он самостоятельным человеком. Ефимка, милый его мальчишка, который принесет потом отцу своему или радость, или огорчение».

Кукушка перелетела дорогу, и Чемерицын слышал сбивчивое кукованье, недоуменное, как разочарование, не то радостное, как первое свидание.

Старый токарь взял гитару, наивное утешение прежних лет (валялась гитара тут же). Токарь Чемерицын шел к дачам, чтобы утешать других и утешением кормиться. Спервоначально толкался он в ворота московских заводов и все думал: «Не может быть, не может быть», — то-есть не может быть, чтобы для первоклассного токаря не нашлось работы. Чемерицын проголодался тогда и очень устал от ходьбы. В тот день побывал он на заводе Вейхельда, оттуда прошагал к Грачеву, заглянул к братьям Бромлей и, наконец, угодил к Гужону. Так сделал он верст пятнадцать, и вот почувствовал, что все его искания ни к чему, — в час этот и пришло к нему тупое равнодушие. Слепо шагая, забрел токарь на рынок, в обжорку, — такое откровенное название рыночной столовой являлось как бы свидетельством нетребовательности посетителей и дешевизны подаваемых здесь блюд.

В обжорке за один пятак отпускали человеку миску щей и ломоть черного хлеба. Два длинных стола, на козлах, находились под навесом, — столы из основных, начерно выструганных досок, залитых жирными оплесками. Все называли этот угол «обжоркой» и были довольны, что здесь кормили дешевой бурдой; варили бурду из коровьих ки-

¹⁾ См. «Новый мир», кн. кн. 6—8 за 1935 г. и кн. 1 за 1936 г.

шек, хлебово получалось густым и пахучим.

Ломовые извозчики, зажиточные нищие и босяки (золотая рота) становились в очередь, все дешевое перевозилось ими:

— Брандахлыст за первый сорт!

Под столами, между ног обедающих, ныряли блудливые кошки и чесоточные собаки.

Где-то неподалеку должен бы валяться во прахе изъязвленный и смердящий библейский Иов. Но подлижного Иова не было — его с успехом заменяли калеки, изъеденные сифилисом, и трахомные слепцы.

Кто-то, босой и опухший, с гармоникой под рукой, добыл из кармана шкалик водки, ударил в доньшко ладонью и улыбнулся Чемерицыну так приближенно и радостно, будто увидел старого, неожиданного воскресшего друга.

— Казенная пошла, за тремя печатями, с орлом.

Пискнула гармоника; беспомощный голосок этот и вызвал на разговор. Босой и опухший вынул водку в миску, бросил туда хлебных крошек, луку и густо поперчил; перекрестившись, выхлебав потом из миски все дочиста, сразу оживился, воспрянул духом и заговорил:

— Гармошкой кормлюсь, саратовской, с колокольчиками. Ух ты, господи, хорошо-то как! Дышать легче стало после хлебова, душа воспламенилась. Ты, голубок, не похлебаешь ли со мной? — и вытащил еще шкалик.

— Спасибо, — уклонился от угощения Чемерицын, — не пью.

— Чудеса! — подивился собеседник. — А то похлебал бы, мне добра не жалко, меня гармошка кормит. Сам живу-веселюсь и других забавляю.

— Кого же?

— Всех, кого доведется: зимой на свадьбах кадрили, летом около дач пробавляюсь, любовные романсы нараспев. Но ежели бы голос мне был отпущен с выносом, тогда огребай, Пахом, деньгу.

— Зарабатываешь?

— Еще бы нет! До двух рублей, го-

лубок, каждодневно — отдай, а то потеряешь.

— Босой, вижу я, ходишь, — заметил Чемерицын.

— Не взирай, — для облегчения жизни. Хе! Ведь я как приспособился: летом на речке, зимой на печке...

Поутру на другой день и ушел Чемерицын из дому, прихватив гитару, что висела на стене в картонном футляре, как оберегаемое воспоминание о молодости и надеждах, которые, по расчетам его, обязательно должны были осуществиться. Разумеется, Леонтий Чемерицын уверял жену свою Алевтину, что нашел он выгодную работу за городом и уж теперь-то не будет нужды в том, чтобы стирать господское белье. Разговор этот, в сопровождении многочисленных и самых беззаботных леонтьевых улыбок, был приготовлен заранее и получился убедительным.

— А к чему тебе гитара? — полюбопытствовала Алевтина. — Не к твоему возрасту забава.

— Не я, так кто-нибудь из молодых играть будет, народ там веселый живет, — уверял Чемерицын, — и мне под музыку скучать легче.

В широкополой соломенной шляпе, сдвинутой на глаза, сидел Чемерицын в стороне от дороги, под ветвистой березой, припоминал разговор и легонько пощипывал струны гитары. Это была совсем не веселая музыка, блуждающие звуки толкались о стволы ближних сосен или же безвольно повисали в ветвях березы и опадали потом в траву, как опадают с листьев мелкая дождевая пыль. Беспорядочные слова струн нехотя подбирались ленивым течением лесного дыхания, но не относились в сторону, а реяли тут же, над головой музыканта; к тому же снова застонала над лесом кукушка; тогда пальцы правой руки бойчее забегали по струнам, выражая настроение обеспокоенной человеческой души. Чемерицын играл пьесу «Думы Вольтера», половина которой шла в флажолетных тонах, нежных, как цветение яблонь, поднятое ветром, и оттого лесная тишина становилась тонь-

ше и, может быть, прозрачней. Березы роняли сережки, солнце уходило все выше, и светлое небо служило зеркалом для опечаленного музыкой лица российской природы.

Не нарушая гармонии окружающего, шел по опушке леса Гурий Полуденов; форменная фуражка техника сидела легкомысленно и дико на голове его, едва прикрывая своевольные волосы; на левом плече нес Гурий два длинных удилица, и видно было по серьезному лицу человека, будто нес он грозное оружие против всех воображаемых лесных зверей, которые крадутся тут же, скрываясь за стволами деревьев. Неожиданно Гурий услышал музыку, странную и, пожалуй, неуместную в глухой задумчивости дня.

Чемерицын встретил студента рассеянной улыбкой, в которой было вдвое больше печали и раздумья, нежели радости.

— Вы очень хорошо играете, — сказал восхищенный Гурий.

— И пою.

— Что поете?

— Все: романсы, куплеты, деревенские песни, шутки, прибаутки, — что покажут.

Гурий перебил унылое сообщение токаря. Нарушая угнетающую тишину, он попросил:

— Может, и для меня споете, если не обидно вам?

Чемерицын не отозвался; он поставил гитару к стволу березы и неловко и бездумно молчал. Мертво лежали мелкие солнечные пятна, просочившиеся через густую листву, и лежала где-то человеческая мысль, позабытая за ненужностью. Побледневшие губы токаря разомкнулись.

— Мне бы попеть чего-нибудь, — сказал он, — ослабел я очень.

С проворством, которая обнаруживала в человеке большую доброту, Гурий снял привязанный к вершине удилиц сверток.

— Я не догадался, вы уж на меня не обижайтесь, — торопливо оправдывался он.

Наблюдая за тем, с какой жадностью рослый дядя уничтожал продовольственные его запасы, Гурий веселел и, веселея, потянулся к гитаре и легонько стал перебирать струны; потом, приладившись к их веселому разговору, нечаянно зашел:

В церкви, золотом залитой,
Пред оборванной толпой
Проповедывал с амвона
Поп в одежде парчевой.

Изнуренные, худые
Были лица прихожан.
В мозолях их были руки...
Поп был гладок и румян.

«Братья, — он взывал к народу, —
Вы противитесь властям,
Вечно ропщете на бога,
Что живется плохо вам.

Вот зато, когда помрете,
Вам воздастся по делам:
В пламень адский попадете,
Прямо в общество к чертям.

Мимо церкви в это время
Чорт случайно проходил.
Слышит — чорта поминают,
Уши он насторожил.

Гурий спохватился, когда заметил улыбку токаря. Он поставил гитару на прежнее место, покраснел и заторопился вдруг, — так было неловко ему за доверчивость свою и необъяснимое расположение к незнакомому человеку.

«Почему случается у людей так просто со мной? — молчаливо удивлялся, наблюдая за Гурием, Чемерицын. — Как это не подумал человек: вдруг я совсем другой».

— Я на заводе слышал, наши ребята поют, — оправдывался Гурий. — Завод большой, тысячи полторы народу. Я еще и другие слышал.

Он говорил и беспокойно думал при этом: «За каким чортом я о заводе ему сказал? Господи, какой же я дурак, какой дурак!».

Раскаиваясь, продолжал говорить и не мог удержаться, — ему хотелось поскорее доказать, что песенка исполнена просто так и даже неизвестно, почему именно такая песенка взбрела в голову.

Двое приглядывались друг к другу. Гурий возился с удищами, Чемерицын припоминал что-то и все не мог припомнить, — тогда он сказал, чтобы остановить этого человека:

— Песенка хорошая.

Он взял гитару и повторил первые слова, голосом чуть надтреснутым, но еще достаточно сильным и необыкновенно приятным.

Гурий удивился тому, с каким искусством пел Чемерицын. Все еще смущаясь, спросил:

— Может быть, вы артист?

— Нет, — ответил Леонтий, — не артист — бывший токарь завода Ланге. Вы не знаете такого завода?.. Меня прогнали с работы в девяносто первом году за участие в забастовке и за такие вот песни.

Гурий Полуденов бросил на плечо связку удищ. Он поглядел в сторону, через дорогу. Тени удлиннились, дали отяжелели, тишина нарушалась птичьей возней, но духота не переставала томить.

— Завода Ланге я не знаю, — почел за лучшее отказаться Гурий. Ему было стыдно сейчас за все: за то, что он — сын управляющего заводом братьев Ланге, за то, что не мог признаться в этом голодному рабочему, чтобы не стыдиться еще и за отца. Он хотел говорить сейчас о жизни своей, как о тюрьме, в которой не сидел — жил Полуденов Гурий, так он понимал, что видел и слышал, и воспринимал, будто тюремную науку. Конечно, лучше отойти, не сказав ни слова.

— Куда же вы? Есть еще песенки... Ну, как хотите... (Чемерицын радовался простому случаю встречи и уже бесконечно доверял этому парню с откровенной такой улыбкой). Токать долго следил за уходившим Гурием и только теперь припомнил позабытое; это была песенка, насыщенная иронией прошлого и настоящего состояния российской империи.

Друг, не верь простой надежде.
Говорю тебе — не верь.
Горе мыкали мы прежде,
Горе мыкаем теперь.

(Лучше было бы вернуться в город, потому что другие песни не входили в программу Чемерицына, но кому же петь их в дачных поселках. Может быть, господам или дачевладельцам? Нет, об этом нельзя и мечтать. Чемерицын хотел бы устроиться в жизни без конфуза, не пользуясь милостью тех, которых считал он врагами. Конфуз уже случился однажды, когда управляющий конторой завода Ланге, Епимах Киндеев, ласково предложил ему крупную поденную плату за сообщение «сокрушительных» разговоров среди рабочих. Но вернуться в город невозможно. Алевтина, сын Ефимка... (С осени пойдет ему двадцатый год.) Что они теперь делают? Они, пожалуй, ничего не делают; они сидят сейчас за столом, пьют пустой чай и разговаривают:

«Слава богу, нынче Леонтий ушел за город на работу».

Так говорит Алевтина.

«Хе-е...» — по-детски, беспомощно смеется дед Алфей и обнажает подточенные старостью зубы. — «Хе-е!» — и ничего не говорит.

«Меня обещали назначить артельным старостой. В августе, надо быть, обязательно назначат».

Так, не без гордости, объявляет Ефимка.

Чемерицын видит, как ныряет в мелколесии форменная фуражка Гурия.

«В церкви, золотом залитой» — думает он словами песенки. И смеется, смеется, собираясь итти по черте, которую в зеленой пыли веселого леса оставляет фуражка.

«Что же произошло с хитроумным попом? Чорт, оказывается, сел у паперти, прямо перед солнцем (было чорту холодно на дряхлой и грешной земле), и стал дожидаться, когда кончится обедня и выйдет поп. Довольный тем, что обморочил прихожан, поп как-раз торопился домой, к пирогу, к попаде, к отдохновенью. Но лишь только появился он на ступенях паперти, чорт схватил его за рясу, поднял высоко над городом и опустился прямо в сталелитейный цех большого и мрачного металлургического

завода. «Вот видишь, — засмеялся чорт, держа за шиворот перепуганного попа, — не ты ли, безумный, пугал их адом?».

Но чорт, конечно, сочувствовал попу, — он попугал его и отпустил...)

Чемерицын остановился на берегу Клязьмы; сюда стекала лесная прохлада, здесь в осиннике бормотала листва, и под берегом лежало предвечернее небо.

Не испытывая большой надобности в красотах природы, Чемерицын пошел к дачам. Облаянный собаками у первой дачи, он направился ко второй. Остановился у решетчатой ограды, как-раз напротив застекленной террасы, надвинул глубже шляпу.

— Там нищий, Варя, у ворот...

— Нищий? Нет, там человек с гитарой.

У Солунцева гости, им весело, они хотят, чтобы еще веселее было.

Хозяин дачи — Сергей Андреевич Солунцев — все тот же; правда, он чуточку раздался, но ведь это именно и соответствовало занимаемому им в обществе положению (автор не говорит — возрасту). Его любвеобильное сердце бьется ровнее, оно как бы угодило в золотую клетку написанного закона, который благословляет любую опухоль человеческой души. Перед тем как появиться человеку с гитарой, Солунцев хорошо и, казалось ему, убедительно поспорил о российском мужичке, о пролетариате и, наконец, о литературе. Слава богу, все было ясно.

Нет, он не может поверить, чтобы русская натура улеглась в узкой щели европейской культуры. Вся беда в российском многоземельи, в этом источнике созерцательной философии, лени и азиатчины.

— Обратите внимание, я, Сергей Солунцев (господи боже, я полагаю, что вы не заподозрите и меня тоже в азиатчине!), отодвигаю вот этот стакан с вином и говорю: «Варя, скажи, чтобы подали кувшин квасу, нашего, ядерного, русского, а ведь я кончил два факультета, юридический и историко-филологи-

ческий. Хе! над этим стоит призадуматься.

И все задумались, потому что были сыты и немного пьяны. Агроном Станислав Брас шагал по обширной террасе. Евгения Строчилина, не отрываясь, глядела на Илью Травина, Варвара Александровна вздыхала за серебряным самоваром, Травин скромно сидел в плетеном кресле и мечтательно улыбался, — он еще не смел участвовать в споре, да, пожалуй, и не собирался, — Дорофей Самохин дремал на ступенях террасы.

— «Печально я гляжу на наше поколение», — насмешливо произнес Брас. — Я поляк, но никогда, Сергей Александрович, не рискну утверждать, будто Россия является очагом обломовщины.

— Господь с вами, дорогой мой, я и не утверждаю, — отмахнулся Солунцев. — И вообще обломовщина есть плод досужего ума. Я говорю о лени, самой обыкновенной российской лени. Наш отечественный предприниматель, к примеру, далеко не Обломов, но... как бы это сказать?.. он берет то, что находится сверху, что легче взять. Он не будет заводить новых, усовершенствованных машин, не выстроит хорошо оборудованного завода, чтобы увеличить производительность, он просто увеличит рабочие часы и уменьшит поденную плату, заставит простой лопатой перекопать всю землю, сделать в земле сквозную дыру, если понадобится. Что вы мне скажете, Брас?

Брас молча продолжал ходить. В эту минуту и залаяли на соседней даче собаки, залаяли густо и победительно.

— Я согласен, — сказал Брас: — Все, о чем говорите вы, свидетельствует об азиатчине, лени и...

— И невозможности применять к России европейскую мерку, — подсказал Солунцев. — Чем вы улыбаетесь, Травин?

— Я ничего не слышал о пролетариате, Сергей Андреевич, — несмело подавал голос Травин и тут же обернулся к Строчилиной, с явной надеждой найти в ней поддержку в случае нападения.

— Да, вы так-таки ничего и не ска-

зали о пролетариате, — сказала Строчилина.

— Ах, о пролетариате! — вздохнула Варвара Александровна. — Слышишь, Сергей?

— Что вы хотели бы знать? — спросил Солунцев и застонал. — Не люблю будней, и не лучше ли помечтать о чем-нибудь праздничном. Наступает час, когда природа улыбается всем и зовет к миролюбивой тишине всех, всех...

— ...сытых и обеспеченных, — насмешливо буркнул Самохин. — Чего стесняться, говорите напрямки.

— Пожалуй, напрямки будет лучше всего, — согласился Брас.

Солунцев откинулся в глубоком кресле, он смеялся.

— Вы говорите о русском пролетариате, как о мессии, который призван разрушить старый мир и на его обломках построить новый. «Отречемся от старого мира» и так далее. Но пролетариата еще нет, а тот слой рабочего люда, который вы принимаете за пролетариат, состоит из мужичков, не способных на серьезную борьбу. Как это вам не ясно, я не понимаю! Лучшие умы России — Толстой, Тургенев, Достоевский — говорят и говорили об этом достаточно убедительно. Вы хотите перестройки российского государства насильственным путем, а я утверждаю, что только в сотрудничестве с интеллигенцией народ добьется свободы, добьется не путем революционных требований, а экономических. Вы кричите о борьбе классов, вам служит евангелием «Коммунистический манифест», вы носитесь с пророками революции, как с чудотворными иконами, но чуда не произойдет, и ваше евангелие принято не будет. А газеты.. Господи боже! кто из рабочих одолеет «Искру», кто поймет теоретиков марксизма из журнала «Заря»? Не верю, не верю! Рабочий, этот мужичок, временно променявший соху на молот, далек от мысли завоевывать власть, как бы громко ни кричали: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Они соединятся с крестьянством, потому что друг друга прекрасно понимают, и не власть полити-

ческая нужна им, а власть над землей, которая кормит их. Вот почему я готов, в меру моих сил, содействовать экономической борьбе рабочих и, если угодно, претерпеть гонения. Я смело заявляю: да, борьба необходима, но не борьба революционная, до которой нужно еще расти столетия, а может быть, и больше того... Что вы толкуете мне о классовой борьбе? Экономическая борьба и есть, по сути своей, борьба классовая.

Он развивает свои мысли дальше, он говорит в окружающее безмолвие, как в пустой чан, и вдруг замечает, что его никто не слушает: Строчилина вполне завладела Травиным, Самохин продолжал дремать под широкой тенью лип, Брас читал книгу, и лишь восхищенные глаза жены поощряли Солунцева. Ему следовало бы остановиться, но, сорвавшись с крутого разгона, он перескочил на литературу: он был недоволен Добролюбовым и восхвалял Достоевского, поносил Белинского и восторгался Сенковским; так скакал Солунцев на неудержимом коне собственного красноречия, покуда не заметил свирепой улыбки очнувшегося Самохина.

— Чорт меня возьми, — проворчал Самохин, поднимаясь, — а ведь я думал, что вы со своим никудышным экономизмом давно умерли. (Машинист этот вдруг забегал и засуетился, отыскивая свою фуражку, которая валялась тут же, на ступенях террасы.) Удивительно, ей-богу, за каким бесом таскаюсь я на вашу дачу... Позвольте-ка, кто видел мою фуражку?.. Таскаюсь, как дурак, и ничего не понимаю! — Самохин остановился перед Солунцевым. — Вы... как это сказать... в свою веру хотите перетащить нас или что?

— Ну вот, ну вот! — залепетал Солунцев. — Страшный вы человек, Дорофей Кузьмич: вы не терпите другого мнения, кроме собственного, кроме собственной эсдековской программы, с вами нельзя спорить. Ну, садитесь, прошу вас, будем говорить о литературе, о природе, о рыбной ловле, наконец.

— О рыбной ловле? — переспросил Брас.—Хм... мне кажется, Сергей Андреевич, вы как-раз занимались рыбной ловлей. Нет? Ну, тогда я прошу прощения, мне так показалось, и... я не хотел мешать вам, честное слово. — Брас поднял со ступенек самохинскую фуражку. — Чего же ты остановился, Дорофей?

— Там нищий, Варя, у ворот, — обрадовался Солунцев появлению Чемерицына, как чудесному избавлению, устранявшему скандал.

— Нищий? Нет, там человек с гитарой.

— Замечательно, замечательно, — вскинулась Строчилина. — Зовите его сюда. Нет, я сама...

Тяжело согнувшись, подходил Чемерицын к чужому крыльцу. В первый раз за всю свою жизнь не за работой — за милостыней, и вела его к этому позорному крыльцу Евгения Строчилина, дочь московского купца-миллионера. Она улыбалась теперь одному Самохину, и отошло от ступеней крыльца вечернее солнце, сконфуженное, должно быть, сияющей красотой этой женщины, ее любовью к Самохину и милостью к Чемерицыну.

Самохин остановился. Не мог сделать шага, следя за Строчилиной. И по тому, с каким остервенением комкал он в руках фуражку, можно было объяснить, зачем посещал человек дачу ненавистного ему Солунцева.

«Сейчас уйду! — молчаливо злился он. — Будь я проклят, если не уйду!»

И не уходил.

«Да, я знаю, почему она все время с Травиным. Илья тоже не дурак... А если дурак? Фу, чорт!».

— ... Я не пою, — отказывался тем временем Чемерицын. — Немножко играю, только и всего.

Он слегка подергал струны, сыграл что-то случайное и удивился наступившему молчанию. Рядом, едва касаясь локтя его руки, стояла Строчилина, и он ждал — вот она запоеет, и казалось ему, будто пришла она вместе с ним к ступеням террасы за милостыней; тогда он

подумал, что надо протянуть шляпу, как это делают шарманщики, но вместо шляпы он протянул гитару.

Инструмент очутился в руках Травины, и Чемерицын услышал восклицания удивления, почти детской радости, но ему не хотелось поднимать глаз, чтобы люди на террасе не заметили его необъятного унижения.

— Краснощековская гитара! — взволнованно шумел Травин. — Да уж, слава богу, в этом-то я понимаю, — доказывал он, хотя ему и не возражали.

— Замечательная пара! — говорил Брас, указывая Самохину на Чемерицына и Строчилина, которые все еще стояли у террасы. — Посмотри, Дорофей, что она собирается делать.

— Я покупаю гитару... Хотите продать гитару? — Строчилина теребила рукав чемерицынской блузы и все старалась заглянуть под широкополую его шляпу. — Я уплачу вам сто рублей... Вот и отлично.

Надо заметить, что Чемерицын так ничего и не вымолвил, он только глубже надвинул шляпу, он закрыл наполовину лицо, но, должно быть, этот жест Строчилина поняла как согласие. Она взбежала на террасу взволнованная, закопалась в сумочке, и в руках у нее загремели новенькие четвертные. Она взглянула почему-то в сторону Самохина, заметила его остановившееся лицо и улыбнулась так болезненно, что на глазах ее проступили слезы. Потом, когда деньги были уплачены, она подошла к Травину и сказала, очень уж старательно громко:

— Пожалуйста, возьмите эту гитару себе, я очень давно собиралась вам подарить что-нибудь. Вот...

Чемерицыну надо было уходить, однако он все еще стоял, точно собирался возвратить полученную сумму и взять гитару, но было видно по всему, что он рад деньгам; у него дрожали руки и дергалась голова, как будто человек внутренне хохотал над щедростью девушки, которая так безрассудно тратила деньги. Наконец, он сдвинулся с места, направился к воротам. И как будто его

появление и уход не произвели никакого впечатления на людей, оставшихся на террасе. Солунцев снова затеял спор о литературе; он полагал, что такой предмет не может вызвать неприятных осложнений, зато дает возможность уноситься бог знает куда, в самые глубокие и, может быть, еще не исследованные области человеческих страстей, психики и мышления, и попрежнему Солунцеву возражал Станислав Брас.

... Позвольте, он не может согласиться, что художник является каким-то сверхъестественным существом, что человеческие законы общежития для него необязательны. Правда, художник чувствует острее, видит дальше, понимает шире, и возможно, что окружающий его мир имеет другие краски в его глазах, и, может быть, иные человеческие поступки для него смешны, а общепризнанные герои кажутся ему маленькими, даже ничтожными. Не принимал же Лев Толстой Наполеона!

— И бога пытался объяснить по-своему, — заметила Варвара Александровна.

(Между прочим, она тут же сбилась и заговорила о каком-то романе, который она всегда брала с собой и читала в вагоне дачного поезда. Не будем ее осуждать, роман произвел на нее большое впечатление.)

— Но, ей-богу же, я ничего не вижу в этом необыкновенного, — утверждал Брас. — У писателя, например, повышенная нервная деятельность, только и всего. Как вы думаете? Вдохновение, прозрение, божественное наитие, даже пророчество, свойственное редчайшим, имеет ведь чисто материалистическое объяснение.

Все это было высказано в полминуты, точно у людей давно уже лежали где-то, про запас, готовые на такой случай слова. Противники (за полминуты же) успели помолчать и многое продумать.

Между тем Илья Травин совсем приладился к гитаре и, в радости своей, позабыл поблагодарить Строчилина. Может быть, он объяснял ее поступок по-своему и, черт знает, считал его есте-

ственным. Встревоженные струны гудели под его удивительно ловкими пальцами. Вытянув шею, Травин как будто собирался запеть нечто торжественное, такое, что не нарушало бы спокойного умирания летнего дня.

Самохин снова устроился на ступенях террасы; теперь лицо его было подвижным и осененным совсем неразумной улыбкой. Евгения Строчилина сидела рядом с ним, лишь на одну ступеньку ниже, так что Самохин хорошо видел ее запрокинутую голову, и к нему были обращены слова женщины:

— Ты слышишь? Я люблю тебя, ты можешь верить этому или не верить. Люблю все, даже твое происхождение, всю родословную твою, из поколения в поколение, люблю за то, что ты существуешь теперь вместе со мной... Господи! когда я говорю так, у меня все кружится перед глазами. Почему ты ничего не говоришь? Я хотела бы подарить... подарить эту гитару тебе (прости меня за то, что говорю о ничтожном и ненужном), я подарила ее Травину. Ты не думай, будто я люблю его, и не думай, что я говорю тебе так оттого, что богатая и мне скучно. Я заплатила сто рублей за гитару и подарила ее Травину.

— Подари еще сто рублей тому человеку, — кивнул Самохин в сторону Чемерицына, который толкался теперь у ворот. — Возьми и подари, что тебе стоит...

— Да, да, в самом деле, — обрадовалась Строчилина, — так будет хорошо! Вот это и будет для тебя...

Дальше, как рассказывал впоследствии сам Чемерицын, дочь миллионера, Евгения Строчилина, выбежав за ворота, упростила его принять сто рублей. Это показалось ему крайне подзрительным, хотя счастливая улыбка женщины не давала повода так думать. Чемерицыну показалось также, совсем уж нелепое и недопустимое, будто пыталась Евгения, в порыве непонятной ему благодарности, поцеловать его руку.

В рассказе все соответствовало действительности: Строчилина проводила

Леонтия Чемерицына до станции, неоднократно склонялась к тяжелой его руке, но не поцеловала, — нет, этого не случилось.

Евгения, возвращаясь на дачу, еще издали услышала возбужденный голос Браса; по голосу можно было судить, что спор о литературе, затеянный Солунцевым, все же принял угрожающие формы. Люди выговорили вслух много мыслей, не считаясь в азарте с их тяжестью, и теперь беспокойно кричали, потому что тяжесть была непосильной.

— Если бы знали мы, что значит быть истинным художником, и если бы сам художник знал заранее, какое бремя возлагает он на голову свою, тогда никто (сделайте милость, не спорьте со мной) и никогда, может быть, не согласился бы взять на себя эту бесконечно радостную, эту опустошающую душу обузу, — взволнованно доказывал Брас. — Вы нарочно не хотите согласиться со мной, — говорил он, — вы просто притворяетесь. Ах, как надоели мне все ваши высокие слова о литературе, об искусстве, эти словесные приники, которые не насытят голода человечества... Ну, вот и все. Я высказался и не хочу больше об этом говорить.

— Ты очень уж накричал, Станислав, — заметил Самохин. — Истинных художников мало ведь, так что они обязательно пострадают, и это ничего, — люди разверстают потом их страдания между собой поровну.

О каких страданиях, радостных и тягостных будто бы, говорил Брас — вот что неясно было Самохину. Он подумал и спросил:

— А если художник работает для своей родины, для своего класса? Ты как-раз упустил это. Если он служит его идеалам?.. Чего вы там бурчите, Сергей Андреевич? Какое надклассовое искусство?.. Ни черта не понимаю!

— Между прочим, вспомнил я одну историю, — снова вмешался Брас, — забавная история, и, пожалуй, к нашему спору. Был у меня приятель один, молодой еще человек, но в чине — надворный советник, кажется, а может, и

чорт его знает кто. Ну, только выгнали его со службы за что-то, и очень это моего приятеля огорчило, конечно, однако, как он уверял меня, ему это наплевать было. Главное, была у него невеста, прямо свет в окошке. И вот, когда узнала, что выгнали со службы и все прочее, так и она его тоже выгнала. Понимаете? События произошли весной, у всех этакое душевное песнопение, а ему впопугу повеситься. Всю ночь не спал, все думал и прикидывал в уме, как ему быть. Выбрался поутру из квартиры и направился за город, напрямиком к лесочку. Идет себе полянкой, и солнце в глаза ему светит, над рекой туман розовеет, а человек собрался умирать, то-есть уйти от всего этого, исчезнуть окончательно. И так ему тошно было, что он тут же и отчаянные стишки сочинять принялся о вероломстве женщин и о цене на любовь. Спустил ноги под обрыв, в омут, и уж совсем приготовился нырнуть, тут одна какая-то секундочка осталась, однако стишок-то продолжает сочинять, чудак. После читал мне и смеялся:

Да, в жизни все останется воспоминаньем —
Крикливым или, может быть, немым,
И то, что называется страданьем,
Потом окажется, наверное, смешным.

И все ж за каждый миг желанья,
За тощий луч любви простой
Охотно пьем из чаши наказанья
И веселимся нашею слезой.

И вдруг, слышит он, вибрирует в небе жаворонок — и так разливается, чорт его подери, на ногах устоять невозможно! Приятель мой послушал, послушал, да и вздохнул с большим таким облегчением и тут же сказал: «А ведь жить-то, пожалуй, можно, да еще как можно-то!..» Вот и вся история, если, конечно, говорили мы о настоящем искусстве, и если это искусство не заикается к тому же...

II

Двое людей (имена их покуда неизвестны), по молодости своей, верили, будто живет на земле правда, но лица

ее никто еще не удостоился видеть, вот почему все разговоры о правде всегда туманны. Одни утверждали: она прекрасна, так прекрасна, что земля не выдерживает ее красоты, оттого и живет правда на небесах (может, потому, что на небесах не запачкаешь риз своих). Были и такие, многоопытные и умудренные, которые говорили о великом приближении несчастья, когда люди свергнут правду на землю и униженным поклонением своим, лестью и глупыми песнопениями осквернят ее, — тогда правда погрязнет в буднях, и выдумает мир свою правду, удобную для них и такую снисходительную, что можно будет оправдать любое преступление: войны, грабеж, власть золота, подчинение человека человеку же, наличие господ и рабов.

Протекли века, и удобная правда, как разбойничье благополучие, как проклятие униженных, действительно, стала властвовать в мире; она расположилась, самодовольная, на самодовольных лицах своих избранных, и вот никто не знал уже, можно ли избавиться от выдуманной правды. В эту пору отчаяния и душевного растления и появился гений. Однако существование гения многими и многими не допускалось. Первым из неверующих был управляющий конторой завода братьев Ланге, Епимах Киндеев, который будто бы утверждал, что гений на земле невозможен. «Род человеческий не вынесет его пребывания и тот же час убьет, — говорил он, — и, кроме того, страшно гению в мире, и миру страшно в присутствии гения».

Слава богу, туманное это рассуждение так и осталось непонятым, и гений появился в самый разгар человеческой суеты и несправедливости. Тогда же и прошел слух, будто зло, утвержденное удобной правдой, скоро исчезнет, надо только предать осмеянию величие монархов, самую власть (божью и человеческую), подвиги, свершаемые в кровопролитных сражениях, все, все, чем кичливо похвалялся и похваляется мир.

Люди покуда жили и старались, сами того не подозревая, быть обыкновенными;

от обыкновенности этой и болели они сомнением. Мудрые же встречались редко, но именно их-то и обходила правда своей милостью и вниманием, как самых необыкновенных, которые, по совести, ни в чем и не нуждались.

Птицелов Алфей, уже древнего возраста, должен был умереть, о чем сам и сообщил дочери своей Алевтине:

— Что-то я, доченька, солнца не чувствую, кровь моя, значит, вглубь ушла. Мнится мне, помру я нынешним летом беспременно. А? Чего ты говоришь?.. Видишь ты, скорби какие: ты молчишь, а мне чудится, отвечаешь: «Умирай, старый, умирай, не тяготи землю». Ничего, ты не обижайся. Расти сына, отраду свою, моего внука, на радость или на горе, что господь пошлет, ты не отказывайся.

В этот день на колокольне кладбищенской церкви звонил пономарь ко всеобщей. Проходила над городом резвая тучка, и длинные ее космы, подожженные солнцем, цеплялись за высокие крыши домов. Пономарь перестал звонить, облокотился на перильца и поглядел вниз. Над двором резвились стрижи, и пахло пылью, как трупом, только-что тронутым тлением, но издали накрапывал уже освежающий дождь и чувствовался приход праздника. Город хотел быть чистым и сияющим в первый раз за всю свою жизнь. Пономарь, одинокий и счастливый от приступа непонятного и волнующего, задумался над вопросом — где, какими дорогами пробежит его жизнь и будет ли так от века до века: бог, земля и небесная, почти иконописная, тишина? Улицы обежали кладбище, расположилась вокруг шумливая жизнь, и сюда, прямо к божественному месту, валил из труб завода братьев Ланге густой дым.

Ефим Чемерицын возвращался домой, с линии, где плательщик только-что выдал ему по ведомости двадцать семь рублей и тридцать две копейки, как артельному старосте. Был молод Ефим и полон всяческих надежд. Отец обещал ему, что скоро грянет революция и жизнь побежит другим кругом, где да-

же его, девятнадцатилетнего Ефимку, будут принимать за полного человека. Железнодорожное начальство сулило другое: казенную квартиру, хороший оклад жалования, форменное обмундирование и спокойную жизнь где-нибудь на раз'езде и за все это требовало беспрекословного подчинения и неослабно го надзора за мужичками, ремонтными рабочими. Ефим торопился порадовать мать первым жалованием, невинным своим счастьем и здоровьем. Он ничего еще не знал об удобной правде, приспособленной для русской земли, и не мог, конечно, почувствовать влияния гения, приход которого так уверенно отрицал Епимах Киндеев.

— Здравствуй, мама! — сказал Ефимка, обнимая мать. — Здоров, дедка! — подошел он к Алфею и тоже обнял и поцеловал.

И было смешно и радостно глядеть на то, как тонкое тело матери совсем пропадало за об'емистой прудью рослого сына. Дед Алфей смеялся беззвучно и лепетал, пришепетывая:

— Задушит, мошенник, — отпусти душу на покаяние...

Всегда обнимал Ефимка мать и деда, а нынче сидели еще двое. Первый — пожилой еврей, в полинявшей, без пуговиц, студенческой тужурке; сидел он, сгорбившись, и над ушами у него повисали длинные седые клочья, будто выхваченные из вороха густых еще волос. Другой, в широкой блузе, отвернулся к окну, и плечи его чуть подрагивали, — должно быть, не в силах был он смотреть в глаза далекой радости своей.

Алфей все смеялся и пришепетывал, другие молчали; только поваркивал и чванливо отдувался на столе самовар, окруженный закусками.

Ефимка заметил, с какой взволнованной поспешностью суетилась мать, бегая из кухни к столу.

— Тиночка, Тиночка, дай порадоваться, — бормотал Алфей, — порадоваться напоследок моей жизни.

Алевтина грозилась, и на минуту Алфей умолкал.

— Ну, поздороваемся, что ли, —

предложил Чемерицын — отец сыну Ефимке.

Но Ефимка не знал, следует ли ему обнять отца, как обнимал мать, или нужно по-взрослому подойти, пожать руку — и все. Покуда он смущенно размышлял, человек, тот, что сидел отвернувшись, тихо поднялся и встал за ефимкиной спиной.

В комнате было светло и весело, на горбатом полу дымились солнечные лужицы, предзакатные, очень красные и густые. В это время все, кто находился в комнате, жили, пожалуй, ощущениями — не мыслями, минута была как бы молитвенной. Ведь эти люди никогда не отдыхали по-настоящему, и каждый час душевной их тишины и счастья оставался уже на все годы памятным. Теперь они хотели как можно больше получить удовольствия. Дед Алфей высказал желание встретить этот вечер во дворе, в котором он срубил когда-то невеселый, давно высохший тополек и посадил два ясеня и яблоню; теперь деревья разрослись так широко, что захватили весь угол двора.

Алфеево приглашение было косноязычным, но приглашение это поняли и приняли с большой охотой. Предстоящая минута волнующего счастья была такой переполняющей, что люди боялись высокого под'ема сердца.

Ефимка сделал движение, и все подумали: «Сейчас он будет обнимать и целовать своего отца». Но Ефимка, схватив со стола самовар, пошел к двери, во двор. Алевтина, оказывается, уже хлопотала около стола под ясенями, она опередила сына. Ефимка поставил самовар и вдруг почувствовал, что чьи-то крепкие руки легли ему на плечи.

— А ну, какие бывают лешие? — спросил Ефимку знакомый и самый близкий ему голос.

Ефимка не ответил, у него задрожали губы, а ноги почему-то стали необычайно тяжелыми. Через силу, с большим трудом Ефимка выговорил:

— Дядя Митя!..

И не обернулся. Он подождал, когда снова будет взрослым, девятнадцатилет-

ним крепким парнем, чтобы никто не заметил, какие у него невыносимо слабые глаза. Ему хотелось подать своему учителю недетскую руку и, — самое большое, что мог он сделать в присутствии этих людей, — поцеловать дядю Митю.

Леонтий Чемерицын и тот еврей, в полинявшей студенческой тужурке, даже дед Алфей стояли поодаль и разговаривали самым усиленным образом. Конечно, собеседники были людьми опытными и, когда нужно, умели хитрить и притворяться. (Кажется, они вели разговор об Америке, и Алфей признался, совсем уж неожиданно, будто он давно мечтал съездить в эту Америку и однажды ему приснилась Америка. Во сне он обошел ее вдоль и поперек (ах, как это было чудесно!), а ходил с птичьими западнями и клетками, и в руках у него были удилица. Он пробовавал ставить западни, и туда попадались птицы с такими светлыми или огненными перьями, что невозможно было смотреть на них. Он присаживался на берегах рек и вытаскивал совсем невиданных рыб, очень глазастых и однобоких, и не решался сварить из них уху, и все плакал — как сейчас помнит — об окунях и ершах, а среди птиц так и не пришлось встретить наших, настоящих русских чижей, отчего дядя Алфей затосковал смертной тоской и проснулся...).

Ефимкины глаза заметила мать, и она засмеялась таким хорошим, таким поощрительным смехом, что сразу стало легко и совсем не стыдно.

— Ты совсем еще глупеньш, Фимка, совсем-совсем маленький, — сказала Алевтина.

И тогда Ефимка заплакал; он приткнулся к плечу Дмитрия Лепихина и так плакал во всеулышание, не обращая внимания на окружающих, покуда не выплакал молодых своих слез. Тут все подошли к столу, засмеялись шумливо и весело.

— Ты чего же, Фимка, с одним Дмитрием лобызаешься? — веселился Чемерицын. — Другие тоже своей очере-

ди ждут. Гляди сюда. — Он вывел впереди всех человека в полинявшей тужурке. — Вечный студент, неутомимый оратор и боец за рабочее дело, Семен... Львович (так, кажется) Рорбах. Целуйтесь скорее, и будем пить чай и веселиться.

Через минуту все уже за столом, и Алевтина едва успевает подносить пирожки с картошкой.

Рорбах сидит с Чемерицыным рядом, напротив Дмитрий с Ефимкой, и во главе стола, прямо перед сияющим самоваром, дед Алфей. Солнце свалилось за кладбищенскую церковь и, рассеянное надвое тонкой колокольней, отбрасывало лучи свои в большеголовые облака, и сразу наливались они тяжело-весной кровью, медленно оседали, открывая глубокую синеву неба.

«Кажется, вот эти же пирожки с картошкой мне приходилось есть десять лет тому назад... ну да, совершенно верно, за этим же вот столом, — так думает Семен Рорбах, награждая всех рассеянной улыбкой своей. — Честное слово, можно поверить, что время перескочило с утра к вечеру — вот как — и никаких десяти лет не было, если не глядеть на самого себя в зеркало».

В алфеевом флигельке запела вечернюю песню варакушка. Рорбах удивился замысловатым переливам, решил, что птица поет в ветвях яблони, не в неволе.

— Кто это? — спросил он.

— Варакушка, красота господня, — сообщил Алфей. — Вот она, — указал старик на клетку в окне. — Спервоначалу, когда поймал, хохлилась, а теперь из неволи бога славит. Четвертый год держу. Нонешним летом, в троицын день, выпускал — не летит...

— В ссылке я очень много читал и много думал, — печально улыбнулся Рорбах, — и мне стало казаться, что в мире нет плохих законов. Да, да, вы только послушайте: если закон существует, скажем, тысячу лет, то уже люди так к этому закону приспособятся, так научатся его обходить, что потом закона и не замечают вовсе.

Оглядел лица присутствующих, ожидая, видимо, утверждения или отрицания того, что высказал.

— А городок, в котором жил, я уж не знаю, какой: зимами снегом заносит, в летнюю пору в травах не отыщешь. Земля вокруг очень плоская, и небо тоже плоское, и лица у людей тамошних плоские, и говорили они бог знает на каком наречии...

Рорбах закашлялся вдруг, выскочил из-за стола, припал к стволу яблони; кашлял он мучительно, со свистом и всхлипываньем, так, что потом долго не мог отдышаться.

— Вот, — сказал Чемерицын, — оказывается, плохие законы все-таки существуют.

Рорбах успокоился и глядел на всех просветленными глазами,

— Тогда я начал разговаривать с самим собою, — продолжал он. — Не понимаю причины вашего смеха? Я разговаривал потому, чтобы не разучиться говорить. Мне было особенно плохо, когда приходила осень. Тучи над степью ползли несколько тысячелетий, так я думал, или время останавливалось, я садился у окна, у крошечного окошечка моей избы, смотрел и думал и говорил себе: «Что ты думаешь, Семен? За каким чортом нужно, чтобы ты сидел здесь, и в чем тут смысл? Нет, мне никто не отвечал. Я знал — есть солнце, есть великолепные города, есть власть, которая пишет законы, есть любовь, не знающая законов. Передо мной проходили миры, и я распоряжался ими. Хе! вот в такое время я и возненавидел законы, потому что они приучают человека к рабству, но никто в этом не хочет сознаться — ни власти, ни рабы. Власти привыкают к власти и оттого становятся добрее даже. И есть еще люди, средние люди, они очень оберегают свою цыплячью жизнь, они со всем на свете помирились и говорят всегда так: «Что же поделаешь, надо примириться». Ох, как я злился в моей избушке. «Будьте вы прокляты, — кричал я. — Обойдусь без вас».

Рорбах огляделся — никого не бы-

ло; дремал один только дед Алфей, перейдя на крылечко своего флигелька (вот до чего неинтересны были разговоры о том, как человек тосковал на виду перед осенним небом). А человеку хотелось открыть какую-то истину, но за долгие годы ссылки так и не удалось этого сделать. Иногда казалось: истина — вот она, и вдруг поднимался непреодолимый страх, и нужно было спастись от приближения истины. Оказывается, все было просто: человеку дано право размножаться, для этого нужны хорошие условия, прочее-другое — выдумка. Можно сказать с уверенностью, что завод братьев Ланге, например, так же дымил трубами, как и сейчас, и хозяева завода думали об одном: держать в повиновении возможно дольше своих рабочих. И все — вот что удивительно — думали: так оно и должно быть. Часто Рорбах обращался к библии, к этой великой поэме рабства, и там находил вопросы только житейского порядка. «Позвольте, — кричал Семен Рорбах. — А что же поднимает человека над землей». — «Бог» — говорили ему. «Хм! — сомневался Семен. — А не кажется ли вам, что бог-то и есть основа всех будней? Вот и выдуман он, ей-богу же, не выше человеческого ума, и все церкви, мечети, синагоги, пагоды — просто-напросто кукиш для бога. Да, да тут уж вы ничего не поделаете со мной. Я, Семен Рорбах, думаю и знаю, что для избавления от будней нужно призвать революцию. Революция и будет первым небудничным началом во всей истории человечества...»

Все очень любили и уважали Семена Рорбаха, но что же делать — будничные заботы были, покуда, выше других забот.

После близкого и необычайно хорошего молчания между Ефимкой и Дмитрием Лепихиным Чемерицын улучил минутку для разговора о делах. Позвали Рорбаха, который окончательно осоловел от чая и пирожков с картошкой.

Трое взрослых собрались в той ко-нурке, которая впервые служила когда-то убежищем для Леонтия Чемерицына, трое взрослых оставили посторонние рассуждения и не поднимали философских вопросов, и разговор их был самым будничным.

— Меня познакомили с молодым человеком, — сообщил Рорбах, — с хорошим молодым человеком. Погодите, не перебивайте меня... его-то уж никто не заподозрит, будто он с нами, вот какой замечательный молодой человек. Я уже передал ему гектограф, и мы поместили его в самом удобном месте. И, слава богу, в аптеке моего покойного папаши был большой запас желатинны, каолина и глицерина, а теперь этого запаса в аптеке не имеется.

— У тебя бешеная энергия, Семен, — одобрил Чемерицын. — А что делать нам?

— У меня такое предчувствие, что все будет хорошо, — сказал Дмитрий. — Я поступаю на завод...

— На завод? — удивился Чемерицын. — После ссылки — на завод?

— Меня очень любит старик Семякин, ей-богу. Увидел — расплакался. «Приходи, говорит, Турурок. (Вот ведь как! Турурком назвал.) Люблю тебя, стержца, за хорошее твое мастерство».

— У меня тоже хорошее предчувствие, — улыбнулся Рорбах. — Молодой человек сказал мне, чтобы я оделся во все лучшее. Хе! Это просто восхитительно. «Что же у тебя, Семен, может быть в твоём гардеробе?» — спрашивал я, и напялил-таки папашин парадный сюртук и полосатые брюки. И тогда приводит меня тот молодой человек в час ночной в ресторан «Севилья», и я замечаю, что все официанты очень почтительны, гнуты перед ним в три дуги и отводят нам самый уютный уголок за пальмами. «Что за чорт! — думаю я. — Может быть, сын миллионера, молодой кутила?» «Чего вы хотите? — спрашивает он. — Может быть, вы хотите хорошего вина? Говорят, в ресторане моего папаши подают самые луч-

шие вина». В ресторане папаши? «Нет, я не пью, молодой человек, — отказываюсь я. — Значит, ваш папаша — Карп Серафимович Полуденов?» — «Так точно, — кланяется молодой человек, — я сын хозяина ресторана, Гурий Полуденов...» Тут я уже начинаю оглядываться, в какую бы дверь удобнее всего выскочить. Я встаю и тоже раскланиваюсь. «Очень, — говорю, — лестно, что вы оказали мне честь, познакомься со мной, но сейчас я очень тороплюсь, и уж как-нибудь в другой раз мы побеседуем». Так вы знаете, что? Он заплакался. Он уцепился за лацканы моего сюртука, тряс меня, всхлипывал и говорил: «Я вам докажу, я докажу вам. Пусть будет проклято все на свете, если не докажу. Меня знает Самохин. Вы мне поверьте, вы рискните, — говорит. — Вы же, товарищ Рорбах, революционер, рискните, тогда и узнаете».

— Полуденов, Полуденов, — бормочет Дмитрий Лепихин. — Что ты скажешь, Леонтий Никанорович?

— Надо поговорить с рабочими, — предлагает Чемерицын.

— Поговорить с рабочими, — вскакивает Рорбах. — Слава богу! Ты как-раз вовремя подсказал мне, Леонтий. Ты думаешь, я такой чудак, — сразу обрадовался и сразу перетащил к Полуденову все: и гектограф, и материалы? Ты сам чудак, Леонтий.

— Хорошо, хорошо, не буду больше чудачком. Садись и не шуми.

Чемерицын выглянул в окно. На крылечке флигелька дремал Алфей; вечер, сияющий и теплый, стоял во дворе; и вдруг в торжественную его тишину ворвался далекий свисток паровоза. Тогда перед Чемерицыным возникли Уральские горы и затерянные среди них башкирские деревеньки, хорошо знакомые места ссылки.

— Все-таки нужно быть осторожнее, — сказал он. — Повторное путешествие туда мне, пожалуй, будет не под силу...

— Куда «туда»? — остановился Рорбах.

— Скажи, пожалуйста, какой у тебя слух тонкий,—улыбнулся Чемерицын.— Это я так, вспомнил чье-то скверное сочинение.

— В ссылке, когда мне бывало очень тошно, я тоже занимался сочинением,— живо подхватил Рорбах.— Нет, я ничего не писал, я просто выдумывал что-нибудь хорошее для себя, и тогда мне начинало казаться, будто живу я в большом и прекрасном городе. Стоит мне только выйти за дверь, как сразу же я могу очутиться в широких, солнечных улицах, полных веселыми людьми, которые не знают, что такое рабство, безработица, нищета, голод. Все-таки выходить я не собирался, чтобы не огорчать себя, не портить сочинения действительностью. Так шло время, но сочинения своего я не записывал, потому что однажды, когда попытался записать, у меня ничего не вышло. Я напугался: я видел все чище и прекраснее того, что записывал, улицы города и люди были веселее тех, каких изображал я на бумаге. Трудно мне было со словами и даже стыдно слов моих. Тогда мне оставалось только думать— так боязно было испортить праздничное сочинение... Ну ладно, не следует об этом много болтать. У меня это потому, что я слишком долго молчал. Вы не провожайте меня, — старая аптека моего отца все еще под надзором.

Теперь уже стояла ночь — тонкого, зеленовато-синего стекла. Ефимка спал и улыбался во сне своему молодому счастью, радости встречи с учителем, Дмитрием Лепихиным, который был для него ближе отца, потому что любовь, найденная в детстве, остается в сердце человеческом на всю жизнь. Ефимка не видел ночи и не видел зари, спугнувшей ночное очарование. Он проснулся, когда уже солнце выскочило из-за рощицы и вливалось в окраинные переулки. Нужно было вставать, нужно было торопиться, чтобы оделить радостью всех. Ефимка пересчитал получку. Все двадцать семь рублей и тридцать две копейки были налицо. Хорошо. Из них он купит деду Алфею

сапоги, он об этом никому не скажет: радость, сообщенная заранее, теряет половину своей ценности. Сегодня, казалось, было веселее, чем вчера; сейчас солнце заполнило всю комнату и, дробясь в стеклах окон, играло на потолке. Ефимка остановился перед картиной, где полинявший кораблик все еще плыл по бесцветному морю, в котором следы мух за два с лишком десятилетия образовали целые острова, а провожавшие кораблик женщины исчезли совершенно, — они в свое время успели состариться и умереть, потому и потускнело на картине веселое когда-то небо. Ефимка смеется, потом начинает подсвистывать своему настроению. Картина для него безразлична и не оставляет никакого впечатления, и ему совсем непонятно, почему так заботливо оберегает картину мать, а дядя Митя еще вчера любовался картиной и долго не мог отойти.

— Фима, куда ты собираешься? — выглянула из кухни Алевтина. — Напились бы ты чаю.

— Что я надумал, — кричит Ефимка. — Я надумал купить деду сапоги. Чаю мне совсем не хочется, ей-богу же, нет. Я скоро приду.

Сияет солнце, трещат воробьи, суетятся люди, скрипят колеса крестьянских телег, и звонят все те же колокола московских церквей—единственная оглушающая музыка, которая возвещает миру в течение столетий о российской тишине, благополучии, богатстве, могуществе и славе. Аминь.

Ефимка сначала идет пешком, потом едет на конке и, наконец, угождает на рынок, в торговые ряды. Он хочет купить деду Алфею хорошие, мягкие сапоги из юфти.

— Пожалуйста, господин хороший, молодой человек, что покупаете?

Ефимка приглядывается, приценивается, уходит, приходит. Нет, Ефимку трудно обмануть, он знает цену деньгам, знает, с каким трудом они достаются, соблазны и уговоры на него не действуют. Он минует торговые ряды, пробивает дорогу в толкучем рынке.

Сначала тут все по-хорошему...

— Купец, эй, купец! Сапожки, что ль? Подходи, подходи, не бойся...

Потом — с приговором, с насмешливой руганью:

— У него на такие сапоги капиталу нехватит.

— Хе! Он, поди-ка, норовит за два оглядка купить...

— Катай, валяй, отворачивай. Видали мы таких-то ласковых, сами из деревни воровой.

— Не лай, не лай, дядя Ермолай, — огрызается Ефимка и проталкивается дальше.

Нет, сапоги, оказывается, не так-то легко купить. В больших магазинах слишком вежливые мошенники, у них все дорого и с ручательством. В торговых рядах мошенники с зазывом, с лестью, с уговором, у дверей ставят бойких мальчиков, голосятых и неотвязных; вцепится такой мальчик в полу пиджака и не отстает, тебе фуражку надо, он башмаки купить уговаривает, — не уговорит — от старшего приказчика трепка, уговорит — похвала. Шел Ефимка по рядам и все время отбивался. На толкучем мошенники откровенней: дырочку на голенище ладковой прикроет, одной стороной перед глазами вертит, сапог выворачивает, подметками поколачивает, крестится на все четыре стороны, уверяет — сапогам износу нет.

Так Ефимка уперся в прохладный, узкий проход между двумя каменными корпусами, которые из ненависти, должно быть, встали друг к другу спинами. Здесь устроились торговцы горячей закуской, чаем, пирожками и пирогами.

— С вязигой не угодно ли!

— С жирами, с сагой!

— С мясом, с яйцами!

«Очень здорово пахнет» — подумал Ефимка и захотел есть. Пахло мясными пирогами, перцем и острым дымком древесного угля. Со свистом дышали горячим паром трехведерные самовары.

Торговцы с'естным расхваливают свой товар, но Ефимка долго еще раз-

думывает; потом он отыскивает место у стола, садится на колченогий стул и сразу с'едает два куска пирога с мясом, выпивает стакан чаю и смешно, совсем по-детски, отдувается, наслаждаясь сытостью, отходящей усталью и молодой самостоятельностью своей. Он расплатился, пересел на ящик у стены, стал соображать, у кого же лучше купить сапоги? Поглядывая на проходивших и закусывающих, он слегка важничал даже. Кто такой он, Ефим Чемерицын? Работник службы пути, будущий железнодорожный мастер, а может, и начальник участка. И кроме того, он сознательный революционер (так всегда говорил дядя Митя). Он два раза разбрасывал в депо и по линии прокламации, и ни одна душа не знает об этом, никто на свете, а если узнают — все равно ему не страшно; он пойдет с дядей Митей в ссылку, но от своего не отступится. Он читал такие книжки, которых никто, может, и не читал из этих вот, торгующих здесь: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». «Пролетарии ничего не могут потерять в борьбе, приобретут же они целый мир». «История всего предшествующего общества есть история борьбы классов». Вот!

Сознавая свое превосходство над этими крикливыми людьми, Ефимка снисходительно улыбается, но тут же, спохватившись, думает: «Ах, чорт! А как же сапоги-то?»

Снова ныряет он в крикливую толпу и, усердно работая локтями, пробирается к кожевничьим рядам. Он свирепо и непристойно ругается, мнет в руках голенища сапог, нюхает подошвы. Из-под фуражки сбегает по щекам пот, губы зачерствели от жары и пыли, в горле першит, и голос охрип:

— Пять с четвертаком.

— Шесть, — упирается торговец. — Дай нажить двугривенный.

— Уйду ведь, — грозится Ефимка. — Держи пять с полтиной.

— Шесть.

— Пять восемьдесят... Давай сапоги-то, чорт гундосый.

Возвращался Ефимка победителем, — он выторговал двадцать копеек (это как-раз та сумма, которую он проел на рынке), и сапоги в его руках. Дед Алфей останется доволен; это будет ему наградой за уроки, преподанные Ефимке в детстве, за уроки высокой любви к природе, к разгульному небу, к рыбам и птицам, к польнке, которая цветет и благоухает в жаркие летние дни, к букашкам, что выползают по весне из щелей завалинок и греются на солнце, молчаливо прославляя бога. (Бога, по науке дяди, Дмитрия Лепихина, Ефимка не признавал, ел постом скромное и в церковь не ходил, к великому огорчению матери своей, но Алфею бога прощал, не желая отнимать у старика его последнее утешение.) Ефимка научился прислушиваться к ветру, к его тоскливому завыванию осенью, к его счастливому дыханию весной, к его раздумчивому сну жарким летом, когда ветер укладывался на дно оврагов и ложбин, повисал на сучьях деревьев или зарывался с головой в ленивую придорожную пыль. Ефимка умел различать звезды (божьи глаза, по уверению Алфея), знал все скудные пригородные травы и назначение их.

Солнце стоит над головой, в улицах пыльная духота.

Утомленный, вспотевший и радостный (кажется, он потеет сверкающей радостью), Ефимка минует квартиру и перебегает двор, чтобы поскорее увидеть деда. Конечно, дед прослезится и залочет по-детски что-то невнятное, но такое, от чего ефимкино сердце подпрыгнет к самому горлу.

Ефимка сразбегу вскакивает на крыльцо, открывает дверь и останавливается. Перед окнами висят пустые клетки, и пахнет во флигельке чем-то простым и корошим, будто в лесу, когда стоит у сосен недвижный августовский день. Птичье безмолвие и остановило Ефимку; он огляделся и сейчас же заметил деда. Алфей лежал на скамье, в затененном углу; была на нем длинная белая рубаха, и лежал он

спокойно, вытянувшись во всю длину. Ефимка подшагнул ближе, поставил сапоги в ногах деда. Наклонившись, Ефимка увидел полуоткрытые глаза, белки глаз, остекляевшие и пустые. Дед Алфей был мертв. Тогда Ефимка упал на колени, ткнулся лбом в скамью и заплакал. Плакал он хорошо и глубоко, беззвучные рыдания сотрясали его тело. Он чувствовал свое бессилие и глухое отчаяние. «Как же это так? — недоумевал он. — Вот и птиц даже выпустил, и открыл окна, и надел чистую рубаху». Ефимка отер слезы; он раздумался над упрямством деда, который умер, когда захотел сам. Ефимка попытался обидеться даже, но из этого ничего не вышло, только больнее стала жалость потому еще, что опоздал он с новыми сапогами. Ефимка заметил в изголовьи Алфея Тихона Задонского; деревянная эта иконка совсем уж откровенно-сердито косилась на Ефимку выколотым глазом своим.

— Бо-от тоже! — вслух обозлился Ефимка.— Чорт бы тебя побрал!

Выругавшись, он уже не мог остановиться, чувствуя, как с каждым словом отдиралась с души его тоска и ему становилось легче. Он берет деревянную иконку и переходит к окну; тут он долго разглядывает полустертые, давно пожелтевшие краски, отчего лицо Тихона Задонского стало совсем бронзовым. Ефимка царапает морщины на лице святителя и продолжает говорить:

— Не доглядел, кривой, за дедом. А вот если бы ты его остановил... Ага, никого ты не можешь остановить, гололобый, я знаю. А может, дед на тебя только и надеялся. Э-эх, ты!

Ефимка бросил деревянную иконку на пол — пересохшая дощечка раскололась, будто глиняная. Ефимка переложил сапоги в изголовье мертвого деда, хотя было это ненужно и бесполезно.

Где-то скрипнула дверь. Ефимка как бы очнулся вдруг и увидел все сразу: и раскрытые окна, и опустевшие клетки, и живые два ясеня и яблоню во дворе, посаженные здесь дедом Алфеем.

III

— Пролетарии! — торжественно-насмешливо произносит Елимах Киндеев и облизывает тонкие, провалившиеся губы.

Он встает с кожаного кресла и принимается беззвучно смеяться, и у него отваливается верхняя искусственная челюсть; он хлопает ею, когда говорит, обращаясь к другу своему, Карпу Полуденову:

— Об'ясняю по пунктам, молодой человек...

— Это ты меня-то молодым человеком возвеличал? — смеется Полуденов. — Уморил, истинно уморил!

— ... Настоящее слово обозначает — рабочий класс, — продолжает Елимах, — четвертое сословие, каковое сословие в древнем Риме, например, освобождалось на основании закона от податей, а также и от воинской повинности. Люди, которым указано всевышним поддерживать земное существование исключительно продажей своей рабочей силы. Мы же, Карп Серафимович, являемся с тобой, так сказать, пролетариатом умственного труда.

Елимах помолчал, и молчала вся заводская контора в пятнадцать человек с мальчиком, который разносил чай и все прибирал за господами.

— Это что же будет? — спросил Карп Полуденов. — Выходит, и мы причислены к пролетариату?

— И даже непременно, — обрадовался Елимах догадливости своего воспитанника и друга, — почему и предлагаю тебе в видах близкого сродства с пролетариатом открыть ресторан твой для всеобщего доступа рабочих нашего завода.

— Заплатят ли?

— Дурак! — сердито буркнул Елимах. — Откликнись на такое дело не с корыстью, — с энтузиазмом.

— Опять не понимаю последнего твоего слова, Елимах Лазаревич, — признался опечаленный Полуденов. — Ты со мной попроще и по душевному ко мне расположению говори. Зачем

для рабочих ресторан открывать — ведь это каждый день, на худой конец, три петра из кармана.

— Жалко тебе?

— Не жалко, а убывает, — вздохнул Полуденов.

Елимах засмеялся. Опять захлопала вставная его челюсть, и прихлопала контора за стеклянной переборкой кабинета. Полуденов сидел у окна, глядел на морщинистое сентябрьское небо, покаряхтывал и вздыхал.

— Секретным отношением своим, — начал Елимах, — его высокородие жандармский ротмистр Зубатов (проникнись же, накажи тебя силы небесные, и осознай!) предлагает, в целях воспитательного воздействия на рабочий класс, войти с таковым в дружеские взаимоотношения и держать таким манером под своим надзором, дабы класс этот не заражался идеями характера революционного... Тыфу, расшиби тебя все земные недуги! Вяля ты, наконец, или требуется еще и дополнительное разъяснение? Что же касается энтузиазма — не страшись. Произнесенное слово происхождения греческого. Греки же, как свидетельствует история, дураками не были (нынешних в пример не бери, измелъчали), — наоборот, они делали все с воодушевлением: завоевывали пространства, родили героев, строили театры и торговали греческими губками. — Елимах передохнул, вдавил челюсть и продолжал: — Помимо сказанного, предлагается вновь принять на работу прежде уволенных.

— Ох, приняли, — с грустью признался Полуденов.

— Фридрих Иванович как на это дело взирает, то-есть с какой точки?

— Дрикс Иваныч не взирает, я с точки взираю...

— Гм! Ты еще прослезись...

— А что думаешь? — сердито засопел Полуденов. — На двадцать пять процентов акций имею в заводском предприятии, мои денежки плачут, — тут, гляжу, бунтовщиков принимают, и не могу я таковой политики осилить...

— Не дано,—удостоверил Епимах,— что весьма печально, потому как человек ты хваткий в жизненном поприще своем, однако же без проникновения в государственные, высшие замыслы, то есть, попросту выражаясь на общенародном диалекте, хам.

Наступила заминка, вернее — тягостное молчание. Епимах, старчески шаркая ногами, ходил по кабинету, иногда он останавливался перед Полуденовым, вытягивал гусачью шею свою, всю в глубоких складках, и морщил лоб, желая тем самым показать другу, какие всеобъемлющие мысли одолевают его голову.

— Владеет жизнью только мудрый, не подчиненный низменным страстям... Боже великий и многомилостивый, услышь скорбь души моей и простри исцеляющую длань твою, чтобы легче было мне переносить глупую канитель мира сего.

И Епимах взглянул на икону в позолоченном окладе. Красный огонек лампы освещал там совсем житейское лицо, обрамленное седеющей бородой, очень густой и курчавой. В узких щелках прятались расторопные, купеческие глаза. И когда пришли к Епимаху другие мысли, он не отбивался и принял их с лукавой нежностью и все поглядывал на икону:

— Любовь, не требующая вещественных доказательств, приносит человеку только выгоду и необременительна. Коль скоро есть начальство, склонное к восприятию словесной любви, тогда и недруг может показать себя преданным. Хе-хе! Имеющий уши слышать да слышит, что дух говорит церквям. И не ты ли, Петр, отказался, когда подвергли тебя допросу? Молюсь, господи, и ежели не поверишь ты, поверят люди. Что подписом, с приложением казенной печати, и удостоверяю.

Успокоив себя насчет любви к богу, Епимах оживился, и последующая его речь была вдохновенной:

— Итак, зверь прирученный полезнее дикого и не грозит своему господину. Люди ума высокого, как, например,

Сергей Андреевич Солунцев, давно уже откликнулись на призыв его высокогородия, господина жандармского ротмистра Зубатова. Что же касается небезызвестного тебе Якова Генриховича Ланге, так он, что называется, воспрянул духом и воскликнул тут же вот, в моем личном присутствии: «Приближаются дни, когда рушится российская азиатчина!» Веришь ли, Карп Серафимович?

— Уверовал, Епимах Лазарич...

— Не врешь?

— Я к тебе врать не нанимался, а ежели и вру, что ж такого? Хорошее вранье лучше плохой правды, Епимах Лазарич, ежели по твоей науке. И тут же так еще думаю: где сила пребывает, там и правда проживает.

— У кого научился, Карп Серафимович?

— Всё у тебя же, Епимах Лазарич...

— Хе! С годами ты приобрел и приумножил не только капитал свой, но и отпущенный тебе господом разум, — засвидетельствовал Киндеев, — чего не могу сказать о себе, хотя и пытаюсь еще поучать тебя. Иди с миром и действуй на благо отечества, а также и потомства твоего.

Епимах опустился в глубокое кресло за письменным столом и, разбирая бумаги, искоса наблюдал за своим другом. И, отсылая его, он все же тайл про себя надежду, что Карпуха, чья жизнь так пышно развернулась за последнее десятилетие, разговорится при одном упоминании о потомстве. И Карпуха, действительно, разговорился.

— Двадцатый годок скоро минет потомству моему, — сообщил для начала Полуденов. — Вон оно как время-то гонит...

Он благочестиво вздохнул. Крепкое его лицо, с ядерным румянцем на щеках, приняло выражение неудавшейся печали. Из-под усов отчетливо выпирали полные, упрямые губы, ласковые глаза глядели на мир с голубым лукавством сочувствующего людям жулика.

(Надо, в интересах справедливости, объяснить, что Карп Полуденов искреней-

во удивлялся на судьбу любого бедняка, который, прожив на свете пятьдесят лет, так и не сумел сколотить себе капитал, несмотря на всеобщее божье попустительство. «Вседержитель отдал вольный свет на свободное подержание людям и заранее простил все предстоящие грехи и соблазны, — рассуждал Полуденов, — и ежели в господнем расписании было указано совершить человеку убийство, но человек по своему упрямству такового убийства не совершил, тогда, значит, нарушил он, дерзостный и непокорный, установленный богом распорядок».

— Хм! — смеялся иногда Полуденов в разговоре с кумом своим, полицейским надзирателем Руденко. — Вот, говоришь ты, Василий Тимофеевич, о покорной мудрости людей, которые топтали землю не зная сколько тыщ лет до нашего проживания, и будто тогдашние замысловатые люди были верхнего ума и даже, по твоим книжным указкам, самый мудрый повинился в том, что знает он только то, что ничего не знает. Слова эти, Василий Тимофеевич, пробились в душе ленивой и для теперешней жизни не подходят вовсе. И живу я и думаю: «Я ничего не знаю, потому что много знаю. Хе-хе! Углубись, Василий Тимофеевич, в такое речение и прикинь к нашей практике»).

— ... Потомство, ежели ты про Гурия спрашиваешь, Епимах Лазарич, по всей видимости, обещает следовать по стопам своего родителя, — продолжал Полуденов, — то-есть по моим стопам. Не знаю, как буду благодарить господ моего. «Папаша, вы уже в преклонных летах и утомились в трудовой своей жизни». Слышишь, Епимах Лазарич, как разговаривает со мной сын мой Гурий? Я чуть не прослезился, а все-таки виду не показал, слушаю. «Ресторан, дорогой папаша, ежели, говорить дозволите, беру под собственный свой надзор». Я, конечно дело, с превеликой радостью благословляю. «Пошли тебе владычица ума-разума», — думаю, прояснило, значит, в голове у парня. Перекрестил его, и чувствую — он меня в

ручку, вот и в это самое место, троекратно.

Полуденов придвинулся к столу, положил короткопалую свою ладонь на стопу деловых бумаг, прямо перед птичьим носом Епимаха.

— Сюда вот поцеловал, сюда, сюда! — уже захлебывался Полуденов. — Видишь, Епимах Лазарич? Рука же эта совершала немислимые в жизни дела.

Епимах долго и внимательно разглядывает карпухину руку, можно предположить, он изучает ее. Так проходит длительная минута; рука с сине-багровыми жилами, волосатая у суставов, лежит на бумаге.

— Сюда, говоришь? — тычет Епимах крючковатым пальцем и вздыхает. — Так прямо и поцеловал?

— Прямо сюда вот! — ликует Полуденов. — Это когда я благословил его, и тогда сын мой так вот наклонился и поцеловал руку.

— Может, показалось тебе? — сомневается Епимах. — Когда очень хочется, чтобы так именно случилось, тогда человеком овладевает душевная смута, и все несбыточное свершается якобы наяву.

— Бес, бес! — испуганно шепчет Полуденов и отдергивает руку. — Бес-смутитель, супротивник радости...

Епимахова челюсть отваливается, когда раскрывает он рот, и тогда кажется, будто над сомкнутыми зубами разверзается еще другая, только мертвая, пасть.

— Не бес, — говорит Епимах, — но несчастный друг твой, которому отказано природой в продолжении рода своего, в ласке и огорчении от любезного сердцу потомства. Хе-э-э-э! И все же утешаюсь мыслью, что и одного меня вполне достаточно.

Епимах снова выходит из-за стола. В конторе пусто, только мальчик подметает сор. А за окном день уже потускнел, и над воротами завода струится свет электрической лампочки.

— Хорошо у тебя с сыном получилось, — отмечает Епимах, — и радость

твоя законное имеет основание, как сумма чистого дохода в балансе торгового предприятия.

— Еще бы тебе не радость, — поспешил согласиться Полуденов. — Патрикей, старший официант мой, хитрец и мошенник.

— Мошенник, — подтверждает Елимах.

— А как же! Уж больно у него всегда все в аккурат выходит, — десять лет ловлю, никак не поймаю. Ну, теперь-то я его прикручу! Я так и Гурию наказал: «Доглядывай за Патрикеем, выжми из душонки смердящего пса честность эту самую».

— Выжмет ли? — усмехнулся Елимах.

— Клятву перед образами дал. «Выжму, папенька, всю науку приложу, своего добыю». Вот как сказал. Теперь я пойду, — спохватился Полуденов. — Его высокородие, говоришь, жандармский ротмистр Зубатов рабочими озабочен? Благослови господь подвиги его. Все двери заведения открою, зазывальщиков поставлю, молебен закажу, — заодно уж убытки терпеть.

Выпроводив Полуденова, Елимах раздумался. Гула, грохота и звона завода привычное ухо не воспринимало, вся эта музыка с годами стала служить аккомпанементом к замысловатым размышлениям крючкотворца и вызывала картины, достойные удивления хотя бы и высокоодаренного художника.

«Люди недовольны краткостью жизни. Хм! Вот как!.. Вот идет человек, совсем еще молодой и желторотый, он шагает по траве, и холодная роса дымитса под его ногами. Говорят, будто человек должен притги к своему счастью. Хе-хе! А сейчас он оборван, и паразиты разедают его молодое тело, он раздирает ногтями кожу, но все-таки смеется, потому что впереди виднеется счастье. О, господи, помилуй! (Не помилуешь ты, — помилует начальство.) Вдруг счастье роняет лоскутик от роскошного своего платья, совсем чуточный лоскутик, — человек поднял и задрожал от радости, и сразу тело его стало чистым, исчезли паразиты, и на

плечах уже добрая одежда и на ногах крепкая обувь, теперь на душе вольготней и веселей. Вот ведь какая штука!»

Елимах забылся в глубоком кресле, и только лишь завел глаза, так сейчас же и увидел Карпуху.

— Уйди ты к чорту, сделай такую милость! — обозлился Елимах.

Он поднялся и тогда только заметил, что к окнам привалилась ночь, хотя завод все еще гудел и лязгал всеми железными суставами, и картины продолжали проходить, назойливо лезть в глаза и качаться.

«Человек разбогател и возмужал, спина его чуть согнулась, а глаза хотя и заволоклись усталю, но глядят на все с выбором и с большим аппетитом. Хе-хе! А годы уже протекли, и впереди, обгоняя счастье, бежит пустоглазая смерть...»

Окутав шею пуховым платком, подняв воротник пальто, Елимах уходит. По пути щелкает задремавшего у дверей мальчишку и велит подать трость. У себя в холостой квартире, переодевшись в теплый халат, топчется он по обширной комнате своей, шаркает туфлями и смешно, по-петушиному поет:

«Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробе живот даровав...»

— Даровав! Чорта с два даровав!..

Елимах не хочет замечать приходящих и уходящих дней, он выстраивает их в одну линию, как буквы в строках конторских книг, и добивается этого. Приняв казарменное однообразие дней за подлинную радость жизни, Елимах развлекается лишь измышлениями, которые тревожили потом окружающих его людей, пробуждая в душе их беспокойство, озлобление, ненависть и сумятицу.

Через неделю после беседы о предоставлении ресторана «Севилья» для рабочих собраний Полуденов доложил:

— Все готово-с, прошу покорно пожаловать, Елимах Лазарич. Не питейное заведение теперь — храм душеспасения. Гурий, молодец, постарался.

— Не является ли вышеназванное старание скрытым в замыслах человека мошенничеством? — выразил сомнение Епимах. — Особливо, когда проявляет старание индивидуум, состоящий в кровном родстве с доверителем.

— Провалиться тебе! — напугался Полуденов. — Не умертвляй живой любви сына к отцу своему.

— Не умертвляй, не умертвляй! — ворчливо отозвался Епимах. — Невозможно умертвить несуществующего в жизни. Не понял? Ну, и не понимай, потому как ты единственный, у которого не хочу отнимать сердечной свистульки, называемой по недоразумению любовью. Веди меня в храм твой.

Епимах развеселился, — ему, кажется, удалось охладить любовный нагрев отца к сыну. Он шел следом за Полуденовым, поглощенный одной мыслью: «Может, он, этот скупец с красной шеей и жирными плечами, по имени Карп Полуденов, искал всю свою жизнь любви — хорошей любви к сыну, чтобы не так было скучно ходить по земле? «Любовь, любовь, гласит преданье, союз души с душой родной» — припомнил к случаю Епимах. — Удостоверяю, с подлинным верно: гласит преданье! Ах, чорт вас подери!»

— Скажи, сделай одолжение, отчего это у меня сердце свербит, Карп Серафимович?

— Лета гложут... А насчет Гурия ты меня не испытывай, — может, у него любовь ко мне воплотилась.

— Гм! любовь воплотилась? Так вот, ни с того, ни с сего, — взяла и воплотилась? Хе! Неизмерима глупость человеческая! Иди, иди, не оборачивайся. И ответ, и намерения твои открыты мне, Епимаху, сыну Лазареву, чего, впрочем, не утверждаю.

В ресторане, куда они вошли, было чинно и как-то по-особому торжественно-гулко. Был открыт большой зал, и там, где кутили московские купчики и заезжие господа, где надрывался цыганский хор и брэнчали гитары, стояли теперь длинные столы, а на стенах кра-

совались портреты городского начальства и самого царя. Под потолком сияла яркая люстра.

Встретил Епимаха Патрикей.

— Хе-эм-с, — произнес он, — сподобились, Епимах Лазаревич, все воедино за отечество и престол, и вот вы-с и трудовой люд тут же. Дозвольте пальто ваше я сам, сам-с, трудолюбивой моей рукой сыму, из уважения к мудрости-с.

— Кши! — отмахнулся Епимах, поворачиваясь спиной к подошедшему Гурию. — Сними, ты сними.

— Сыми, — приказал Полуденов.

Гурий принял пальто с плеч Епимаха, передал Патрикею, отступил перед отцом.

В зале сидели рабочие завода Ланге, одеты они во все лучшее, будто к празднику, и разговоры были сдержанны, как перед богослужением, которое вот-вот начнется.

— Одобрю и во всеуслышание, — громко выговорил Епимах и тут же столкнулся с аккуратным человечком, в куртке и белом пикейном жилете.

— Варган. Имел удовольствие познакомиться с вами, — заговорил человек, — в весьма далекие времена-с. Разрешите вашу благородную руку. Варган, Севастьян Корнеевич, если помните-с.

— Очень даже помню-с, — подал вялых два пальца Епимах, — заметная личность, и отменно-с. Дайте вашу руку, молодой человек, — обернулся Епимах к Гурию, — отведите старика на место.

— Поглядите на него, поглядите! — захлебывался Епимах. — Молись, Карпушенька, молись, Карп Серафимович, возблагодари господа твоего. А что я такое говорил? Я ничего не говорил. Экий ты злопамятный какой.

Он усмехнулся, отодвинул Гурия и мелко засеменял навстречу высокой и полной даме.

— Ручку, ручку вашу, достоуважаемая Варвара Александровна! — Штиблеты Епимаха смешно засуетились по паркету, и сам он изогнулся, как только мог. — Трудитесь для меньшого брата? Трудитесь, трудитесь, Варвара Але-

ксандровна, ибо, как сказано: возлюбивший меньшого брата своего да вознесется, — смело переврал он.

Варвара Александровна Солунцева отвела Епимаха на место, Епимах больно прикасался к ее руке выпадавшей своей челюстью, несвязно бормотал:

— Красавица рода человеческого, неутомимая благодетельница обиженных и угнетенных, воздастся вам сторицей на земли и на небеси.

Наконец, он расплакался, сморкаясь в необятный платок, вытирал сухие, непривычные к слезам глаза. В увлечении, которое хотел он показать как непосредственное и совершенно искреннее, не заметил Епимах появления Солунцева, машиниста Самохина, Рорбаха и других, ведомых и неведомых ему.

Солунцев солидно прокашлялся, сел на свое председательское место, приветливо улыбнулся знакомым рабочим, кивнул жене, и тотчас же Варвара Александровна забегала и засуетилась. Рванулся от двери к буфету Патрикей, официанты подали чай и закуски, разговоры оживились, все сразу отмякли, стали веселее, ближе друг к другу.

— Этот вечер, друзья мои, — начал Солунцев, — мы проведем в живой беседе. Наше общество взаимопомощи рабочим механического производства провело ряд вечеров полезного чтения для рабочих, теперь мы хотим обсудить некоторые вопросы житейского, или, вернее будет, практического порядка.

— Записочки имеются, Сергей Андреевич, — почтительно напомнил кто-то.

— Ах, да, совершенно верно, записочки, — спохватился Солунцев.

— Я пересмотрел-с, — выступил Варган, — я уполномочен был от рабочих завода Ланге.

— Это когда же? — поднялся из-за стола пожилой рабочий. — Не припомню что-то, будто мы уполномочили.

— А вот, да-с, совершенно правильно, уполномочен. Вы, господин Наживин, находились в командировке, но ежели есть, так сказать, тихое ваше сомнение...

— Просим, Севастьян Корнеевич, просим! — зашумели старики. — Чего там!..

— Отлично-с, и очень благодарен, — кланялся Варган, — польщен и прочее. Вопросы же в записочках весьма беспокойного замысла и даже с усмешкой. Вот извольте-с, — Варган поднял руку, поиграл крохотным клочком бумаги. — Содержание злокозненного порядка: «Кому ситный и калач, а мы с голоду плачь. Инженер наш, Яков Генрихович, пот из нас выжимает, с дядюшкой деньги наживает, могилу нам заживо роет, а сам любовницам, на денежки наши, дома строит. Это что?»

Тут все заметили, как скорбная улыбка исказила лицо Солунцева, он закрыл глаза ладонью и, кажется, побледнел от волнения, но, слава богу, все сошло благополучно. Варвара Александровна участливо положила руку на голову мужа и подала воды, а на записку кто-то глупо хихикнул, старики развеселились, закричали:

— Не стоит внимания, Севастьян Корнейч! Зубоскалы подыгрывают...

Кстати извлек Варган другую записку, которая сразу подняла дух устроителей вечера:

«В напоминовение о в бозе почивших основателях завода, Генрихе Ивановиче и Павле Ивановиче, мы, нижеподписавшиеся, соратники покойных братьев, определяем ныне на устройство аналога перед образом нерукотворного спаса в механическом цехе за свой личный счет, а также и содержание неугасимой лампы, к чему призываем всех и подписуемся.

Мастера вверенных нам цехов

Семякин Капитон, Бузун Тарас и Мямлин Никодим».

— Ах, сволочи! — вслух удивился старый слесарный мастер Перелькин. — И тут обогнали, Сань-Ваня!

После такого смешного негодования люди развеселились, и Епимах изрек в утешение мастеру:

— Тебя, Донат Евстигнеевич, обогнать невозможно, потому как ты

вскорости встретишься с самым всевышним и обиды свои лично ему изложишь.

И вдруг... (Потому и «вдруг», что все собралось как бы для душевного приближения и понимания. Тут были мастера цехов, заводское начальство, господа из города и рабочие и, как передавал потом вездесущий Карп Полуменов, сидели за занавесью сам Фридрих Ланге с племянником своим, Яковом Генриховичем, сидели и все, до последнего словечка, слышали. А когда была оглашена записочка о любовниках Якова, Фридрих будто бы вздохнул, но вздохнул он с некоторым восторгом и даже поощрением, и при этом спросил:

— Хороши ли бабенки, Яшенька? Может, и расхотелось не стоит?

— Завидуют, дядюшка, — со смелой откровенностью признался племянник; участливо улыбнулся седовласому своему дяде. — Не пожелаете ли взглянуть?

— На бабенок-то? Что ты, Яшенька, что ты! Смущение и один грех только. Нет уж, живи, пользуйся, до бабенок ли мне...

— Не совсем бабенки, дядюшка, а, как бы это сказать? Вечные девушки.

— То-то вот: вечные...

— Есть и помоложе, — уже соблазнял Яков, — двадцати лет не будет.

— Двадцати! Это при твоих-то деньгах?

— Чего ж вы хотите, дядюшка? — игриво допытывался племянник. — Могу предложить и моложе, семнадцатилетних.

— Да нет, господь с тобой, не старайся, товар у тебя, вижу, не тот. — Фридрих раздумчиво почесал бороду. — Страсть не любил я, ежели халда какая-нибудь. Ты посвежее ищи, чтобы со слезой да со стыдливостью, втайне ищи, в уезде лешарь, там встретишь вида ангельского, на молитве воспитанных. С такой от трудов своих отдохнешь и душой очистишься. Да выбирай победнее, чтобы благодарность к тебе чувствовала, молилась бы на тебя...

— Яков-то Генрихович весь так и залился пунсовым, — передавал Полу-

менов, — отчего и почему — неизвестно) ...вечер тишины и согласия был нарушен самым неожиданным образом.

— Довольно вам людей-то морочить! — выкрикнул кто-то высоким и сильным голосом.

Никто не заметил, как метнулся Гурий в сторону Рорбаха, который сидел с Чемерицыным в самом конце зала и чего-то настороженно выжидал.

— Семен Львович! Что же это такое, кто это так закричал? — взволнованно допрашивал Гурий. — Тут же Варган, и крестный мой, надзиратель Руденко, в отдельном кабинете спрятан. Ведь я же предупреждал... Эх, ей-богу!

— «Эх, ей-богу!» — засмеялся Рорбах. — Я тут не при чем, и Леонтий тоже, мы сидим и молчим.

В зале поднялся невообразимый шум, все поднялись и задвигались. Варган тотчас же нырнул в толпу и как-то сразу, по врожденному чутью, должно быть, отыскал нарушителя порядка.

— Не угодно ли объяснить, — сразу закипятился Варган. — Что-с? Вы не хотите? Да кто же вы такой?

Высокий человек, чисто выбритый и очень уж утомленный, судя по лицу его, отстранил Варгана, взобрался на стул у другого конца стола и как-раз очутился против Солунцева и на виду у Елимаха.

— Вы, чорт вас возьми! — закричал человек. — Благодетели и рабочелюбцы! Ха! чего вы вдруг завозились? Я вам говорю, господин Солунцев, и вам, высокоумный Елимах Лазаревич, и вашим хозяевам. Вы организовали патристическую манифестацию к царскому памятнику, вы открыли потребилку, вы оказываете сердечное попечение к нуждам рабочих. Господи ты боже мой, с каких это пор?

— Э-э, милостивейший государь, — заверещал и застучал тростью Елимах, — единственно по милосердию моему и великому снисхождению прощаю вам насмешливую вашу дерзость и сам в изумлении вопрошаю: почто отдаю силы свои во благо неблагодарных?

— Вот именно! — совсем уж развеселился неизвестный. — Зачем, в самом деле, отдавать-то, чего уже нет? Ха! все очень замечательно и трогательно, в особенности со стороны господина Солунцева.

— Откуда такой выскочил? — зашумели почтенные старички-рабочие. — Кто его просил?

— Да, да, совершенно правильно! — завопил и Епимах. — Уместно спросить, как мог проникнуть этот субъект?.. Патрикей, я тебе говорю, Патрикей, ты должен доглядывать!

Однако выкрики взволнованного Епимаха запоздали: двое официантов, предводительствуемые Патрикеем, уже пробивались к незнакомцу.

— Господа, господа! — вмешался, наконец, Солунцев. — Дорогие мои друзья, прошу успокоиться...

Тут он окинул собрание взглядом покровительственным и чуточку, пожалуй, начальственным. Он поднял руку, призывая всех к порядку, собрался было дать отпор наглецу, который прервал их мирное собрание, но так и замер с выброшенной рукой. Пробираясь между стульев, подходил к Солунцеву Леонтий Чемерицын.

А виновник беспорядка все еще продолжал кричать прямо в лицо ошеломленным и растерянным врагам своим:

— Вы, господа, милые экономисты-либералы, верноподданные жандарма Зубатова, хотите дать послабление сверху, чтобы рабочие не захватили власть снизу, вы пытаетесь отвлечь рабочих от политической борьбы, вы проповедуете полицейский социализм и тем хотите спасти себя! Прошу прощения, любезные господа, вам не удастся провести рабочих, нет, не удастся!

Чемерицын угадал в ораторе давнишнего своего друга, Бориса Кракова, и решил спасти его.

Солунцев узнал в Чемерицыне ничего с гитарой, теперь преобразенного, необычайно помолодевшего, и счел выгодным для себя встретить человека любезной улыбкой.

IV

Все вышло хорошо и к общему, надо сказать, удовольствию, вышло потому, что с рабочими ничего не вышло. Минуло полтора года, и многие события остались только в воспоминании, да и то неясном. Больше всех пришлось претерпеть Борису Кракову. Погорячившись на собрании зубатовцев, он выдал себя и потому должен был скрываться. После долгих скитаний по конспиративным квартирам, ночуя иногда в пустых дачах пригорода, он угодил, наконец, к Гурию Полудену. Смышленный этот парень устроил Кракова на чердаке ресторана «Севиля», здесь, за многими дверями и переходами, в теплой каморке, и проживал нынче Борис Краков, сочиняя по ночам прокламации и печатая их на гектографе. Прислушиваясь в полуночную пору к веселому разгулю в ресторане, он совсем не знал о том, какой ценой окупались его спокойствие и безопасность Гурием. Часто встречаясь с ним, вел «поднадзорный» такие разговоры:

— Ну что, как они там, не очень беспокоятся обо мне, господа полицейские?

— Все еще беспокоятся, Борис Петрович, — сообщал Гурий. — Крестный мой отличиться хочет...

— Злопамятный народ! — мрачно смеялся Краков. — Крестный твой в особенности не может простить себе, как это он тогда упустил меня.

— На Варгана надеялся, — догадывался Гурий, — а может, и на меня. Хы! я все время крестному в любви объясняюсь и сочувствую...

На этом краткое их свидание обычно и заканчивалось. Борис Краков оставался один со своими думами и работой. В пустую пору ходил он по дощатому настилу, не смея выглянуть в слуховое окно, и все думал, накроют его или не накроют. «Чорт меня дернул разговариваться тогда, — припоминал он зубатовское собрание. — Промолчать бы, и все. А лучше было бы и не являться совсем».

За полночь, уже перед утром, когда раз'езжались гости и ресторан затихал, появлялся Гурий. Он приносил закуски, книги, свежую смену белья, — все, что требовалось затворнику для человеческой жизни его. Стоял московский декабрь, когда облака собираются в тугие узлы и особенно страшной, и оттого заманчивой, является недоступная синь неба.

Гурий возникал в чердачных переходах, как привидение. Проникнув в камеру к Борису, он садился на табуретку около стола и никогда первым не начинал разговора, хотя через Рорбаха был осведомлен о многом.

«Мальчишка, совсем мальчишка, — думал Краков, приглядываясь к Гурию. — Пожалуй, и не знает еще, как следует, что делает».

И спрашивал:

— Играешь, друг?

— Играю, Борис Петрович, — весело признавался Гурий.

— Смотри, не переиграй... зрители у тебя строгие. Чего же ты смеешься, голова?

— А так... Папаша благословлял меня давеча, то-есть третьего дня, и очень уж торжественно: велел встать на колени вместе с ним перед образами, сам крестится, слова произносит, и чтобы я повторял за ним: «Клянусь и обещаюсь перед святым ликом твоим, господи, воспринять и умножить наследие отца моего...». «Папаша, — говорю, — мне на военной службе присяга будет». Рассердился, дураком обругал и раз'яснение дал: «При таком капитале в солдаты итти — без головы надо быть. Для войны без тебя дров много».

— Дров?

— Дров, Борис Петрович, так он и сказал. А мамаша пьяненькая, сидит на диване и слезами умывается. Потом, когда отец ушел, она и внушает мне: «Крепись, Гурочка, отец твой изверг по добросердечию. Я, говорит, давно поняла это и только теперь испугалась за тебя».

— Странно, очень странно, — недоуменно бормотал Краков. — Где же ты

в революцию влюбился, Гурий?.. погоди, это что у тебя? — Краков вытащил из кармана у Гурия книжку. — Очень замечательно: «Коммунистический манифест»! Ты это что же, так и таскаешь?

— Изучаю, Борис Петрович, все хорошие места затвердить хочу.

— Затвердить! — дернулся Краков. — Ты это оставь, Гурий, не псалтырь ведь, и совсем плохо, если так понимать, — ты через сердце пропусти. Ты уж не через это ли в революцию влюбился? — вспомнил Краков прежний свой вопрос. — Так, что ли?

— Вы чудно очень, — тихо отозвался Гурий, — когда думаете, будто всё через книги. А я на заводе больше, у ребят наших. И так... Может, вы смеяться будете: от отца и от Елимаха.

— Ага! Как это называется? — соображал Краков. — Доказательством от противного, в последнем-то случае? Воспитание отличное, в наших условиях лучшего и требовать нельзя... Что ж вы приуныли, юный мой друг? Ну, ладно, это я между прочим, для-ради разговора. Докладывай, что там на земле происходит?.. Нет, погоди и скажи: накроют нас тут или не накроют? Прокламации как идут?

— Хорошо идут, Борис Петрович. Варган с горя запил даже, честное слово, ей-богу! Каждое воскресенье рабочих вином угощает.

— Дело опасное, чорт его возьми, — забеспокоился Краков. — Ты как на это смотришь? С Рорбахом не встречался?

— Нельзя мне встречаться, Борис Петрович, ну все-таки я встретился, и вот вам записка. Только вы уж, пожалуйста, сожгите ее, Борис Петрович...

— Хм! без тебя знаю. Чего же ты про записку молчал?

— ... Рорбах говорит, раскол случился будто бы, — продолжал Гурий, — только он не велел распространяться. Он в записке написал и мне читал; в Лондоне, на втором съезде, раскол по партийному уставу... Тут я ничего не знаю, Борис Петрович, а насчет про-

кламаций знаю: мы их Самохину передаем для железной дороги. На заводе нашем прекратили, чтобы Варгану с крестным моим глаза отвести.

— Варгану с крестным? Молодцы, очень хорошо! — одобрил Краков. — Давай сюда записку... Партийный раскол, партийный раскол! Поздновато узнали мы, — бормотал Краков, читая записку. — Как ты думаешь, Гурий, нельзя ли собраться нам? Собраться, всем собраться?.. Но ты, пожалуй, иди, я тут еще подумаю: вопрос-то ведь не какой-нибудь, а даже очень, — сбивчиво договаривал он, выпроваживая Гурия, и уж совсем на конце разговора спросил: — Ты насчет собрания не подумал? Непременно подумай..

Через полчаса беспокойный человек этот писал Самохину:

«Слышал я, Дорофей, и между прочим о романе твоём с дочерью миллионера Строчилина. Конечно, как я думаю, какая там, к черту, пламенная любовь. (Когда-нибудь при встрече поговорю об этом с тобой, хотя вообще многое и допускаю, — она ведь красива, говорят?) Но теперь, после некоторых событий, и потому, что мы находимся в слабом положении и так нетерпимо дальше, я все продумал. Ты ее люби, то-есть обязательно люби, в порядке даже партийной дисциплины, если хочешь знать. Я это потому, что она дочь миллионера и тут может быть большая польза. Ты пойми меня, Дорофей, как следует и не вздумай обижаться, чтобы мне уж не объяснять всего и потом не ссориться, вот какое дело...».

После письма Краков угрюмо задумался, но ненадолго; потом он развесялся даже и раза три принимался перечитывать рорбахову записку.

— Замечательный народ, замечательный народ! — весело приговаривал он при этом. — Вот и отлично, что все объяснилось теперь!..

Краков уничтожил записку и потушил свечу. Раздеваясь в потемках, чтобы лечь, он прислушался. Далеко и очень глухо хлопали двери.

Спустившись вниз, Гурий прошел в вестибюль ресторана.

За широкими стеклянными дверями стояла ночь, совсем прозрачная и как будто чуточку зеленоватая. Легкий мороз приподнял над городом стайку перистых облаков. У подъезда сидел на ступенях, в огромном тулупе, сторож Игнат; привалившись к мраморному выступу, он спал, запрокинув голову прямо на луну.

«Очень хорошо, — с удовольствием подумал Гурий, открывая двери ключом. — Все, как по расписанию». Заметив на посту городского, который заискивающе козырнул ему, Гурий не удержался и, проходя, сунул в широкую его лапу пятишницу, отчего страж счастливо заурчал и вытянулся.

— Ты меня не видел сегодня, Кукин, — сказал Гурий.

— Так точно, не видел, Гурий Карпыч.

Трезвый и расчетливый Гурий тут же и подумал, хотя и не без брезгливости, что подачка полицейскому может, при случае, сыграть роль революционную.

В последующие дни ничего особенного не произошло. В механическом цехе завода братьев Ланге (на широкой выставке все еще значилось: «Машиностроительный и механический завод братьев Ланге») готовились к молебну. День этот был днем большого ликования, в который, под торжественное песнопение и молитвенные вздохи, происходила духовная ликвидация совершенных за год грехов и молчаливое соглашение между богом и людьми на совершение новых. Служили молебны всегда после пасхи, на третьей неделе «жен мироносиц», а нынче, по случаю, должно быть, благополучного завершения тревог и неприятностей, решили хозяева отслужить молебен сверх программы. Пригласили лучший хор соборных певчих, с протодиаконом и благочинным.

Круглый и коротконогий, белый до удивления, с воздушным лицом благочинный, благоговейно поднимая очи

горé, молитвенно улыбался темнолицому спасу, неторопливо облачаясь при помощи отца протодиакона, человека башенной высоты, с сокрушающим голосом, со смуглым лицом и косматой головой, которая напоминала тяжелый овечий курдюк. Протодиакон прикасался к благочинному с неуклюжей осторожностью, опасаясь, видимо, как бы не зацепить нечаянно крупичатого попика и не сотворить беды. Около кружился или как бы порхал в воздухе служка, мальчик с херувимским лицом, с плутовской улыбкой на пухлых губах. Порхая, он раздувал кадило, оправлял свечи и наводил около аналая порядок и все забегал перед попиком, вихляясь, передергивая круглыми плечиками, и оттого тлели у попика глаза в неизяснимом блаженстве и воздушное его лицо расплывалось в божественном умилении. Тонкий дымок росного ладана, покачиваясь слабой головой, медлительно поднимался к неподвижным трансмиссиям и застревал в лениво обвисших ремнях передач. Пробилось сквозь запущенные морозом стекла январское солнце; бледно-немошное, оно как будто было специально заказано к торжественному часу молебна. Огромная мастерская стала светлее, холоднее и еще шире.

(У рабочих, почтенных в прошлом особым вниманием хозяев, всегда жили и до могилы оставались воспоминания самого приятного и даже несколько поэтического характера и, конечно же, почтительные.)

— Вот, говорите вы, обида-с и вообще амбиция. Отчего такое происходит? От гордости. А гордость есть бесовское начало. Мы же бога боялись и начальство чтили, оттого и благословил господь старость нашу. Вот изволите послушать, как приближается к человеку счастье. Лет двадцать тому назад я в женихах был и любил до обожания. Местность наша прежде как-то к любви располагала. Ходил я, ослепленный пламенем любовным, и вот так же, только в цветущее время весны, на заводе молебен и с достаточным торжеством, хотя и победней нынешнего, но с певчими.

Иконка, известно, небольшая была, и вид тусклый, около, значит, три брата, мастера и начальство. А мне любовь сердце режет, молюсь я, на иконку взираю и со слезами лбом оземь изо всей силы, чтобы чувства больше в сердце было, и за любовь мою, Катерину Ивановну нынешнюю, слова молитвы произношу, да таким-то манером дополз на коленях к ногам Фридриха Ивановича и по нечаянности бултых лбом-то в ихний новый сапожок. Хо-хо! Не бывать бы счастью, да несчастье помогло: Фридрих-то Иванович подняли ножку и звяк меня каблуком в самое хлебало! Повалился я навзничь, лежу, подняться не могу, и кровь из носа во все стороны свищет, в голове шум, в глазах радуга. Выволокли меня во двор к колодцу под кран, обмыли и в чувство привели. Так что же вы думаете? Лежу я дома, нос ровень со щеками раздулся. Вдруг — бац, заходит уважаемый наш Карп Семенович, кладет на стол две четвертных и говорит: «Молись, счастливый юноша, бог милости прислал, от Дрикса, говорит, Иваныча тебе на свадьбу...». Эх, вижу я, ничего вы не понимаете, как наше людское счастье строится..

Молебен еще не начинался. В стороне, направо от аналая, гордо покашливали басы, покровительственно рокотали октавы, заботливо кутали шеи жеманные тенора.

Прямо перед большой иконой «нерукотворного спаса» в богатом окладе под золото занимали места мастера цехов, за ними — старики рабочие, почтенные все люди, верные слуги своего хозяина; они еще умильнее поглядывали на икону, приобретенную на посильные пожертвования самих рабочих, что служило убедительным доказательством их благонадежности, смирения и покорности. Головы стариков, тщательно расчесанные, лоснились от «божьего» масла и дешевой помады, которая отдавала свежим огурцом и сыростью. Дальше стояли все прочие, а за всеми прочими, между токарных, фрезерных, сверлильных и строгальных станков, терялся молодой.

На отшибе занимали свое место начальство завода и конторский персонал. И впереди всех — четверка возглавляющих: сам Фридрих Ланге с племянником своим Яковом, имея по правую руку Карпа Полуденова и Епимаха Киндеева.

Все было чинно, все было хорошо, и даже солнце при этом услужливо, казалось, освещало и без того видимое благополучие. Даже Фридрих Ланге утерял голое упорство глаз своих и, видимо, старался изо всех сил доказать и показать, по крайней мере в эту минуту, будто сердце его открыто для всякого добра и человеческой правды. И, что уж совсем удивительно, он попытался улыбнуться, но неподатливые губы сурово дернулись и в ту же секунду затвердели. Попик, заметив это, заторопился, оправил волосы и поглядел на хозяина, как бы ожидая приказания. Хозяин, подшагнув к оградке, глухо напомнил:

— Не позабудь, отец благочинный, наставление сказать. Будет особо, — пообещал он.

Попятился, закаменел, не замечая того, с какой угодливостью поклонился попик, смиренно приложив руку к сердцу.

Протоиерей издал великолепное и многозначительное рычание, приосанился, поднял руку, держа в щепоти орарь.

— Благослови, влады-ы-к-о-о-о!..

Устрашающей силы возглас махнул под самые стропила, потряс обвисшие ремни, грохнулся о стены. Благочинный откочнул.

Молебен начался.

Усердствовал хор, заносили дисканта, мягко выплывали тенора, взметывали баса, потрясали октавы.

Широко крестились старики и кланялись во всю спину.

— Господи, пошли, настави нас и помилуй!

Молодежь нетерпеливо топталась, шушукалась, и кто-то, в далеких рядах, за станками, курил в горстку и, посмеиваясь, рассказывал небылицы в лицах:

— Жили-были поп Вавила да попадья Ненила, и повадился к попу Ва-

виле сельский старшина Аким. Поп — в церковь, Аким — к попу во двор, был мужчина очень скор. Попадью улещает, сладкой водкой угощает. «Без тебя, — говорит, — могу помереть», утал перед ней на колени, а двери позабыл запереть. Попадья готова на грудь старшине упасть, вдруг поп от обедни — шасть, видит — на коленях старшина Аким. «Это ты родом каким?» — вопрошает поп Вавила. А попадья Ненила совсем рассолодела: «Нам, — кричит, — каширская богородица велела!» На том и окончилось дело.

— Беспременно, Мишка, сочинитель из тебя выйдет, если все сам.

— Нет, меня Гурий в позапрошлом году научил.

Отошли к сторонке, уселись на корточки.

— Как дальше будет?

— А вот уж и чорт их знает, тонко ведут: будто они так себе, и мы ничего, и вся политика от Епимаха Лазарича.

— И от Карпа Серафимыча.. Подика, я знаю, тут ведь так вот, вроде змеевика.

— Ну?

— Ну, между прочим, везде будто неспокойно...

— Здорово поют, черти, давай послушаем.

— Вот еще, ну их к чорту! Говорят, Викуа пришел, брат Митькин.

— Кто сказывал?

— Все говорят.

— А ты помалкивай, дура чорт, теперь за ним по пятам ходят.

— Ничего, он верткий...

Разошлись. Табачный дымок плыл и становился все тоньше.

«Благочестивейшего самодержавнейшего государя нашего императора Николая Александровича-а...» — частил хор, откровенно радуясь тому, что затянувшийся молебен подходил к концу.

— Во имя отца и сына и святого духа!..

Голос у попа такой ехидной тихоты и задушевности, что даже Яков Ланге не может удержать улыбки. Однако, как и

полагается во время проповеди, слегка склоняет голову.

— ... Братия! Се грядут времена испытания, когда диаволом гордыни и непокорства будут поспираться установленные богом и властью обожаемого монарха нашего законы. И сбудется реченное: брат восстанет на брата, сын поднимет нечестивую руку на отца, и возвеселятся тогда сердца беспутных, погибших в разврате, тех, кои позабыли свое дорожное отечество или не имели оно. Сии заблудшие души, поддавшись бесовскому внушению, склоняют вас на бунт против хозяев ваших, начальства и — страшно помыслить — против самого помазанника божия, благочестивейшего государя нашего, и против святых церквей...

— Вот это закручивает!

— Тише, ты...

— Да поди он к чортовой бабушке!..

— ... Наступил день, когда верные сыны престола и отечества должны сплотиться...

— Ах ты, господи, две недели вянет, один день цветет.

— Ты чего, Рассоха?

— Здорово, всячески старается, — кивает на попа ученик из котельного цеха Рассохин.

— Пошли ко кресту, ко кресту пошли!..

Башенный протодиакон стоит, как бык, которого неожиданно долбанули кувалдой в лоб; он выкатил глаза, чуть выгнул шею, но не поддался и, свирепо вращая белками, раздувает трепещущие ноздри, отыскивая врага.

Попик поднял крест, благословляя склоненные головы, воздушное личико его выражает такую неизреченную любовь и готовность всех обласкать, что старики в умилении, проходя, крестятся мимо иконы на попа.

V

Недели через две после торжественного молебна попросили Карпа Полуденова в кабинет к самому (не приказали явиться, как прежде, а именно попро-

сили), и Полуденов, заранее предупрежденный Епимахом, не был удивлен такой честью; принял он из рук конторского мальчика разносную книгу с подобающим достоинством и неторопливо расписался в получении извещения, в котором в изысканно-любезных тонах сообщали ему, как самому крупному держателю акций общества машиностроительных и механических заводов братьев Ланге, о предстоящем докладе главного инженера завода, Якова Генриховича Ланге.

— Сподобил, господи, удостоиться милости твоей, — вслух произнес Полуденов и перекрестился на дверь комнаты, где сидел старательный сын его Гурий, подсчитывая дневную выручку ресторана.

— Вы ко мне, папаша? — выглянул Гурий.

— К тебе, Гурочка, к тебе... — Подошел, заглянул в непонятные глаза сына. — Счастье меня настигло, Гурочка.

Тут он подал ему уведомление со всей, накопленной за долгие годы, важностью, и лицо его, румяное и полное, отливало самодовольством.

— Все тебе, все, до последнего грошика, Гурочка.

Заметив на письменном столе сына пачки кредиток, спросил:

— Как торговал, Гурочка?

— За вчерашний день четыре с половиной тысячи, — почтительно доложил Гурий. — Князь Гагарин гуляли с цыганами.

— И то давай бог!

Тщательно пересчитал деньги, отодвинул в сторонку двести рублей.

— На именины тебе, Гурочка, на зубок. Хе-хе! Помни, не забывай отца... За усердие, за расторопность твою награждаю.

Приняв поцелуй в щеку, как несомненное признание сыновней любви, Полуденов отправился на завод в самом приятном и радостном настроении, позабыв в этот день дать соответствующие наставления жене своей Степаниде.

Провожая отца, Гурий припомнил давнишний вопрос Кракова: «Накроют нас тут или не накроют?»

— Нет, нас не накроют, Борис Петрович, — только сейчас и вслух ответил Гурий.

Карп Полуденов застал в кабинете всех, то-есть Фридриха с племянником и неперменного Епимаха. Письменный стол Якова Ланге был завален бумагами, и бумаги те исписаны строгими цифрами.

Фридрих глядел мрачно, он ждал, когда заговорит Яков. На Полуденова совсем не обратил внимания или просто не заметил его.

— Вот я и говорю, — не дождавшись племянника, загудел Фридрих, — я говорю: наша задача теперь обуздать народ, работа нынче на убыль, значит, нужно дело повести к сокращению: которые пусть погуляют, другим прочим жалованье урезать...

— А-кхы-м! — прокашлялся Епимах.

— Ты чего? — спросил Фридрих. — Что тебя одолевает?

— Не стоит внимания, Фридрих Иванович, относительные соображения...

— Ну, и пусть «относительные соображения»... Деньги у нас не краденые, швырять задаром нечего.

— Я как-раз хотел говорить, дядюшка, — заговорил, наконец, Яков, — то-есть, если угодно, я хотел сообщить вам, что, по собранным мною сведениям, в России насчитывается около двух с половиной миллионов безработных, вот почему я имею заявить вам...

— Не наша забота, — отмахнулся Фридрих, — и не твоя, ну тебя, не люблю.

— Наша, дядюшка... и я бы сказал, если мыслить перспективно...

— Не наша, не наша, — неистовствовал Фридрих. — Фу-ух, чорт! Пойми ты это, сообрази, умная голова: ежели безработица, значит, можно выбирать.

— А-кхы-м, — еще раз прокашлялся Епимах.

Полуденов завозился в своем кресле, Фридрих подался вперед, Яков раздумчиво затеребил бороду.

«Неясные страхи. Но ведь предупреждающее покашливание Епимаха не без причины... А может быть, ничего и не случится? За стеной конторы дышит завод... И зачем это беспокойство? — Фридрих с ненавистью поглядел на Епимаха. — Но, чорт! он невозмутим и, кажется, дремлет...»

— Что это ты сказал, Яков?

— Я сказал, то-бишь, я скажу: два с половиной миллиона безработных — это целая армия самых смелых, самых отчаянных врагов наших, дядюшка. Об этом стоило бы подумать, и не просто, а в общем и в связи с будущим...

— Пути пройденные будут преданы забвению, — изрек Епимах, — и напрасны усилия даже и самой истории, потому что история не более, как мгновенье. Не удивляйтесь и тысячелетиям, которые протекут для совершенного, может быть, уничтожения наших замыслов, хотя бы и воплощенных, только грядущий день будет вовеки требовать раздумья. Преклоняю, как говорится, ухо мое к словам вашим, Яков Генрихович, со всем вниманием.

«Это он мне назло, ехида этакая! — злился Фридрих. — Ишь ты как, грядущие дни покоя не дают ему, двести лет прожить хочет, гнилая паутина». Переметнул глаза на Епимаха. «А ведь правду сказал, ехида, и гордится. Ну-ка, что он еще скажет! Ну-ка, послушаем!»

«Как он хорошо сказал, однако, — молча согласился Яков: — грядущий день будет вовеки требовать раздумья! Все очень ясно. Дядя может умереть скоро и ничего не желает признавать, по азиатскому своему упрямству, а думать необходимо, и как-раз о грядущем».

И откровенной улыбкой Яков поблагодарил Епимаха, как соучастника.

Смирнехонько сидел в своем кресле Полуденов, он еще не заявлял о себе и, может быть, не собирался заявлять, — сорок восемь лет послушания и подчи-

нения даже и теперь, когда мог он, и не без успеха, соперничать с Фридрихом капиталами, сделали свое дело: он еще робел перед хозяином, но робел по-особому, ядовито, как лакей, скупивший все подлежащие оплате векселя своего властелина. Эта была обидная робость, с большой примесью снисхождения. Фридрих давно признал (про себя, конечно), карпухино превосходство и бесился, и не глядел уже на воспитанника своего с прежней властью. Молчание Полуденова было для него нестерпимо. Фридрих порывался спросить: как же думает этот человек? — и не спрашивал, пугаясь несогласия.

Полуденов и не соглашался, полагаясь на время, которое возьмет свое, определит все и распределит. Мысль, высказанная Епимахом, понравилась ему.

«Завтрашний день может быть и с подвохом, обязательно даже с подвохом, — решает Полуденов. — С утра ничего будто бы, божьим ликом отсвечивает денек-то, а к вечеру божий-то лик с рогами оказывается. Вот и выходит, что от беды загодя откупаться нужно».

— О заводе думайте, — властно приказал Фридрих, — выгодней будет, да и площадь такая, на любую голову хватит. Далеко не углубляйтесь, соразмеряйте по своей силе.

— Все ли благополучно, Дрикс Иванович? — спросил Полуденов, озабоченный исключительно будущим.

— Хм! Ты меня не зли, — оскалился Фридрих, — сам, поди-ка, лучше меня обо всем знаешь. Слава богу, мы за прошлый год триста тысяч дивиденду имеем. Напрасно говорю тебе... Что? Ты чего это рыло на сторону воротить? Мало тебе, что ли?

Почтительная робость Полуденова была теперь прямым оскорблением Фридриху. Полуденов не захотел отвечать, лишив таким образом своего господина (правда, совсем уж и не господина теперь) возможности излить ненависть свою в злобном разговоре. К тому же наблюдательный Яков тотчас

отвел гнев дяди деловым своим замечанием.

— Боюсь, что в этом году, — сказал он, — мы понесем такую же сумму убытка.

— Нет-с, как же так? — сразу забеспокоился Полуденов. — Я не согласен. Это по каким же расчетам убыток, Яков Генрихович?

Фридрих обронил кривую улыбку в седую бороду.

— Смотрите, как его передернуло! — издевался он, радуясь беспокойству Полуденова. — Ну, ничего, я тебя утешу: акционерное общество, ну, там мелкие держатели акций и другие посторонние, может, и не выплывут, а уж мы с тобой как-нибудь удержимся. Ты не вздумай бежать, с тебя станется, я знаю.

— Трудовая денежка, Дрикс Иванович, в надзоре нуждается, — резонно заметил Полуденов. — Я про то, что мне к старости капиталы мои приумножить надо для существования, да и то примите во внимание — сын у меня на возраст. Я ведь не для себя только — мне-то, может, ковш воды да корочку хлеба.

— Корочку хлеба! Ты эту корочку с живого тела сдираешь, — прошипел Фридрих, — уж помолчал бы.

— Молчу-с, Дрикс Иванович, — вздохнул Полуденов, — и не смею сделать обратный упрек-с.

— И не делай, конфуз один только и ну тебя к чорту, сколько раз зарекался говорить с тобой! — признался Фридрих. И тут же обратился к Якову: — Зачитывай, что у тебя есть, — не одному, двоим хозяевам докладывать будешь.

Яков уткнулся в бумаги, он доволен был благополучным исходом разговора.

— Вот и прекрасно-с, — дремотным голосом выразил Епимах свое одобрение.

— Прекрасно, а у самого глаза воспламенились, скандала ждал. Ну, да ладно, не оправдывайся... Читай, Яков.

Доклад свой начал Яков скудным канцелярским голосом, хотя в докладе и подняты были самые животрепещущие

вопросы технического развития завода, его изделий и последних достижений.

— «Техника завода, его оборудование и развитие...» — зачитал Яков.

— Знаю, — буркнул Фридрих.

— «... дали возможность, — продолжал Яков, не обращая внимания на замечание дяди, — поднять производительность втрое против прежних лет. Учет рабочей силы, замена в некоторых случаях этой силы механической...»

— Ты мне азов не читай: буки аз — ба, ба! Ты мне про самую суть. Ну вот, теперь он запнулся!

У Якова была своя страстишка: он всегда, при всяком удобном случае спешил объявить свою ученость, свои разносторонние знания. Глубоко в сознании этого человека жил новой формации заводчик, который отстаивал свои методы эксплуатации и порабощения людей, кивал на Европу и все чаще не соглашался с простецкими приемами дяди, но сейчас возражать поопасался.

— Отлично, можно про самую суть, — покорился Яков, и голос его окончательно потускнел. (Да, он хотел, чтобы его доклад прогрессел перед всеми промышленниками России, и уж для полной картины поглядеть заодно, как будут проходить, хотя бы и в воображении, миллионные армии рабочих, покорных и безропотных, подчиненных не азиатскому распорядку, а строго научному методу, когда человек в замысловатой механике шестерен, колес и рычагов управления, окончательно выпотрошенный и опустошенный, теряет силу сопротивления. Инженер Яков Ланге собирался прокричать об опасности, неминуемой при неумелой эксплуатации рабочей силы, и еще, что умная политика является единственной, которая спасет предпринимателей от надвигающейся катастрофы. Да, он рассказал бы о революциях, происшедших в Европе, о страшном мщении рабочих, о разрушенных дворцах, казнях королей и королев, о поругании бога, — обо всем, что обычно приносит с собой революция. И вот

благодарные собраты рукоплещут ему, принимают его программу заигрывания с рабочими.)

Яков Ланге с откровенным неудовольствием окинул обширный кабинет и тотчас же убедился в том, что воображаемой картине никак не соответствовала действительность. В углу попрежнему в настороженной полудреме сидел Епимах, единственный человек, перед которым стыдно было даже и воображать, в особенности ему, Якову Ланге, ученому инженеру, с трезвым и холодным умом. И, господи, уж не догадывается ли Епимах о его сначала легкомысленной мечте, а теперь, то-есть в возрасте возмужалом, надежде отогреть душу свою любовью к женщине?

Прямо перед письменным столом Якова, в спокойном кресле, — Фридрих, миллионер-азиат; перед ним Якову не стыдно, зато очень неловко и стеснительно, как под скалой, которая неминуемо придавит любого, кто дерзнет закричать или хотя бы пошевелиться. У Фридриха есть желание властвовать, упорство и трудолюбие. Трудолюбие Яков признавал за дядей и эту черту его всегда одобрял и, само собой, не желал догадываться о том, что трудолюбие это заключалось в грабительстве, — боже сохрани так помыслить. Фридрих своего добился, и теперь ему осталось только ощущать немногие годы своей жизни, ощущать достигнутое всеми лапами своей души. (Яков был уверен непоколебимо в существовании фридриховых душевных лап, незримых, правда, но уж несомненных, действительно.) Теперь старому Фридриху нельзя терять и часа на пустячные волнения.

— Изделия, выпущенные заводом за истекшие три года, — начал было Яков, — не считая отдельных отливок, клепальных и кузнечных работ...

И снова произошла задержка, по причине совсем уж унижительной для инженера: за спиной Фридриха, у самого окна, находился Карп Полуденов и с какой-то необычайно глупой хитростью улыбался.

«Неужели и ему... и ему тоже обязан я докладывать?» — с отвращением подумал Яков.

Полуденов сразу угадал причину заминки и перестал улыбаться. Он поскорее хотел узнать, много ли выгадывает, участвуя в производстве, и нельзя ли обернуть свои капиталы по-иному, чтобы выгодно и без риска. Презрительное отношение Якова к нему и грубая Фридрихова снисходительность вовсе не задевали его и, может быть, потешали иногда. Полуденов не болев обидчивостью и давно рассчитал, что обидчивость — дело господское и ему не по карману.

— «... металлических конструкций, — уже продолжал Яков Ланге, — водопроводных труб, а также отдельных машинных частей, были следующие...»

Яков передохнул, покосился на дядю. «Кажется, задремал?»

Январский вечер играл и переливался, так сильно светила луна. Все тихо и мирно, конечно, и еще не страшны безработные...

Яков помолчал.

— Ты чего же остановился? — спросил Фридрих. — Читай, читай! Я слышу.

Голос повелительный, и так говорят только с подчиненными, но ничего не поделаешь, надо покоряться, что спокойней и выгодней. Кстати, слово «выгода» ничуть даже не тревожило Якова Ланге и давно уже стало привычным для его вместительной совести. «За сходную цену, — думал Яков, — можно приобрести впоследствии шумное царство завода».

Яков продолжает доклад: он называет города, в которых исполнены заводом подряды по оборудованию мельниц, электростанций, железнодорожных мастерских и депо: Одесса, Царицын, Саратов, Челябинск, Омск, Тула, Вологда, Рыбинск, Чистополь, Самара, Москва и... Да здравствует Акционерное общество машиностроительных и механических заводов братьев Ланге! Так следовало бы заключить доклад. Но инженер прекрасно знал, что кричать, про-

возглашать и вообще проявлять восторги свойственно людям нетребовательным. Оглядев немногочисленную аудиторию, непревзойденные по выразительности лица, Яков с совершенной точностью угадал, чего ждут от него, потому и объявил:

— Всего за указанный период заводом было выпущено разных изделий общим весом в восемьсот тысяч триста пятьдесят пудов, на сумму четыре миллиона двести двадцать семь тысяч сто сорок девять рублей и тридцать четыре копейки...

Эффектную эту сумму назвал Яков Ланге нарочито приподнятым тоном, но видимого впечатления не произвел. Фридрих, дремавший в своем кресле, промышчал сначала что-то совсем невнятное, а когда очнулся, вдруг вспомнил совсем постороннее и к докладу не касаемое.

— Жалко мужика, хороший был мужик, — проговорил он, — отлетают мои соколы на покой, — оглянулся на Полуденова. — Замечательный был мастер.

— Мямлина вспомнил, Дрикс Иваныч? — поспешно догадался Полуденов.

— А то кого же? Умер, дурак, не вовремя... Ты что, доволен или недоволен?

— Насчет чего-с, Дрикс Иваныч?

— Цифрой-то, цифрой доволен ли? Четыре с четвертью миллиончика!

— Ежели бы чистоганом, Дрикс Иваныч, — вздохнул Полуденов, — тогда складнее было бы...

(За скаредный такой ответ Епимах ругал потом Полуденова самой отборной руганью, уснащая ругань особыми канцелярскими оборотами и вывертами, то есть выслушал тогда виновник нечто вроде матершинной проповеди.)

Фридрих встал, шагнул к Полуденову и поднял было руку, как бы намереваясь ударить бесстыдного своего питомца, но, подойдя, руку сейчас же и опустил на карпухино плечо.

— Пойдем, — сказал он, — проводи старика, победил ты меня, мошенник!

Полуденов очень терпеливо, а главное, с ехидной покорностью выслуши-

вал бранчливую воркотню Фридриха и за всю недлинную дорогу даже и слова произнести не захотел, имея на то свои особые расчеты (тоже довольно ехидные, но еще очень далекие). Возвращался в дом свой весело, к предстоящему в этот вечер именинному пиршеству Гурия.

— Вот, не угодно ли убедиться, Василий Тимофеевич, — обратился Епимах к полицейскому надзирателю, указывая на вошедшего: — Карп Серафимович Полуменов, человек высокой премудрости. Благополучно ли проводил старца Фридриха, Карпушенька?

— Благополучно.

— Но благополучно ли поведение твое? — добивался Епимах. — Непочтителен ты и нагл в последние годы жизни твоей, в то время когда нужно оказывать всяческое снисхождение проживающим на земле.

— Оставим разговор, Епимах Лазарич, — взмолился Полуменов, — нынче у меня день великой радости. А насчет моих последних годов не согласен, — может, я сто годов отмахаяю.

— Значит, аппетит есть, — завистливо сказал Руденко и вздохнул с такой очевидной печалью, что все сразу и заметили. — Вот если бы обременен был высокоблагородный ум ваш, Карп Серафимович, заботой государственного порядка, когда судьба народов всей России гнетет и давит вас (Руденко и в старости держался тона возвышенного), тогда, увы, и скорби и невзгоды привели бы вас к безвременной могиле.

Руденко поднял налитый до краев бокал с вином, часто моргая и слезливо улыбаясь.

— Почтеннейший Василий Тимофеевич, — с деланой торжественностью заговорил Епимах, — позвольте мне, Василий Тимофеевич, осведомиться насчет причин вашей государственной печали?.. Наполни, Гурий, прекрасный наш именинник, и мне рюмочку ликерцу... Мы не имеем высокой чести состоять на государственной службе, однако же, будучи верными сынами своего

отечества, всегда готовы разделить и, так сказать, присовокупиться...

— Признателен и весьма-с, — поклонился Руденко, — но все-таки не лучше ль умолчать, господа, тем более в такой счастливый для нас вечер, когда, отбросив тяжкие заботы (не правда ли, Степанида Сидоровна? не так ли, мой дорогой другья?), душа стремится к ликованью.

Тона Руденко все-таки до конца не выдержал, руки его задрожали, он расплескал вино и как будто всхлипнул даже.

— Э... это, позвольте заметить, это уж совсем не годится, Василий Тимофеевич, — радостно метнулся Епимах. — Печаль, сообщенная друзьям, теряет свою первоначальную силу. Сообщайте же, дорогой Василий Тимофеевич, не ждите, прошу вас, предписания начальства, его не воспоследует, когда дело касается душевных тревожений.

— Нет-с, предписание воспоследует, и всенепременно, — решительно объявил Руденко. — Ах, если бы только душевные волнения терзали мое сердце, а то ведь вот, вот это самое, сугубо кляузное дело...

Порывшись в карманах своего парадного мундира, выложил на стол пачку прокламаций.

— Видали-с? Читайте и негодуйте: «Российская Социал-Демократическая Рабочая Партия»!.. Вот-с дожили, можно сказать! Чем прогневил господа бога моего? И главное, в районе моего расположения действуют, но где именно-с, в каком пункте, — не могу определить.

Гурий разливал по бокалам вино и старался не обращать внимания на происходящее; он с усердными улыбками и поклонами обносил всех, в особенности крестного своего, Василия Тимофеевича Руденко, и лицо у него было самое беззаботное и веселое.

— Мамочка, крестному пирожка, пожалуйста. Вы с чем хотите, крестный, с мясом или сладкий?..

— Невинное сердце и светлая душа, — умилялся Руденко, принимая из рук Гурия угощение. — Как счастлив

должен быть отец, имея такого сына!.. Между прочим, озаренный свыше, хочу произвести, с разрешения начальства, повальный обыск и в первую голову у злодея, Семена Рорбаха, в его аптеке.

— Мм, хе-хе! — щерился Епимах. — А вдруг у него динамит, что вы скажете?.. Весьма и весьма возможно. Пых! жжж.. трах! и при исполнении служебных обязанностей вы вознесетесь на небо. Конечно, принимая во внимание рвение воина, который стремится совершить подвиг, но все-таки, любя вас искренно и всей душой, я посоветовал бы действовать со всеми надлежащими в таких случаях предосторожностями.

— Не страшитесь, Василий Тимофеевич, — неожиданно посоветовала Степанида Сидоровна, — мы с Гурочкой будем за вас молиться.

— Мы будем молиться, крестный, — присоединился Гурий, подняв светлые глаза свои и улыбаясь всем.

— Молитесь за Варгана, — вздохнул Руденко. — Вот человек, который решил разведать все в тайности и своевременно доложить, человек первостатейный и преданный царю и отечеству, хотя и бильярдист по своей профессии.

— Престол подпирать никому не возбраняется, — сказал Епимах, — тем более людям, не имеющим определенных занятий. Может, именно такие и призваны спасти отечество... Ты, Гурий, как мыслишь на сей счет?

— Не смущай, — вступился Полуденов. — Придет время — сам определит, торопиться ему некуда.

— Не держи человека в неведении, — настаивал Епимах, — не младенец ведь, двадцать первый год пошел. Вам же, Василий Тимофеевич, — вдруг обратился он к полицейскому надзирателю, — общу приятное: с прошлого года в городе Санкт-Петербурге, говорю вам как лицо вполне осведомленное, действует в духе умиротворения рабочих священнослужитель Гапон, каковой Гапон организовал собрания русских фабричных и заводских рабочих. Умный пошук, доложу я вам, устав сочинил с пунктами, весьма тонкими и для добропорядочных рабо-

чих соблазнительными. Наизусть заучил я, до того великолепно пункты и убедительны. Во-первых... то-есть не во-первых, а предварительно уведомляю вас: священнослужитель дело ставит тоньше его высокогородия жандармского ротмистра Зубатова: тут уж не только земные власти привлечены, но и небесные, что и нахожу правильным, принимая во внимание религиозность рабочего люда. Затем следуют пункты: собрание русских фабрично-заводских рабочих учреждается: «Для трезвого (заметьте, трезвого!) и разумного препровождения членами собрания свободного от работ времени с действительной для них пользой, как в духовно-нравственном, так и в материальном отношениях». Чувствуете, господа? Во-вторых: «Для возбуждения и укрепления в среде рабочих русского национального самосознания». В-третьих: «Для образования и развития в них (в рабочих, то-есть) разумных взглядов на обязанности и права рабочих». И в-четвертых: «Для проявления членами собрания самостоятельности, способствующей законному улучшению условий труда и жизни рабочих». Теперь, осмелюсь обеспокоить вас, многотимый Василий Тимофеевич, как дерзнете вы учинить повальный обыск, коль скоро намерения вышестоящего начальства иные?

Руденко как будто и не слышал всего или не хотел слышать.

— Игра, одна игра-с, и ничего более. Не я ли, господа, получаю ежедневно циркулярные распоряжения: искоренить и очистить!

— Хи-хи! — залился Епимах. — Так вы признаете, что тут одна игра-с? Упоительно и... я всегда, всю мою жизнь удивлялся умным людям, все-то они претлично понимают и, так сказать, проникают на задворки человеческой мысли, не верят в красивый фасад, хотя бы временно и для приличия, но повинуются всему и верят лучше самих верующих. Не обижайтесь, Василий Тимофеевич, я произношу хвалу и всецело присоединяю себя к людям умным, хотя и недостойным.

— Ты бы не ломался, Епимах Лазарич, — попросил Полуденов; — Какой тебе резон в этом? Вот ежели перед народом, может, и поверили бы, и опять же разговор не именной. Нам-то все равно, конечное дело, ну только Гурию не под силу тебя слушать. И насчет ума не распространяйся, — любого вокруг пальца обведешь. Налей, Гурий, вина нам, которое послаже, и себе тоже налей. Выпьем за высокосную жизнь Епимаха Лазарича, который преодолел и возвысился...

— Очаровал, Карпушенька, ох, как очаровал! — смеялся и хлопал вставной челюстью Епимах. — И милосерд нынче к людям ты, чего, на основании глубокого изучения поступков твоих, не мог допустить.

— Гуручка душу воскресил, — нечаянно догадалась Степанида Сидоровна, — и мне исцеление послал в жизни.

— Помолчи! — зашипел на жену Полуденов. — Не под силу существу женского рода проникновения в замыслы...

— Усиленно возражаю, — заявил Руденко, — и мыслю так, что женщина, как муза милая для стихотворца, всегда необходима, в особенности же в беседе возвышенной и благородной.

— Насчет благородства вознеслись, — не согласился Епимах. — Благородство есть уже ликование человеческой мысли или как бы розовый туман, сотворенный не землей, — солнцем. Сами сообразите, Василий Тимофеевич, какое же благородство, когда на столе прокламации, злокозненные прокламации, кои содержат идеи разрушения существующего строя. Плачьте и рыдайте. Что же меня касается, молю господу — душу мою, утомленную житейскими невзгодами, принять в лоно свое.

Епимах хотел было перекреститься, чтобы подчеркнуть свое смирение, но рука (должно быть, против воли), совершив неуклюжий взлет, привычно потянулась к наполненным бокалам.

— Не допущу и поражу мечом, — храбрился подвыпивший Руденко, потрясая над столом пачкой проклама-

ций, — и как только обнаружу, тотчас же и предам всеобщему доглат!

— Найдите-с, — подзадоривал Епимах, — и будете прославлены, и приумножатся ваши медали. Действуйте, Василий Тимофеевич, спасайте отечество непоколебимо. Разите врага и прочих именуемых мятежников. Где вы до были вышеозначенную литературу-с?

— Завод, ваш завод является рассадником, — грозно прохрипел Руденко. — Попустительство начальства и предрешающих властей.

— О, господи! — перекрестилась Степанида Сидоровна. — Страсти какие!.. Иди, Гуручка, напугают они тебя своими разговорами.

— Нет, почему же, я еще немножко послушаю, мамочка.

Гурий садится рядом с матерью, делает далекие глаза и чуточку приоткрывает рот; он озирает одутловатое лицо своего крестного, полицейского надзирателя Руденко, его круглые, навывкате глаза и седые, очень размашистые усы.

«Дурак, законченный и совершенный, — думает Гурий. В ту же минуту он услужливо подливает крестному вина и улыбаются. — Сытая скотина!»

— Кушайте, крестный, — вы ничего не кушаете и все волнуетесь.

— Завод, главное, тебя и не касается вовсе, куманек мой дорогой, — указал Полуденов, — тут моя большая работа.

— И моих заслуг не отнимай, Карп Серафимович, — напомнил Епимах. — Мой интерес, принимая во внимание долголетнюю службу, совсем особенный и сугубый.

— Как страж, облеченный доверием, я ко всему касательство имею, — шумно доказывал Руденко, — и согласно инструкции обязан всех подозревать... Прошу прощенья, Степанида Сидоровна, за чрезвычайный разговор, — поклонился он хозяйке. — Я кушаю, но не могу унять волнения...

Руденко выпивает, закусывает мясным пирогом, стучит ножом по опорожненной тарелке.

— Позвольте, что же значат ваши, господа, поступки? В прошлом году не вы ли приняли вредоносных членов общества на завод?

— Кого же, господин начальник? — спросил Епимах. — Окажите милость, сообщите. Ведь это, принимая во внимание вашу неудержимую натуру, вы нас с Карпушенькой, чего доброго, возьмете на подозрение, в списках о неблагонадежности обозначите.

— Боже праведный, как вы обернули, уважаемый Епимах Лазаревич! Дерзнул ли я хотя бы помыслить даже! — робел Руденко, пугаясь выпавшей епимаховой челюсти. — Я вообще, то-есть в смысле приложения официальных документов, в коих обозначены имена Дмитрия Лепихина и Леонтия Чемерицына — людей, однажды подвергнутых, как вам доподлинно известно-с..

— Да ведь прокламации не они же опечатали, — попытался доказать Полуленов. — Умственный горизонт неподходящ для этого.

— На вопрос ваш, Василий Тимофеевич, ответу с достоинством, — вступился Епимах. — Упомянутые вами субъекты приняты вследствие склонной к тому государственной политики и в целях миролюбивых достижений, что же касается их участия в печатании зловерных прокламаций, придерживаюсь мнения моего друга, Карпа Серафимовича. Именно — «умственный горизонт неподходящ», что и удостоверяю.

— Но кто же? — заметался Руденко. — Рорбах?.. под неослабным наблюдением. Сергей Андреевич Солунцев?.. не допущу помыслить.

— А еще-с? — уже допрашивал Епимах. — Вы припомните-с...

Выдернул из пачки пару прокламаций, и не то что прочел, обнюхал их, исследовал начертание самых букв.

— Разрешите воспользоваться для всестороннего изучения, — попросил Епимах. — Слог отменный и высоко-научный, — сунул прокламацию в карман. — Как я заключаю, Российская Социал-Демократическая Рабочая Партия при-

зывает своих соучастников, именуемых членами партии, к ликвидации кустарничества, то-есть разрозненных действий, и приступить к созданию действительной политической партии. Хе-хе-с, Василий Тимофеевич! Это не более, как циркулярное распоряжение по ведомству. А другая прокламация, совсем свеженькая, является научной статьей о причинах партийного раскола, и подписана статья единым росчерком: «Большевик». И так-с, Василий Тимофеевич...

— Припомнил! — завопил Руденко. — Очень даже хорошо припомнил-с. Краков, Борис Петрович! Ученый студент, неведомых родителей, скрывается в неизвестности.

Гурий поднялся, безмятежная улыбка не оставляла его лица; он подошел к отцу, встал во весь рост перед счастливыми его глазами.

— Иди, Гурочка, благослови тебя господь, — торжественно произнес Полуленов, перекрестился и поцеловал сына. — Спокойной тебе ночи. Устал, подика, от разговоров наших? Прости стариков, болтливы мы...

Гурий поклонился отцу, приложился к щеке его, как прикладываются к иконе; так обошел он всех, и все требовали его улыбок и поцелуев.

— ...И так-с, — продолжал Епимах, — предстоящие вам огорчения свидетельствовать будут...

Гурий остановился за дверью. Яростные глаза неузнаваемо изменили его лицо, он прислушался. Епимахова речь кипела злым ехидством. Епимах в отсутствие Гурия не стеснялся совершенно, он громил дерзновенных революционеров, издевался над полицией и бездеятельностью самого градоначальника, призывал не церемониться с рабочими и рекомендовал учредить круговой шпионаж. И, что самое главное, главнейшее и Гурию особенно тошное, до омерзения, отец его, Карп Полуленов, как-то особенно сладостно подхихикивал Епимаху и любовно поощрял его:

— Люблю и уважаю, всегда уважал твою чистую правду, Епимах Лазарич. — озарен человек самим господом.

«Нет, это совсем не то и, пожалуй, неважно, — раздумывал Гурий. — Не надеялся же я, в самом деле, слышать от них другое».

Он пришел в свою комнату, разделся и лег в постель. Ворочаясь и глядя в темную пустоту, остановился на тоненьком огоньке лампы перед киотом, где стояли дорогие и строголикие иконы: Никола, Петр и Павел. «И все праведной жизни, — посмеялся Гурий. — А может быть, это трое друзей, еще существующих и сильных: святитель Епимах, великомученик Карп и просто угодник божий Василий?..»

Гурий приподнимается, крадучись, подходит к иконам.

— Святители оруженосцы, дорогие мои сторожа, — шепчет он.

Отодвинув апостола Павла, лезет рукой в образовавшуюся щель, достает никелированный шестизарядный револьвер «Смита и Вессона» и два номера газеты «Искра».

Гурий кладет газеты и револьвер под подушку и долго, неподвижно сидит на постели, откинувшись к стене и подвернув ноги калачиком; уснуть сейчас он не может, его беспокоят соблазны. На улице ночь и, кажется, порошит снежок, оттого и темно так, лают где-то собаки гулко и злобно, окраина Москвы давно спит.

В изнеможении Гурий падает головой в подушку и, подрагивая, заворачивается в одеяло, чтобы поскорее согреться и успокоиться.

VI

В продолжение недели в пяти каменных корпусах завода плутали непонятные разговоры. Гурий, по обязанности партийного осведомителя, заглядывал иногда в контору, за получением необходимых наставлений от отца своего. Почтительный, с расчетливой вежливостью сверх меры... (В этом унаследовал Гурий отцовскую манеру, но, превзойдя его, обернул все в другую сторону. Считая для дела самой мудрой пословицу: «С волками жить, по-волчьи выть», Гу-

рий, пряча нелегальную литературу в винном погребе ресторана, на чердаке и, наконец, у себя в комнате, за иконами, — на столе своем, для отцовых глаз, всегда держал что-нибудь душеспасительное, а из легкого чтения — приложения к газете «Свет», и читал по вечерам родителям своим, если отец был к тому же в добром расположении, романы «В пылу страстей» и изредка, с особого разрешения, «Петербургские трущобы»; при этом всегда, и обильно, плакала мать и обязательно высказывал жалостные мысли отец, и, казалось, высказывал искренно и глубоко-задушевно. «Как народ-то бедный мается, Гурочка, — приговаривал Полуденов. — И в несчастии не уравнил господь рабов своих, а иных, даже напротив, поднял над земными бедствиями. Читай, Гурочка, читай. Достоинно мирское горе сожаления. Жалей бедных, Гурочка, и не забывай...») — ... в богатом пальто с бровьным воротником (были бобры в большой моде) стоял Гурий у порога кабинета, поглядывал на Епимаха и докладывал отцу:

— Вчера изволили занимать отдельный кабинет сам Яков Генрихович и с девицами, требовали вина и цыган, счет не вполне оплачен.

— Не допускай!

— Слушаю-с. Пошлю Патрикея.

— Не уличил? — спрашивает Епимах.

— Никак нет, — будто сожалея, отвечал Гурий. — Или ловок он очень, или я дурак; всегда на посту и очень аккуратен.

— Чорт знает что! — удивлялся Епимах. — Даже и немисливо для человеческой природы.

— Хитер пес, — удостоверял Полуденов. — Но смотри, Гурий, не давай Патрикею послабления, я как-нибудь сам загляну. Ну иди, поговорим после особо.

— На завод можно? — спрашивался Гурий.

— Иди, отчего нельзя, — разрешал Полуденов, — вникай и сюда, может, и пригодится потом.

Гурий уходил в заводские корпуса и только здесь переставал играть и становился тем, кем хотел быть, не спрашивая на то даже и отцовского разрешения.

В механической встретил Гурия токарный мастер, престарелый и совсем облысевший Семякин, поклонился со свойственной ему почтительностью и молитвенно завздыхал при этом. Гурий при встрече не преминул взять свою наигранную роль, ответил на поклон с придвинутой приветливостью и тут же, чтобы уж совсем прельстить старого мастера, снял шапку перед образом нерукотворного спаса и перекрестился.

— Как ваше здоровье, Капитон Иванович?

— Прыгаю помаленьку, Гурий Карпыч, бог прехам терпит... Проведать пришли? Проводить вас прикажете или вы сами?

— Сам, сам, Капитон Иванович, спасибо. Идите в конторку, прыгать-то вам и без меня, должно быть, надоело. Попейте-ка лучше чайку.

Семякин, радуясь случаю попить чайку и отдохнуть, отправился в цеховую свою конторку, откуда управлял и все видел, но, уходя, он все еще оглядывался, выражая тем самым готовность свою к услугам.

Заметив семякинский подзорок, Гурий перекрестился еще раз для окончательного старикова умиления. «Чорт с ним, а то еще отцу наклеянут, — думал Гурий, крестясь на икону. — Шпионит, сволочь такая, за всеми».

Семякин скрылся, и в ту же минуту услышал Гурий близкий и совсем свойский хохоток.

— Катись на легком катере от нашей божьей матери, купи свою да молись!..

Гурий покосился через плечо, сделал строгие глаза.

— Здорово, Тишка, какого ты чорта зубы скалишь, — увидит ведь Капитошка...

— Глаз не тот нынче у него. Ну, а если и увидит, так и чорт с ним, не очень-то я боюсь.

Токарь Тихон Стригун перевел станок

на холостой шкив, развеселился от особых мыслей своих, в которые тут же и посвятил Гурия:

— Бастовать хотим, ну да! Чего ты глаза-то вытаращил?

Вставай, поднимайся, рабочий народ,
Вставай на борьбу, люд голодный!
Раздайся, крик песни свободной!..—

пропел Стригун. — Вот ору и не страшусь. Все равно житья нет, твой папашка старается. Эх, да и собака же! Ты не обижайся, Гурий, — ей-богу, правда, самый настоящий цепной пес. Сочувствуешь?

— Сочувствую.

— Ну, если сочувствуешь, дай рублевку. До получки неделю ждать, а пожрать хочется... Да ты не осуждай, я свое заработал, вчера полсотни прокламаций на завод приволок и на дверях конторки одну приляпал, Семякина попугать — авось, думаю, скорее сдохнет. Ты давай рублевку-то, не задерживай, мы тут дело одно обтяпать хотим. Ты взаимы дай, я тебе завтра верну. Серебряный рубль давай, бумажный не надо.

— Рубль возьми, на всю артель жертвую, только не напейтесь, черти,— предупредил Гурий, — и, главное, не вздумайте болтать о прокламациях. А насчет забастовки и не заикайтесь, об этом когда еще скажут. Понял?

Гурий сунул в руку токаря серебряный рублевик, беспечно улыбается и шагает дальше, между токарных, сверлильных и строгальных станков, к Дмитрию Лепихину, за деловым разговором. Вдруг он останавливается и начинает соображать, что на глазах у всех ему нельзя подходить к Лепихину. Грохот, шум и особый, пронизывающий скрежет оглушают Гурия, путают мысли и сообщают необычайное чувство угнетения. Все вертелось и летело перед глазами. Двадцать лет прожил Гурий на свете, теперь шел ему двадцать первый, и никогда не думал он, что завод этот, все эти станки, приводные ремни и бешено крутящиеся трансмиссии опустошают человеческую душу, загораживают

жизнь, и потому только, что все это для любого, кто работает здесь, чужое, страшно далекое и даже враждебное. Человек может проработать двадцать или тридцать лет (Семякин работает сорок), но в один какой-то день придет хозяин, Фридрих Ланге, или его племянник, а может, Полуденов Карп, и по одному своему капризу вышвырнет отсюда любого — на голод, на нищету, и никто за человека не заступится, не имеет права заступиться. Мысли эти хотел объяснить Гурий, чтобы не было так страшно за человека, однако всякий раз он упирался в какую-то точку, за которой все было туманно и жизнь казалась невозможной. Тогда Гурий бежал к Борису Кракову за разъяснением и после разговора с ним принимал и видел жизнь совсем с другой стороны; все непонятное и неясное, а порой (как, например, сейчас) страшное становилось необыкновенно простым и таким, что можно было даже и прощупать человеческие отношения, хотя отношения как раз и казались нечеловеческими (особенно после объяснения Кракова) и еще сильнее потрясали Гурия. По цехам сутились, бегали и переругивались сотни людей, звон и ляг проникал как бы в самые поры тела, знойный запах керосина, нефти, олеонафта и олифы пропитывали человека на всю жизнь, и никакие банные пары и ухищрения не могли отмыть человека. «Классовая борьба» — объяснял Краков. «Классовая борьба» — внушал Самохин, и оба со всей простотой и с некоторым покровительственным равнодушием рассказывали историю развития человеческих взаимоотношений, и вот оказывалось, что многое, казавшееся Гурию вначале обычным и нормальным, весь распорядок жизни, все ее сооружение: церкви, попы, святители, сам бог, царь на троне, его министры, полиция, жандармы, войска, чиновничество, до последнего писарька, жили и старались во имя грабительства вот этих людей, которые работают с проклятием и унынием — на заводе, в шахтах, в непролазных торфяных болотах, на железных дорогах, в глухой си-

бирской тайге. «Вот как! — содрогался Гурий. — Значит, то, что вижу я и чему верил в детстве, обыкновенная ложь? И первый охранитель жи этой — мой смиренный и тихий папаша, Карп Серафимович Полуденов, достигший благополучия, всяческого благополучия, потому что обрел любовь свою и утешение в сыне». Гурий, как только понял это, так сейчас же и положил оставаться смиренным, чтобы игрой в смирение и покорность победить.

В котельной встретил Петьку Рассохина. Котельный цех был железно-холоден, пыль под ногами и паутина в стропилах, тусклые стекла окон, немолчный грохот, и среди подмоштков, будто воробьи, оглохшие ученики. Первый и лучший из них Петька Рассохин; он бегает, точно полоумный, ему нужно выработать свои тридцать копеек в день. Ах, этот день бесконечен! Сосет подложечкой, кружится голова и звенит в ушах, звенит ехидно и неотступно. Прошло одиннадцать часов, Петька Рассохин хочет заработать больше тридцати копеек, обязательно больше, чтобы хватило на всю семью. Петьке восемнадцать лет, но семья у него большая, одному не прокормить, и кормить, кроме Петьки, никому. (Петька совсем ничего не знал о сооружении человеческой жизни, ему не объясняли этого, а читать не довелось, но иногда он недоумевал, и тогда пытался все разрешить по-своему, собственным умом.) Когда служили молебн, Рассохин молился самым настоящим образом и со всей искренностью верил, что молитва может достигнуть. Он глядел на темный лик иконы и хотел угадать, нет ли в глазах спаса немножко милости к нему, Рассохину Петьке, и молитва складывалась такая, которая обязательно должна упросить:

«Господи, господи! помоги отцу избавиться от запоя. Что же это такое, господи? А то еще лучше, господи, если я поскорее вырасту и стану мастером».

Никакой надежды у Петьки Рассохина не было, но уж очень хотелось, чтобы эта надежда была, то-есть Петька всеми силами старался выдумать надеж-

ду. Однако, спас почему-то глядел в сторону, туда, где стояли Фридрих Ланге с племянником Яковом; когда же заговорил поп, спас явно улыбался, должно быть, потому, что поп умел молиться, а Петька нет. (Было с Петькой, когда, ни оттуда, ни отсюда, приходили странные мысли, и еще прошлым летом лазил Петька на чердак, становился коленями на кирпичи для большей чувствительности молитвы перед богом, и стоял неподвижно, глядел в щелястую крышу, откуда сочилось тоненькими пыльными ручейками солнце, и молился Петька одними мыслями, и не молился, а просто так спрашивал: «Почему, господи, я сын сапожника Савелия Рассохина, а не другой кто заместо меня? И зачем я, когда мне можно было и не быть совсем?») Так и не помогла Петьке молитва: отец—одно несчастье, сестру выбросили с фабрики, говорят — работы нет, мать еле бродит, скрюченная ревматизмом, и вообще Петьке некуда податься и не на кого надеяться, в этом и вся история, и надеется Петька на свои руки. Эти руки за десять часов работы в котельной добывают всего лишь тридцать копеек, а нужно пятьдесят, хотя бы пятьдесят! Петька Рассохин нагревает заклепки и стучит молотком еще пять часов. К ночи он уходит домой; идти далеко, на Плющиху, куда и бегают Рассохин вот уже четвертый год.

— Эй ты, чортова свистулька, чего глаза распялил? Не видишь, сволочь, заклепки горят!

Петька выхватывает заклепки из горна, мчит к котлу, просовывает заклепки в готовые дыры, берет тяжелую поддержку. Скорей, скорей, зевать по сторонам нельзя и секунды. Кто-то поощрил Рассохина подзатыльником, и таким увесистым, что парень в два скачка очутился около котла. И вот осыпается горячая окалина прямо на руки, но бросить поддержку нельзя и стыдно показать слезы хозяину, Фридриху Ланге, который любит подгонять учеников затрещинами, чтобы веселей двигались, старательней работали.

Полуденов Гурий все это видел и не мог виденного перенести: он утерял в эту минуту рассчитанное свое смирение, и до того даже, что, бросившись между подмостей, чуть было не налетел на Фридриха, но как-то во-время споткнулся и остался незамеченным.

В котельной стоял предвечерний сумрак, редкие электрические лампочки светили только там, где было нужно для работы. Гурий прошмыгнул за ворота теневой сторонкой и тут остановился. Во двор из боковых ворот котельной волоакивали на катках совсем уже склепанный паровой котел: рабочие волокли его на канатах, продетых в люки, рабочих было не меньше ста человек; ухватившись за канаты, они гудели, покачиваясь на ногах, а кто-то выводил высоким и злым тенорком:

И ах, д'хорошая заправка:
Выходила д'к парню девка.
Ну-ка, братцы, песню грянем.
Приналяжем да потянем.

Грянем!

Подернем!

Потянем!

Катки скрипели по снежному насту ноющим каким-то скрипом, и подвывали рабочие. Они влегли, тянули во всю силу, ахали по скованному морозом снегу сапогами и были теперь хрипло и вразнобой, а за ними полз тяжелый котел, то поднимая тупую свою голову и оседая задом, когда переваливал через каток, то набегал на плотную толпу и, тычась в дорогу, глухо гудел.

Гурий обошел Фридриха и рабочих, он почти бежал, бежал к проходной и радовался тому, что во-время встретил рабочих, и хорошо, что так случилось. (Гурий радовался какой-нибудь посторонней причине и всегда как бы отстранял себя — так было и в этот январский вечер.)

В котельной грохали кувалды и дробно звякали молотки, и Петька Рассохин зарабатывал нужные ему пятьдесят копеек. Три года прошли без особых для Рассохина изменений; может, так и пройдет вся жизнь, и с этим ничего не поделаешь, — по крайней мере, Петька

еще не знает, можно ли что сделать на самом деле. Мать говорит: «Судьба!» Отец кричит: «Планида! Такая, Петруха, наша планида!» Вот и понимаем, как знаешь, чего хочет сказать отец темным словом своим. Но однажды, когда пятнадцатилетняя сестра Фенька вернулась поутру пьяная и швырнула в дрожащие руки больной матери четвертную... (Это была сумма вдвое больше фенькиного жалованья и огромная по тому времени. Но, должно быть, господин, прогулявший с Фенькой всю ночь, был богат и не пожалел денег на невинность. И автор просит извинения за «обыкновенную историю», которую к тому же никто не выдумывал, и была история как бы необходимым и совершенно неизбежным дополнением в человеческом общежитии) ...Петька понял, что такое «планида».

Январские вечера горели в лунном пламени. Пустынное небо стояло среди огромных и страшно одиноких облачных гор; окованные слоистым серебром, они, казалось, обливались реками непонятных для вселенной слез. А внизу коченела земля, крохотная среди окружающих ее звезд, но зато самая беспокойная, как несомненно живое тело среди мертвых и оттого, может быть, величественных тел.

Затасканная тужурка совсем не дает тепла, и петькина цыплячья грудь не выдерживает напора жгучего ветра. Ноги выплясывают на-бегу невероятно пьяный танец, глаза слезятся, орошая побелевшие щеки. Так бежит Петька до угла Арбата. С завистью провожает он новенькие вагоны трамвая арбатской линии.

«Катаются, дьяволы! — думает Петька, наблюдая за счастливой и тепло одетой публикой. — Катаются...»

Вечер был здесь суебливей и не такой уж подавляющий. Вдруг трамваи остановились, из вагонов торопливо вылезали и выглядывали обеспокоенные пассажиры. Полиция закрывала рестораны, владельцы магазинов, приказчики и покупатели высыпали на улицу. Появились военные, студенты, гимназисты и

господа в дорогих шубах, молодцы из мясных лавок, с широкими ножами у поясов. Огромная толпа загрозила улицу. Кто-то поднял на длинном шесте портрет царя, лопы из церкви Бориса и Глеба выносили хоругви, толпа хлынула на площадь, запела «Боже, царя храни» и закричала «ура», и еще кричали что-то, чего продрогший и растерянный Петька не мог разобрать. Он видел, как взлетали над толпой меховые шапки, студенческие фуражки, картузы молодых из мясных магазинов, и бежал, ныряя по толпе, на Плющиху.

Дома отец, пьянее обыкновенного, топтался по комнате, размахивая шпандыррем, и возбужденно грозил:

— Мы им покажем, куда Дунька ночевать ходила! А вы что думаете — не покажем? Нет, подождут они хвост, не на тех насכוили! Мы отсюда так гаркнем — земля у них затрясется! Давай, Петька, чебурахни стаканчик, водка даровая, купцы нынче всех угощают, истинный христос-бог. Со мной купчик один расцеловался даже, да ты его знаешь: мясника Пантелеева сын. Целует и плачет, упоенье нашло. «Иди, — говорит, — Савелий, япошек бить, а япошками война объявилась». Ну, и я не выдержал, пронял меня слезы. «Иду, господин Пантелеев, согласно вашему приказу, вели коней запрягать, говори, в какую сторону в Японию ехать». Вот я какой! Ты не гляди, что такой..

Япония — совсем темное для Петьки государство. Почему япошек нужно бить — было неизвестно. Петька выхлебал, с морозу, целую миску серых щей и сразу почувствовал тяжелую усталость и сонливость. Чтобы отвязаться от пьяных приставаний, Петька быстро согласился с отцом, что япошки нехристи и черти не нашего бога. Утром Петька, приплясывая на морозе, бежал на завод зарабатывать свои тридцать копеек (а нужно, как помните, пятьдесят!), обязательно пятьдесят!). День прошел в разговорах и в возбужденной толчее, и все ждали, что вот-вот произойдет необыкновенное, и тогда обязательно наступит облегчение жизни. Рабочие

были разговорчивы необычайно и, пожалуй, празднично разговорчивы.

В харчевне во время обеденного перерыва, в гомоне и зазвонистой матерщины, можно было разобрать слова (слова казались Рассохину несуразными и непонятными):

— Да будьте вы прокляты и с отечеством с вашим, и с царем, и с верой!..

— Значит, что же?

— А ничего!

— Нет, ты погоди, — за такие слова не то, что зубов, всей головы мало...

— Катай!..

Рассохин слышит неистовую злобу в ответах и вопросах.

— Товарищи, время разговоров прошло, и, ей-богу же, вы не дети и должны, наконец, понять, что судьба ваша находится в ваших руках...

— Это кто же?

— Лепихин Викул приехал, слышал?

— Лепихин Викул?

Рассохин доедает щи с «тронутой» солониной; ему в эти минуты, пожалуй, совсем неинтересно, кто приехал и зачем приехал. У Петьки дрожат внутренности, он не слышит помойного запаха щей и не понимает, о чем говорят ему.

— Гляди, что пишут. Да ты разуй глаза-то, чорт из бурло болота.

(Ах, у этого чорта, то-есть у Петьки Рассохина, если бы захотели выслушать его, даже и детства не было, такого детства, которое остается в памяти, как сон золотой. Правда, Петька помнит пустыри, заросшие полынью. В солнечные дни он бродил по зарослям, в надежде отыскать когда-нибудь сказку, выдуманную им под раздумчивое стрекотание кузнечиков и пенье петухов. И вот Рассохин припадал к земле и прислушивался. По вершинам полынных зарослей пробегал ветер, и тогда принималась голенастая полынь подсвистывать, и пахла полынь тоской. В то время, может быть, в семилетнем возрасте, и спрашивал Петька никого: «Зачем я, и почему я?»)

Рассохин с полным сознанием слушает то, что ему читают:

«Безработица растет повсюду, вести о ней идут и с юга, и с запада, и с востока. Во многих промышленных городах поднимали на улице умирающих от голода. То же бедствие посетило и механические заводы братьев Ланге. Назначены к расчету рабочие из литейного, токарного, котельного и сборочного цехов. Мастера, ссылаясь на то, что нет работы, снижают расценки. Так награждают нас наши хозяева и начальство за то, что создаем им богатство и работаем за ничтожную плату. И какой насмешкой звучит их совет ехать в деревню теперь, когда крестьяне бегут оттуда в города искать заработка, чтобы спасти себя и свои семьи от голодной смерти! Теперь некуда бежать, всюду безработица, голод, везде безысходная нужда. И раньше жилось нам плохо, но теперь война еще более ухудшила нашу жизнь. Десятки и сотни тысяч солдат гибнут на Дальнем Востоке, а в России, по случаю войны, останавливаются заводы, рабочих выкидывают на улицу, на голодную смерть...»

Рассохин почесал бровь, — значит, чего-то не понимал и чему-то удивлялся; лицо его, всегда прокопченное, забитое сажей и пылью, было похоже на цыганское; на лице отчетливо выступали скулы, — так туго были они обтянуты кожей, как будто человек только что выбрался из подземелья, где морили его голодом. Рассохин пошевелил пальцами над опорожненной тарелкой.

— Кто прислал? — спросил он.

Находился Рассохин как-раз в таком возрасте, когда появляется неодолимое желание все поскорее узнать и во все проникнуть, в это время подгоняются годы, — такими кажутся они медлительными, что их непременно нужно подгонять, из опасения, как бы не застряли они в одном положении.

— Дурак ты! — услышал Петька. — «Кто прислал?» Да нешто это присылают! Не понимаешь: рабочая прокламация, а кто прислал — вот: «Российская Социал-Демократическая Рабочая Партия!» Я еще сам, — подумай ты, какое дело! — ничего не знал,

только в прошлом году узнал, мне Гурий раз'яснил, и так все ловко вышло, что я и не заметил. Он ведь вроде сказку рассказал. Я так и подумал сначала. Только вижу потом, все как есть в нашей жизни, и вот еще приехал теперь Викул Егорыч.

Рассохин поглядел туда, где в кругу рабочих говорил Лепихин. Там происходила настоящая драка; из толпы выскочил Василий Наживин, в разорванной блузе и без шапки.

— Фу ты, чорт! — кричал он. — Идите скорее, зовите полицию, мне все равно, и провалитесь вы в тартарары с вашими попами, царями и божьими угодниками, я никуда не пойду! Поняли? Никуда! Ни на какой поклон!

— Значит, ты бунтовщик против царя и отечества! — кричали из толпы. — Сволочь без названия!

— Потом увидим, кто сволочь! — трясясь Наживин. — Поглядим, чорт вас раздери!

— Брось разоряться, Василь Корнеич.

— Не лезь, Стригун!

— А вот и полезу! — заупрямился Стригун. — Они ведь и убить могут, Василь Корнеич, давай уйдем — дело у меня к тебе.

— О, господи, чего ты привязался-то? И какое тебе дело, Тишка?

— Сейчас, я сейчас. — Тишка сунул руку в карман. — Видишь? — выбросил на стол серебряный рубль. — Гурий пожертвовал. Говорит, чтобы не шумели мы покудова...

— Не шумели? Хорошо ему...

Наживин присел к столу и принялся разглядывать рубль, как будто впервые видел такую монету.

— Штука небольшая, — сказал он и подбросил на ладони рубль, — а иногo человека целую неделю кормить может, даром не добудешь, поработать надо...

— ...Фабриканты, помещики, попы вместе с царем были и всегда будут нашими классовыми врагами, не ждите от них милости и пощады. Это они заставляют вас работать без отдыха и срока, это они заставляют вас голодать. (Пла-

тят-то ведь гроши!) Они бросили ваших братьев и сыновей на поля Манчжурии драться за ненужную вам Манчжурию, убивать японцев, таких же, как и вы, обманутых, закабаленных капиталистами рабочих...

— Его тоже убить могут, — рванулся из-за стола Рассохин, — я вам говорю!

— Сиди, не убьют, — успокоил Наживин, — сейчас наши подойдут.

— ... Поглядите, как живете вы и другие ваши товарищи! Дети к двадцати годам выглядят стариками, жены чихнут раньше времени, и, наконец, вы сами, отцы своих семей, гибнете в беспорядном пьянстве, потому что ваши хозяева, ваше начальство, весь самодержавный, полицейский строй ничего другого вам не дали и не дадут. Царю, попам и капиталистам нужны темные, покорные рабы...

У Рассохина проступил на лбу пот и стала одолевать тяжкая физическая слабость. Хотел было бежать, порывался сделать это — и не мог: прямо чорт знает что творилось с ним. Уходить не хотелось, и оставаться боязно было. «Ага, — скажут, — Петька Рассохин был на собрании, где самого царя ругали! Вот он, Петька, запишите его, гоните его, сукина сына, с завода!»

Поглядел в сторону, где ораторствовал Викул, и только сейчас осознал, что все происходит в действительности. Викул, которого он не знал и в первый раз видел, стоял среди рабочих и, казалось, мирно беседовал о житейских делах. Лицо у Викула доброе и, пожалуй, самое обыкновенное, так что, если нагрянет полиция, то его как-раз и не заберут — вот какое лицо у человека: глаза такой раздумчивой простоты, как будто Викул брел в пустыне, где злое солнце сожгло все надежды и все земные радости, или Викул просто прислушивался к жизни и поймал такую музыку, которая объяснила ему великие тайны.

Придушенный морозным ветром заводской гудок возвестил об окончании обеденного перерыва, и Петька привыч-

но вскочил и побежал в котельную слушать немолчный грохот и увеличивать его овом вмешательством,—ах, если бы можно было совсем не думать. Рассохин с остервенением принялся стучать молотком, потом он бегал с искристыми заклепками от горна к котлу, но привязчивые мысли не уходили и до того одолели, наконец, что Петька не выдержал, — он побежал в механическую, прямо к Тишке Стригуну.

— Давай прокламацию, сам читать буду... Не смейся, я тоже понимать хочу.

— Понятие простое, Петруха: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», а дальше видно будет, которые умнее нас — промер всей жизни сделают. Погоди-ка, совсем было позабыл! Ты приходи после вечеровки, дельце одно есть — рыжего мерина на ярмарку весть. Ну, иди, да не оглядывайся...

«Вот это еще разговор».

Рассохин свернул прокламацию в аккуратненький квадратик, сунул за голенище. Работал, будто вооруженный, и даже до того чувствовал такое свое состояние, что преисполнился особой гордостью. Бегая с заклепками, еще раз повстречал Фридриха, остановился на одно мгновение и увидел сразу все: и глаза без милости, и тяжелые плечи, и длинные руки, скорые на расправу. Поглядел на хозяина так, будто хотел прыгнуть к самому горлу и вцепиться зубами в кадык. Сидя внутри котла на корточках, упираясь в поддержку, слушал, как бухали кувалды по обжимке: «Враг, враг, враг!»

Фридрих Ланге и ученик котельного цеха Рассохин Петр разошлись; первый ушел в богатый кабинет свой, чтобы на досуге побеседовать с умным племянником; второй, вспомнив о приглашении Стригуна, побежал в механическую.

Огромный механический цех медленно затихал, опадали со шкивов ремни, потухали над станками электрические лампочки и еле слышно подвывали в соседней литейной вентиляторы. За переплетами окон бушевал снежный февральский вечер.

— Ты устаешь когда-нибудь, Петруха, или не устаешь?

— Устаю, Тишка. Прежде не так, а теперь, бывает, даже в глазах мутная вода стоит.

— Чорт! И отдохнуть хочется, правда, Петруха? Я все собираюсь руку под резец сунуть. Палец оторвет — и конец, недели на две в больницу. Ведь здорово, чорт! Я бы лег на койку и всю неделю сплошь пролежал, чтобы тело отмякло... Эх, ну ладно, пойдем в машинное отделение, Матвея Григорича проведать. Вот человек! На небо чихает, на землю плюет, нигде, говорит, порядку настоящего нет, и за что рабочему человеку держаться, — неизвестно. Тогда я ему бац прокламацию! Прочел он и четыре трубки подряд выкурил. «Откуда такой голос?» — спрашивает. Хе! вот и ответь ему без осечки, когда у меня грамоты на три копейки. Пойдем и не говори, все равно ничего не скажешь...

Они пошли в машинное отделение, один разговорчивый, другой молчаливый. (Разговорчивым был Стригун потому, что хотел что-то объяснить для себя и находился в некоторой своеобразной уверенности, будто в разговоре поймает нужное слово, которое перевернет весь мир веселой стороной.)

— ... Но, чорт, есть такие, которые скажут главное — и тогда все и сразу всё поймут, ей-богу, поймут.

(Молчаливым был Рассохин, и, совсем уж по другой причине, он вдруг открыл, что мысли его лучше слов, и надо только ухватиться за нужную, чтобы стать настоящим человеком, то-есть определить стоимость собственной жизни.)

В машинном отделении праздничная чистота, стены выкрашены масляной краской, на мастиковых полах пеньковые дорожки, мирно постукивают строгие, в футляре, часы, мирно и ласково глядит из угла образ богородицы.

Стригун остановился у порога; пошаркав сапогами о половики, позвал:

— Матвей Григорьевич, выгляни, друг, на минуточку!

Появился человек, росту среднего, с упрямой головой, которую хотя и держал гордо, но все время отворачивал в сторону и глядел вбок и очень нелюдно. Одет был Грязнов чисто и чрезвычайно аккуратно, из верхнего кармашка торчал крохотный уголок носового платка.

— Мало одного, вдвоем приперли, — укоризненно сказал он и встал к пришедшим боком. — Что нужно-то?

— Осуществи, Матвей Григорьевич, — просительно зашептал Стригун, — ей-богу, жрать хотим...

— Все жрать хотят, которые трудятся, — отметил машинист.

— Правильно, Матвей Григорьевич, — поспешно согласился Стригун.

— Я тебя не спрашиваю, — сердито оборвал машинист, — я сам знаю, что правильно, а что неправильно. Чего осуществлять-то?

— Рубль серебром, Матвей Григорьевич, у Гурия занял нынче, а сообразить не могу, нехватает, чорт, смекалки, и надумал я к тебе...

Грязнов принял рубль, долго вертел его в пальцах, звякал о мастиковый пол и о чем-то сосредоточенно думал, совсем не замечая томительного ожидания пришедших.

— А-кхым... — несмело кашлянул Стригун.

— Погоди, не мешай, — приказал машинист. — Не видишь, думаю...

— Думай, Матвей Григорьевич, я ничего, — отступил Стригун, — я так только.

Через минуту машинист молча пригласил ребят в крохотную свою мастерскую; здесь, прикрыв двери, спросил, не меняя сердитого тона:

— Посуда есть, что ль?

— Какая, Матвей Григорьевич?

— Дурак, если не понимаешь: казенная винная посуда.

— Петруха, катая в литейную, — приказал Стригун другу своему Рассохину, — там найдется...

— Теперь ты поглядывай, — обратился машинист к Стригуну, — осуществлять буду. Только ты не того, а то

ведь я и отказаться могу, — пригрозил он. — Слышишь?

— Слышу, Матвей Григорьевич.

Машинист Грязнов неторопливо снял чистенькую свою тужурку, раздул в комфорке древесный уголь.

— Тут соображать надо, — приговаривал он, бросая в железный ковш кусочки олова, баббита и мелкой крошки припая; при этом он взвешивал каждую частицу на руке.

Стригун, стоя около двери, наблюдал. Осуществление только еще начиналось. Машинист взял кусок приводного ремня, положил на него рубль и очертил, очерченное вырезал ножом.

Петька Рассохин прибежал с посудой: бутылки и полубутылки торчали изо всех его карманов.

Грязнов оставил ребят: он ушел в машинное отделение — проверить на месте ли его старый помощник. Паровая машина работала с отчетливым поршневым причмокиванием; равномерно, то поднимаясь, то опускаясь, крутился регулятор; суетливо, как будто вперегонки, работали эксцентрики; и стояла в машинном отделении особая, посапывающая тишина, и дремал чуткий помощник Архипыч.

— Я все-таки, бывает, так думаю, Петруха, — раздумчиво говорит Стригун, — почему, чорт, я должен работать, а другие так себе, похвастываться? Если бы все работали в одну копилку, тогда бы, чорт, легче жить было. Ты понимаешь что-нибудь, Рассоха?

— Не понимаю, — признался Рассохин.

— Хорошо, если бы вы бросили болтать, — сурово заметил вошедший машинист. Он оглядел посуду, четыре бутылки и столько же полубутылок, вымыл их и наполнил чистой водой. — Чорт вас носит, и я не знаю, зачем с вами путаюсь, — запечатал бутылки сургучом. — Вот и все, — сказал он. — Теперь у вас на трешницу водки...

— Воды, — поправил Стригун.

— Водки, дурак! — осерчал Грязнов. — Слушай, что тебе говорят. — Подумал и принялся читать наставле-

ние: — Приучайся быть мошенником. Такое государство существует у нас, в котором без мошенства пропадешь, как головастик на сухом берегу. Мошенничай с честным лицом — и нужды не будешь знать... Теперь следи: действие произвожу решительное и окончательное. — Грязнов нагрел рубль докрасна, положил под ремень в заготовленное место. — Раз, два! — сказал он, зажимая ремень в тиски. — Вот и все полностью отпечатано: внизу решка, сверху орел. — Окунул рубль в соляную кислоту. — Верни хозяину, мы другой осуществим. — Плеснул в заготовленную форму расплавленный в ковше металл, нажал ручку пресса, и через минуту новенький фальшивый рубль лежал на верстаке.

— Идите ко всем чертям, — ворчал машинист, выпроваживая ребят, — на картогу еще угодишь с такими дураками...

С этой минуты и началось дело. Ребята распределили посуду между собой.

— Куда же мы пойдем? — спросил малоопытный Рассохин.

— Иди за мной, — пригласил Стригун, — знаю.

Ночь была теплой, отяжелевшие снежинки кружились перед темным лицом низкого неба, сбившийся с пути ветер метался в сонных улицах.

— Сначала к Семенихе, — вслух соображал Стригун. — Она жадная и, черт, слепая вдобавок, вот и самый раз, бутылки две сплавим.

У кособокого забора, привалившись к древним ветлам, приткнулся семенихин домик.

— Во имя отца и сына и святого духа! — прокричал Стригун и забарабанил в ставень. — Ведь не спит же, дьявол! (Нежно.) Отопрись, Анастасия Семеновна. У-ух, ты!

Длинная старуха, костистая и больше-ротая, перегнулась через забор.

— Не зевай, не зевай, — властно приказала она, — не у своего, у чужого дома стоишь. Чего нужно?

— На ушко скажу, Анастасия Семеновна, в любви объяснюсь, — залебезил

Стригун. — Отпусти одну-единственную, а то и полторы...

— Заходи один.

В обширных сених, за перегородками и чуланчиками, подрагивая от волнения, ждал Стригун первого улова. Наконец, открылась кухонная дверь, и при тусклом огне показалась рука с бутылкой.

— Еще половиночку, Анастасия Семеновна.

— Деньги, давай деньги. По шестьдесят нынче торгую.

Стригун сунул бутылку с водкой в карман, принял еще и полбутылки, подал в приоткрытую дверь изготовленный Грязновым рубль.

Звяк, бряк — и вдруг сердитый, с хрипотцой, голос:

— Ты это чего же, сучий ты сын, обмануть хочешь Семениху, праведную старушку! Какой рублевик-то дал? Ворочай водку, ворочай, не разговаривай!

— Скажи, пожалуйста, вот история, черт! — притворился Стригун. — Да не ори ты, ведьма сухопарая: не я тебя — меня обманули. Возьми свою водку, не желаю задаром пользоваться.

Стригун отдал налитую водой посуду (казенная посуда была одинакова), старуха выбросила фальшивый рубль, заурчала и захлопнула дверь.

— Все, как есть, форменно, Петруха, — порадовал товарища Стригун, — полторы бутылки выудили, дунем теперь в шинок к Мокенчу...

К полночи приятели благополучно обменяли воду на водку, продали добытое зелье оптом шинкарю Варгунихину, по сорок копеек за бутылку, вырученные деньги разделили поровну.

— Молись за милосердного машиниста Грязнова, — сказал Стригун, — до полочки мы жители... Но, черт, молчи, взирай на небо и считай ангелочков, а боженьке скажи, если увидишь: я — не я, и лошадь не моя...

VII

В эту именно ночь Гурий, собираясь закрывать ресторан, разговаривал с Патрикеем:

— Как домик ваш подвигается, Патрикей Лукич?

— Какой-с, Гурий Карпович?

— На Суворовской, трехэтажный, каменный, Патрикей Лукич.

— Господи, боже мой милостивый! — воскликнул Патрикей. — Всеведуши вы и проникновенны, Гурий Карпович, папина зоркость у вас. Четвертый этаж воздвигаю, но честно, на трудовые мои сбережения.

— Так я и доложу...

— Кланяюсь в ножки и умоляю слезно, Гурий Карпович, не поверит родитель ваш неподкупной моей честности, хотя и чист я перед хозяином во всем и совершенно, деньги же мои добыты великим унижением и усердным поведением.

— Вот и расскажите об усердном своем поведении.

— Чаевые-с и вознаграждение за особые услуги гостям, однако все благородно и не преступно перед существующими законами, источник же доходов — молодые купчики и распрекрасные девицы, получаю с обеих удовлетворенных сторон... Грешен, Гурий Карпович, и ежедневно молю господа моего о прощении грехов...

Узкоплечий седенький старичок неожиданно всхлипнул, припал к руке Гурия и пустился в подробности, которые свидетельствовали о несомненной патрикеевой честности перед хозяином. (О чем же рассказывал он? Это было доподлинно известно всем, кто знал Патрикея и был хотя бы отчасти знаком с историей устройства человеческого благополучия, законно приобретенного, благословляемого начальством, священнослужителями и самим укладом богоспаваемой России, и самое главное — была история такой обычной, что никто уже не удивлялся, и лишь завидовали, говоря при этом: «Благословил господь человека и наградил милостью своей. В рубашке родился Патрикей Лукич». И тут же вспоминали о далеком прошлом Патрикея, когда еще служил он половым в грязном трактире у Преображенской заставы, и его именно обидел однажды Па-

вел Ланге, обменяв пятак на три копейки. Патрикеев рассказ казался новым и страшным одному только Гурию, до того страшным, что Гурий под конец затрясся, как в лихорадке, и, с опаской обходя Патрикея, не прикасался к нему и отдернул руку, когда старичок еще раз попытался облобызать ее).

— ... Честно, благородно в течение пятнадцати лет служу папеньке вашему, Гурий Карпович, и, обратите внимание, не получаю вознаграждения, и никто из официантов моих не получает...

— Следовательно, отец мой эксплуататор?

— Не уясню ученых слов, Гурий Карпович.

— То-есть попросту хищник, — так, что ли?

— Совершенно наоборот-с! — напугался и замахал руками Патрикей. — Благодетель и великой доброты человек... только вы уж простите старика, обойду подробности молчанием.

— Нет, нет! — закричал Гурий. — Все хочу знать, всё!

— А вот, видите ли-с, благодеение Карпа Серафимовича в том-с, что довольствуется он десятью процентами со всего нашего дивиденту, когда прочие владельцы требуют до двадцати-с... Но и десять процентовку немалую составляют сумму. А к примеру — такой случай: посетили ресторан высокого звания особы, по секрету сказать — их высочества князя-с, и Сергей Александрович во главе-с, но с превеликой тайной, с удалением всех гостей, кои тогда случились. И вот требуют гости девочек-малюточек из рабочего сословия, ржанных-с, для особого удовольствия. Тогда... дозволейте уж досказать... единственно по великодушию своему, видя, как я мечусь для угоды высоким гостям и мне выходит настоящий зарез, Карп Серафимович вручил мне адресок бедных вдов рабочих завода Ланге, где, действительно, нужный товар, хотя и с причитанием, оказался с избытком-с. Молю господа о прощении. Вот и побледнели вы, Гурий Карпович, полагая, что тут скрывается мой обман против

вашего папаша. Совершенно наоборот-с... И не позволите ли вам бокальчик вина, для бодрости духа?

— Вина? — очнулся Гурий. — Давайте вина. Да поворачивайтесь, чорт вас возьми! — завопил он. — Пейте и вы, — сказал Патрикею. — Как же такое можно рассказывать без вина? Ха! Благодаритель и великой доброты человек, Карп Серафимович Полуденов, дали адресок?..

— И опять-таки исключительно по доброте, — поспешил Патрикей оправдать хозяина. — Сердце у него к рабочему человеку расположено, мается народишко, вот Карп Серафимович и указали, и выручились бедные люди. Одну высокие гости в ту пору четвертным билетом ошастливили, а всего целой тысячи не пожалели на девиц тех.

— Отцу сколько, отцу моему сколько пришлось? — хмелея, допытывался Гурий. — Чего вы с'ежились? Может, я — единственный наследник — также заинтересован. Может, в этом-то предприятии вы и обманываете. Давайте подсчитаем, Патрикей Лукич, — неистовствовал Гурий. — Мы ведь люди коммерческие, стесняться нам не к лицу...

«Весь в папеньку, — с большой радостью заключил про себя Патрикей, — хотя и в благородство впадает по молодости и вроде негодует».

Патрикей принял оборот беседы всерьез, поднял узкие плечики и приободрился, а обидное подозрение в обмане объяснил, как деловое и совершенно уместное в серьезном разговоре, гурьево же неистовство отнес к наследственной жадности.

— Давайте разочтем, Гурий Карпович, — охотно согласился Патрикей, — в таком деле строгость союз укрепляет... Из тысячи, не считая дарственной четвертной, по пятьдесят рублей девицам определено было, за телесную их чистоту исключительно.

— Определено?

— Так точно-с, лично Карпом Серафимовичем. И тогда я прослезился даже на щедрость ихнюю и прекословить не посмел, потому как отроковицы из рабо-

чего сословия, не из приспособленных к такому занятию, хотя и подумал: довольно бы и по четвертной... Извольте, значит, записать. По полусотке четверем отроковицам — двести рублей. Вино, фрукты и разные яства по себестоимости — сто восемь рублей. Без обману, Гурий Карпович, кушали отроковицы до помрачения. Сто восемь рублей прикинули-с? Еще два лихаца и прочие пустяки, по мелочи, и больше — все-с.

— То-есть триста восемнадцать рублей, — подсчитал Гурий. — Как же вы распределили остальные шестьсот семьдесят два рубля?

Гурий придвинулся к старику, и тому показалось, что сынок Карпа Полуденова к деньгам во много раз злее отца будет, и опять-таки подобное соображение только лишь порадовало Патрикея и ободрило окончательно.

— Хе! — позволил себе усмехнуться старик. — Напрасно полагать извольте, Гурий Карпович, будто в таком дележе к моим рукам незаконная копеечка прилипла. Ни боже мой, все по совести. За отдельные два смежных кабинета Карпу Серафимовичу сорок рублей, на яства, вина и прочее сто полных процентиков накидка-с, остаток в пятьсот тридцать четыре рубля — по всей справедливости. Мне очистилось две сотни, официантам на всю братию (артелью, Гурий Карпович, живем, артелью!) — сто тридцать четыре, остальные — двести — Карпу Серафимовичу, за особую в этом случае милость к нам, за адресок... помните-с? Отгоните сомнение, Гурий Карпович. Хотя нам, по коммерции, все и понятно-с, и мы не в обиде. И позвольте уж мне глоточек винца, не откажите в чести старику, потому как, полагаю, экзамен на добрую мою честность я выдержал вполне-с...

Разговор иссяк. Трезвый и расчетливый ум Гурия (это уж действительно и неотъемлемое отцово наследие) подсказывал действовать без горячности и с выдержкой. Гурий так и поступил. Правда, он, как уже сказано, не прикасался к старику официанту и не под-

пустил его к руке, хотя Патрикей и порывался. Гурий выпроводил человека и еще проследил, как уходил тот, качаясь в февральском буране. «Ведь мог бы, пакоостник, при капитале своем постоянного лихача иметь» — злился Гурий.

Было два часа ночи, буран крутил и метал охапками снега, и гасли редкие фонари, и пустынная темень властно улеглась в улицах. Гурий, заметив у подезда дремавшего сторожа Игната, дообдливо выругался, однако тут же и сообразил: «Так еще лучше, пожалуй». Был в ресторане и другой ход, через сад, который и являлся единственным для предстоящего дела, а тут, как нельзя кстати, и буран, и, значит, всё к лучшему устраивается, — уже радовался Гурий. Он выключил яркую, под потолком, люстру, прошел в обширный кабинет, как-раз тот самый, в котором кутили когда-то с девицами князья. Широкие оттоманки, глубокие кресла, ковры и шкуры белых медведей, тяжелые драпри и мягкий свет матовых ламп и огромные зеркала — все богато, солидно и тяжело.

— Все, все здесь ваше, Гурий Карпович, до последнего гвоздика. — Гурий криво улыбнулся собственному отражению в зеркале, поклонился с деланой учтивостью. — И вы единственный наследник, — продолжал говорить он, удивляясь глухому своему голосу, — наследник нажитого «честным» трудом капитала... (Не стоит придавать большого значения патрикеевым рассказам и волноваться по пустякам.)

В зеркале видит Гурий рослого молодого человека с гордой головой и печальными глазами, Гурию нестерпимо жаль себя, он подходит к зеркалу вплотную.

— Есть любовь, за которую нужно платить ненавистью, Гурий Карпович. Любовь моего папаша как-раз стоит того... Или нет, или вы еще раздумываете, молодой человек?.. Странно, однако, что родители, сами того не подозревая, производят на свет и любовно воспитывают собственных своих врагов...

Ну, ладно, не будем предаваться печали, когда следует радоваться...

Гурий допил остатки вина, поперхнулся с непривычки и только сейчас почувствовал, что все его тело, густые волосы взмокли у корней и по щекам сбегает обильный пот.

«О, если бы души моей волнение любовью благостной унять!» — посмеялся Гурий, вспомнив своего крестного, полицейского надзирателя Руденко. И подумал книжной истиной, которую слышал еще в школе, хотя истину эту отвергал сейчас с величайшим негодованием: «Люби бога твоего (ибо и накажет он по милосердию своему), чти отца твоего и повинуйся начальству».

Он выкладывает на стол деньги (дневную выручку ресторана — четыре пачки по тысяче рублей и несколько разрозненных сотен). «За бесчестье нужно платить, дорогой папаша, — мрачно веселится Гурий, отодвигая одну тысячу в сторону, — платить покудова деньгами: подробный счет будет представлен потом».

Часы бьют половину третьего. Гурий поспешно проверяет, все ли заперты двери, и, убедившись в этом, открывает черный ход, через буфетную комнату и кухню. Он пересекает сад; сырые хлопья снега падают на лицо, залепляют грудь, тают за воротником. Гурий отодвигает засов и проводит по полотну широкой калитки две черты мелом. «Путь свободен» — шопотом объясняет он значение двух линий. Возвращаясь, Гурий почти взбегает по путаным переходам на чердак, в тесный чуланчик, к затворнику, Борису Кракову. Тут, остановившись в дверях, долго смотрит он на склоненную голову своего учителя.

Краков спал, облокотившись на стол, подперев кулаками сидящие виски. Лицо его освещала электрическая, под буажным колапком, лампа.

— Все готово, Борис Петрович, — почтительно и вполголоса доложил Гурий.

— Который же теперь час? — спросил Краков ровным и совсем бодрым голосом, как будто и не спал вовсе. — Поло-

вина третьего? Странно. Значит, я проспал целых полчаса? Ты хороший, исполнительный товарищ. А ведь я тут думал о тебе: будешь ли ты современным самостоятельным партийным работником? И, знаешь, вижу сон: будто идешь ты по площади, во вьюгу и стужу, снег метет под ноги, и держишь ты у сердца раскрытые ладони, вот так вот, ковшиком, и в ладони твои сочится из груди кровь... Не знаю, как это объяснить, то есть не самый сон, а причину сновидения. Должно быть, когда я засыпал, свет лампы падал мне на глаза. Я крепко спал, и вдруг входишь ты, и я очень обрадовался... Значит, все готово? Послушай, Гурий, все ли ты предусмотрел?

— Все, товарищ Краков, даже погоду: на улице метет снег (вот он, сон-то ваш). Я жив и здоров, хотя за дальнейшее и не ручаюсь, — улыбался Гурий. — Кстати, возьмите ваш револьвер: он заряжен, и я ни одной пули не израсходовал.

Они спустились вниз, в тот богатый кабинет, который приготовил Гурий.

— По-моему, очень неплохо, — одобрил Краков, — и я, пожалуй, отдохну немного...

— Вам следует быть там, у дверей черного хода: вы лучше меня знаете товарищей в лицо. Пойдемте, я провожу вас.

Возбуждение прошло. Гурий действовал расчетливо и хладнокровно, чтобы предусмотреть все. Он проверил, хорошо ли завешены окна, и принялся накрывать два стола, как бы готовясь к большому пиршеству. Появились вина, закуски и фрукты.

— Э, чорт, — сказал Гурий, приподнимая крышку рояля, — кажется, будут женщины?

То-есть он знал наверное, что женщины будут. Но первым появился Василий Наживин, оглядел столы и все убранство комнаты и сразу отступил за дверь.

— Ты чего же? Не смеешь, что ли? — заметил Гурий.

— Снегом запорошило всего, — отозвался Наживин, — а у тебя в комнате этакое богатство, затолчу, боюсь.

Наживин шаркал ногами и отряхивался; он стащил рабочую свою тужурку, вытер полый мокрые сапоги.

— Валяй, топчи, — предложил Гурий, — какого чорта!

— Топчи, топчи, друг, и не смущайся, — поощрял кто-то невидимый.

В прихожей стоял полумрак, однако Наживин узнал широкую фигуру Чемерицына. Старый токарь взял Наживина под локоть и с деланой важностью и торжеством провел прямо на широкую оттоманку, но, усевшись, первый же и удивился:

— Фу-ух, чорт подери, пышность какая! Богато принимаешь товарищей, Гурий. Чего ты хмурый какой? Ха! Иду я сейчас с Ефимкой, темень — глаз коли, иду и думаю: ловко парень придумал, — собрание в кабинете ресторана, прямо под носом у папаши. Он не пронюхает, как ты думаешь? Ха! У Карпухи Полуденова явно неудачный сын, и я никак не думал... Да ты чего молчишь-то?

— Если бы ты, Леонтий Никанорович, не говорил, — нахмурился Гурий, — не упоминал здесь моего отца. Ведь нельзя же так испытывать человека, когда я, когда мне...

— Ну, ну, ну, не буду больше, ты не сердись. Фу-ух, дьявольщина, как ты его отчаянно ненавидишь! Даже остервенился весь, по глазам вижу. Ты видишь, Ефимка? Ты погляди как следует на человека...

Чемерицын неожиданно запнулся и замер. В дверях показалась Строчилина, памятная для него женщина. Щурясь на свет и, должно быть, не замечая присутствующих, она обратилась к неласковому своему спутнику:

— Я очень устала, Дорофей. Предлагала же я тебе взять извозчика... Это что же здесь такое?

— Ресторан «Севилья». Сделай милость, не кричи так, мы тут не одни, и ты пришла на партийное собрание. А извозчика нельзя было нанимать, сама понимаешь, и вообще надо привыкать.

По суровому тону человека можно было определить, с какой нежностью, даже с особым сердечным трепетом любил Самохин Дорофей эту женщину. (Письмо Кракова, в котором приказывалось Дорофею любить Строчилину, да еще в порядке партийной дисциплины, рассмешило Самохина. «Да будь я проклят! — сказал он тогда. — Кажется, ты опоздал несколько с приказом, товарищ Краков». Но приказ все-таки оказывал свое действие, и — такова уж была сила дисциплины — Самохин боялся связывать себя любовью, скрывал ее ото всех и не признавался самому себе в любви этой. Приглядываясь к Строчилиной, он склонен был расценивать ее участие в революционной работе как романтическое баловство. И вдруг женщина предложила однажды работать с ним, Дорофеем Самохиным. Она собиралась уйти от отца, она готова была сделать все, чтобы только не расставаться с Самохиным. Разговор об этом происходил совсем недавно, и, господи, как тогда обрадовался Дорофей разговору! Он уже представлял себе удивление знакомых и старой матери своей, когда, гордый и безмерно счастливый, появится с красавицей-невестой. Все это пронеслось перед ним в полминуты, однако он тут же и вспомнил о письме Кракова и, вспомнив, принялся уговаривать любимую им женщину не исполнять своего намерения. Когда же Строчилина сначала удивилась, а потом обиделась, Самохин сбивчиво и неловко заговорил о необходимости соблюдать конспирацию. «Я люблю тебя, люблю, — признавался Дорофей, — но ведь не могу же я с дочерью известного миллионера показаться на виду у всех». И о деньгах сказал он, чтобы уж сразу все кончить: или она прогонит его, или поймет. Строчилина поняла, и с той поры появились в организации деньги, и можно было работать, посылать людей и помогать тем, кто был занят исключительно партийной работой.)

Строчилина прошла в комнату, она хотела сесть за рояль.

— Извините меня, — сказал Гурий и

покраснел, — это так только, для виду, какая уж тут игра...

— На случай, если нагрянет полиция, — об'яснил Самохин. — Ведь полиции никто не воспретит нагрянуть.

— Не воспретит, — подтвердил Гурий.

К трем часам пришли, наконец, все. Новых оказалось двое: сверловщица завода Ланге Надежда Ерасова и кузнец Михаил Куракин (Мишка Долдон) — всего, с Краковым, шестнадцать человек.

Краков велел сократить яркое освещение и оставить угловые, под широкими абажурами, люстры. На улице вьюга разыгралась еще сильнее, снег валил теперь сплошной массой, ветер, казалось, собирался раздвинуть улицы, снести хибарки, повалить заборы и расчистить раз и навсегда уличную суету древней столицы. Краков послушал ветряной разгул, поглядел на часы и, довольный тем, что собрание все-таки состоялось, сказал:

— Не помню, когда — в последний раз — случилось мне говорить на таком многолюдном собрании...

(Он сказал правду, и пятнадцать человек его товарищей, сочувствуя, улыбнулись ему. В распоряжении этих людей было всего полтора часа, и не было времени выражать сочувствие словами. Трехцветный флаг российского самодержавия, обозначавший: православие, самодержавие, народность, развевался в те дни над полями далекой Манчжурии.)

— Мы, члены Российской Социал-Демократической Рабочей Партии (большевиков), об'явили войну войне, — начал свою речь Краков. — Полицейско-жандармское самодержавие хочет победами над внешним врагом укрепить шаткое свое положение внутри страны. Наша обязанность — способствовать поражению самодержавия...

Распластанный в грязи, затоптанный босыми ногами голодных солдат, трехцветный флаг царского правительства брошен был на полях Манчжурии в пер-

вом же сражении. Рабочие завода Ланге и миллионы рабочих других заводов, фабрик, железнодорожных депо Москвы, Петербурга, Баку, Одессы, Саратова, Иркутска, Тифлиса и прочая, и прочая, пели с гневливой усмешкой:

Грустно, вяло и несмело
Наша рать пустилась в путь.
«Ноги босы, грязно тело
И едва прикрыта грудь»...

— ... Победа рабочего класса над самодержавием, — продолжал Краков, — зависит от поражения самодержавия на Дальнем Востоке. Большевики считают нас предателями родины и проклинают за «пораженческие» взгляды. Но пусть, пусть! Как-раз это и характеризует их предательскую сущность, их двойственную роль. Мы не отступим и не имеем права отступать. Полицейско-жандармское правительство будет бито...

Куропаткину обидно,
Что не страшен он врагам.
«В поле бес нас водит, видно,
И кружит по сторонам»...

И на море трехцветный флаг Российской империи был поруган: японский флот напал в Порт-Артуре на русские корабли, и были пробиты снарядами броненосцы «Цесаревич», «Ретвизан» и крейсер «Паллада».

Мужики Московской, Смоленской, Владимирской и других губерний (иные губернии славились тем, что могли вместить в своих владениях сразу три иностранных государства), те самые мужики, душевную тишину которых сохраняли густые бороды, сидели в своих деревнях и ждали очереди: когда же поведут их драться с неведомыми японцами?

Ходят пленные, как тени,
Без отчины, без семьи.
«Эх вы, сени мои, сени,
Сени новые мои»...

— Слышь, дядя Ермил, в город бы нам попытаться по нашему, по плотницкому рукомеслу.

— Эка ты надумал чего! Где там в город, когда пашпорта отобраны: запас-

ные мы... забыл? Вот и сиди теперь! в кулак свисти, молитвой питайся, слезами умывайся...

— ... Большевики выбросили свой лозунг: «Ни победы, ни поражения». Слышали вы что-нибудь глупее и неопределеннее этого? — обращается Краков к собранию. — Чего вы так волнуетесь, товарищ Травин? Вы находите, что я слишком категоричен, — так, что ли? Не волнуйтесь, теперь другие времена, теперь полезнее переругать, чем недоругать. В нашем деле не может быть ни уступок, ни соглашений. Каждый сворачивающий с прямого пути к революции — враг пролетариата и, значит, наш враг. Разве не известно вам, что голодные крестьяне наводняют города в поисках заработка, а фабрики и заводы закрываются десятками и безработица растет не по дням — по часам? И вот в такое время выбрасывается предательский по смыслу лозунг...

— Да, — сказала Ерасова, оглядываясь на Строчилину, — у нас на заводе увольняют двести человек. Слышишь, Гурий? Твой отец увольняет... Товарищ Краков самую настоящую правду сказал. Бедствуют люди. Квартирная моя хозяйка дочь недавно в распутство продала, за пятьдесят рублей продала... Конечно, которые богатые, не понимают...

— Ну, ладно, — заметил Краков, — ладно, Ерасова. Строчилина тут не при чем. Почему ты так свирепо смотришь на нее?

— За пятьдесят рублей! — вслух удивилась Строчилина. — Что такое, Дорофей, пятьдесят рублей?

— В нашем быту — полгода жизни.

— Полгода жизни? — так и не поняла Строчилина.

— Нет, — неожиданно истерически выкрикнул Гурий, — пятьдесят рублей — это цена позору и унижению!.. Дайте мне сказать, товарищ Краков... Пятьдесят рублей — это пять месяцев каторжного труда подростка в котельной, в литейной, в кузнице. Это цена горю матери, которая продает собственную дочь

пьяным гостям ресторана «Севиля» по записочке благодетеля, сочувствующего бедной семье рабочего. О, будь я проклят! Я говорю не по программе нынешнего собрания, Борис Петрович, но ведь зато я уж и не буду говорить потом, я обещаю только действовать. Вот, прошу обратить внимание...

Гурий принялся выбрасывать из кармана пачки денег, связанных по сотням; он разбрасывал их по полу с такой брезгливой торопливостью, как будто в карманах его находились не простые кредитки, а отвратительные жабы (каждая пачка, действительно, звучно шлепалась на паркет), и при этом Гурий безостановочно кричал и дергался, и глаза его, отцовские, тонкие, казались огромными и явно лихорадочными. Посредине комнаты бесновался человек, рослый не по летам и слишком уж широкий в плечах, и все ждали, что он обязательно зашибет кого-нибудь длинными своими руками. Строчилина прижалась к Дорофею, Краков изумленно глядел на Гурия и не знал, что в этом случае следует предпринять. Поднялся Чемерицын, налил вина, не разбирая того, какое это вино. Сказал, подойдя к Гурию:

— погоди ты, чего размахался? Мы, брат, положение твое знаем, ужасаться тут нечего. Выпей и успокойся.

Гурий ошалело вытаращил глаза.

— Патрикей, Патрикей! — закричал он. — Меня Патрикей вином поил, и ты тоже!

Принял вино, выпил и вдруг, споткнувшись о голову белого медведя, упал в кресло, сжался там и залился беспомощными, отчаянными слезами.

«Должно быть, болен, — определил Краков. — Не под силу парню сложная игра».

И продолжал:

— Мы понимаем жизнь каждый по-своему. Жизнь надо изучать, чтобы понимать, если не одинаково, так, по крайней мере, согласно, в особенности единомышленникам... Подбери, Дорофей, деньги и заприходи... Я ждал собрания для того, чтобы договориться о согласован-

ности наших действий. Прежде всего — никаких отступлений, непрестанная борьба за сущность подлинного марксизма. Вы уж извините меня за самый тон изложения, я ведь иначе и не умею говорить, когда говорю о наших задачах, и... (поворот в сторону Строчилиной и Левашевой) все это может показаться вам слишком уж будничным, однако, если подумать, всякое осуществление, хотя бы и величайших идей, всегда проходит и проходило через будни, такова практика. Но само собой вы убеждены в урожае, тогда обработка почвы должна являться для вас подлинным наслаждением (Я знаю, знаю, что, обрабатывая почву, вы прольете не пот, а кровь), а самый урожай — торжественным праздником и ликованием... Ах, если бы все, о чем говорю я, переложить на музыку, тогда не осталось бы ни одной души, не потрясенной величием истинной поэзии...

— Как он говорит! — не удержалась Строчилина.

— Как я говорю? — обернулся Краков. («Господи, зачем я гляжу на нее?») — Я предупредил вас, что иначе говорить не умею.

— Мечтания, Борис, — заметил Лепихин Викул.

— Успокойся, сейчас закончу... Хотя чего же я? Кто же воспрещает революционеру быть мечтателем? Но, и к черту!.. План действий должен быть таким. Я уезжаю в Баку. Ох, какие готовятся там события! И довольно с меня одиночной, хотя и уютной камеры. Хочу, товарищи, на волю, на опасную, полную неожиданностей волю... Викул отправляется на Дальний Восток, ближе к действующей армии, Рорбах садится в мою камеру, остальные исполняют партийные поручения, ну, и... Часы показывают половину пятого... Эх, жаль, что гостеприимный наш хозяин в унынии. Очнись, Гурий, и убирай вино, пир наш окончен, туши огни...

Краков оглядел собрание; еще раз остановились размашистые глаза его на лице Строчилиной. «Нет, — подумал он с горечью, — в пятьдесят лет человек

обычно опаздывает, тут винить некого!»

— О чем ты думаешь, Побиткин?

— Я? — очнулся Побиткин. — Я все-таки выпью, Борис Петрович. Погоди убирать, Гурий... Натура моя не выдерживает такого разговора, не по силам мне разговор, хотя и все понимаю. Выпью за радость победы нашей, куда живу я и чувствую.

— Эй, Степа, воздержись, — посоветовал Викул, — утешение ни к чорту.

— Не скажи, Викул Егорыч, — вступился Куракин. — Тебя книги образумили, ну, а нам и почитать времени не было, я вот и на бильярде играть разучился... Хы! Ты не бойся: в случае, как дело с хозяевами до драки, так мы трезвыми явимся. Будь здоров, расти большой, своих прав добьемся!

А февральский ветер все еще гудел над уснувшим городом, и небо было безглазым, темным, как потолок подземелья. Ви-и-и... — поет ветер, расшвыривая обрывки боя монастырских часов.

— Товарищ Травин, — говорит Краков, — я встречаю вас в первый раз. Какую бы хотели вы взять работу?

— Он учится, — отвечает Левашева и берет Травина под руку.

— Я учусь, товарищ Краков, — подтверждает Травин певучим и необыкновенно мягким тенорком.

— Учится в консерватории, по классу пения, — объясняет Левашева. — Закрой, Илья, шею, ужасная на улице метель... Что? Нет, нет, товарищ Краков, временно его надо освободить. Вы замечательно говорили нынче, я ведь слышала, что вы блестящий оратор. Вы не юрист? Желая вам всего лучшего. Веди меня, Илья, я ничего не вижу...

Приближалось утро, слепое, медлительное, неизвестное.

«Гурий, молодой друг мой!..».

Краков отодвигает лист бумаги, тупо глядит в угол каморки своей, дымит папирасой и думает:

«Молодой друг мой! Скверную манеру писать длинные письма унаследовал я от одинокой вдовы, матери моей. Был

у нее муж, мелкий чиновник, но, должно быть, крупный человек. И вот однажды, как я теперь понимаю, увидел он, что живет в пустоте, увидел и... повесился. Вот ведь какой решительный был человек. Мелкого чиновника жена, моя одинокая мать, стала получать мелкую пенсию и воспитывать сына, меня то-есть. Хе-хе! Я, конечно, не берусь утверждать, будто мне, сыну полунищей вдовы, жилось хуже, чем тебе, — она ведь не продавала девочек-деточек богатым гостям, не наживала на этом капитала, как это делает отец твой, Карп Серафимович Полуденов, первой гильдии купец. Но порок у нее все-таки был: она писала письма воображаемым добрым людям, она писала их и складывала в сумочку, за иконы, полагая, что господь-бог проникнет в их содержание и внушит кому следует. Но перед тем, как отдать эти письма богу, мать читала их мне. Так я, десятилетний мальчишка, познакомился с мрачной повестью позабытого богом и людьми человека...».

На железной крыше ресторана бьется припадочный ветер. Краков потягивается и зевает. Завтра, после закрытия ресторана, Гурий выведет Кракова на волю. Практический парень (истерика случилась с ним один-единственный раз и потом уже не повторялась) загодя приготовил для Кракова паспорт на имя мещанина, Фомы Григорьевича Кувькина...

На железной крыше ресторана бьется припадочный ветер, и если выйти на чердак, можно услышать, как ноет ветер в щелях, стонет, продираясь между оголенных ветвей сада. Краков не любит подслушивать природу, слишком уж она неприветлива была с ним. Краков подписывает паспорт, иронически улыбается новой своей фамилии — Кувькин — и вспоминает о письме своем к Гурию.

— «Гурий, молодой друг мой...» — читает Краков. Но мысли его о матери (главным образом о себе, конечно) снова возвращаются к нему: «Чепуха!

«Бедные люди» Достоевского — они все-таки отвечали друг другу, делясь своей печалью, и тем утешались, но ведь у матери и этого не было. Бог так и не внушил добрым людям, что живет на свете покинутый всеми человек. — «Приди, ко мне, милый мой, всю-то жизнь мою носила я в сердце моем образ прекрасный твой». Вот как писала она. Ужасная была мечтательница. И все думала, то-есть уверяла меня, что кто-то, необыкновенно добрый, ласковый и, разумеется, совершенный во всех отношениях, придет к нам и уведет нас в пресветлые края. И действительно, он пришел (к счастью, мать не видела его, она поторопилась умереть). Пришел молодой, красивый и очень интеллигентный сын хозяина дома и с деловитой неторопливостью вышвырнул меня из комнаты прямо на улицу. А стоял тогда февраль, только злее нынешнего, с пятнадцатиградусной поземкой, и... это было только началом, потом пошло и пошло, и вот к пятидесяти годам очутился я на чердаке ресторана «Севилья», в самом, по совести, комфортабельном и покойном углу моей жизни...».

«Гурий, молодой друг мой!

Единственно, чего хочу, бодрости твоей и успокоения» — написал Краков.

Написал и насмешливо улыбнулся. «Бодрости и успокоения!» — подумал он.

«Волнения и беспокойства, милый мой Гурий, вот чего следовало бы пожелать тебе! И, ради бога, не вздумай успоко-

иться. К чорту спокойствие! Придет пора, когда законы отцов окажутся смешными, страсти их мелкими и желания непонятными, и, может быть, это не очень уж далеко. Как-раз я об этом думал сейчас, хотя собирался написать тебе другое. Главное, нам то же самое скажут дети наши, что и забавно, слышишь, Гурий? Ты не смущайся. Мне очень обидно, что я, уходя, не могу даже и простого наставления дать тебе. В нашем деле, то-есть в борьбе нашей, сколько я ни думал, творческой силой, или, нет, побудительной силой является ненависть. Вот, друг мой, какая штука. Если бы не было ненависти, рабство жило бы еще миллионы лет. Понимаешь ты меня? Завещаю тебе, дорогой мой, ненависть. Сим победиши, как говорится. Хотя, как мне показалось нынешним вечером, я умею и любить также, но чувство это, после тщательного самоанализа, было подвергнуто сомнению. Странно, что, несмотря на мою прямо-таки жадную торопливость, я всегда опаздываю в устройстве личной жизни моей. Хм! Непонятно мне одно: за ком чортом болтаю чепуху, да еще в то время, когда собираюсь сказать самое важное.

Ухожу, молодой друг мой, в неизвестную известность! Или как там? Письмо мое я начал о бодрости, вот это и запомни. Думаю, что Рорбах окажется способным заместителем моим, только ты не особенно часто философствуй с ним, с этим старым младенцем...»

(Продолжение следует)

Сталину

ГЕОРГИЙ ЛЕОНИДЗЕ

Черные тучи прогнав с небосвода,
Твердо стоишь за штурвалом народа,
Гул непогоды смирив, наконец,
Ленина брат и верховье свободы,
Дружбы великой великий отец!

Родине Сталина грани не знаю, —
Не обвести рубежами ее.
Небо лазурное, правда земная,
Дно океана — жилище твое.

Словно орел, воспаривший к светилу,
Глазом вбираешь ты весь окоём,
Пристальным взором даруешь нам
силу;
Сердце народное — в сердце твоём.

Солнцу подобен, по тверди и водам
Мудрость свою ты разлил навсегда.
Гнезда навеки вернул ты народам,
Выпавшим встарь из родного гнезда.

Ты опоясал их саблей и песней,
Сердце народа ты сделал стальным,

Ты прочертил позвоночник
небесный, —
И по дороге твоей мы летим.

Солнце—твой брат, и, бывшая рабыня,
Наша республика рвется к нему.
Что неприступным останется ныне?
Мужеству что не сдалось твоему?!

Миру гремит, как из огненной кущи,
Бурей разносится имя твое,
Меч охраняет нас остро секущий,
Мирное мы обрели бытие.

Девятивратно и девятикрыло,
Ты не померкнешь вовеки, светило!
Все возвращены мы свободой твоей,
И не утратим присущей нам силы
Даже в кипеньи гееннских огней!

Перевел с грузинского
БОРИС БРИК.

Дума о вожде

ВАЛЕРИАН ГАПРИНДАШВИЛИ

Везде: в мастерских, на покосах,
В цветеньи плантаций и рош
Находит душа отголосок
Той речи, что выковал вождь.

Ликуют село и столица,
Когда, по стране проходя,
Гремит, стоголосо, столицо,
Отважное слово вождя.

Идет перед классом, как знамя,
Крылатое имя его...
Не в нем ли услышано нами
Грядущих побед торжество?

Во взоре лучится, играя,
Сверканье звезды и волны,
И страны, от края до края,
Его вдохновеньем полны.

Труды боевого столетья
Несет он на славных плечах.
Завещан ему, как наследье,
Марксизма могучий рычаг.

В его голове создается
И двух пятилеток напор,
И точный расчет полководца
Родимых просторов и гор.

В нем горное есть и морское:
Такой же простой и большой,
Стоит он над нашей страной,
Но каждому близок душой.

С ним дружат и Лена, и Волга,
Стремятся к нему ходоки.
Стахановцам помнится долго
Пожатие сильной руки.

Присуще величие этим
Изваянным в камне чертам,
Но дарит улыбку он детям,
Как мудрый садовник цветам.

Кура его детство видала,
Метех его знал молодым,
Метелью Сибирь заровняла
Дороги, пройденные им.

А нынче стальной его голос
По миру гремит из Кремля,
И знаем, что вспять ни на волос
Не сдвинется наша земля.

Одною своею улыбкой
Без меры он радует нас,
И мать, напевая над зыбкой,
Его вспоминает не раз.

И думы поэта любого
Единым желаньем полны:
Воспеть в нем заветное слово
И гений советской страны.

Перевел с грузинского
БОРИС БРИК.

Эрнсту Тельману

ТИЦИАН ТАБИДЗЕ

1

Ты огражден широкой грудью класса!
По всей земле, до дальних областей,
Ты — наш герой... И никакая «раса»
Не заградит к заложнику путей.
Пусть яростны тюремщиков угрозы,
Но дети вновь привет тебе пошлют,
Несут тебе пылающие розы,
Гремит тебе торжественный салют.
Прими, прими цветы малюток этих!
Венок тебе плели они, скорбя,
И жизнь твоя бессмертна в чистых
детях,
Что криками приветствуют тебя.

2

Дельцы галдят на бирже и
в кофейне,
Война пасет чугунные стада,
На площадях сжигают книги Гейне,
И небосвод краснеет от стыда.
Поэт в гробу смеется над шутами,
Почуяв гарь пылающих костров,
Но в пламени сгореть не может
пламя,
И не убить убийственнейших строф.
Немецкий край Аттиллам новым
тесен,
И снова меч над миром занесен,
И вьется дым сожженной «Книги
песен»,
Но Тельмана приветствует и он!

3

Ты—наш клинок, ты—реющее знамя,
Заложник ты у низких палачей,

И вольные вершины над хребтами
Орла в плену влекут еще сильней.
И разлучен с тобою непреклонный,
Отважный сын свободных наших гор,
Тот Архимед вселенной обновленной,
Чей мудрый взор всевидящ и остер.
Но братство, им основанное, цело,
И, хоть пленен родной его птенец,—
Как Архимед центурии Марцелла,
Все тюрьмы он разметет под конец.

4

Припомни, Эрнст: готовясь к новым
бурям,
Восстаний дух до времени утих,
Когда в Баку, в одной из мрачных
тюрем,
Сидел герой, надежда дум твоих.
Его с орлом сравнили конвоиры,
Сквозь строй прошел он с книгою
в руке,
И для друзей священны были дыры
На стареньком, потертом пиджаке.
Прошли года, но трепетного мига
Из памяти не выжечь никогда,
И Тельману сияет та же книга
Во мгле тюрьмы, как яркая звезда!

5

Привет тебе, как пленному солдату!
Сегодня день рожденья твоего,
И все друзья справляют эту дату,
Как близкое, родное торжество.
Подарки шлют, и даже в отдаленных
Гордись тобой, надеется народ,
Что Тельмана согреет в заточеньи
Еще один сияющий восход.

Новогодний тост

А. БЕЗЫМЕНСКИЙ

Мы немало услышали тостов.
Мы друзей прославляли, любя.
Так пускай же, серьезно и просто,
Все подымут бокал — за себя.

За себя — это значит за счастье
Быть хозяином жизни своей,
За свое боевое участие
В большевистском строительстве
дней.

За успехи борьбы и работы,
За страну дорогую свою,
За размах, за дерзание, за взлеты,
За победу в грядущем бою,

За восторг свой, ни с чем не
сравнимый,
За стремление расти и расти.

За чудесные губы любимой,
За веселые песни в пути,

За детишек, которым мы будем
Отдавать наилучшее в нас,
За любовь к человеку и людям
Всех народов, всех наций и рас,

За бесстрашие, за честность,
за смелость
И за всё, чем ты жив и богат,
Чтоб работалось, жилось и пелось
На могучий, на сталинский лад.

Возглашайте же тост вдохновенный
За себя, бригадира весны,
За себя, знаменосца вселенной,
Гражданина
советской
страны.



Челюскинина

Эпопея

ИЛЯ СЕЛЬВИНСКИЙ

От автора:

Задача поэмы — создать образ современного советского общества.

Революционный характер этого общества подсказывает жанр: эпос. Эпос в свою очередь диктует тему: героическое событие, отразившее в себе основные черты людей социалистической эпохи. Вот почему в качестве ведущей линии своей эпопеи я взял плавание ледокола «Челюскин».

Таким образом, поэма моя не о корабле, а о стране: новелла похода — лишь наиболее удобное средство для кристаллизации ее характера в поэме. Это обстоятельство освобождает меня от слишком покорного следования датам и фактам. Поэтому наряду с именами Шмидта или Воронина большое место в поэме занимают Зверев, Фадеев, Настя Незлобина, Малиновский и др. — люди, которых нет и никогда не было, но которые не выдуманы, а созданы современником, с интересом историка изучавшим своих друзей.

И. С.

Прелюд 1

Где взять мне той чудесной простоты,
Которой требует моя эпоха?
За новый стих рублись мы неплохо,
Но, победив, стоим среди пустоты.
Народ — увы! — предпочитает ямбы.
Смириться ль? Дать себя опеленать?
Частенько слышишь: «Вот, голубчик, вам бы
У классиков повадку перенять».
Спасибо, — говорю, — в пятнадцать лет
И я воспитывался в том же роде,
Но ямбы не вполне в моей природе —
В них что-то есть от блеска эполет.
Иное дело паузы, затакты,
Движение синкоп и контрапункт.
Простая вещь. А между тем редактор
Опасливо глядит на этот путь.
Простая вещь. Нехитрая наука.

Терпение пятнадцати минут.
Но с непривычки стих дается туго;
Строфу ломают, сдавят, подомнут,
И вот в сердцах ее в окошко жажнут,
И, проклиная этот день и год,
Вы забываетесь над полем шахмат,
Ч а с а м и обмозговывая ход.
Кондовщины родимистские пятна,
Привычного былья веретено...
Все старое понятно и приятно,
Все новое обидно и темно.
И вот мой стих напоминает город,
Взорвавший мост у крепостных ворот...
Но я люблю великий мой народ,
Нас никакие ямбы не рассорят.
Читай же ямбы! Вот они. Читай:
«Татà татà татà татà татàта».
А я тебя меж делом в свой Китай
Введу тихонько за руку, как брата,
Чтоб ты потом открыто мог сказать,
К мелодии прислушиваясь южной:
«Илья умеет ямбами писать,
А раз не хочет, — стало быть, не нужно».

Прелюд 2

Черный лебедь, похожий на ноту,
Плавает в зоопруду.
Я на нем в полярную оду
Оперой не пройду.
Пусть его облакает величье, —
Пушкинизма золотая пора, —
Мне перо опушенное, птичье
Не заменит стального пера.
Вот в коробочке из-под старых
Граммфонных иголок «Смит»
Среди ключиков, запонок, марок
Его скользкое тельце блестит.
Точно рыбка. Да нет, не рыба —
Несгибаем стальной хребет,
Да и в самой музыке скрипа
Никакого подобия нет.
С соловьиным клювом сравню ли,
Подзывающим соловьих?
Нет, перо отдыхает, как пуля,
В синеватых отливах своих.
Впрочем, где уж пронзить ваше сердце!
Мне бы, порохом выпалив речь,
На секунду хотя бы, на терцию
Вашу душу дыханьем ожечь,
Чтобы вы сквозь букву и слово
Ощутили мой голос на миг,
Чтобы вы меня, как живого,
Понимали в мычаньях моих.

Будут срывы, проза, длинноты,
 Но я с будущим рядом стою.
 Так на кой лебединою нотой
 Запевать нам песню свою?
 Здесь не мямлить, не эпилепить!
 Заряжаю, под палец беру —
 И в чернильнице тонет лебедь,
 Собрат, так сказать, по перу.

Прелюд 3

Тут нужна пульсация флейт,
 Духовое литье ораторий;
 Тут нужна не тончайшая кисть, а флейс,
 Не палитра, — полярные зори!

Тут нужны океаны тепла;
 Тут бы вспыхнуть, солнцем оперясь,
 Чтоб язык во рту полыхал и пылал
 Черным огнем, как перец;

Тут нужна огневая мысль,
 Словно лозунг в хаосном быте,
 Чтобы вытянуть жилою красный смысл
 Из руды мискоцветных событий;

Тут бы нужен крылатый мах,
 Оплетенный в орлиный мускул,
 Чтобы в психике масс, в миллионных умах
 Осветить эмблему: «Челюскин».

Дай же руку, железный класс!
 Вдохнови обаянием битвы —
 Чтобы с ленинским прищуром жаркий глаз
 Разил из моей орбиты.

Прелюд 4

Арктика! Заповедник героев,
 Великого сердца университет...
 Кто, средние чувства в мире усвоив,
 Ее белизною хоть краем задет;
 Кто видел во льдах китовье ухмылье
 И желтоклыкий митинг моржей;
 Кто слышал мысы — за многие мили
 Шумящие — именем древних мужей;
 Кто гнал по застругам собачьи сани,
 Обогревая черный труп,
 И кровью впитал первобытное знание
 Простых понятий: «земля» или «друг»,—
 Тот возвращается тысячелетним,
 С чертами гения и вождя,
 И предпочтет романтическим Этнам
 Культуру какого-нибудь хвоща.

Прелюд 5

«Итак, я рассказал ему о том,
Как Амундсен, открывши Южный полюс
И зная, что другим путем туда же
Проносится его соперник — Скотт,
Разбил на самом полюсе палатку,
Гостеприимно вывесив плакат:
«Д о б р о п о ж а л о в а т ь!»».

Шмидт поднял брови и благодушно рассмеялся.

«Я думаю, — добавил я, — что в каждой
Отваге есть прожилка озорства».

«Может быть, — сказал Шмидт, поглядев на меня, — может быть.
Только эту прожилку надо ликвидировать. Социалистический героизм со-
стоит не в том, что человек перед толпой зевая показывает чудеса храбро-
сти. Социалистический героизм состоит в том, что человек при любых
условиях остается на своем посту и делает порученное ему дело».

(Из беседы в Карском море 18/VIII—1933 г.)

Прелюд 6—7

Я вижу — нередко живет человек
Не у себя, а все по соседям —
Рыщет, нюхает: тот ли век?
Так ли идем? Туда ли заедем?
Цитатоглотатель! Шпаргалок не ешь,
Не ходи колесом у неизданных писем:
Полное собрание наших надежд—
Это и есть коммунизм.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Корабль построен из дуба и стали.
Так ли? Чушь: из идей!
Туда, где и вьюги свистать устали,
Стремилась кучка людей.
Зачем?
(Грустно стояли жены,
Старушки плакали, дети толклись...)
Газеты писали вполне обнаженно:
«Строить социализм!»

Они были правы. Но эта правда,
Как это бывает в газетных листках,

Чуть-чуть казалась бравадой парада,
А это было не так.

Люди шли, как идут герои:
Волей одолевая страх.
Иной—хорохорился, весело крѣя,
Иной держался, как старый остряк.
И те, и другие смеялись над грустью,
Выпятив орден или значок,
Но всех пронизывал где-то под грудью
Мятный такой сквознячок.
И мы несли его к медным коням,
К Невскому, к морю, к развалинам вала...
Точно по радио Арктика нам
В кровь пургу прививала.

Однако полярный этот невроз
Имел волнующее обаянье:
Он выгибал в человеке рост,
Он вдохновлял боями!
Он белыми красками в этих боях
Описывал айсберги и ущелья,
Воспоминанья о первых богах,
Таинство возвращенья,

Седины туманов, глядящих из нор,
Тысячелетий плешивое темя,
Точно корабль вез на норд
В трюме груз — Время!

И, руки свои покрывая корою,
Мы конопатили каждый паз —
Люди шли, как идут герои,
Которых ведет удивленный глаз;
Шли из будущего в былое,
От коммунизма шли назад,
Словно бы перерезав пилою
Библиотеки, вишневый сад...

Пред ними на север скакала зима,
Метелицы меха теряя сначала,
Но дома, в Арктике, вдруг сама
Оборотилась и зарычала,
За нею небо оленьей коровой
Выставит огневые рога, —
Но люди шли, как идут герои:
В самое логовище врага!
Шли отовсюду — по-двѣе, по-трѣе,
Из-под Уссури, из Чагодош.
Люди шли, как идут герои:
Силе противопоставить мощь,
Довоеваться с зимней порою,
Льдинам придать планомерный сдвиг!

Люди шли, как идут герои:
Не за себя, а за своих.

Вот Петух. Чего ему лед?
Жара напала, что ли?
Но он считает, что он оплот
Партии в комсомоле.
Он называет себя «гегемон».
Живет, никому не кланяясь, —
Мир существует лишь там, где он!
(Может быть, он берклианец?)
Утром встанет — все трепещи!
Петух раскрывает газету:
«Что, недород? Эх, трепачи!
Жалко, меня там нету».
Вот и сейчас где-то прочел,
Кажется, даже в «Правде»:
«Арктика? Хм... А я не при чем?
Ну, без меня не справитесь...».
И он айда! надев берет
И галстуком солнце ошпарив!
(Самый любимый его поэт
Александр Сашкажаров.)

Котя как будто под пару ему:
Чем плох? Граф ли?
Но Котя пошел во льды потому,
Что очень любил географию.
Бывало, уроки как-нибудь,
Но глобус звучал, как музыка:
«Беринг...», «Аляска...», «Северный Путь...»,
Собачки походы... Мускулы...
Вырастет парень — купит ружье,
Норвежской бородкой обрамится —
И нашего Котю возьмет уже
В полярные градусы Амундсен...
Будет и он в шкуре пригож,
Во льду не отпразднует лодыря...
Коте казалось, что он похож
На Смока из Джек Лондона;
Но только американец Смок
Искал на Аляске денег,
А Котя, конечно, так бы не смог:
Котя любит идейных.

Настя? У Насти совсем не то.
Как будто — уверенный голос.
Но вот купила случайно манто
И вдруг продала. Испугалась.
А после ребята смеялись над ней.
(Узнали — вылезло шило.)
И Настя скоренько — в десять дней —
Втрое дороже сшила.
Когда Феликс Кон запретил фокстрот,

Она говорила, что правильно!
 А видите — вот: паркеты трет,
 Чтоб не сказали: «праведность»...
 Она не знала, кто же она? —
 Тихоня или бедовая?
 Боялась чувств, идущих со дна:
 Может, они не новые?
 Вот и сейчас, концы обрубя,
 Пошла в полярное плаванье
 С тем, чтобы сразу проверить себя:
 Схематичка ли? Это главное.
 И в душе громоздила, стены плотин,
 И жилы сушила в канаты —
 Ей казалось, что Сталин один
 Чувствует так, как надо.
 И ей невдомек, что Сталин сам
 В виденьях народного счастья
 Чутко прислушивался к голосам
 Мильонов таких, как Настя.

Зато Малиновский был антипод
 По отношению к Насте.
 Ему не нужны гарантии под
 Мысли, дела и страсти.
 Не будучи птицей с палитрою крыл,
 Эдаким какаду, мол,
 Он просто делал, как говорил,
 И говорил, что думал.
 Он ничего в себе не душил,
 Искал огонька за формальным —
 Но этот естественный строй души
 Казался в нем ненормальным.
 Хотя студент уверить мог
 (Чего мы в нем не осудим),
 Что прежде всего — идея не бог,
 А лишь служанка людям.

Но Звереву было все равно —
 Африка или Арктика.
 Он шел во льды, как в Гороно.
 Его посылала партия.
 Попробуй — выходи поросят,
 Попредседательствуй в жакте-ка...
 Какие же льды его поразят?
 Какая такая Арктика?
 Он сидел в тюрьме, он бывал в бою —
 Кто расскажет о нем когда-нибудь?
 Он сам смотрел на жизнь свою,
 Как ночью смотрят на небо —
 И так велик был ее небосклон
 И звездные направления,
 Как будто прожил ее не он,
 А всё его поколение.
 И это небо он вез с собой,

Чтоб натянуть над Арктикой
Борьбу с троцкизмом, каховский бой,
Центросоюзскую практику.

Но всё было разным на корабле.

В том числе и идее.

К примеру Тит Агафоныч Фадеев.

Чего ему надо? Семьсот рублей.

Семьсот червонных стоит бычок.

Хороший бычок. Заморской породы.

Что ж ему, братцы, пейзаж природы?

Его не удержат ни ох, ни чох.

Он смотрит взглядом отнюдь не лисьим,

Он честную душу на север везет:

Он будет строить социализм,

Как сговорились: за семьсот.

И он не стесняется этой правды —

С ним сталкивался и сам рабочком..

(Как за руном плыли аргонавты,

В Арктику дядя плывет за бычком.)

При этом он ничему не верит.

Его не обманешь. Больно учен.

Он знает, что люди идут на север,

Себе промышляя то же, что он:

Шмидт? Ему нужно подняться по службе.

Настя? Замуж девке пора.

Зверев? Ого! От двенадцати душ бы

Хоть на луну сбежишь со двора.

Словом — всё-то на свете гладко;

У каждого, стало быть, сметка своя.

Единственной нерешенной загадкой

Был для него — я:

Служить — не служит. Ребенок — один.

С виду как будто медведя не прыгче.

На кой такому губерния льдин?

Что за притча?

Я об'яснил ему, меняя ритм,

Что Арктика неведома для нас;

Что край тогда считается открытым,

Когда поэт его впитает в глаз, —

Тогда народы лирикой поэта,

Переживая за струной струну,

Об'ятые игрой теней и света,

Охватывают новую страну;

И хоть Америку открыли бриги,

Которыми командовал Колумб,

Но имя ей дано по Америго,

Как песнь, ее всклубившего из губ¹⁾.

И эту песнь вдыхали миллионы

И опьянялись красотой земли —

Поэзия сама земное лоно

¹⁾ Америго Веспуччи первый воспел Новый Свет в своей книге, посвященной Бразилии.

Для тех, кто мир увидеть не смогли...
 Мужик глядит на меня, как Будда;
 Хитрющий глаз обнаружил ложь:
 «Но Арктика названа, а ?» —
 «Как будто».

«Зачем же тогда плывешь?».
 Он по натуре—типичный датчанин:
 В дело подкована даже блоха,
 Даже уборная не в одичаньи:
 На удобрение неплоха;
 Клубника — и та у него «победитель»,
 Скажем, куры — и те «королек».
 Как вы эдакого убедите
 В бездорожья его дорог?

Пытались его затащить в колхоз.
 «Что ж, — говорит, — как люди!».
 Но баба уперлась. Прямо до слез:
 «Куда с курами пойду-де?
 Разве ж у нас двенадцать шкур?
 Разве добро отдают другому?
 Коли итти — прирежем кур,
 Коли нейти — оставим дома».

Пошел мужик поглядеть в совет:
 Красная скатерть, в лампах свет.
 Стоят у стола крестьяне,
 И каждый другого тянет:
 «Пойдем, — говорят, — а не то налоги.
 Много с налогу с'ешь?»
 Айда мужик по тракту ноги,
 Бабе кричит: «Режь!».
 Побёг назад, а там и брешь:
 Не всякий хочет, значит.
 Ну, тут мужик обратно скачет,
 Бабе орет: «Не режь!».
 Побёг назад, а там все те ж,
 Но только тут же—трактор.
 Опять мужик бежит по тракту:
 «Режь!».

Так и гадал «любит, не любит»;
 Кур, как ромашку, пообобрал.
 Но уж теперь племенного купит,
 Как говорится, убьет бобра.
 Придет колхозник, притащит телку,
 Он ему — цену! и тот ни гу-гу...
 Да-а, предвидится кой-чего толку
 От этого плаванья в снегу.
 Плывет он, как месяц, «и тих, и спокоен»,
 Моляся теленку: «О боже, гряди!».
 Социализма наемный воин,
 Рязанский гельвет с крестом на груди.

Так снаряжаясь на битву с горою,
 И подготовив первый забой,
 Люди шли, как идут герои,
 Двигая «диких» между собой,
 Чтоб постепенно концы и начала
 Свивались, сплетались и в узел слились...
 Все это вместе и означало —
 «Строить социализм».

И жены стояли, печальные жены...
 «Не плачь, Наташа...».

«Ну-ну, не тужи...».

Величием Севера нагруженный,
 Корабль кружил свои этажи,
 Корабль вращал свой траурный кузов —
 И, как на экране, на черный лак
 Ложились тени заводов и вузов,
 И чайки звенели в колоколах;
 Гремели оркестры, слепящие солнцем:
 «Северосталь», «Путилов», «Гужон», —
 Все это вбок и назад несется...

Но самое страшное — пенье жен!

ГЛАВА ВТОРАЯ

Новая Земля.
 Пролив Маточкин Шар.
 12/VIII—33.

По вытянутой, прямо,
 Глубокий фьорд летит вперед:
 Дикая панорама!
 И вдруг неожиданный поворот.
 Ветер-поводырь
 Играет в свой пастуший горн.
 Стынет у воды
 Бычачье стадо бурых гор.
 Кровавый их отлив
 Подпален окисью железа.
 Холоду подлив,
 Ледник зеленый скалы резал.
 Паникой песцов
 По крутизне бегут снега —
 Их подпух образцов,
 Земля открьга и нага,
 И на нее в упор
 Глухой пролив катил упрямо,
 Горный свой убор
 Окутавши парами.

Однако, опишем нашего «Сеню»,
 Его музейные уголки.
 Вот, например, корма. Там сено,

Бычьи рога, кабаньи клыки.
 Зароешься в травы — и моря не видно,
 Порой оглушит петушиный звон.
 Так вот: меж бортом и грузом павидла —
 Деревня «Петькино» (так зовем),
 Ибо Петух, припевая глухо,
 Его освятил среди синих миль:
 «Во имя Овса и Сена и Свиного Духа —
 Аминь».

Второе — бак. Летают гагары...
 Но мы, не глядя, спускаемся в трюм:
 Это у нас называется «Гагры»;
 Впрочем, иные зовут «Батум».
 Но те, кого даль голубая манила,
 Кто обонял золотистую ширь,
 Зовут «Гавайи», зовут «Манилла»,
 «Золотой Берег» или «Алжир»...
 Здесь Могилевич лимоны запер.
 Они потеют в банной жаре.
 Но главное тут — это запах. Запах —
 Субтропических оранжерей.
 Ящик на ящике. Двести, триста...
 Как пьяный, бредешь в электрической мгле.
 От этого запаха — кожа смуглей,
 Зубы белей — душа золотистей!
 И вспомнится курс таитянской звезды —
 Лучший бокал в капитанских гостах,
 Где в океане вместо воды
 Сияет такой упоительный воздух,
 Что в жабрах легкие обрела
 И стала взлетать на певучую пальму,
 Выпятив два красноватых крыла,
 Рыба периофтальмус.

Третье — аэроплан «Ш-2».
 Этот дремлет на баке.
 Но чуть сигнал, тревога едва —
 Уж хмелем полны его баки.
 Уж он ковыляет на снежный пляж —
 Припрыжка, нырок, паренье...
 Уж вот над нами его фюзеляж,
 Хвостатое оперенье —
 Уж вот он искоркой голубой!
 За ним струна серебрится...
 И ледокол являет собой
 Рыдван, запряженный птицей.

Радиорубка: тат-тá-тат-тáта...
 Эта работает низом —
 В тиканьи, стрелках и циферблатах,
 Как часовой механизм.
 Она опояшет всю параллель,
 Ветру читает газету

О том, откуда какая мель,
И требует сводок за это.
А с неба ей отвечает пилот
Сквозь пару-другую парабол,
Что справа имеется битый лед:
«Челюскину» вправо пора бы.
И щерится стрелкой эмалевый диск,
Тикает медный гвоздик...
Сливая культуры, пилот и радист
Вздымают корабль на воздух.
И он сквозь трещины и кряк,
По льдам и снегам валандаясь,
Пройдет в буранах и облаках,
Точно Летучий Голландец.

У самого борта
Возникли каменные выси.
Лешья борода
Из тучи на воду повисла.
Но сквозь сивый дым
Чертилась линия подема,
И путем крутым
Садилось солнце, точно дома.
Фьорд летит вперед,
Как бы по вытянутой, — прямо!
Вдруг — неожиданный поворот
Излучиной упрямой.

На этот раз небольшой пароход.
Узнали по радио: «А р к о с».
«Челюскин» плавно застопорил ход,
Разбив зеркальную яркость.
В ответ раздался сильный рев,
Уверенный и крепкий.
«Кого я вижу?» — «Ба!» — «Здоров!».
Кто-то машет кепкой.

За окнами родной земли
Цвели герань и фикус.
Их волны пылью замели,
Их заглушила дикость.
В морях разлука тяжелей,
Тоской качает люто...
Но привыкаешь к тишине
Великого безлюдья.
И то, что здесь — так — вдруг
Живой корабль сбоку —
Казалось будто просто трюк,
Как будто просто фокус.
Но сверху голос, как гора:
У рупора — Воронин.
«Куда идете?» —

«В Ленинград».

«Когда?»—

«Сегодня тронем».

Мы тут же опрометью в зал:
С берегом списаться.
Воронин «Третьему» сказал:
«Будем высаживать зайца».

«Зайчонок», парень двадцати,
Проехался в уборной.
«Я,—говорит,—решил итти!
Я—человек упорный.
Ребята! подымай флагà!
Поеду с вами. Ни фига».

Но мы смеемся: рисковой!
Свихнется, душу отдав.
И происходит разговор
Двух пароходов:

«ЧЕЛЮСКИН»:

«Эй, на корабле!

Возьмите пассажира.
Я заплачу вам за билет
И дам немного жира».

«АРКОС» (поняв, наконец,
что речь о важной шишке):

«У нас кают особых нет-с.
Каки теперь излишки?
Опять же пищи естество:
Одно в обед и ужин».

«ЧЕЛЮСКИН»:

«Ладно. Ничего.

Уж так, как я возил его,
И ты свезешь не хуже».
(Смех.)

И, наконец, каюта «5».
Здесь. Живет. Настя.
Идите, якобы, уголь копать,
И если дверь у ней настезь, —
Увидите кожаный диван,
Ружье, ма-джонг и нарды.
Над ними фото. Даже два:
Шмидт и Леонардо.

Но в общем более, чем «5»,
Мне нравится — Настя.
Таких вы можете сыскать,
Пожалуй, одну на сто!
Это не очень редкий процент —
В городе целый парк таких,

Но вы, читатель, берите прицел
На сто мужчин в Арктике!

Когда она с думою на челе
Идет к своей обители, —
Из всех гнездовых, нор и щелей
Выходят ее любители:
Кочегар с полотенцем на голой груди,
Комиссар об одном валенке;
Штурман сорвется — того и гляди —
С бочки, висящей на салинге;
Сам повар склоняется на копые,
Как рыцарь в белом фартуке...
Короче — одна проходка ее
Уже событие в Арктике!

А голос ее, надо вам знать,
Природой поставлен в маску:
Звон его хочется целовать,
Он мягко чарует массу;
И хочется звука певучую медь
Навек унести с собой,
Чтоб так и остался в слухе звенеть,
Как в раковине прибор.

А может, все это туман,
Обычный женский голос,
Такой, как у всех этих Тань и Мань,
И виноват полюс?
Кто его знает?

Она стоит

И ежится, будто нагая.
Но всех опьяняет девственный стыд,
И страсть ее настигает,
Обритые губы, пух, борода,
Глаза наивных и грубых...
Один унес очертание рта,
Другой дугу ее зубок...
И, нехотя улыбаясь им,
С милым жестом отчаянья,
Она уходит, как серафим,
Сплошь покрытый очами.
А внешне — что ж? Никакого узла.
Ровно ничего особенного:
Пришла, поздоровалась и ушла
Спецкор товарищ Незлобина.

И снова в сиянии стерильных кают
Ледокол подымает якорь
И, отдав трубой красивый салют,
Уходит в пустынность и яркость.
И снова, сделав поворот, .
Меняет панораму,

И снова фьорд летит вперед
По вытянутой — прямо!

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

13/VIII—33 г.
Карское море.

Итак, мы в Карском море. Отдыхаем.
Лазурь и синева. Глубокий лот.
Но над водой декабрьским дыханьем
Еще незримый чувствуется лед.

И люди губкой, щетками и бритвой
Себя приводят в надлежащий вид,
И, нервничая, каждый деловит,
Как новобранец перед битвой;

Лицо его преобразилось вмиг
Неумолимо-строгим выраженьем:
То Арктики отображенный лик,
Окованный литым вооруженьем...

(«Челюскин» сановито мчал.
Гремели посудой уборщицы.
Украинский бык педантично мычал
И требовал своей порции.
Неизвестно зачем побежал матрос
И забыл... Он шел за бетоном).

И вот зловеще-побелевшим тоном
Над нордом небо занялось.

Она сквозит, стеклянная заря,
Как зеленинка, видная сквозь север...
Но на глазах ее усилил Север,
Зеркальной линией озаря.
Так возникал пловучий материк,
Мечтаний драматическая повесть.
Там, окруженный стаей матерых,
В глухих просторах залегает полюс.
Столетний свист пургой его занес,
Он спит века, не ведая помехи.
Там даль окончилась — и только нос
Полярной точкою чернеет в мехе.
Но чей-то дух без голоса и крыл
Восцарствовал, невидимо нагрянув,
И навсегда чудовище накрыл
Железной клеткою меридианов.

Я думал — это сказка. Просто так.
В учебник просочившееся эхо
Между задачами о поездах
И «Рудиным, как лишним человеком», —

А это блещет отсветами слюд,
Стальной угрозой горизонта!
И с корабля взлетел, как бы салют.
Огромный виноград радиозонда.
И синева в оцепенении сна
Еще июльским золотом блистала,
А даль неслась в морозе — и стояла
Академическая тишина.
И сквозь канаты, крючья и грузила,
Увязанные в тысячи узлов,
Вылезла рожица и спросила:
«Товарышши, это Козлов?».

Все засмеялись. Это Петух.
Измазанный снегом и сажей,
Он вышел из топки перевести дух
И прогуляться даже.

(А в топке ребята работу рвут:
Бой — дело известное...
В каюте стучал ундервуд,
Радируя в «Известия»,
Что ледакольный пароход,
Полярный начал переход).

Вода заиндевела звездной пылью,
За ней, сквозясь, тянулись леденцы
И вот с лебяжьей грацией поплыли.
Как паводок, снежурные птенцы.

За ними, ослепляя снежным верхом
С посадкою арктических рубак,
Обдувши воду январем и ветром,
Звеня, летит сияющий ропак;

Бок о бок с ним, зеленовато-бурый,
Видавший землю в гульбище погонь,
Несяк, пронзенный алой амбразурой,
В глубины брызнул голубой огонь.

И, наконец, как ведьма, нелюдима,
Утратив и пристанище и цель,
Сосульками заплаканная льдина
Пришла и принесла с собой метель.

И началась зима...

14/VIII—33.

Одно из самых острых ощущений
Арктического плавания в том,
Что ты глядишь на цветные тени
Или на солнце в полночь надо льдом.

Или клепаешь корабельный пояс,
 Читаешь ли, ведешь ли свой дневник, —
 И все ж не забываешь ни на миг,
 Что за ближайшим горизонтом — Полюс.

15/VIII.

Туман все величавей и важней.
 Шушанье, шорох, треск и перезвонцы.
 Вселенная дымилась. В вышине
 Мутилось неоформленное солнце.

Но мгла на помощь призывала тьму,
 Переводя оранжевое в серый.
 Порою льдины, обеляя муть,
 Плыли, как стилизованные звери.

Они дрейфуют, мраморные львы,
 И исчезают медленно и молча.
 И та же мгла... Круженье головы...
 И тот же клуб шарообразной желчи...

Но медный шар не раздирает мглы.
 Корабль с ней освоился и свыкся.
 (Опять белеют привиденья глыб,
 Легендами овеванные сфинксы.)

И снова мир в узилище сетей...
 И вновь плывут мифические звери...
 И бронзовая буря в высоте,
 Космизм хаотической материи.

16/VIII.

Погода замечательная. С ней бы
 И навигация была легка.
 Лазурный океан, подобный небу,
 Проносит снеговые облака.

17/VIII.

Как будто бы вселенная не та.
 Как будто ночь над миром и не стлалась:
 За торосами в ямах — темнота.
 И это все, что от ночей осталось.

Как будто опочила мира тень
 Добычей окровавленной охоты:
 Я наблюдаю закатовосходы
 На 79-й широте.

Глубокой, воспаленною чертой
 По горизонту схвачена округа.
 Над сахаром — лиловый, пепел юга,
 Нигде не омраченный чернотой.

Но к северу, где море поразмокло,
Открытая вода, — и вот по ней
С дрожанием зажглись цветные стекла
Лиловых, красных, золотых огней.

И небо, пересветами наполнясь,
Легко светает краской голубой,
Но деспотически над головой
Полярную звездой воззрится Полюс.

17/VIII

Нет, ты не можешь забыть ни на миг
О том, что налево — Полюс.
Ты видишь на карте суженье прямых,
А в море — округлый глобус.
И он пламенеет вдали синевой,
Открытой к северу настезь,
Как будто вырвали из него
Путья меж мной и ненастьем;
Как будто разверзся полярный круг,
Подобно решетчатым дверям.
И в сладком страхе ты чувствуешь вдруг,
Что встреча с Полюсом — встреча со зверем!

18/VIII

Сегодня увидали первый айсберг.
«Челюскин» бился, сдавленный с боков.
А перед э т и м — войско ропавов
Подобострастно разбегалось наспех.
Он рухнул в Ледовитый — ледником,
Сползя оледенелою Онегой.
Годами вьюги обитали в нем,
Сливая сталь из каменного снега.
И он в недвижной позе проплывал,
Как облако под дуновеньем ветра,
И, словно в масло, проходили в вал
Его шестнадцать белых километров.

Вокруг рубились в искрах и пыли
Седые льды в невероятной битве —
Он автономным спутником Земли
Спокойно неся по своей орбите.
С нагого пика оплывал нагар.
Текли ручьи. Прибой шумел на взморьях.
В оконницах с базарищем гагар
Бранились буреветник и поморник.
Все, как у нас: и этот быт коварный,
И прошлое, подернутое мглой..
Абстрактно неся айсберг над землей
В своей архитектуре планетарной.

19/VIII

Опять туман. Какой-то яркосерый,
Особых шелковистых колеров.
«Челюскин» бродит ощупью, на веру,
И издает свой музыкальный рев.

Да что с ним? Бредит? Или ради смеха
Он зычно окликает пустоту?
Да нет: он ловит собственное вхо.
Чтоб увернуться в эту или ту.

Он бьет скулой и залезает в щели.
Он прыгает на льдину восемь раз,
Пока она не треснет и, ощерясь,
Развалится, из проруби курясь.

И рана, окровавленная краской
Малинового кия корабля,
Дымится, как живая...

Но поля,
Подернутые слюзью¹⁾ ряской,
Плывут на нас.

«Челюскин» набегал,
Увертывался, забивался в угол —
Он весь в движениях и тупиках,
В ошибках и открытиях, как наука!

И вдруг услышали: моржи рычат...
И в тот же миг седая, как виденье,
Предстала Смерть, ослизлая, без тени,
Из траурных глазниц вздымая чад.

Ее увидя, вахтенный людина
Остолбенел. Но призрачная льдина
Закутанная в саван боевой,
Треща костями, открывала бой!
Раскуриваясь и бесцельно мчась,
Высокой парусности лысая наяда,
Летела к нам по острию меча, —
И грянул в носовую часть
Удар шестидюймового снаряда!

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Карское море.
23/VIII.

Опять идем. Полынья по борту.
Звонит телеграф Пена шумит.
На мостике вахтенный да «Четвертый»,
В каюте Воронин и Шмидт.

¹⁾ Служь — молодой едва возникший лед.

Владимир Иванович — в туфлях и подтяжках.
 На Отто Юльевиче — самовяз;
 Пред ними чай в домашних чашках.
 Дачный самовар.
 И оба прихлебывают, упорясь.
 Тени вытягиваются, горбят.
 В тихой беседе «Беринг» и «Баренц»
 Звучат, как «Невский» или «Арбат».

А рядом в роскошной радиорубке,
 Похожей на крошечный универмаг,
 Царит со своей неизменной трубкой
 Кренкель. волшебник и маг.
 Рука его нервным тиком об'ята.
 Но сам он спокоен. Порою зевнет.
 (Запомним челюскинский позывной:
 «та-та́та-та́та-та́та-та́та»
 «та-та́та-та́та-та́та-та́та».)

День вообще начинался, как день.
 Рыжий петух взлетел на плетень,
 Но, увидав под собою лед,
 Временно отменил перелет.
 И льды шуршат, величаво шествуя.
 Как и вчера, как неделю назад.
 Но тут случилось одно происшествие.
 О котором стоило б рассказать.

В раннюю рань, выдыхая пар,
 Белая медведица шла на базар.
 Шла она, тихо меряя снег —
 Лево́й, право́й, передне́й, задне́й...
 Было что-то очень умильное в ней,
 Что-то домашнее...

Ладно.

У проруби спал шоколадный морж.
 Морж? Морж. Спал? Ну, что ж.
 Отбился, должно быть, от жизни стадной,
 Куда бунтаря не забросит азарт?
 Лево́й, право́й, передне́й, задне́й —
 Белая медведица шла на базар

Но нету базара. За́ восемь за́ дней
 Шла-пошла, никого не смутив...
 Лево́й, право́й, передне́й, задне́й —
 Мультипликация. Примитив.

Этого счета забыть не могу:
 Каждый вымах ее, как призванье.
 Шла медведица в белом меху,
 Точно дремала в молочной ванне.
 Лишь черный носик из ванны торчал,

Покуда запаха не повстречал.
 Но морж храпел над прорубью узкой,
 Толстый-претолстый — совсем буржуй,
 И время от времени хрюкал по-французски:
 «Вуй! Вуй!»
 Итак, он издал упоенный вздох.
 Солнце сияло. Горел ледок.
 И вдруг взорвался прахом метели
 Белый вихрь на рыжем теле!!

Рявкнул джаз мирового всхрипа,
 Как будто в оркестр пригласили пароход!!
 В три воя ревя, меховая рыба,
 Вздыхаясь, плюхнулась в острый лед.
 120 пудов оглушили мишку...
 Не прерывая ревучий джаз,
 Морж, захватив его голову подмышку,
 Бивнем-бивнем по морде, в глаз!

Забросив ракушки, травку и миди,
 У дна услышав озверелый рев,
 На льды вылезает моржовый митинг, —
 Тысячи огромных секачей и коров!
 При виде битвы, почуя кровь еще,
 Жвачное сердце огнем занялось,
 Они поднимают такое ревище,
 Будто ржавет Земная Ось.
 Неплохо зная моржовый нрав,
 Бедная медведица бросилась вплавь.
 Черный нос ее в шубе зимней
 Не знал от стыда, куда и глазеть,
 А рыжая республика рявкала гимны,
 Ожидая экстренного выпуска газет.

Но вскоре утихло ристалище гроз.
 Самцы зачесали друг другу выи.
 Моржовое лёжбище улеглось,
 И только торчали одни часовые.
 Рыжее, бурое, цвета беж,
 Стадо занимало колоссальный рубеж.
 Как производство, наладив сон,
 Хрюкали, храпели все в унисон.
 Но и дозорный до дремы падох...
 На кой человеку торчать, как мыс?
 И вот возник остроумный порядок,
 Высокого плана моржовая мысль:
 Вахтенный морж соседа толкает
 И с храпом охрану ему поручает.
 Сосед вскочил, от озноба дрожа,
 Но бивнем будит второго моржа.
 Пятый шестого — и валится спать.
 Седьмой восьмого — и набок опять
 Так, тормоша и будя друг друга,
 Все храпят. И спокойна округа.

А в это время в каюте «2»
 Снится походка девичья,
 И ерзает буйная голова
 Спящего Могилевича...
 Девушка шла по спардеку на ют.
 Зычно орала матросы в робах.
 Девушка тихо спросила: «Пьют?»
 (Слышалось громкое хлопанье пробок.)
 Зевая от страсти, сказал: «Не пьют».
 Хотел обнять — и проснулся:
 Выстрелы хлопали боем пульса.
 Могилевич смекнул: бьют!
 Смаху босой в галоши. Есть!
 Винт со стены — и двинул...
 Медведь вылезал из воды на лавину.
 Его обжигало человек шесть.

Медведь вылезал из воды на лавину.
 Медведь уже вылез наполовину.
 Но странны были движенья его:
 Он не вымахивал разом,
 А часто цеплялся за дым снеговой,
 Охватывался, точно был у него
 Слегка помрачен разум.
 Били в очередь. Организованно.
 Чья уложит — того и мех.
 Но Борькин лозунг: «Крою всех!» —
 В белье и галошах, бешеный словно,
 Перемахнул через борт на лед.
 Чтоб за три шага — в одежке ветхой —
 Снять, говоря фигурально, с ветки
 Сей, говоря фигурально, плод.

Медведь приближается. Дышит громко.
 По льдам раскуривается поземка.
 Ее прошивает пули полет.
 Медведь скакал необычно прямо.
 Пуля за пулей звенели о лед.
 Медведь скакал необычно прямо:
 В драных глазницах зияли ямы.

Та ли медведица, или не та?
 От примитивности ни следа...
 Пяля кровавые язвы,
 Прыгал, вырубленный изо льда,
 Зверь-тотём, одичалый празверь.
 Белой религией выюг и скал
 Его окружала снежная полость,
 Как будто по царствам своим скакал
 Сам

Северный
 Полюс!

Пуля бьет в обиталище глаз —
 Рана вспыхнула и зажглась.

Фадеев глядит! Пущай их хлобыщут.
 Нуль внимания. Приобьк.
 И снится ему белогубый бык
 С черной звездой на лбище.
 Но сверху сезонники-ленинградцы,
 Два архангельца и москвича
 Шумели дубами: «К чему это, братцы!
 Дело отчаянное, а на ча?» —
 «То-то и есть». — «Поглядите-ка, — э, вишь:
 Всего и одежды — пара кальсон».
 «Тише, тише!» — сказал Могилевич
 И побежал досматривать сон.

Нырнул с головой. Калачиком сжался.
 Сон, сон! Пожалуйста, сжался.
 Но сон не приходит. Слоятся дым.
 Окурок. Другой. Третий.
 Бесстрастная Арктика вскрыла пред ним
 Одну из своих трагедий.

28/VIII.

Медвежьего мяса никто не ел.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Карское море.
 13/IX.

Сивая туча, будто корова,
 Пришла и села на пароход.
 «Челюскин» задохся. Харкнул кровью.
 Телеграф зазвенел код.
 Серые льдины в тумане снятся,
 Дымными ключьями оползья.
 Лот — 17. Лот — 15.
 Мелко. Дальше итти нельзя.
 Вытянешь руку — и вот она, сырость.
 Бродишь, как водолаз.
 Здесь неожиданно мостик вырос,
 Мачта возникла у самых глаз.
 Стоп! Тринадцать! Ни пяди дальше.
 Окисью воздух покрыт.
 И только салон — приморскою дачей
 В огнях и стеклах туманно горит...
 Словно давно тополя облетели,
 Пустые гнезда мокнут в дождях;
 Сквозь мглу и холод горбатое тело
 Закутал в бурку глухой Чатыр-Даг.
 И кто-то печально берет аккорды,
 Оконную затеня полосу.
 Дача одна. И дымные горы
 С моря наверх ползут и ползут...
 И туча к веранде уже приходила,
 Но снова исчезла в дыхании вод...

Рояль, как траурная бригантина.
Черным парусом в звуках плывет.

А утром очнулся — топот.
«Давай-давай!» — «Шевелись, земляк..»
Что такое? Куда торопят?
«Земля!»

Самая вялая, самый угрюмый,
В накидку плечи свои окрыля,
Бегут из твиндека, взбегают из трюма,
И всюду колумбовый окрик: «Земля!»

Я, с детских лет свое сердце старя
В пучинах речи, как звездолов,
В скафандре похожий на планетарий,
Ищу жемчужницу мощных слов.
И только в Арктике, льды вздыбившей,
Спазмой дыхание изумля,
Рванул со дна драгоценной добычей
Могущественнейшее слово — «Земля!».

Вон она — измеряйте в каратах —
В ражем хоре моржового рыка
Необозначенная на картах
Рыжая коврига!
Земля... Я вижу твои очертанья,
Чернеющий в айсбергах островок...
Земля, земля...

И кольца в гортани —
Судорожный рывок!
Глобус обжит. Изучен скелет.
Экспресс летит на вокзал.
А он живет миллионы лет —
И ничего не знал!
Земля расхватана впрах. Уж вот —
Из горла вырван Манчжоу-Го.
А он миллионы лет живет
И не знал, не знал ничего.

Он смотрит невинным небом своим,
Девственным ликом льда...
Поди объясни ему, что мы стоим
На принципе всеобщего труда!

И спичечница ускользает из рук —
Чиркаешь раз, другой, третий...
Сейчас я впервые почувствовал вдруг,
Что мы. Живем. На планете.

«Шлюпки!»
«Есть».

Белые ледянки¹⁾

¹⁾ «Ледянка» — шляпка с плавниками.

В позе летучих рыб
Спускаются вниз. Визжание. Скрип.
Матросы прыгают на ноги.

«Весла!» Рванули... Сердце щемит...
(Что это — боль? Или радость жизни?)
На флагманской шлюпке Отто Шмидт,
Второй командует Хмызников.
Вытягиваясь на длину ноги,
Мы рвемся в ледовый хаос.
Ледянки, выставив плавники,
Летят, воды не касаясь.
Небо синё. Вода голуба.
Корабль — 3.000 тонн.
Только величественная труба
Виляет дымным хвостом.
Только ледовые острова
Сшибаясь, бегут, кружа...
Только в лазейке не застревай,
Как ни была б хороша.

Мы в белом городе, где дома
Двигутся, кто куда.
Вот, от удара пургой дымя,
«Кёкур» идет на удар.
Снежной скульптурой пушистых зверят
Украшен его виадук;
Его угловые башни звенят,
Насупясь махрами дуг.

Навстречу «стбся» несет подлаз,
Как губку — всю в ноздрах.
Но кекур сам врагам на страх!
Но башня не поддалась...
И снова всплеск, и снова стон,
И снова всеобщий сдвиг —
И стбся уносит свой стадион,
Кубизм саклей своих.

В проспектах трагедий и клоунад
Кружится полярный Рим,
И план его цирков и колоннад
Текуч и неповторим,
И мы, зачарованные, летим
В стремительной струе
Среди сражающихся льдин
У смерти на острие.
И жаждем яростней грести,
И каждый вплавь готов,
Как будто мы должны спасти
Остров ото льдов.

Вот он, охваченный готикой белой
Архитектуры тончайших водчих.

Миленький, дорогой до боли,
 Глинистый кусочек!
 Ему, наверное, холодно:
 Стали черными губы.
 Я бы тебя накрыл, родной,
 Своею бараньей шубой.
 Но мы тебя вот что: оденем в дымок,
 И, старость твою порадуя,
 Горячие речи сквозь мокрый мох
 Согреют тебя по радио.
 Будешь кушать у нас чернозем,
 Пустишь зеленый ус...
 Мы тебя, дедушка, перенесем
 К нам в Советский Союз.

«На льдину!».
 «Есть на льдину!».

Сказал —

И прыгнул за борт. «Шлюпки!»
 И в тот же миг огромный «сиказак»,
 Неся подлаз чудовищною губкой,
 Невидимым движением возник,
 Позванивая ручейком, как склянкой.
 В нем гроты зеленели. А сквозь них
 Виднелось небо. Снежные полянки
 Охватывает вал. На берегу,
 На выступях и на плато махины
 Седые камни тайны берегут,
 Без надписей полярные могилы.

Вокруг вода косила в дрожь гуга
 Широкие поверхности свои,
 Отяжелев от холода, тонула
 И подымала теплые слои;
 И, подоженный радугой павлиньей,
 Из мелкой крошки шорох намесив,
 Пловучим моргом ледяной массив
 Кружился, обтекаемый теплыню.
 Так, значит, есть бессмертие, когда,
 Внедря гегельянское ученье,
 Парадоксально ото льда
 Родится теплое теченье!

Мы мчались, охваченные восторгом,
 Пели, орали, выли
 Навстречу этим лунным шорохам,
 Этой астральной пыли.
 Пылали грозной синевой
 Огни атаки боевой,
 А мы, прорываясь к цели,
 Выли, орали, пели:
 «Генрих Пят,
 Генрих Пят,

Мой двоюрод-
 нейший брат».

Обвал — и шлюпка едва не смыта...
 Стоп! Рванули обратно.
 Тогда раздается реплика Шмидта:
 «Так что же с двоюродным братом?»
 Он отгонял багром ледок
 И зорко вел кораблик
 Туда, где был воды глоток
 Хотя бы даже в каплях;
 Из полыньи летел в канал
 И в водяных траншеях
 Своих гребцов сналету гнал
 На тонкий перешеек.
 «Табань!» Всю мощь в весло перелив,
 Я плавники напрягу —
 И вот пролетаем последний пролив,
 И шлюпки на берегу!

Какая повсюду чудесная грязь!
 И чмяканье, а не треск!
 Сразу приятно исчезла из глаз
 Блеска алмазная резь.
 Земля... Как мягки ее черты...
 Соленый холод размяк.
 Алой кровинкой в жиру черноты
 Цветет моховидный мак.
 Смячные черви уютно текут
 Розовым тельцем своим;
 Какие-то птицы гнезда ткнут...
 Роскошно живетя двоим!
 Они летят, синеву кроя,
 За крылом оставляя струю...
 И я... я тоже в эти края
 Пришел и тихо стою.
 Стою... Впереди картавит ручей, —
 Какой упоительный звук...
 Тень с винчестером на плече
 Легла под водой на юг.
 Где-то заглох ледовитый вой.
 Тишь... Ни сна, ни быльи...
 Я крикнул имя — и эхо впервой
 Произнесло: «...илья!»

Это, конечно, не очень важ...
 Не очень важно... да...
 Но обольстительный голос Ваш
 Мне не забыть никогда!
 У ней коса и вздернутый мыс,
 У этой земли неземной.
 Я к ней пришел, как первая мысль,
 И она задумалась мной...
 И я учу ее говорить,
 И слышу девичий гул:

«Стол!» — кричу я из-под горы...
 «Стол! \ кричу я... — «Стул!»
 Она уж от криков вся извелась,
 Мы лозунги ревом:
 «Да здравствует советская власть!»
 Хрипим мы с ней вдвоем.

Еще будет много в жизни обид,
 Каверз и черных дней;
 Еще не раз будет разбит
 Бокал заздравных идей;
 Не раз обратят мою стезю
 В шарж или анекдот.
 Но то. Что я. Вот тут. Стою, —
 У меня не отымет никто!
 И это волнует меня горячо,
 Счастье мне заменя,
 Оно, как небо на горизонт,
 Падает на меня...

ГЛАВА ШЕСТАЯ

2/IX—33.

Море братьев Лаптевых.

Котя:

А как вы скажете, товарищ начальник:
 Дело или мечтанья одне:
 Видал я однажды пьесу «На дне»...

Петух:

Скорей, скорей: у меня вопрос,
 А то забуду.

Котя:

Петя брось!
 Иван Петрович! Позвольте мне:
 Видал я дома пьесу «На дне».
 Так там, понимаешь, один актерик
 По-моему, правильно ставит вопрос:
 Ты сделай, чтоб груд, говорит, был дорог,
 Как удовольствие...

Петух:

Брось!

Гаевой:

Еще чего!

Котя:

Я ведь только выясню.

Петух:

Так рассуждают о н и!

Гриб (ему):

Давай без липы.

Петух:

Мы собственной жизнью,
 Должны сгорать за грядущие дни.

Котя:

Постой... Я только узнать желаю...

Петух:

И желать нечего!

Котя:

Тьфу, балбес.

Зверев:

Ну-ну, ребята. Спорьте, но без...

Малиновский:

— Начали как, а сошли до лая

Петух:

А что ж он, чудило...

Гаевой:

Право-левак!

Котя:

А вам бы все про литавры?

Петух:

Я есть рабочий! Ты думаешь как?

Котя:

Ты — рабочий, а я — пролетарий.

(Смех.)

Зубы и гарь. Огневая группа.

У топок гремят бункера.

Боченок с морсом и радиорупор

Подле угольного бугра,

И комсомольцы в комбинезонах

Шутят с огнем под грохот заслонок.

Здесь было когда-то царство Плутона —

Ад! Пароходная мистика!

Кочегары, швырнув по печам полтонны,

Тут же дулись «в три листика».

Чернозубые, красноглазые,

Молча играли на рыжий металл...

И вдруг — в результате небольших разногласий.

Свистнув кровью, один отлетал!

Он падает в лаконической позе.

Игра продолжается. Шел пароход.

Никто за избитого с них не спросит,

Не потревожит ничей приход.

Лишь градусник опускает волос —

И Черный, на руки поплевав,

Перешагнув через павшую сволоочь,

Набрав уголочка, будто вплавь,

Швырнул его в топку.

Белое пламя —

Разинуто басом.

Под жар шумовой

Он вновь набирает всеми плечами,
Будто кладет себя самого,
Будто собрал свои грузные кости
И в черной могиле до самых плеч
Снова на огненном этом погосте
Замедленной тягой вливает в печь.
И пароход, питаемый трупом,
Сияя зеркальным и золотым,
Торжественно выдыхает по трубам
Кремации траурный дым.

И только в портах, ошарашивая женщин,
Расшвыривая мата стоцветный букет,
Шагают саженные самосожженцы —
Хоть каплю счастья купить в кабаке.
Их слава пахнет «101-й» и гарью...
(В этом одна из бубенных отряд.)
— Господа, берегитесь: идут кочегары! —
И восемь чертей выступают в ряд.
Они идут, громово смеясь,
Хаем заливая в душе пазы,
И горький запах горелого мяса,
Чихая, тянут за ними псы...

А нынче прошлому не чета:
Нынче огню не молятся.
Здесь прежде правила нищета,
Теперь заправляет молодость.
Здесь каждый вынул счастливый билет
И новой судьбою выделен.
Здесь каждый знает: в сорок лет
Он будет кораблеводителем!

Малиновский:

А насчет удовольствия Котя прав.

Зверев:

Ну, не совсем, говоря по правде.

Малиновский:

Великолепно. Вот вы и поправьте.

Зверев:

Нет уж, — ты сперва поправь.

А впрочем — я человек тихонький:

Есть приказ — отказу нет.

Дело, видишь ли, Котя, в технике:

Надо уголь сменить на нефть.

Работа вручную почти пережиток.

Все эти топки — смех!

Социализм распорошит их,

Социализм одет в мото-мех.

А раз механика плюс продовольствие,

То и работай в свое удовольствие.

Петух:

Лихо сказано!

Гаевой:

Во сказала!

Малиновский:

Да, но этого все-таки мало.

Я вам напомню пару цитат.

Человеческий язык! На бычачьи лйзни.

Петух:

Давай цитаты. Массы хотят

Думать об смысле жизни!

(Смех.)

Малиновский:

Ладно. И ты, Петрович, нацелься.

Зверев:

Есть.

Малиновский:

«Архив Маркса и Энгельса».

Издание Гиза. Том первый.

Зверев:

Гут.

Малиновский:

245-я страница.

Зверев:

Отлично.

Малиновский:

«Чтобы мощно выявить творческую личность,

Пролетарии должны уничтожить труд».

(Комиссар от удивления издает свист.)

Зверев:

Где откопал? В какой берлоге?

Малиновский:

Это из «Немецкой идеологии».

Зверев:

Ага! Из юношеских бумаг!?

Способом пользуешься неказистым:

В тридцать лет Карл Маркс

Не был еще марксистом.

Но если б даже и был. (Дажел)

Что же следует дальше?

Ведь суть не в том, чтоб истины изречь,

А в том, чтобы изречь их во-время.

А ты? Ты залез в кочегарскую печь

С архивными баулами и кофрами

И, чорт возьми, агитируешь тут,

Что надо уничтожить труд?!

Гриб:

Постой, Петрович, не прорабатывай.

Малиновский:

Я свою мысль...

Гаевой:

Осторожней с лопатой!

Петух:

Стой! Испачкаешь!

Малиновский:

Я свою мысль
Еще не закончил. Ваша помарка
Уводит беседу за сотни миль.
Ладно. Оставим Маркса.

Мы призываем, ну, скажем, портного
Строить социализм.
И он вырастает! Все ему ново!
Он обретает мысль!
Он, как философ, историю понял;
Он, как поэт, опьянен страной;
Он, как политик, судит Японию.
Но что он делает, как портной?
Здесь - то на чем подымается личность?
Что ему дал основной его труд?
Ведь он задыхается, милый друг,
В сплошной категории количеств!
Он тянет иголку и зиму, и лето...
Но где же делся, делся куда —
Социализм его труда,
Социализм жилета?

Разве ему интересно снимать
Вечную норму с любого брюха?
Ладить, мерить и снова мять
Бесконечные брюки?
Вот он стоит и заплаты гладит,
Косо поглядывая на часы.
Разве он помнит, что его прадед
Латы стальные кидал на весы?
Что он сшивал их резцом и паялом,
Латинские лозунги набивал;
Что перед рыцарскими боями
Шел любоваться шитьем на бивак?
Разве он знает, что дальний чукча
В крае, который крушеньем лесист,
Жилами вяжет подобия чучел
С воротниками снежных лисиц?
Что, презирая госку миллионеров,
Пальцы, торчащие из подошв,
Морган на бал вывозил свою дочь
В платье из дышащих махаонов¹⁾?
Разве он видит то, что шьет?
Думает об одежде?
Просто — ему принесли шевиот:
Так, мол, и так. Режьте.
Но надо, чтоб лирика в нем зажглась!
Сердце заставьте забиться!
Надо зажечь его серый глаз
Радугой живописца!

¹⁾ Махаоны — бабочки.

Чтоб, сделав сюртук, он кричал: «Bravo!»,
 Почуя сквозь общие фразы
 Его романтику, тембр его,
 Поэзию своеобразья...
 Тогда он, согнутый в позе жука,
 В игле увидит Багдад!
 Тогда он напишет великий трактат
 О строфике пиджака.
 Так жили создатели «Короля Лира»,
 Сеченья кесаря, вольтовой дуги,
 Так будут жить повара, ювелиры,
 Пожарные, токари, меховщики...

Зверев:

Ты что? Рехнулся? Ну, и маньяк!
 Вы его, товарищи, не слушайте!
 Ведь вот Гаевой: весь в орденах!
 Мы его премировали на-днях.
 И правильно: революции служител!

И он почти в уклон подвел
 Несчастливого фантаста;
 Кричал, что все это подвох,
 Что это не удастся...
 И, не прощаясь, вышел вон!

Его схватил ледовый звон
 И точно выбрил лезвием
 Отточенного ветра...
 А он — он только плечи гнет
 И, глухо запахнув елот,
 Пытается достать блокнот
 И карандаш рейсфедера.

Затем за насыпью угля,
 Глаза очками округля,
 Он пишет, будто скуки для,
 Решение теоремы:
 «Прочитать кочегарам историю корабля,
 Начиная от финикийской триремы».

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

1/X—33.
 Чукотское море.

Огромного неба латинский парус,
 Легкую землю, как буер, влечет.
 А мы застряли. Мы гоним пару,
 Двигаем грудью, толкаем плечом.
 Еще бы неделя — и рейс обеспечен.
 Но белая обступила орда —
 И мы надрываем дыханье и печень,
 И легкий снежок валит изо рта.

Но как оттеснить нажим пирамид?
 Литье ледяного металла?
 На мостике мрачно высится Шмидт,
 Курит и смотрит на наши метанья.
 Он пробует, точно каменотес,
 Врубиться в толщу снова и снова.
 Увы! из проруби вылез утес,
 Похожий на Дарвина или Толстого...
 И сразу у многих остыл кураж:
 Значит, внизу громоздится кряж,
 Который не нынче-завтра
 Взорвет неподвижность ландшафта.

Шмидт спустился к себе. Стоит.
 Уборщица вносит какао и крендель.
 Дверь приоткрыта. Холод струит.
 Кто-то стучится. Кренкель.
 Ему сейчас полагается спать,
 Но он человек оголтелый:
 «Я, Отто Юльевич, к вам опять.
 Все по тому же делу».

— «Я уже сказал вам, — произнес Шмидт апатично, — я уже сказал, что это совершенно невозможно».

— «Почему ж невозможно? Наоборот!
 Самая простая штука.
 И вам интересно, по-моему. Наука!
 Где какой дрейф, течение, брод, —
 Все это буду стучать».

— «Нет, товарищ Кренкель, повторяю вам, — сказал Шмидт с такой нежной кротостью, которая ясно говорила, что он ни за что не уступит. — Не могу я разрешить этого. Войдите в мое положение».

— «Я и вхожу. В вашем положении
 Иметь радиста, плывущего в норд,
 Просто обязательно! Хм! Неужели,
 Вы не понимаете: рекорд!»

— «Но поймите и вы, товарищ Кренкель, что подобного рода рекорды мне абсолютно ни к чему. Ну, вот просто ни к чему».

— «Как это так «ни к чему»? А ну-ка,
 Что скажет по этому поводу наука?»

— «Если наука потребует, можно будет заморозить в льдине корабль и пустить его в амундсенский дрейф».

— «Но это же очень дорого стоит!
 А я предлагаю на собственный счет.
 Отто Юльич! Ну, что вам стоит?
 Ну, вот что: кинем «нечет и чет».

Если нечет — конец отныне.
 Если чет — я плыву на льдине!»
 Но входит Зверев:

— «Кренкель, извини!
 Я на одну минуту. Отто Юльич,
 Вот тут мы с Малиновским порешили
 Устроить цикл лекций для матросов
 И кочегаров. Тема такова:
 «Строение корабля от финикийян.
 Санкционируете?»

— «Не совсем. Мне кажется, вы слишком сузили тему. Почему бы вам, Иван Петрович, не взять историю великих плаваний? Колумба, Васко де Гама, Баренца...»

— «Вы думаете так? Пожалуй, верно!
 Мы будем, значит, о морских открытиях
 И тут же, в качестве подтемы, что ли,
 Поговорим о типах кораблей».

В дверь постучались. «Кто там?» — «Гриб!»
 — «Войдите».

Вошел матрос.
 — «Товарищ начальник! Вы не смогли б
 Ответить мне на вопрос?»
 Он сделал плечами движение крыл:
 — «Я, так сказать, не речист.
 Но я, понимаешь, сейчас открыл...
 А, да тут и радист!..»
 Он сел в пуху цветных мокассин,
 Заняв на диване треть.
 Из глаз сияла такая синь,
 Что больно было смотреть.
 — «Я, знаете, физику тут достал...
 Насчет превращения тел...»
 Не глядя, крендель взял со стола,
 На пальце его завертел,
 И снова сделал движение крыл
 И, забывая традиции,
 Жуя и глотая, заговорил,
 Весь обернувшись к радисту:

— «Известно, что превращается радий
 В самый простой свинец.
 Я и подумал: хо? чего ради?
 Есть ли движенью конец?
 Это ж не орган, а вещество!
 Отсюда и мой прицел:
 Нельзя ли, ребята, добиться того,
 Чтоб, значит, обратный процесс?
 У вас же с наукой имеется связь:
 Поставьте вопрос «на попа».
 А я за свое открытие с вас
 Не требую ни копыя».

Кренкель очнулся. Глядит на него.
 Чуть не заснул наповал:
 Под этой слепящею синевой
 Он щурился и зевал.
 А Шмидт глядел на сидящего вниз
 И думал: «Дико, но вот —
 Сидит на диване мой коммунизм,
 Мыслит, хохочет, жует!»
 И так этой мыслью он был потрясен,
 Что искра ожгла волоса;
 Что впредь, говоря «коммунизм», — он
 Синие видел глаза.

— «В этом нет острой необходимости, — сказал он каким-то задумчивым голосом. — Совсем недавно в Париже, в институте «De Radium», достигли возможности превращать, если не ошибаюсь, магний в радиоактивное вещество».

Матрос не сдавался. Мышцы его
 Вздулись, как на аврале:
 — «Но это ж искусство, а не естество,
 А я даю в натурали!»

— «Не все искусственное уступает естественному, — мягко возразил Шмидт, любуясь парнем: — Вещество, называемое «торий С₂», дает энергию гамма-лучей, определяемую в 2.200.000 вольт, тогда как искусственный радиоэлемент, полученный, кажется, из натрия, много больше: 5.500.000»

Тогда матрос обратил вниманье
 На то, что с'ел чужой кренделек...
 Он был до сих пор, извините, в тумане,
 Он так теперь от шамовки далек...
 Вы не подумайте — жвачка бычья!
 Это он так... Ну, ладно... Привет!

И сразу стало в комнате обычно,
 Как будто выключили синий свет.

А в это время готовили взрыв.
 Цинковый блик в небо воззрив,
 Формулой смерти налит,
 Аммонал опускается на лед.
 Его поднимают с бережной дрожью
 Два десятка протянутых рук,
 С плеча на колено — и осторожно
 Ставят ящик в очерченный круг.

Теперь Могилевич, Кольнер (электрик),
 Грдеев и Леня Муханов
 Выходят, махая в колючем ветре
 Наушниками малахаев.
 И вот их руки, как раки, рдея,
 Цинк погружают в бур.
 Тогда подрывник Грдеев

Разжигает под пазухой шнур.
Тогда завхоз Могилевич
Бросается в бегство. Один.
(В шнуре же дымится самая мелочь, —
Он даже не тлел, а чадил.)

Завхоз бежал. Вот белый риф.
Он обогнул — и по насту.
С кормы глядят, обсуждая взрыв,
Баевский, Комовы, Настя.
Люди пришли, как идут в театр:
И, словно бы в литерной ложе,
Они с роскошным видом сидят,
Надев кожанки и галоши.

Завхоз добежал. Но где же удар?
Исчерпана амплитуда.
Он кинулся вновь, назад, туда,
Когда уж бежали оттуда.
Вот они мчатся по падям слепым.
Гордеев, Муханов, Кольнер...
Но он пронесся сквозь них на дым
Прямым, а не окольным.
Воронин нервно дернул гудок —
Его обожгла сирена.
Но он бежал... Бежал, как мог...
Туда, где дымка серела...
Но он бежал... И все храбрей...
И вот среди мертвых сверков
Беззвучно в дыме и серебре
Блеснула хрустальная церковь.
И тут же вслед пальнуло в нас
Величественным грохотом!
Мгновенье мглы...
Остервенясь,
Он бился тельцем крохотным.

К нему побежали... С кормы, с борта...
Ожили пустыри...
Он бился, плакал. Из рта —
Кровавые пузыри.
И только ночью слегка отошел,
Закутанный в груды хламид.
Очнулся... Легче... Почти хорошо...
Но кто это с ним? Шмидт!?
Он снова заплакал. Отчаянье
Вешалось на крюке!
Но тихий голос начальника,
Но ладонь на его руке.
«Никто не знает... Я жить люблю!
А это не то... Не так...»
Но уже ладонь на горячем лбу,
На горячих его путях.
Она забирает сердце его

И слышит вывих души...
И уже невозможно скрыть ничего,
Ничего нельзя притушить.

— «Ну-ну, успокойтесь. Небольшая контузия. Это пройдет. Меня беспокоит другое. Но, может быть, вам сейчас трудно разговаривать?»

— «Нет, нет, сидите. Я очень рад.
Я слезы сдержать сумел.
Спросите... Спрашивайте подряд,
Пока я в своем уме.

Для всякого ясно: моя вина!
Не на кого пенять.
Все это, может быть, смешно.
Не всякому это понять...»

— «Так вот я и хочу понять ваше состояние. Будьте со мной откровенны. Ведь взять хотя бы случай с медведицей: это же не просто лихачество. Тут что-то другое, правда?»

— «Все это, может быть, смешно.
Не всякому это понять.
Жил на свете один еврей,
Была у еврея мать.

Ну что ж не смеетесь? Вы жили не так,
Не под полом крысье...
Но вы коммунист, и я коммунист,
И я расскажу вам все.

Так вот проживал, говорю, еврей,
Была у еврея мать.
Мать, конечно, у каждого есть.
Но наших надо знать.

Еврейские матери, это — во!
Больше таких нет.
Лишь бы вырос ее сынок;
А там пропадай хоть свет!

Трусом она воспитала меня,
Так в ушах и жужжит:
«Лучше будь однажды трус,
Чем мертвый целую жизнь».

Русские мальчики били нас
У самых наших дверей.
Мать причитала: «Холера на них!
Но что может сделать еврей?»

Тогда я поймал одного паренька
 И сделал ему — вред.
 Мать меня била. Отец меня бил.
 «Как ты посмел, еврей!
 Ты хочешь, боженю сохрани,
 Чтоб пристав пришел сюда?
 Чтоб он за это сделал нам
 Вырванные года?»

«Ша, еврей! — рыдал отец. —
 Пропащая наша душа.
 Ша, еврей! Вот жребий наш.
 Ша, еврей, ша!»

Война за братом моим пришла.
 Но встали отец и мать
 И стали грыжу делать ему,
 Звонкие зубы рвать...

Они были правы, мои старики:
 Пускай мякину ест!
 Но это такая трусость была,
 В которой пылал протест.

Но вот голосами больших октав
 Над миром запела труба:
 Это сверкнул боевой Октябрь,
 Детство мое отрубя.
 Он смаху сбил сиротство мое,
 Он золотуху смёл!
 Моей семьей и родиной стал
 Ленинский комсомол.
 Но до сих пор поучает меня
 Моя покойная мать.
 Это она раньше других
 Меня заставляет бежать.
 «Осторожно с винтовкой!» — кричит она,
 «Не иди работать в село!».
 И я постоянно с нею грызусь,
 И делаю ей назло.

Вот почему, от взрыва бежав,
 Назад рванулся опять.
 Все это, может быть, смешно...
 Не всякому это понять».

Вошел врач. Начальник встал
 И вышел. Ныла гармонь.
 Иголкожая звезда
 Ежилась над кормой.
 Кто-то жужжащий прожектор зажег —
 Упал фиолетовый ствол:
 В нем закружился хвойный снежок
 Елкой под рождество.
 И на пять миль открылся лед,

И стали видны отсюда
Тюленьи головы — сборищем нот
Шопеновского этюда.

И Шмидту вспомнился белый бал,
Вальсы и полонезы,
Империи каторжный барабан,
Град его по планете;
Конским глазом косящий парад,
Метелицей заносимый,
Где в ротах шагали под музыку в ряд
Осины, осины, осины.

Он понимал сладость утех
Князей, муштровавших в профиль;
Он понимал психологию тех,
Кто шел, как и он, — против.
Но мистику местечковых мещан,
Страшный их фантазм —
Ясный мозг его не умещал,
Не постигал разум.

Но как обезвредить эту стрелу?
Ведь парень, корчась от боли,
Видит, г л а з а м и видит страну,
Где нет николайщины более,
Где сбили корону кверху дном,
На щ и орлов ошипали...
И все же он жил вчерашним днем
В своей иудейской опале.
Так, значит, к а к горяча тоска
Его погребенного детства,
Что от малейшего пустяка
Она, точно гейзер, действует!
И он, как боец, потеряв на войне
Руку, бравшую плацы,
В сырые дни ощущает вдвойне
Боль похороненных пальцев.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Петух писал, напрягая зренье.
Удар пера — штыковой!

«Каково? Есть? Мое? Мировоззренье?
Мое. Мировоззренье. Есть. Таково:
Бога нет — раз!
Партия есть — факт!
«Бытие опред. сознание» (Фейербах)»

Кто-то вбежал и крикнул: «Навёрх!»
Петух понесся. На палубе Зверев.

При нем отряд. Пятнадцать человек.
Петух шестнадцатый. Снова проверив
Наличный состав, — карандаш клюет.
Точка. Отряд спустился на лед.

Задача всех волнением наполняла:
Пройдя три мили до границы льда,
Поджечь полтонны аммонала.
Быть может, порох грянет без следа,
Но, может быть, от сотрясения льдина
Сползет с мели и, пену забурлив,
Включится в дрейф на Берингов пролив.

— «Завхоз!»

— «Есть».

Холодина —

Было девятнадцать. Тепло.
Но Шмидт велит одеться потеплее.
Отряд бодается, комически блея:
Действительно, доложу вам, табло:
Баранья шуба. Под шубою ватник.
Под ватником свитер. Под свитром — трико.
А сколько еще мелочей приватных,
Шарфов, ушанок со всякой трухой.
И в этом грохоте кожи бараньей,
В панцырях жилистых пузырей
Мы стали похожи на барабаны:
Шестнадцать барабанов на утренней заре.

Комиссар стоит, неясный от пара,
Мгновенною радугой облучен.
«Разбиться на пары!» — «Есть на пары».
«Бадьи на плечи!» — «Есть на плечи».
Пошли. В тулупищах и с погрузкой
Шагом легким и молодым...

Через пятнадцать минут — «Челюскин»
Стал похож на серый дым.

Через двадцать минут — «Челюскин»
Стал похож на дым голубой.

Через тридцать — длинный и узкий
Вынес марево над собой:

Сначала какой-то трепетный пепел,
Но вот уже очерк, вот якоря —
И мы увидели в ясном небе,
Как в зеркале, отраженный корабль...
Черный дым его книзу свисся
Грозным знаменем непогод...
Над сизым «Челюскиным» в синей выси
Опрокинутый пароход.
В белой пустыне, где люто и голо

На неоткрытой полярной тропе,
Во льду и в небе — два ледокола
Стояли валетом — труба к трубе.

Покуда нижний о льдины терся,
Пережигая литейный металл,
Верхний чудовищной глыбою торса
Таял, лился и трепетал.
Вот бушприт протянулся, как жало,
Вот труба осела, как гном,
Вот отражение задрожало
И потекло синеватым сном.
Может, он знак человечьим скитаньям,
И нашей победе не расцвести?
Может, Смерть на нем капитаном
И матросами — мертвецы?
Может, затем задержал свое плаванье
И пригасил огни очага,
Что кочегарам в белом саване
Нужен еще один кочегар?

Петух испугался. (Слаб человек.)
«Товарищи, — крикнул, — факт сие?»
Все молчали.

Котя изрек:
«Явленье неравной рефракции»

Этот ответ Петуха прожег,
Как если б задула пищаль!
Но Котя набожно посещал
Географический кружок.
И вот — увы — какой результат!
Петух при всех посрамлен.
Он готов был отдать последний мильон.
Чтобы взять свой вопрос назад.
И он пошел, наклонясь на ветру,
Начались ледовые муки.
Но долго еще оставалось во рту
Ощущенье проглоченной мухи.

А дорога трудна. Что ни шаг — то сбой.
Путь в три мили — огромен.
Ледовый океан являл собой
До горизонта вид каменоломен.
Он состоял из торосов и скал,
Из несяков, стамух и прочих чудищ.
Здесь льды и льдицы щерили оскал,
Которого вовеки не забудешь.
Дыбющиеся водопады, грот,
Ущелья, лабиринты, сталактиты;
Вот чья-то пасть, обледенев, орет,
Украшенная гривой маститой.
А там, где намечаются поля
И голый плац торжественно отведен, —

Недвижным айсбергом пылал
Ледяной

до прозрачности

ветер...

Как прорубиться сквозь него,
Сквозь этот скользкий и массивный холод?
Мы шли ползком, тараня головой,
И слышали высокий звон и хохот.
И если в ветер руку протянуть
И, сняв перчатку, захотеть прощупать,
Ты б ощутил утеса грудь,
Алмазные гранения и хрупоть.

Мы шли гуськом, попарно. На шестах
Бадьи качались и ломали плечи.
Мы шли и падали. Мы шли не в такт.
Мы спотыкались. Приближался вечер.
Мы торопились. Вот граница льда.
Три мили взяты. С севера и с юга
Вся видимость до оста залита
Движеньем глыб. Стада! Почти стада
По-бычьей налезали друг на друга.
Они клубились облаком и, рушась,
Дымили снег. Их ветер обзевал.
То там, то тут чернели пятна лужиц
И тут же попадали под обзал.
Хребты и кряжи проносились мимо.
Они неслись на Берингов пролив.
А мы стоим. Но мы зложим минь!
Мы вырвемся!

Минута паузы... Взрыв!

И вот, как бы вдали от поединка
Раздалось оглушительное — па!
И порохом стреляющая льдинка,
Проскальзывая, стала «на попа»...
И снова в небо феерия брызнет,
Как звезды, осыпая серебро,
И вписанная в пирамиду призма,
Покачиваясь, станет на ребро...
Ища себя в невероятных позах,
В купели окуная свою сталь,
Из каждой раны торос вырастал,
Облизанный, как маткой недопёсок,
И это все, чего мы тут добились.
Под нами льды от затхлости давились,
Им взрывы — лишь оконца на простор!
Огонь! И вот — со дна утопий вылез,
Захлебом выражая свой восторг.
Играя тугоплавкою породой,
Он плавал, кувырчался и вилял,
И каждый взрыв — баллоном кислорода —
Кого-нибудь из белых оживлял.

Да, это все, чего мы тут добились.

Мы возвращались молча. Возвращались,
Как все полярники за сотни лет.
Мы так устали, что сама усталость,
Казалось, продвигала наш скелет.
«Челюскина» почти не видно было.
От полюса внезапно зарябило
Седым и синим прахом сентября,
Бараньи барабаны серебра
И опушая шапки.

Мы устали,
Я, кажется, об этом говорил.
Пронесся вихрь лебединой стаей
И на скале сложил двенадцать крыл.

Он сделал все: он проруби покрыв.

Теперь водитель, подымая ногу,
Не вдруг ее рискует опустить:
Опять отставит, думает помногу,
По следу тянет мозговую нить...
А мы устали. Вдалеке «Челюскин»
То высился, то оползал в туман.
Его огни теплом и счастьем льются,
И путь казался до-смерти томящ.

Тогда я обежал колонну сбоку
И стал вожатым. Мы пошли быстрее.
Мокассины перебирали бойко,
И пар валил из голубых ноздрей.
Три стадии отмечены в познании:
Отвага от невежества — одна,
Несмелость обжигавшихся заране,
И опыт, храбрый до конца и дна.
Что может быть под снегом? Лед? Воронки?
Зияющая полынья?

Я был отважен. Боевые бронхи
Вдыхали воздух синего огня.
За мной маячил Зверев. Вот Баевский.
Вон снеговзю бабою Ширшов.
И вдруг я провалился. Абсолютно без плеска
Я бы сказал — хорошо!

Сперва по колени. Потом по грудь.
Какая-то яма, по-моему.
Но вот подо мною расплозся грунт,
Снег почернел — промоина!
И, как всегда в опасный час,
Стало лихо и весело!
Серая льдиница морду свесила.
Вот и отлично!.. Сейчас, сейчас...
Она зверюгой сидела рыча...
(Голос от холода сиплый, вишь.)
Плыву на льдину! Сейчас, сейчас.

Но разве...
 в каше...
 выплывешь?

Во-первых — шуба. Под шубою ватник.
 Под ватником свитр. Потом трикотаж.
 А сколько еще вещей приватных?
 Одних саложниц — пара! Куда ж?

Карманы забиты снегом и льдом,
 Штаны раздуло грузной водою.
 А льдина белеет, как отчий дом.
 Мне затонуть? Чего же я стою?
 Нет-с, маком! Хитрые шибко.
 Раз погибать — так уж лучше в армии:
 Я ведь не какая-нибудь золотая рыбка,
 Чтобы красоваться в мраморном аквариуме.

Бух! Посторонись, которые!
 Бух! Кожушок промерз добела:
 Бы-бы-бывало у нас в Евпатории
 Температура выше была.
 Брызги слюдой примерзают к векам,
 Черешней во льду — глазированный глаз...
 Был водокачем, был дровосеком,
 Но ледоколом — в первый раз!

Уф! Наконец, прорываюсь ко льдине.
 Хватаюсь за край. Хочу всползти.
 Но лед крошится. Режет ладони.
 Я лезу. Я, кажется, крикнул: «Пусти!».
 Опять обрываюсь в снежную жижу...
 Вверху — Баевский, Ширшов, Гаевой, —
 На их зеркальных лицах я вижу
 Отражение своего...
 Гм... Да... Невесело...
 Нужны веревки или колье —
 Одна моя амуниция весила
 Около 20 кило.
 Но не было палок.

 Я сразу сник.
 Льдина сдвинулась, тихо звеня...
 Я снизу молча глядел на них.
 Они глядели вниз на меня.
 Бесцветная каша серела льдом,
 Уже по воде кружились «блины».
 Я молча глядел и думал о том,
 Что подо мной — верста глубины.

По сонным ногам пробежала рябь:
 Подводный поток ощутили они...
 И льдина ворочалась, как корабль,
 В кровавых перчатках моей пятерни.

Вверху и внизу понимали одно:
Сейчас разволнуется черный пруд,
И если я сам не сойду на дно,
Седые массивы меня затрут.

Я снизу молча глядел на них.
Они глядели вниз на меня...
Сигналы прожитых мною книг
На льдах зажигали свои имена.
И каждая книга — миром была.
Республикой молодых идей,
Над нею порохом битва плыла,
Горючим железом пахло над ней.

Меня хоронили герои мои,
Мои барабаны гремели в раскат;
Знамена, выдавшие только бои,
Украсили мой военный закат.

Так вот где кончина мне суждена?
За гробом идут, не скрывая крыл,
Мифы мои — тигр и жена,
Все, что я в жизни своей сотворил.
И я, умирая, познал свою честь,
В последние слезы вливалась заря.

В самой смерти отрада есть,
Если жизнь прожита не зря.
Спасибо ж случайностям бытия,
Что дали природе очнуться во мне:
Я жил. Я видел. Я мыслил: «Я!» —
Я вновь растворюсь в вековечной волне.

И я, засыпая, шепнул: «Погиб...» —
Покой сменил суетливость потуг.
Вдруг слышу — гремят сапоги,
Вдруг вижу — Петух!

Кровь заныла в мертвых ногах,
С души слетел обмирающий сон:
Еще не знаю, откуда и как,
Но чувствую: спасен!

О плечи царапались шатуны...
Сперва я не понял, какая связь:
Петух срывал с себя штаны
И крикнул мне: «Раздевайсь!»

Я засмеялся. Нырнув глубоко,
Вылез из кожуха.
Тулуп — со святыми его упокой! —
Стал утопать: шуга.
Поднявши руку, он уходил,
Как бы за собой маня...

С моими плечами — совсем один —
 Он тонет вместо меня.
 От меха вверх бегут пузырьки...
 Всплываю подышать,
 И снова течение подводной реки
 Окатывает, как ушат.
 Оно в воде тебя обольет,
 Зубами рванет бок...
 Поплыли свитер и белье,
 Но жалко мне сапог.
 Таких сапог на свете нет:
 Они Камчатку помнят,
 Мне их в пучину черных недр,
 Точно друга в омут.
 Я взял их в зубы. Бриджи снял,
 А сапоги надел.
 И глянул вверх, но не узнал:
 Кто это там? Гренадер?

В багровых рейтузах стоял Гаевой,
 В красных — Петрович, Сашко — огневой,
 Однако на Петьке, должно быть, от стажа, —
 Вся палитра Мострикотажа.

Они стояли в зареве кальсон
 Багрово-ало-красного цветенья,
 Они вязали цепь, немного колесом,
 Где ватные штаны пошли на звенья.
 Завязывая мертвые узлы,
 Затягивали кончики зубами.
 (Вокруг клубились белые козлы
 И ледяную крошку осыпали.)
 А я их ждал. В воде слепился «нилос».
 Я бил его — молодой поредел.
 За это время парни изменились:
 Их скулы в седоватой бороде;
 Их некогда цветистые рейтузы
 Обелены полярным сентябрем...

Но некогда, некогда... Пробуют узы:
 Так. Хорошо. Берем!
 «Федя, левее...» — «Коля! Где Коля?»
 Петух опускает гак.
 И я взлетел, дымящийся и голый,
 Совершенно голый. В сапогах.

Казалось бы — все. Но ветер — ату!
 Я вмиг заблистал, как яхонт...
 От резкой разницы температур
 Стал задыхаться и ахать.
 Все всполошились: «Пятна, пятна!..»
 «Три ему шею...»

«Груды!»
 «Нос!»

Петух растерялся и произнес:
«А может, его обратно?»

Я стал смеяться. И все грохотали.
Меня тормозили, били меня...
Тело, блиставшее льдистой сталью,
Терли до крови, до огня...
«Дыши!» — я дышал. «Прыгай!» — я прыгал.
Катали в тулупах — я стал сухим.
При этом со мной говорили криком,
Как с иностранцем или глухим.
И вот озноб ударил, бушуя,
Пробарабанив все уголки...
Петух — брюки, Баевский — шубу,
Кто — малахай, а кто — чулки.
И мы пошли, дистанцию сверив,
Не нарушая десятка шагов.
Теперь впереди маячил Зверев,
За Зверевым — Гаккель, за ним Ширшов.

Подходит Баевский: «Ну, как?» — «Не ною».
«Да... Человек, брат, в Арктике — нуль.
Но ты молодец. Случись со мною —
Я бы давным-давно утонул».

Петух подбежит, потреплет по шее
И крикнет в самое ухо: «Ну-ну!»
У него теперь ко мне отношение
Примерно, как к собственному коню.
Потом вспоминает с'еденную муху...
Нет, ему все-таки мало коня:
Он снова кричит мне в самое ухо:
«Ты, стало быть, вроде как Пушкин, а?»
Но, рассыпая огнистые брызги,
Я говорю, выдыхая туман:
«Вроде как Пушкин — у нас Демьян.
А я — это я. Сельвинский».

«Неважно! Будешь первейший в сотнях —
Только давай — бери!
Вот Петр Великий, слышать, был плотник,
А выдвинули в цари».

А я? Мой шаг и сейчас не шарящ.
Иду победителем — прах и пыль!
Я в проруби голой рукой раздобыл
Могущественнейшее слово — «т о в а р и щ».
И я свой озноб в зубах закусил,
Мы запеваем червонные песни, —
Мы возвращаемся, полные сил,
Непобедимые, жадные к жизни!
И нас «Челюскин» встречает трубой
(Я уж забыл, как и лед скрежещет),
Голые вваливаемся гурьбой
В хохот мужчин и улыбки женщин.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Чукотское море.
2/Х—33.

Девятый день ледовые авралы.
По Реомюру — 30. Лед гремит.
Сперва его расплавливал термит,
Потом его взрывали на овраги.
И, содрогая ледокол до дна,
По черным броням пробегала гонкой
Большая музыкальная волна
От колокола гаммою до гонга.

Четыре «солнца» грянут и — замрут...
И, подымая снеговую перхоть,
Огромно вылезает на поверхность,
Стрекала излучая, изумруд!
Меняя лики и разя огнями,
Он, угасая, к сердцу отбежал;
В прозрачном теле — бешеное пламя,
Как с белым дымом голубой пожар.

Его подтащат под нос корабля.
Воронин: «Ходу!» — и наедет рельсой.
Он зашипел. Он ядом загорелся.
Он отползает... Ссадины болят...
Он в желчи концентрирует лучи
И разряжает их одним ударом!
Тогда бригады вместе с командармом
Глушат его баграми, — получи!
Он крупно плачет каплями смарагда.
Он умирает. Тише, голоса!
Его глаза покрыли катаракты,
Зеленые и синие глаза.
И вот отряд разделяет тушу —
Дробит на дребезг глубину зеркал.
Еще сверкала каждая серьга,
Но в этом блеске не отыщешь душу...
И нам казалось, будто это спрут,
Арктический электроорганизм...
Но снова льдины по лебедке прут,
Сверкая красным, голубым и сизым.
Гремели лом, пешня и обушок,
Покуда, вонью белизну позоря,
Не выплывут свинцовые озера,
Кровавые от кухонных кишок.
И чудилось у броненосных плит,
Окутанных пороховою тонной,
Что Арктика пробита, словно кит,
И, выпуская внутренности, тонет!

Но даже ночью, яростные, мы,
Посвечивая желтоглазой фарой,
Дежурили у носа и кормы,

Чтоб уберечь корабль от аварий.
И если стянёт озеро ледком,
Дыбщимся движеньем белогривым, —
Консервной банкой, начиненной взрывом,
Мы разбивали вывихнутый ком.

Мы были кораблю как бы надеждой
В его мученьях вырваться на Дежнев;
Мы жили не в каютах, а на льду,
Мы ели и курили на-лету;
Всосавшиеся в броню, как моллюски,
Мы спали стояком — без одеял..
Так слабое железо одевал
Массивной волей ледакол «Челюскин».
Не черные иконки по рублю,
Не Дева деревянною надеждой, —
Мы были кораблю как бы одеждой,
Мы панцырем служили кораблю.

В деревянных «шанхайках» на босу ногу
Вышли Петух и Котя.
Каждый час утолить изжогу
На ветер они выходят.
Стоят и дышат. Такая затея.
Стоят и дышат. Оба.
Яблоком их экономное тело
Светит в прорехах робы.
Головы хвачены стрижкой «бокс»,
Веки подведены сажей —
Только у Коти взгляд глубок
И прочно в орбиту посажен;
Ну, а у Пети южный прононс —
Этому все едино!
Он сплюнул сажей и произнес:
«Плевал я на эту льдину».
И оба молча в баню идут,
Хоть вид ее надоел им.
(И здесь диалектика: черный труд
Делает черного белым...)
Потом раздеваются под ножом
Дó крови режущей стужи..
Широкоплечие — нагишом
Они значительно уже.
И вот на цыпочках встали под душ.
Стоят, как святые в нишах.
И сразу сливается музыка душ
Двух непорочных мальчишек.
У Петьки в глазах загорается грусть,
И мозг начинает охотиться:
«Подумать только, что Настина грудь,
Наверно, вот тут приходится».
И оба изумлены горячо..
Забыв о льдах и мачтах,

Собственное к губам плечо
 Подносит взволнованный мальчик.
 И, нежно потягиваясь и лучась,
 Опять возвращается к Насте:
 «Эх, браток, загулял бы я щас
 Со старушечкой лет семнадцати!»

А в это время Отто Юльич Шмидт
 В халате возвращается из ванной,
 Визжит о льдину броненосный щит,
 Но он проходит, точно изваянный.
 Вся Арктика с «Челюскиным» на нем,
 Что ни сенсация — его забота!
 Да вот, например, сегодня днем
 Разбился «У-2» от капота.
 Но кто же рискует по льдинам вброд?
 Вот и погиб. Сдуру!
 И Шмидт, чтоб успокоиться, берет
 Математическую корректуру:

$$E^2 = (S_0 = m) \\
 S_0 S_1 S_2 \dots S_{m-1} \\
 S_1 S_2 S_3 \dots S_m \\
 S_2 S_3 S_4 \dots S_{m+1}$$

Будет зимовка или не будет?

$$S_2 S_3 S_4 \dots S_{m+1}$$

Скорее не будет. $F(X) = 0$

$$(X - X_2)(X - X_2) \text{ А что, как вдруг?} \\
 (X - X_2)(X - X_2) \dots (X - X_m) = 0 \\
 F(X) = F(X) : X - X_1$$

Ну, что ж зимовка. Если и будет,

$$F^1(X) : X - X_m$$

Зато экипаж ее не забудет!

$$E_2 = (-1)^{\frac{m(m-1)}{2}} F^1(X_1) \\
 F^1(X_2) \dots F^1(X_m)$$

Впрочем, посмотрим, что скажет юг...

К вечеру приехали чукчи.
 Приехали они на собаках.
 Собаки свернулись в кучки
 В мехах глубоких и мягких.

А чукчи взошли на корабль,
 Трогали все руками.
 Двигались, точно крабы;
 Ели. Учтиво рыгали.

Потом отдыхали чукчи.
 Опять удивленно ели.

(Впервые в жизни из щук ши,
Впервые видели зелень.)

Потом их позвали в каюту.
Чукчи сидят на диване,
Морем пахнет как будто
Жирное их одеянье.

Молча их поят чаем.
Все им тут незнакомо.
Но, наконец, выручает
Метеоролог Комов.

С карканьем наилучшим,
С детскостью знаменитой,
По предложению Шмидта,
Он переводит чукчам.

Чукчи отвечали: давно видели — паараход двигался идущий. Все ждали — станет однако. Вот большой паараход остановился есть. Вот Чайвуургын, что означает «С Того Света Возвращающийся», пришел с сыновьями и четвероюродным братом.

Гостем быть. Почайпить.

Комов им переводит:
Спасибо, мы очень рады.
В этой безлюдной природе
Это большая отрада.

Однако, что нового в свете?
Что им сказала вьюга?
Можно ли ждать, что ветер
Скоро подует с юга?

Чукчи отвечали — ветер с юга на восток ушел кочующий. Какой паараход стал есть это время — тот весны дожидаться будет. Так будет.

Комов спросил, покачнувшись,
Откуда такое мнение?
Он верит познаниям чукчей,
Но все-таки, тем не менее,
Разве они видали
Собственными глазами,
Чтоб пароход из стали
Здесь когда-либо замер?

Чайвуургын отвечал — круто помнит Чайвуургыном паарахода он увидел есть. Старик сердитый, моржовьи усы, бороды нету, голова босая, на губе градинка бурая — зимующий.

Круто помнит. Во — помнит!

Комов: «Что вы несете?
Что за странные вести?»

Все корабли на учете,
Все старики известны!»

Чукчу на-глаз прикинул:
Лет пятьдесят или вроде...
Все же Чайвуургыну
Так вопрос переводит:

«Какой тебе зимний ветер?
Какая пошла тебе осень?»

Чайвуургын покурил и ответил:
«Восемь».

Но чукча думал вот что: в прошлом веке
Корабль, отошедший из Норвегии,
Примерз ко льду у этих берегов.
Когда морей ледовый переков
Гвоздем последним звякнул над Чукоткой,
Охотники падучею походкой
Пришли взглянуть на диво: пароход!
Он был с трубой и назывался «Вега».
Он тщетно бился, прорывая щель.
На нем царили брови человека,
Штурмующего север. Норденшельд!
В кануне семьдесят восьмого года
Им первым экспедиция велась...

И чукчи наблюдали морехода,
А чукчи — это, прежде всего, глаз!
Сияющая голубым сугробом,
Их память по-охотничьи крута:
Он вышел величавым и суровым
С подробностью горошины у рта.
И стал своим непостижимым рангом
Легендою скитаться по ярангам,
Где памятка равняется глазам,
И все, что чукча, подшивая лыжи,
От деда или прадеда услышит,
Он верует, что это видел сам.
Так стал воспоминанием рассказ.
За годом год, за веком век сменился,
А мореход ничуть не изменился, —
Лишь чуточку становится раскос.

Чайвуургын настаивал — круто помнит старик сердито зимующий гра-
динка бурая бороды нету — белый.

Шмидт говорит, что не стоит затягивать спора: здесь очевидное недо-
разумение, которое существенного значения не имеет, он просит товарища
Комова спросить чукоч, согласны ли они и на каких условиях перебросить
1-й челюскинский десант на материк.

Зверев спрашивает, зачем нужен десант.

Шмидт говорит, что зимовка, повидимому, неизбежна, и надо позаботиться о женщинах, детях и больных.

Баевский сомневается, действительно ли неизбежна зимовка.

Зверев просит во всяком случае этого обстоятельства не разглашать.

Шмидт говорит: разумеется, и просит Комова перевести чукчам то, что он просил [зачеркнуто], говорил [зачеркнуто].

Комов им переводит —
Согласны ли будут чукчи,
Особенно тот, кто водит,
Ответить сейчас, вот тут же,
Смогут ли на собаках
Перевезти на берег
Мало-мало всяких,
И сколько потребуют денег?

Чукчи отвечали — дорога ранняя, снег не полег есть — лед гулящий, провалиться можно. Однако почему не можно? Можно.

Чайвуургын говорит — провалиться можно и дойти можно, однако силачей надо, собак за ухо кусать надо.

Баевский говорит, что это обстоятельство меняет всю ситуацию.

Зверев с ним соглашается.

Шмидт не соглашается, говорит, что решил выслать боевой отряд сильных, мол. муж. коммунистов краснознаменцев и тех бесп., кот. имеют опыт хожд. по льдам тчк их задача организ. на берегу трассу собачьих упряжек маршр. Джинретлен — Уэлен тчк если дойдут — вслед будет выслан 2-й дес., затем 3-й тчк если не дойдут — вернуться на корабль тчк если не дойдут и не вернуться будет послана разведка.

Командиром отряда назн. т. Зв.

Товарищ А. Н. Зверев возражает:
По занимаемому положенью
Он заместитель Шмидта и находит,
Что было бы нецелесообразно
Начальнику остаться без него.
Уж если речь заходит о зимовке,
То именно ему, как комиссару,
Особенно придется потрудиться.
Он это видит совершенно ясно
И просит его мнение учесть.

Шмидт согл. тчк Командиром отряда назн. секретарь экспедиции т. Мух.

С л у ш а л и — п о с т а н о в и л и:
Вопрос о походе на материк.

(У корабля уже собаки выли.
Седой вожак, уставший за троих,
Позевывал, горбя язык навывкат.
Пурга упала. Плавала заря.)

П о х о д н а з н а ч и т ь н а т р е т ь е о к т я б р я.
К 10 у т р а п р и у р о ч и т ь в ы х о д.

(Тогда к Седому Серый подошел,
Влача свою ораву на подпруге,
И оба, отвернувшись друг от друга,
Ощерясь, зарычали по душам.
И сразу своры стихнули.

Рычанье

Срывалось в клекотанье и захлѐб..
И вдруг Седой рванулся прямо в лоб!
Но вздернулся: ошейник на причале.
Но все же, лапами упершись в плечи,
Они на миг скрестили клык о клык
В коротком рывке дикого наречья:
«Гауруа!»

— «Аара!»

— «Хэкуык!»

И снова псы, воинственно рыча,
Сливают вой боевых традиций...)

Отряду придать, во-первых, врача
И, во-вторых, радиста.
Отряд выходит курсом на полюс,
Затем, огибая кряж ропаков...

(И можно было видеть дымный голос
Двух, окруженных стаей, вожakov,
И над плечами мощные кресты,
Занесенные снегом, как могилы, —
Они дышали первобытной силой
И обаяньем волчьей красоты.

А вьюга снова кружит и дымит,
Метель ссыпая в синеву туманов...)

Нач. экспедиции — *Отто Шмидт*.
Секретарь экспедиции — *Муханов*.

Конец первой части.

Семья

Повесть

К. ГОРБУНОВ

(Окончание ¹)

ДВЕНАДЦАТАЯ ГЛАВА

Одновременно с тем, как Философ сделал запись в своей книге, в комнате Штокман тоже шла канцелярская работа. Пользуясь тем, что соседка по комнате Таня Рябова еще не вернулась из парка, Циля отвечала на залежавшееся письмо. Старая Лия Шмальц писала ей из Киева:

«Милая дочурка.

Мне кажется, что господин Дуров в Москве, когда был жив, любил своих зверьков больше, чем ты меня. Бандажница Хили Рохлина, которая уже открыла свое заведение, пишет мне из Москвы, что он получал из распределителя паек на зверьков, и даже бисквитное пирожное. Я же не имею от тебя, с тех пор как ты покинула дом, ни строчки, ни копейки. Ты ушла — и бог тебе судья. Но надо же помнить свою старушку-мать. Мне совсем не важно, какой ты партии, той ли, которая причинила столько несчастий покойному Рувиму и закрыла у Хили Рохлиной бандажное заведение, или какой другой. Я знаю одно: кто хочет кушать, тому голодно. И я помню, что сказал мне мой муж, а твой бывший отчим, Исаак Шмальц, когда к нему постучала ночью госпожа Дермонт и попросила серной кислоты. Исаак не стал спрашивать, зачем госпоже Дермонт понадобилась сер-

ная кислота — плеснуть в глаза шлюхе и гойке Синицыной или выводить на солнце пятна? Исаак просто спустился в магазин и дал, что требовали. «Слушай, — сказала я, когда он вернулся в спальню, — как бы чего не было». «Лия, — сказал он, — на деньгах не написано, от кого и за что они получены». И мы опять заснули и спали до самого утра, как господь бог после сотворения мира».

Дальше были перечислены киевские новости и высказывались пожелания здоровья и счастья.

Склоняющимся в левую сторону почерком Циля отвечала:

«Гражданка Шмальц.

Зверьки товарища Дурова имеют полное право на паек, потому что они полезны детям. Если ребенок собирается заболеть, мать говорит ему: «Крошка, будь умником, не хворай, и мы поедем в зверинец к Дурову». И малютка слушается. А кому приносите пользу вы, гражданка Шмальц? Я ушла из вашего дома буквально без рубашки: на мне были только лифчик, трико и шерстяное платье. Вы больше ничего не захотели мне дать. Исаак Шмальц, который бил меня, его санитарно-гигиенический магазинчик, изобретенная им паста от бородавок оказались вам дороже рубашки для дочери. Где же теперь ваша гордость, бывшая совладательница аптекарского магазина? Я пишу это не ради того, чтобы сводить счеты, а для того, чтобы вы не утруждали больше почту.

¹) См. «Новый мир», кн. кн. 11 и 12 за 1936 г.

Вам голодно? Не верю. Будто у вас ничего не осталось припрятанного. Или вы настолько далеко спрятали дорогие вещи, что не хочется их доставать? Предположим — так. В чем дело? Поезжайте к своему Исааку и помогите ему рыть Московский канал. Там трудно, зато сытно. Молите бога, что я не хочу тревожить память покойного отца и не узнаю до сих пор, отчего ему стало так дурно, когда он вернулся с вечеринки от Шмальца? Может быть, потому, что он был приглашен туда из милости и посажен на самый край стола? Так ведь от этого не умирают. Что он там кушал, гражданка Шмальц?».

Циля поставила точку и расписалась фамилией родного своего отца, который работал возчиком у Исаака Шмальца, — Цецилия Штокман; роспись дважды подчеркнула.

Заклеив конверт и написав адрес, Циля под села к раскрытому окну. В парке было темно: лампочки на главной аллее почему-то не горели. В глухом овраге, где парк граничил с диким чернолесьем, гукал филин. Откуда-то его звонко передразнивала Соня. Иногда голос девушки неожиданно умолкал, может быть, прерванный поцелуем Алеши Трынова. Циля зябко вздрогнула: ее начинало знобить, — обожженные плечи и руки болели. В другом конце парка сдержанно и стройно запели на церковный мотив куплеты, сочиненные Фунтиковым. Густо, словно сырость из оврага, сочился в темноте голос запевающего Бакалова:

Философ Никола,
Краса нашей школы,
Молчит себе в трубку,
Однако, гадючка
Пронзительный.

Хор троекратно повторил заключительное слово куплета. От заунывного напева Циля делалось грустно. Ветерок раскачивал за окном ветви сирени, отягощенные гроздьями цветов, тихонько позванивал ими о стекло открытой рамы. Из этого звона рождался сладковатый аромат и струился в комнату. На полу и стенах шевелились кружевные тени. Позванивание делалось неслыш-

ным, когда в окно опять начинал неудержимо ломиться бас Доната:

Акимка, друг ситный,
Мечтает любит скрытня.
Страдает Акишка,
А в общем парнишка
Восхитительный.

Циля хрустнула пальцами. Повернулась к столу. Выхватила из ящика бумагу, да не ту, испещренную с одной стороны чертежами геометрических задач, на какой писала ответ мачехе, а почтовую, голубоватую. Стукнула пером о доньшко чернильницы.

«Ты прав, — торопливо кидала она буквы, — я, кажется, действительно сожглась, Аким. У меня то жар, то озноб. Неважно, пройдет. Не откладывай же тебе из-за этого поездку. Ты все-таки решил ехать? Значит, так нужно. Говорят, у тебя есть семья. Повидай. А у меня вот нет родных. Коллектив, друзья вполне заменяют их. Ты думаешь, я отказалась бы от хорошей матери? Но если нет ее?.. Думаю, что ты будешь счастливей меня. Хватит умных слов! Если бы ты знал, какие мои ночи! Однажды приснилось мне, что сердце у меня растет, растет. Его вынули из груди и разрезали, как режут спелый арбуз. Из него текла кровь. Ну так что же, — скажешь ты, — разные бывают сны. Но я проснулась от соленого вкуса во рту: искусанные губы мои кровоточили. Еще я вижу себя мухой за двойной рамой, стучусь будто и звеню о стекло, как звенит сейчас сирень. А вот расскажу еще один случай. Я была в городе Казани, — это уже наяву. Есть там озеро Кабан. Гусь плавал по нему всю осеннюю ночь, да и не заметил, как ударил мороз и как лапы вмерзли. Утром он так громко кричал! Люди стояли на берегу и жалели, но лед был тонкий, и никто не решался спасти птицу. Она взмахивала крыльями. Как, должно быть, сильно болела у нее лапы. Аким, у меня так горят плечи! Циля, я не узнаю тебя! Примерзла твоя гордость...

В чем дело? Откуда эта тревога? Я ведь здоровый, крепкий человек. Как тебе объяснить, чтобы ты понял голо-

вой и сердцем?.. Ты думаешь, я желаний своих боюсь, поцелуев твоих боюсь? Какая ерунда! Я не собираюсь в монастырь и сумею целоваться очень конкретно, не хуже других. Но надо проверить себя, проверить тебя. Надо знать, кто ты и куда растешь, чтобы потом не кусать губы наяву. Зачем ты уезжаешь так скоро?».

В дверь постучали. Цилия не подняла головы. Стук раздался сильнее. Таня Рябова просила из-за двери:

— Открой, я хочу спать!

Цилия продолжала:

«Позавчера я ходила в магазин и купила дюжину замечательных носовых платков. Могу подарить тебе несколько штук в дорогу... Что я пишу, кому пишу?! Цилька, что с тобой?!».

— Броеь дурить, — говорила Рябова, — я же знаю, что ты в комнате. Открой!

«Я ушла от матери, — заканчивала Цилия, — сумею уйти и от тебя, если ты не захочешь понять, как много тебе надо расти. Ты испугался выстрелов и лег. А я больше за тебя испугалась, — не трус ли ты...».

Рябова грозилась теперь уже под окном:

— Я пожалуюсь коменданту, если не откроешь.

Цилия поднялась из-за стола.

— Лезь в окно.

— Не могу, тут слишком высоко.

— Ладно, иди кругом, сейчас открою.

В распахнутую дверь ворвался сквознячок весенней ночи, зашуршал мельчайшими клочками бумаги. Они взвились к потолку, закружились у лампочки, как стайка белых мотыльков.

— Сколько ты насорила, Цилия!

— Я подмету. Передовая в стенгазету не вышла, и я порвала ее.

Цилия притронулась пальцами к вискам.

— У меня ломит голову. Холодно. Ляжем, пожалуйста, на одной койке. Мне будет теплее.

— Хорошо, — согласилась Таня.

— Только отодвинься к самой стене.

— Но ведь тебе холодно.

— Я плечи сожгла, как ты не поймешь?! — закричала Цилия.

— Не шуми, — просила Рябова. — Я уж не знаю теперь, что тебе надо. Давай, что ли, смажу плечи вазелином.

Пение в парке смолкло. Ребята разбрелись по комнатам. Вернулся к себе и Ян. Он застал Акима над раскрытым чемоданом. Койку Добычина и тумбочку загромождали книги, носильные вещи. Латыш потер переносицу.

— Слушайте, ночных погромов хватало, пишут, и до революции. Что вы тут делаете?

— Уезжаю, Ян.

— Свежие новости. Если вам не к лицу мое соседство, так это не требует поездки. Вы можете перетащить себя в противную комнату, в комнату, что напротив, я хотел сказать. Я помогу вам.

— На родину. Ян, уезжаю, в деревню.

— Продолжение нового завета или пародия на возвращение блудного сына? Мы не будем видеться до осени. Отчего вам не ехать в нашей бригаде?

— Мне уже предлагали, не хочу.

— И во сколько поезд?

— В 8—45 вечера. Только не говори ребятам. Утром я сам всем скажу.

— Молчу.

Вошел Гулин.

— Афоня, — сказал Мезон. — Этот зверь едет и просил всем молчать.

— С каким поездом? — деловито осведомился железнодорожник.

Явился Фунтиков. Выслушав новость, он молча вышел и через минуту привел группу студентов. Все сожалели:

— Зачем так поспешно, Аким?

Каждый обязательно спрашивал:

— Во сколько поезд?

Аким начинал раздражаться:

— Я повешу над койкой аншлаг с надписью: «Поезд уходит в 8—45 вечера».

Погрустневший Алеша Трынов застенчиво передал Акиму толстую книгу.

— Это «История атеизма» Вороницына. Ты не открывай, после... Там, на заглавном листе, я тебе ерунду какую-то написал. Соня уже легла. Она просила сказать, что утром принесет тебе цветов. Может быть, останешься все-таки?

— Нет, — сказал Аким, придавливая коленом крышку чемодана.

Но поездку ему пришлось отложить.

Этой же ночью, очень поздно, Философ на цыпочках вошел в незапертую четырнадцатую комнату и осторожно, избегая тревожить соседей, разбудил Бакалова, шепнув:

— Заглянешь сейчас же ко мне, прихвати Циюлю Штокман.

Вызванные явились. Секретарь плотно закрыл дверь.

— Придется тревожить не только вас, а многих. Пока что, мы должны установить, кого именно следует тревожить.

Он говорил, как и всегда, ровным, спокойным голосом, но на сей раз несколько торжественно.

Из дальнейшего выяснилось — Философ только что вернулся с экстренного заседания крайкома. Вопрос, который там обсуждался, заставил насторожиться и Циюлю с Бакаловым. В Жигулевских лесах, километрах в 60 от города, снова объявился бандит Каргополов. Сын торговца, бежавший из высылки, он в прошлом году с шайкой таких же обозленных на жизнь головорезов бесчинствовал по округе. Сообщников его переловили, сам же он ускользнул. Целый год о Каргополове ничего не было слышно, теперь бандит опять вернулся в знакомые леса. Уже убит и ограблен почтальон, разгромлен кооператив. По сведениям, число помощников у Каргополова ничтожно, однако кто знает, не удастся ли ему снова увеличить шайку. Район, где скрывается бандит, известен, но самое убежище не открыто. Надо оцепить и пройти рука об руку большой массив леса.

— А людей недостаточно, — подсказала Циюля.

— Их, конечно, хватило бы, — поправил секретарь. — Просто властям не хочется привлекать к делу сколько-нибудь крупную воинскую часть: это — пока бандит не ликвидирован — могло бы вызвать у тамошних жителей впечатление, что он силен.

— У меня в стрелковом кружке двадцать пять человек, — подсчитывал До-

нат, — если прибавить к ним добровольцев...

— Только без добровольцев, — поморщась, перебил Суховеев. — Эти люди охотно вызываются на подвиг и с меньшей охотой могут сбежать от опасности. Давай список самых надежных. Надежных, — подчеркнул он. — И чтоб ни одна лишняя душа не знала, куда собираемся. Тут дело серьезней стрелкового соревнования.

Все же экспедицию не удалось сохранить в тайне, и прежде всего потому, что между Циейей и Донатом возникли острые разногласия. Когда они уединились вдвоем в пустую аудиторию составлять список, то Бакалов начал заносить в него только ребят.

— А нас, то-есть девушек? — нахмурилась Циюля.

— Лишнее, — отказал Донат.

Циюля даже отпрянула и еле могла выговорить:

— Это как же, испугаются, что ли?..

— Ну, знаешь, могут быть длительные переходы, — утомятся, и вообще как-то странно слышать: девушки — и вдруг пойдут на такое...

— Пиши меня первую! — сурово сказала Штокман.

— Не могу, Философ о девушках ничего не говорил, — упорствовал Бакалов.

Зная, что его не переупрямить, Циюля бросилась из аудитории, взбешенно хлопнув дверью. Она хотела бежать прямо к Философу, но по какой-то необъяснимой причине завернула сначала к себе в комнату, принялась тормошить Таню Рябову.

— Вставай! Это безобразие — спать. Нас не берут! Ты понимаешь, нас не берут! — В голосе ее дрожали злые слезы. — Болтают о равенстве, а сами унижают на каждом шагу. Вставай, говорю!

Таня с трудом уяснила себе из этих бессвязных фраз суть дела.

— Никому не рассказывай, слышишь! — предупредила Циюля и понеслась к Суховееву.

Она стояла перед ним, кусая губы, сдавленно шептала:

— В трудные минуты тебе Штокман нужна: ты зовешь ее советоваться, но оказалось, только советоваться. А дальше Штокман — помеха, обуза, лишняя душа, ненадежный человек, так, что ли?!

Суховеев никогда не видел ее столь возмущенной и разгневанной. Он прикинулся было непонимающим.

— В чем дело?

И для пущей убедительности даже попытался строго осадить ее:

— Чего шумишь? Народ перебудит. Сказано ведь: секрет.

— Перестань, — оборвала она. — Ты с кем хитришь? У тебя с Донатом молчаливый сговор не брать девушек.

— Слушай, — пустился секретарь на последнюю уловку, — раз я тебе доверил составлять с Бакаловым список, то само собою разумелось, что ты пойдешь. Только не тревожь, пожалуйста, других девчат.

Но Ция уже кричала:

— И я поеду, и Таня, и вообще все из нас, кто заслуживает этого!

А Рябова ходила тем временем по спальням девушек и шептала:

— Одевайтесь, там список, нас не включили.

— Какой список? — не понимали ее спростонья.

— Потом узнаете. Никому — ни слова. Вставайте и тихонько выходите.

В аудиторию к Бакалову собирались студенты. Девонец Гулин жаловался:

— Если беспартийный, так и никакого доверия?

Перед Бакаловым суетился юркий и гибкий Мезон.

— Загляните в ваш алфавит на букву «М». Я — Мезон. Донат, башня Вавилона, или вы позабыли, как моя фамилия?

Вбежал Аким. Чужое, неузнаваемое лицо его, с невидящими глазами, дергалось от возбуждения. Широкоплечий и коренастый, он легко растолкал толпившихся студентов, выхватил у растерявшегося от неожиданности Бакалова заполненный фамилиями лист бумаги.

— Где список, где? — ни к кому не обращаясь, повторял Аким, хотя злополучный этот список находился у него в руках. — Почему там нет меня?

— Ты хотел уежать, оттого я тебя и не включил, — пытался успокоить его Бакалов.

— Верно, уступи свое место другому, — упрощивал девонец.

— Никуда я не поеду, остаюсь! — с отчаянием воскликнул Добычин. — Я хочу быть в списке. Это для меня проверка — вся жизнь. Понимаете или нет — вся жизнь!

Вошел, незамеченный в общей суете, Философ. Постоял, слушая пререкания, тонкие губы его сложились в обычную суховатую усмешечку. Поднял над головой руку.

— Друзья! — негромко сказал он. — Великое народное ополчение! Опасность не столь угрожающая, чтобы так волноваться. Мы сделаем следующее: разобьемся на две партии, первая выезжает немедленно, вторая — несколько позже, — сразу для всех нехватит транспорта. Дабы споры не вылились сейчас же в междоусобицу, дополним первую партию несколькими девушками, ну, и включим... — Переводил глаза с одного на другого, выбирая, на ком остановиться. Мезону коротко бросил: — Не беспокойся, ты уже в списке. — Коснулся длинным указательным пальцем плеча железнодорожника. — Включим еще Гулина. — Остановил взгляд на вздрагивающем от нетерпеливого ожидания Акиме и закончил: — Ну, и возьмем Добычина. За остальными придет посыльный из города и скажет, когда выступать.

Посыльного этого вторая партия ждала весь следующий день и ждала напрасно. Вместо него явились в урочное время преподаватели, и начались лекции.

ТРИНАДЦАТАЯ ГЛАВА

Светало. Над песчаными отмелями левобережья горела заря. Отблески ее, как бы подхваченные течением, расплывались по реке и уже играли на волнах стрежня. Правый лесистый берег все еще хмурился тенями. Под ветерком они шевелились и, отжимаемые волнами, ползли ближе к каменистому обрыву. В тени, незаметный издали, глухо шлепал плечами небольшой дачный пароход. На

влажной от росы палубе — ни души, только за стеклами штурвальной будки виднелись два человека в кожаных рукавицах. Они поворачивали колесо, щетинисто унизанное частыми рукоятками, и пароход послушно обходил гряды камней, пересекал заливчики.

Студенты разместились в тесных кубриках и на полу нижней палубы. Не было слышно ни разговоров, ни даже шопота. Одни дремали, обхватив руками зажатую между колен винтовку и опираясь на нее; другие, облокотясь на бортовые перильца пролетов, молчаливо следили за игрой красок возле того берега; кое-кто, не успев как следует одеться во время торопливых сборов, приводил себя в порядок: затягивали туже ремни, переобувались. Иногда мимо групп студентов проходил бледный после бессонной ночи Суховеев. Он тоже безмолвствовал, лишь бросал острые взгляды на ребят.

Аким сидел, прислонясь к высокому свертку причального каната. Он хорошо сознавал, что едет не на прогулку, что винтовка, — эти куски дерева и железа, соединенные при помощи колец и нехитрого ударного механизма, — дана ему не для учебной стрельбы в цель: не позже, как сегодня, она может послужить смертоносным оружием защиты или нападения. Вначале он тревожился, что мысль эта вызовет у него множество сомнений: готов ли он пользоваться винтовкой именно таким образом, есть ли у него на то право? К удивлению своему, Аким чувствовал необычайное спокойствие. Его интересовали внешние мелкие явления вокруг, но не собственные переживания. Старался уловить, чем отличается запах воды от запаха нефти, тянущегося из машинного отделения. Первый казался сырým, щекочущим ноздри, второй — мягким, теплым и маслянистым. За бортом часто проплывали свежие сосновые щепки. Добычин вспомнил, что недалеко отсюда, вверх по течению, есть Криволуцкий затон, где строятся новые баржи, значит, там уже проснулись, работают, и щепки плывут из затона. Он как бы по дороге из общежития на пристань или когда-то гораздо раньше уверился в бе-

зусловной целесообразности предстоящих сегодня поступков, и теперь ему оставалось лишь совершать их.

Обошлось солнце. Свет заливал крутые изломы берега. Обрывы впереди становились выше и отвесней; гуще было чернолесье на их вершинах. На горизонте — двумя синими курганами, с полоской светлой воды между ними, — вставали и росли Жигулевские Ворота.

Пароход свернул в одну из бухточек, застопорил и, не давая гудка, подвалил к пустынному берегу. Кинули сходни. На них шагнул капитан — седоусый, с морщинистым, злым лицом: белый китель, обтягивающий сухопарую фигуру, легкость, с какой шел капитан по скользким, пружинящим доскам, делали его моложавым. За ним последовал человек в военной форме, которого Аким увидел впервые за всю дорогу. Угловатый, сутулый, он, вероятно, больше привык сидеть в седле, чем передвигаться на коротких и кривых ногах своих, тем более — по неверным сходням. Рабфаковцы, не оставляя винтовок, соскакивали на берег прямо с борта. Военный повернулся, требовательно сказал:

— Винтовки не брать! Составьте их в пирамиды на судне. Каждому — запомнить номер своего оружия! К пирамидам назначаются двое часовых. — Серые, холодноватые глаза его выбрали двоих самых рослых — Доната и Гулина: — Назначаетесь вы, товарищ, и вы. Повторите задание.

Деповец растерялся, замедлил с ответом. Донат четко пробасил:

— Рабфаковцы Гулин и Бакалов назначены к охране оружия.

Военный притронулся кончиками вытянутых пальцев к козырьку фуражки.

Аким понял, что с этого момента обычные вожаки коллектива — и Философ, и председатель стрелкового кружка Бакалов — на время отходят добровольно в тень, становятся рядовыми участниками экспедиции. Главарь здесь — вот этот угловатый крепыш, взявший командование, как нечто заслуженное, при молчаливом согласии всех остальных. По сведениям досужей Тани Рябовой, военного звали Александр Ни-

канорович. Фунтиков так и попытался к нему обратиться:

— Почему мы остановились, Александр Никанорович?

Тот громко, чтобы все услышали, ответил:

— Александром Никаноровичем меня дома жена зовет. Когда вернемся в город, можете и вы звать, а здесь, прошу запомнить: я — «товарищ начальник отряда». — Задумался, словно решая что-то важное, добавил: — Можно и по-другому: «товарищ начальник Торбеев». Можно и так.

Добычину понравилось, что в действиях не совсем организованных студентов вмешалась твердая, руководящая сила, и он, с присущей ему аккуратностью, готов был выполнить самое придирчивое требование начальника.

— Остановились, скажем, из-за нехватки горючего, — продолжал Торбеев: — Вообще условимся: не митинговать. Хочешь спросить, не кричи с места, не ходи гуртом. Чинно приблизься ко мне на короткую дистанцию и задай ясный вопрос. А я подумаю — отвечать или нет. Вопросы бывают разные.

Переходя от группы к группе, он говорил сжатые фразы, обрубая их паузами.

— Переобуйтесь, товарищ. У вас край портянки торчит из-за голенища. Портянка скомкалась, ногу натрете. Итти придется далеко. Спрашиваете, как далеко? Не имею права ответить. А вы, товарищ рабфаковец, принесите с парохода ведро кипятку. Давайте чай пить.

За чаем Торбеев спросил, умеет ли кто бросать гранаты. Умеющих, исключая Философа и Доната, не оказалось. Полдня упражнялись в метании учебной гранаты. Девушек Александр Никанорович устранил от этого занятия. Цуля — от лица подруг — протестовала, но Торбеев остался непреклонен.

— Надо подчиниться. Скучать и вам не дадим. Прибудем на место — организуем санитарную часть. С бинтами можете обращаться? Возьмите у боцмана аптечку и практикуйтесь.

Конец дня прошел в купании, беседах. Говорили обо всем: о наступающих зачетах, работе бригад в деревне, о про-

читанных книгах, но, будто условясь, обходили молчанием самое главное: то неизвестное, что ожидалось сегодня. Держались вместе, никому не хотелось оставаться наедине. Лишь Александр Никанорович вел себя непринужденно: снял и начистил сапоги, убрал их в тень кустарника, сам же, подстелив газету, лег рядом, выставив босые ноги, на солнце-пек.

В сумерки, когда берег снова затенился, пароход тронулся, хотя все заметили, что горючее ниоткуда не подвозилось.

— Да-да, — многозначительно протянул Фунтиков, — стало-быть, в потемочках крадемся.

Шли без огней, только с одним фонарем на носовой мачте. Над пароходом грузно вздымались косматые папахи Жигулей. В черной воде за бортом плавали, как масляные пятна, звезды. Глубокой ночью остановились близ каких-то неясных и бесформенных нагромождений. Высадились, оказалось — заброшенная каменоломня, с грудями кавальера и зияющими выемками.

— По четверо в ряд! — скомандовал Торбеев.

Когда построились, он обратился:

— Слушайте задачу. Сейчас поднимемся в гору. В девяти километрах отсюда — колхоз «Братство». Нужно прибыть к его околице в половине третьего утра. Там получим дальнейший маршрут. По нашим сведениям, Каргополов где-то в лесу, севернее «Братства». Мы зайдем отрезок оцепления и углубимся в лес. Марш! — коротко и негромко бросил он.

В темноте этот неуклюжий свиду человек чувствовал себя гораздо свободней и оживленней. За время крутого подъема он ни разу не споткнулся, не загремел камнем. Он то маячил в голове колонны, то, указав передним направление, вдруг оказывался в хвосте ее, то неожиданно выныривал сбоку и, тронув крайнего за рукав, отчетливо шептал:

— У вас в шеренге сталкиваются приклады. Выясните — чьи. Устраните.

Опять светало. Тут Аким вспомнил, что в дороге он уже больше суток. Уди-

вился, как неуловимо быстро летит время и каким бодрым спокойствием налило все существо.

Показалась деревня. Избы беспорядочно жались к латчатому ельнику, будто прячась от восходящего солнца. Из-за угла сарая вывернулся колхозник — бородатый, в пыльных сапогах с короткими и широкими голенищами, в синей длинной, почти до колен, рубашке без пояса и, несмотря на весеннее время, в шапке. Приказав колонне остановиться, Торбеев заспешил навстречу колхознику.

К удивлению студентов, Александр Никанорович в двух шагах от встречного вытянулся, козырнул, на что тот сделал жест рукой, означающий: «без формальностей, вольно». Они перекинулись несколькими словами. Бородатый снял шапку, махнул. Из-за сарая выехали две подводы, одна с оцинкованными ящиками, — «патроны» — догадался Аким, — на второй, откинувшись к стене рыдвана, дремал юноша, с брезентовой санитарной сумкой через плечо.

— Девушкам сесть на заднюю подводу, — распорядился Торбеев. — Колонне, впереди подвод, марш за мной, прямо по дороге, в лес!

Бородач с облегчением растегнул ворот рубашки, под ним заалели петлицы гимнастерки. Он догнал колонну уже в лесу. На нем не увидели ни рубашки, ни шапки, — одет он был по-военному, как и Александр Никанорович, но выглядел полнее, старше и значительней. Они шагали сбоку колонны, вровень с шеренгой Акима. Старший утомленно говорил:

— Население изрядно-таки побаивается. Целый месяц шлялся по колхозам — и еле-еле из кого слово выжмешь. Спасибо, молодежь помогала. А ведь догадывались, если не знали, где прячется. Ох, осточертел мне этот маскарад. Один председатель совета арестовал было даже. Особенно бородача надоела... Полгода перед операцией растил, а вот — не пожалею, единым мигом смахну. — Мельком глянул на студентов. — Торопите людей, командир Торбеев. Цепь давно на месте. Он мо-

жет пронюхать и улизнуть через наш ноцеженный участок.

Свернули с лесной дороги и больше часа двигались узенькой просекой. Ноги путались в траве. Теплый и сухой воздух одурманивал запахом болиголова. Тишина в полусумраке елей была так устойчива, что казалось — ее можно осязать. Словно боясь вспугнуть ее шелестом травы, каждый шагал осторожно. Даже лошади позади ступали неслышно и не фыркали. Бесшумно вертелись густо смазанные колеса повозок.

Бородатый вдруг остановился у сломанной ели, поднял руку. Колонна замерла. Александр Никанорович стал на середину просеки, приказал:

— Зарядить винтовки, рассыпаться направо и налево от меня! Дистанция между людьми пятнадцать шагов. Слушать мою команду — по цепочке!

Так как Добычин оказался правым флангом первой шеренги, то бежать ему пришлось до тех пор, пока остальные не рассыпались за его спиной в цепочку.

Услышав голос Фунтикова: «Дальше — никого, становись!», — он прислонился к толстой ели, отдышался. Нарушенная перебежкой тишина снова устоялась. Лес как бы еще более нахмурился и помрачнел.

«Я крайний, — соображал Аким. — Слева от меня Фунтиков, справа — бесконечный лес. Справа я не защищен».

Стало неприятно. Он сдержанно откашлялся, ему послышалось — кашель раздался столь громко, что даже дерево шелохнулось; сверху осыпалось несколько желтых игл хвоя.

«Ерунда, — сказал себе Аким, — надо спокойней. Главное — смотреть хорошенько».

Перехватил удобней винтовку, вспомнил, что до сих пор не вложил обоймы. Щелканье металла ободрило. Заряженное оружие казалось увесистей, надежней. Из чащи приполз шопот Фунтикова:

— Командир по цепочке спрашивает — установлена ли связь с другой частью?

Одновременно справа хрустнула ветка. Подчиняясь резкому внутреннему

толчку, Аким согнулся, утвердил на выступе коры дуло винтовки, направленное в сторону хруста, и сразу поймал глазом мушку. В просвет между зелени глянуло безусое и коричневое от загара лицо под красноармейской фуражкой.

— Ну, ну, — строго сказал новый сосед, — не в того целишь. Рабфаконец, что ли? — Не дожидаясь ответа, повернул голову, сообщил кому-то невидимому: — Передайте, связь установлена.

В свою очередь Аким, громче нужного, ответил Фунтикову:

— Есть соприкосновение!

— Смекалистый, — похвалил красноармеец. — Однако воли горлу не давай, не за грибами пришли.

Они стояли разделенные десятком метров, видя в просвет только головы друг друга. Был красноармеец круглолиц, пухощек и отменно спокоен.

— Не страшно тебе? — спросил он.

— Немного было струсил, — сознался Аким, — теперь нет.

— Со мной не забойшься, — успокоил сосед. — Я — Павел Щавелев, из третьего взвода. Главное: в себя не гляди, больше вокруг посматривай. Вот, вот, так и делай. — Он одобрительно кивал, из чего-то заключив, что Аким уже последовал его совету. — Ты понятливый, а около меня тем более натрещешь. Теперь тот субчик — в капкане, наш будет.

Говорил скучновато, вполголоса, как бы делясь мыслями сам с собою, но по настроенным, бегающим глазам его и вытянутой шее Аким судил, что весь он туго напряжен в слухе, чутье и зрении. Невольно эта пружинность передалась и Акиму. Он механически отвечал на вопросы, так же механически задавал их, а сам слушал, вглядывался. Щавелев вдруг оборвал начатое слово и, подхватив брошенную кем-то из чащи команду, кинул ее Добычину:

— Итти прямо! Передай другим.

Аким угадывал — лесная тишина кругом наполнилась скрытыми шорохами, движением.

— Гляди верней, гляди! — слышался изредка наставительный шопот соседа.

Лес расступался, редел. Справа и слева маячили между деревьями и вновь исчезали фигуры. Добычин повеселел. Не верилось, что где-то впереди затаилась опасность. Он уже сомневался: возможно, вся эта обставленная такой серьезностью экспедиция выльется в обычную военную игру.

«Скорее бы что-нибудь случилось» — торопил он события, шагая уже без всяких предосторожностей навстречу потокам света, рвущимся сквозь редеющий ельник.

Дунул ветерок, — Аким даже остановился, ошеломленный неожиданным блеском солнца и простором открывшейся зеленой поляны. Она имела вытянутую, овальную по концам форму и простиралась километра на два, обрамленная лесом. Цепь вышла на поляну одновременно и облегла ее, словно подкова с длинными концами и узкой серединой. Добычин установил, что находится в самом центре изгиба подковы. Слева виднелись знакомые, разнообразно одетые фигуры друзей, справа — красноармейцы, в одинаковых, едва отличимых от зелени, гимнастерках; дальше снова пестрели штатские. Аким невольно вспомнил заливные, широкие луга Лихачевчи и ряды коцов на них. Расстилающийся вид напоминал ему далекую мирную картину детства.

— Застегни пиджак, — сурово сказал Щавелев. — Сам для мишени белую рубаху выставил и других подводишь.

Добычину хотелось возразить, что открытая поляна ничем не угрожает и маскировка излишня, но его тронули за плечо. Рядом стояла, нивесть откуда появившись, Таня Рябова и умоляла:

— Дай винтовку! Ну хоть подержать дай. Мы с Штокман удрали из обоза, — скучища. Вон и Циля, — указывала она куда-то в пространство.

Подали команду «вперед», изгиб подковы начал перемещаться, длинные, вытянутые концы ее сближались, но про-

тивоположная Акиму сторона оставалась незамкнутой.

— Уйдут ведь, — не загорожено! — взволнованно крикнул он Фунтикову. На середине поляны, как и раньше, не обнаруживалось ни малейших признаков жизни, — Добычин почему-то вдруг поверил: там, в густой, выше пояса, траве, несомненно, прячутся люди.

Толстяк, вытирая околышем фуражки потное лицо, пробормотал что-то неразборчивое. За него совсем уже сердито ответил красноармеец:

— Не ори! Командир знает с твое.

Впереди, над розовым, цветущим кустом шиповника, неожиданно вспорхнул комочком пуха дымок, и одновременно в воздухе треснуло, будто невидимый глазу шов разорвался на небе; за спиной, на опушке леса, сухо кашлянуло эхо. Два новых выстрела почти слились. Точно стальные прутья взвизгнули над головою Акима, мгновенно воскресив в памяти позавчерашнее стрельбище, Цилю и как он, взбираясь с нею на берег, прятался от пуль. Сейчас Добычин не испугался.

— Кажется, в нас, — с преувеличенным равнодушием сказал он Щавелеву, стараясь, чтобы в голосе не дрогнула ни одна нотка и не выдала, насколько ему, Акиму, радостно и легко от сознания своей смелости.

— Теперь ложись, — ответил красноармеец, снова добрея, — пулю храбростью не удивить.

Ползти на четвереньках или на животе было трудно: мешала винтовка. Аким долго и безуспешно укладывался более выгодно, наконец, не стерпел и, приподнявшись, взглянул на Щавелева. Тот, опираясь локтем, подтягивал туловище и рывками скользил на боку, оставляя за собою узкое ложе из примятой травы. Аким быстро усвоил этот способ. Стрельба участилась, хлопанье винтовок уже нельзя стало выделить из откликов эхо. Загромыхало совсем рядом.

— Наши, — обрадовался Аким. — Давно бы следовало.

Толчок в плечо напомнил ему, что и сам он выстрелил. Отвечали только из центра подковы, на краях безмолвство-

вали, видимо, каждая сторона опасалась задеть противоположных своих. Добычин потерял счет времени, внимание слабо цеплялось только за те секунды, когда приходилось вкладывать новую обойму. Солнце распарило зелень, в нагретом воздухе пули визжали особо ноюще. Казалось, что поляна бесконечна, и неизвестно, сколько времени надо пресмыкаться в траве, — выстрелы, посланные наугад, вероятно, не достигают цели.

— Что-то нужно делать, что-то нужно делать, — по слогам, бессмысленно твердил Аким, не переставая щелкать затвором и стрелять.

Откуда-то снова взялась Таня. Ползла рядом и говорила над самым ухом, как бы отвечая Добычину:

— Вставать нужно, вставать, не то уйдут!

— Чего тебе? — не понял он. Лизнул шершавым языком сухие, жаркие губы. — Вода есть?

Рябова кивнула в сторону.

— Там — ручей, да в чем я тебе принесу, в горсточке, что ли? Некогда пить, — уйдут. Вставай скорее и другим скажи. Нельзя лежать!

— Куда им уйти? — переспросил Аким, сиюсь вспомнить нечто давно тревожащее. — Открыто! — вдруг закричал он, вскочив. — Черти! Я же говорил — на том конце не закрыто. Уйдут! — Путаюсь в траве, он побежал, уверенный, что все остальные последуют за ним, догадавшись, наконец, о возможности врага уйти через открытую лазейку подковы.

Выстрелы умолкли. Сквозь марево знойного дня Аким увидел, как поляна заперестрела людьми. Они бежали рваными звеньями, неразборчиво крича. Далеко впереди маячили три сгорбленных фигуры. Наперерез им, вырвавшись из цепи, мчался, занеся над головой руку, высокий человек без фуражки, с длинными волосами, — должно быть, Бакалов. Он взмахнул рукой, и грохот, какого еще не было слышно, заставил Акима покачнуться. В клубах дыма взметнулись пучки зелени, вырванные с комьями земли. Когда дым рассеялся, к лесу подбегали только

двое. Они скрылись именно там, где и ожидал Аким: в густом ельнике, окаймляющем не охваченный цепью копец поляны.

— Ушли! — отчаянно крикнул Добычин, бросив винтовку.

— Авось, нет, — утешил, подоспев, Щавелев. — Ну и горазд ты бегать, парень, только не совсем к стати. Куда мчался? Возьми винтовку.

Они шли расслабленным шагом. Люди сбивались в группы. Аким узнавал вокруг себя знакомые лица рабфаковцев. Кто-то жал ему руку и говорил:

— Ты молодец!

Приблизился, как в тумане, Философ, бледный, откашливающий после бега нехватку дыхания. И он коснулся влажными, холодными пальцами ладони Акима.

— Ты, кажется, пить просил. Ребята, у кого есть фляжка?

В стороне люди теснились полукольцом вокруг чего-то темного, лежащего на примятой траве. Оттуда слышались одинаково низкие и глухие голоса, словно за всех спрашивал и отвечал один и тот же человек.

— Совсем?

— Конечно, разворотило.

— Кто гранату бросил?

— Говорят, рабфаковец.

— Это — наш Бакалов.

— У нас все целы?

— Двоих перевязывают, — задело легонько.

— Видел землянку, где они жили?

— Она там, около шиповника.

Аким брел вялый, равнодушный, держа пустую фляжку. Из леса доносился шум, — перебегали с места на место, катилось, с треском, подминая кустарник, нечто тяжелое, вероятно, подвода. Из шума рвался взвинченный фальцет:

— Бросай, говорю! Приклада, что ли, хочешь?!

— Тише, — начальственно успокаивал глубокий бас. — А ну, бросай оружие!

Двое, теснимые красноармейцами, прижались к стволу сосны. Один, рослый, с кирпичным от загара лицом, поросшим мягкой курчавящейся бород-

кой; он — в черной, кавказского покроя рубашке, с глухим воротом и густо нанизанными пуговицами-бусинками; талью его стягивал узкий, наборный ремешок; на ногах — высокие охотничьи сапоги. Размашистым театральным жестом он откидывал со лба волосы и разглядывал окруживших его людей бегающими, затравленными глазами. У него часто вздымалась под натянутой рубашкой грудь; ноздри широко раздувались.

— Красавец! — искренне и с долей уважения вырвалось у Фунтикова.

— Я и красивый, я и не спесивый! — торопливо выкрикнул человек, словно ожидавший чьего-либо замечания.

Голос у него был хриплый и резал слух, как царапанье ножом о стекло. Он бурно кидал слова, так, что слюна пузырилась в углах рта, пытался говорить с вещей многозначительностью:

— Гляди во все зрачки, какой Каргополов! Вот он! Такого нигде не сыщешь. Он погуляет. Его земля не примет, — слово есть. У него семь пулемет и два орудия спрятаны.

Люди недоуменно переглядывались. Все ждали от этого статного и, очевидно, ловкого и сильного зверя ума, достоинства, а не жвастливой чепухи, которая выкрикивалась для того, чтобы заглушить подступающую к сердцу смертельную тоску.

— Шалишь, его не свяжешь! — хрипел Каргополов.

— Дайте веревку, — сказал Александр Никанорович.

— «Семь пулемет и два орудия»! — передразнил Щавелев. — Выучись называть их, потом прячь. Сушая балаболка, только на дураков и может видимость произвести. Зря на такого порох жгли, — обидчиво закончил он, отходя к сообщнику Каргополова.

Тот был пожилой, тучный, с одутловатым, безволосым лицом скопца. Он стоял босой около муравейника, то и дело переступая, почесывая одна о другую пухлые, желтоватые ступни. Из глубоко рассеченной верхней губы у него текла кровь.

— Начальник твой — болтун великий, — сказал Щавелев. — Поди, обманом заманил тебя.

— Иди к бесам! — ненавидяще ответил бандит и сплюнул кровь, намереваясь угодить в Щавелева.

Тот увернулся, заметив.

— Принципиальный старичок.

Александр Никанорович собрал и выстроил людей.

— Кто это первым к землянке побежал? — спросил он.

Ему указали на Добычина. Торбеев поманил его из строя.

— А нуте-ка покажитесь, покажитесь!

Сощуривая поочередно то один, то другой глаз, склоняя голову на левое или правое плечо, он разглядывал парня. От взгляда этого, цепкого и расслабляющего, Аким клонило в дремоту.

— Вот вы какой угрюмый, — сказал командир. — Вы что же, со страху кинулись бежать или как?

— Ползти надоело. — ответил Аким.

— Понятно! В военную школу к нам не хотите?

— Не знаю.

— Подумайте.

К пароходу возвращались старой дорогой. Колонна увеличилась. Кроме студентов и красноармейцев, шла команда милиции, отряды комсомольцев с патронного и велосипедного заводов.

— Сколько народу нагнали, — удивлялся Фунтиков, — и все из-за трех гадюк.

— Твой отец змей, а я чистых кровей, — прохрипел с подводы Каргополов. — У меня — тыщи сынов, за каждым кустом, под любой травинкой. Вот крикну их, и, как лес, зашумят.

— Помолчи, Иван, скучно, — заметил ему, как старому знакомому, Торбеев. — В городе натолкуемся.

Вторая подвода ехала позади колонны. За дорогу почти каждый, соблюдая негласную очередность, успел выйти на несколько минут из рядов и, потстав, бросить на подводу косой взгляд. На дрожках лежало под парусиной тело убитого гранатой. Сквозь материю проступили темные пятна, об-

лепленные мухами. Край парусины загнулся, открыв носки желтых штиблет, на ухабах они вздрагивали.

Красноармеец, шедший впереди Акима, тихо говорил соседу своему, Щавелеву:

— Они думали, лазейка-то свободна, и кинулись, а мы из засады...

— Об этом я знаю, — прервал Щавелев. — Боялся только — вас там не подранить бы: ведь напротив друг дружки были.

— Ну, мы не в лапти обряжены: прикрытые смастерили, опять же — за деревьями.

— Эх! — вздохнул Щавелев. — Из одного мы взвода, а тебе вон какая удача выпала, — на самое интересное место тебя поставили.

На пароходике разместились только рабфаковцы, остальные двинулись вверх по берегу, к своему судну.

С палубы Аким последний раз взглянул на Каргополова. Сидел он со связанными за спиной руками и, держа в зубах папиросу, тянулся с повозки к зажженной красноармейцем спичке. В его напряженно согнутом туловище и в резко очерченном горбоносом профиле было нечто от хищной птицы с подбитыми крыльями.

ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ ГЛАВА

Вернулись в сумерки. Аким тотчас разделся и, беспорядочно кинув на стул вещи, что никак не вязалось с обычной его аккуратностью, лег спать. Впервые за все время учебы проспал не только завтрак, но и начальную утреннюю лекцию. Мезон неоднократно пытался будить его.

— Слушайте, вы еще не приехали гости к маме, чтобы так нежиться.

Добычин открывал непонимающие глаза.

— Кто тут?

— Ваши друзья. Вы останетесь без завтрака и без лекции.

— Теперь можно и проспать, — бормотал Аким, отворачиваясь к стене.

Проснулся, когда комната уже опустела, и некоторое время созерцал потолок и стены, будто не узнавая своего

жилья. Еще со вчерашнего вечера в голове застряла какая-то навязчивая мысль, и сейчас он не мог вспомнить ее.

Кинув на плечо полотенце, пошел в умывальню. Здесь было пустынно, у кранов не толпилась очередь; в прохладном воздухе мягко пахло забытое кем-то на раковине земляничное мыло. Вел себя Аким странно: взялся было за зубную щетку, но, раздумав чистить зубы, сунул щетку в карман; ощущал чужое мыло; решил побриться, — намылил одну щеку и, отложив кисточку, задумчиво сидел на стуле перед потным зеркалом.

Вернувшись в комнату, он с полотенцем через плечо стоял на середине ее, не зная, идти теперь в аудиторию или братья за приготовленный к отъезду чемодан, чтобы уложить последние вещи.

В дверь постучали, вошла Циля.

— Ты заболел?

— Нет, я здоров.

— Тогда отчего же ты не в аудитории?

— Сейчас иду. — Аким бросил полотенце на спинку кровати.

— Лекция скоро кончится, подождем звонка на следующую, — сказала Циля.

— Значит, ты тоже не пошла на лекцию?

— Я хотела поговорить с тобой, пока никого нет в комнате.

— Поговорим, — вяло согласился он.

Циля теребила угол оконной занавески.

— Ты молодец, Аким.

Он взглянул на нее рассеянно и недоумевающе.

Циля объяснила:

— Мы все видели, как ты первым бежал вперед.

Добычин сморщился: вспоминать о вчерашнем поступке было неприятно, словно он, совершенный кем-то другим, приписывался Акиму ошибочно.

— Может быть, теперь не нужно ехать в деревню? — спросил Штокман.

Добычин оживился, — оказывается, эта самая мысль и занимала его со вчерашнего вечера.

— Я тоже думал...

Циля повела себя так, точно Аким уже решительно отказался ехать, — взяла его за руку, приказывающе говорила:

— Сегодня же созови кружок, а то ребята могут возомнить себя после вчерашнего героями и распустятся. Вообще, вся эта история с твоей поездкой надуманна, искусственна. Упрямство одно и больше ничего.

— Как? — изумился он. — Ты ведь одобрила поездку!

Штокман досадливо передернула плечами.

— Оставь, пожалуйста.

— Я еду, — сказал Аким.

— Не выдумывай.

Добычин открыл чемодан. Укладывая сверху мыло, зубной порошок, бритвенный прибор, повторял:

— Никому не позволю решать за себя, никому.

— Я не решаю, а прошу только, — виновато встала Циля.

— Просишь?.. А ты помнишь наш разговор в парке? «Надо проверить себя». Это чьи слова? Твои слова, Циля. Вот, как ты говорила: «Я сяду на самый большой, на самый белый пароход, махну друзьям с палубы платком...». Впрочем, я поеду на поезде. На вечернем поезде в 8 часов 45 минут.

— Ты злопамятен.

— Я просто согласился с тобой и хочу проверить себя.

— Ну, подумай, что будет, если все до времени бросят занятия и уедут.

— Знаю. У нас 84 студента, занимаемся мы ежедневно по 6 часов, до выпуска осталось 15 дней. Перемножь все эти числа, и получится масса прогулянных человеко-часов. Можешь написать об этом интересную передовую в стенгазету и еще раз поместить карикатуру на меня.

Циля взялась рукой за горло. Так стояла она с минуту. Потом трянула головой.

— Ну, прощай.

— Прощай, — ответил он, не поднимая на нее глаз.

Шаги Циля смолкли за дверью. Шемлящая боль стиснула Акиму сердце.

— Все наизнанку, все — не как у людей, — горько шептал он. — Я даже не подал ей руки.

Выбежал из комнаты, промчался коридором, достиг в несколько прыжков по лестнице площадки второго этажа. Циля уже взялась за медную ручку, собираясь открыть дверь в аудиторию.

— Попрощаемся, — сказал Аким, задыхаясь.

— Мы уже простились.

— Может быть, ты приедешь на вокзал проводить меня?

— Нет. Я буду заниматься с Бакаловым математикой, а после погуляю с ним в парке.

— Но ведь Бакалов поедет со мной на станцию, — неуверенно возразил Добычин.

— Он не поедет на станцию, — твердо ответила Циля.

— Ну дай мне руку. На одну только секунду.

— Уйди! Я прошу и требую — уйди, — зло и в то же время беспомощно шептала Циля. — Я дам тебе руку, ну и — что из того?.. Нас слышно в аудитории. Уйди, говорю тебе.

Аким побрел вниз. Завернул к Суховееву, тот был у себя.

— Я, наконец, уезжаю, — тоном жалобы сказал Аким.

— Ну, пошел слепой за ягодами, — рассеянно отозвался секретарь, роясь на

столе в каких-то бумагах. — Третий раз собираешься... Оставался бы, гонят, что ли, тебя. Все позабываю — в какую ты область едешь?

Добычин назвал область. Философ пощипывал бровь, что служило у него признаком озабоченности.

— Значит, Каргополову земляк. Раньше о нем не слыхивал на родине?

Что-то смутное шевельнулось в памяти Акима, но прояснить не хотелось. Он качнул отрицательно головой.

— Не помню.

Секретарь хлопнул ладонью по столу.

— Напророчил-таки, bestия! Ведь и в самом деле ушел. Утром, затемно еще, вели его на допрос, окно в коридоре открыто. Он со второго этажа вымахнул на двор, и — счастливо. А там какой-то идиот заседланную лошадь оставил, он же, видимо, и ворота не закрыл. Вот уж, действительно: «земля не принимает».

Известие не особенно огорчило Акима. Занятый своими мыслями, он успокоил Философа:

— Опять поймаем. Жаль, конечно, труды наши пропали.

— Что-то легкомысленен ты очень, — недовольно заметил Суховеев. — Это труднее, чем озорную скотину на двор загнать, ты сам вчера убедился. — С сердцем протянул через стол руку. — Будь здоров, что ли.

Уехал Аким в 8 часов 45 минут вечера. Циля и Бакалов его не провожали.

Конец первой части.

Факты и люди

ТЛЯДАЛЬ

Очерк

Владимир Канторович

1. На родине Гуссейна

Труден путь в Тлядаль. Конь подымается в гору по скользкой, по крутой тропе. Часто у горного ручья теряется ее след. Русло ручья, капризного, переливающегося с одной террасы на другую, заваленного камнями и древесным хламом, — таковы здесь пути-дороги. Распрощавшись с ручьем, тропа штурмует гору, поросшую редкой, сухой травой. Тонко нарезанным серпантин¹⁾, спиральными зигзагами поднимается тропа на вершину. Но обманчиво здесь расстояние, не измеришь на-глаз высоту. За этой вершиной открывается новая, — до перевала еще далеко. Бока лошади под шлеей покрылись хлопьями пены. Конь астматически дышит.

И вот, наконец, перевал. Коня и всадника ждет награда. Конь щиплет траву альпийских лугов, человек собирает сочную горную землянику.

С кустом земляники в руках путник взбирается на скалу — командную высоту на перевале.

Первозданный хаос! Хребты тянутся отовсюду в беспорядке, тесня друг друга; одинокие вершины возвышаются над цепями гор, и снег короной увенчивает их главы. Эти пики, тупые и острые, пирамиды, подпирающие самое небо, изрезанные серебристыми лентами чуть

не вертикально падающих горных потоков, сопровождают нас по всему нагорному Дагестану. Отсюда с перевала раскрывается еще более далекая и все-таки бесперспективная панорама: все так же голы, круты, мрачны и величественны эти вершины!

Зато как легка, прекрасна, солнечна жизнь там, внизу, в Тлядальской долине. За альпийскими лугами возникает, как из-под земли, лесок, мохнатый, кудрявый, жизнерадостный. Он напоминает наши северные березовые и ольховые леса. Мы бежим от них в экзотику крымской и кавказской флоры, но в душе никогда не изменяем сочной траве-мураве, кудрявой березе, полю, пригорку, оврагу.

Глаз отдыхает на привычных и радостных сочетаниях цветов. Ранняя осень уже успела чуть-чуть позолотить эти знакомые леса. Но кто-то будто вздыбил их, и они стали, пожалуй, еще прекраснее, заманчивее, радужнее.

Оттуда, снизу, из Тлядаля, обросшего лесом, должно быть, и эти голые вершины воспринимаются по-иному: не наваливаются тяжелым мертвым грузом на человеческое сознание. Упирающийся в самое небо каменный пик — мера красоты и глубины жизни.

Начинается спуск вниз, в долину, и наш товарищ, удаман¹⁾ тлядальского колхоза Гуссейн, затягивает песенку:

¹⁾ Дорожный технический термин.

¹⁾ Старший чабан.

Высоки горы в Тлядале;
Зелены леса в Тлядале;
Стройны девушки в Тлядале;
Где еще так вкусен хинкал¹⁾?

Мы охотно верим Гуссейну. Прекрасен аул Тлядаль, построенный на дне этой зеленой котловины! (Впрочем, дно это приподнято на 2½ километра над уровнем моря.)

Но скоро нам становится уже не до песенок Гуссейна. Спуск с этой горы — нелегкая работа. Человек упирается в стремя и, прижимаясь к подушке седла, облегчает лошади ее ношу. Умный конь, низко опустив голову, высматривает опору для следующего прыжка. Осторожно переступая ногами, он скользит по уклону и затем, впившись коваными стопами в дерн, тормозит скольжение. Лошади огибают каменные уступы, подбирая животы и изгибаясь. Так, шаг за шагом, приближаемся мы к Тлядалю.

На этот раз всадники взмокли наравне с лошадьми. У маленького аульского кладбища мы устраиваем последний привал возле будки, чуть побольше собачьей конуры. Это молельня, карбаш. Шесты с развевающимися на них белыми тряпками отмечают могилы выдающихся людей. На кладбище, как всегда, необыкновенно покойно.

Муртаза ползает между могильными плитами, вертикально врытыми в землю, и пробует расшифровать причудливую вязь арабских письмен.

Вот несколько стихотворных эпиграфий:

«Все умирают; все равно никто не может жить вечно».

«Джигит гордится своей ловкостью, но смерть не разбирает».

«Всякая жизнь имеет конец».

«Никогда молодой не подумает, что и его позовет смерть».

«Весь мир — это сон, который тебе снится, но скоро ты проснешься».

Спокойствием чужой, заимствованной мудрости веет на нас от этих могил,

¹⁾ Бульон из баранины с огромными клецками.

украшенных затейливыми майоликовыми надписями и неизменной эмблемой:



Донга — знак, выступавший на бедре пророка, — украшает сегодня все без исключения могильные иры на тлядальском кладбище.

И вот, наконец, за поворотом, из-за опушки леса, возникает Тлядаль.

Аул лежит перед нами, чуть подернутый дымкой сизого тумана. Пожалуй, это не туман, уплотненный, налитый свежестью воздух приобретает здесь цвет и осязаемый объем. Из щелей на крышах, заменяющих трубы, тянется кверху дым. Дымок висит в воздухе. Сквозь него, как сквозь цветное стекло, я смотрю на следующую террасу саклей. Все выше взбираются эти каменные и деревянные ульи, опирающиеся на высочайшие столбы, сложенные из камней. Несколько домов подобрались к скале, увенчивающей каменную гряду, и прилепились к ней, как улитки.

Я вижу: вереница женщин, навьючивших себе на спину огромные стоги сена, шагает по нижней части аула. Они переваливаются с ноги на ногу, как утки, — горские женщины выработали себе особый шаг. Повсюду на крышах ребята раскатывают деревянные волчки, подстегивая их бичами. Я вижу женщин, шагающих по улочкам во всех направлениях вниз, посередине, наверху! На сложенных бревнах, на камнях, в великой праздности сидят хозяева жизни — мужчины, греются на солнце и, не торопясь, ведут беседу.

Мальчишка-школьник криком извещает своих товарищей о приезде чужих людей. И в тон ему звучит ручеек, переливающийся в арыке, — аульский водопровод. И тогда, вдруг, раскрывается тайна акустики Тлядаля: аул, в котором живет немало людей, и дети резвятся, как и повсюду, и два потока мчат свои воды по гулкому каменистому дну, погружен в необыкновенную тишину. И, как воздух имеет здесь

свой цвет, так и тишина — свое звучание. Слова людей, произнесенные рядом, тут же замирают, и невозможно нарушить эту плывущую над аулом тишину.

Мы везжаем в Тлядаль. Подковы стучат о камень, и Гуссейн опять запекает свою песенку, и все-таки звуки гложут, едва прозвучав.

Гуссейн поет на этот раз иначе:

Бывает — мужа жена обманет;
Бывает — отцу сын надерзит;
Бывает — и старика не уважают;
Но не бывает, чтобы тлядалец словом
обидел Тлядаль.

Муртаза получил арабское образование. Заученные в детстве тексты еще не выветрились из его памяти. Он отвечает Гуссейну известным стихом:

Мне дороги все родины и все города,
Но не так дороги, как моя родина и мой
город.

2. Облава

Приветливо, как и всяких дальних путников, встретили нас в Тлядале. Какой-то старик взял повод моего коня и придержал стремя. Чьи-то доброжелательные руки отвязывали хурджины от седла, и босоногий мальчишка готовился поводить разгоряченную лошадь, прежде чем пустить ее на пастбище.

Не было никакой суеты, тлядалцы не спешили с расспросами: время здесь течет медленно, но все равно человеку его не обогнать.

И вдруг, в эту тишину, в спокойствии, за которым скрывается чувство собственного достоинства, ударил шквал.

Событие нагрянуло неожиданно. Оно как бы ворвалось в аул вместе с Гамзатом — хуторянином, прискакавшим в Тлядаль на взмыленном коне. Не слезая с лошади, жестикулируя, захлебываясь от волнения, Гамзат кричал, что нет ему покоя от вора-медведя: каждую ночь мнет кукурузное поле. Гамзат выследил врага: медведь отлеживается неподалеку от хутора, видно, ждет ночи, чтобы повторить набег.

Гамзат просил помощи и сулил легкую победу над зверем.

Люди на очаре¹⁾ обступили хуторянина, к толпе присоединялись все новые слушатели — мужчины. На соседнем с очаром раги (навес-балкон), притаившись, подслушивали женщины. Восторженные мальчишки, вынырнув из толпы, смотрели прямо в рот очередному оратору. Новость обсуждалась всесторонне.

Общественное мнение уж созрело, когда из сельсовета, не торопясь, вышел Мухтар Гитинов — председатель, человек медлительный, но дотошный, подлинный вожак аула. Толпа расступилась, и Гамзат, почтительно слезший с коня, повторил Мухтару свой рассказ. Предсельсовета не задавал лишних вопросов. Он знал, что хутор Гамзата отстоит в полутора километрах от аула. Он знал также, что во всем Тлядале нет ни одного ружья. Но это его не останавливало.

Он молчал с полминуты и потом сказал спокойно и внушительно, как все, что он делал:

— Давай, пойдем в облаву.

Дальше все происходило очень организованно. Втроем с Гамзатом и удаманом Гуссейном предсельсовета выработывал план облавы. В это время мальчишки бежали уже со всех ног на пастбище за лошадьми. Из домов выносили звонкие тазы, барабаны, дубины и ганцы — шесты, которыми ловят сплавляемый по реке лес. Мужчины прицепляли к поясу кинжалы (хотя против медведя кинжал какая же защита!), несколько женщин, которым позволили принять участие в охоте, подвязывали повыше подола платьев, выставляя на показ цветные шальвары. Через полчаса в поход выступила конница — разведчики; они должны были зайти в тыл врагу. Вслед затем в горы потянулись две цепочки пешеходов.

Мухтар задумал окружить медведя и загнать его в узкий проход между скалами, что возле аула. Здесь сторожили медведя три деревенских силача с громадными камнями наготове.

¹⁾ Завалинка, место, где ведут дружескую беседу.

Вскоре наши отряды бесшумно сожмулись в леске. Мы построились подковой, оставив незащищенным выход в сторону аула. Мухтар собирался уже сгнализировать наступление, когда тишина разорвалась воплями и боем барабанов на правом фланге. Тотчас же все устремились вперед: мы выли и кричали на все голоса, сумасшедшую дробь выбивали барабаны, стонали и звенели медные тазы. Чудовищная какофония эта бодрила и веселила безоружных охотников.

Наконец, на нашем участке показался медведь. Огромный зверь в грязной, выцветшей от горного солнца, шубе прыжками приближался к нам. Он был испуган до беспамятства криками и шумом, раздававшимися вслед, и не сразу сообразил, что перед ним новый враг. Люди в нашей цепочке как бы вросли в землю. Каждый почувствовал себя в это мгновение один-на-один со зверем. Но глотки наши попрежнему испускали нечеловеческие вопли, и дрожащие руки исступленно били в тазы и барабаны.

Медведь сделал еще один прыжок и остановился. Может быть, он разглядел в лесу лишь одного врага и решил вступить с ним в единоборство. Медведь встал по-человечьи на задние лапы и пошел было вперед на Мухтара, будто он хотел вызвать на честный поединок начальника всей этой вражеской орды.

Мухтар шел третьим от меня, сажень в пяти. Страшен показался зверь предсмертным отчаянием своим и внезапной человеческой повадкой. Кажется, крик застрял на этот раз в глотке: мы все, соседи Мухтара, помышляли уже о бегстве. Но предсельсовета вытянул ганды навстречу медведю и готовился к защите.

И тут медведь понял, что спасенье его только в бегстве. Он опустил передние лапы на землю и застыл на мгновенье в скорбной позе. Потом он сделал прыжок в сторону и пустился наутек туда, где не было людей.

Этот прыжок освободил нас от страха. Никто уже не видел в затравленном, бессильном звере хозяина лесов и гор. Обреченный, жалкий и смешной мед-

ведь: ему не избежать сегодня живо-дерни. Тут всем бросилось в глаза, что медведь смешно подбрасывает на-бегу бурый зад, что испуг придал ему какой-то балаганный вид.

И как только отошел страх, разыгрался наш охотничий азарт. Сломя голову, неслись мы за медведем по неровному склону, швыряли в него камнями и палками, улюлюкали и выкрикивали обидные, насмешливые слова.

Окончательно потеряв голову, медведь несся к западне. Но перед скалами он внезапно повернул направо. Там встретили его дружным криком, ударами, угрозами. Он метнулся налево. Редкая цепочка охотников, поспевавших здесь за медведем, разомкнулась, и зверь, совсем потеряв рассудок, помчался прямо к аулу. Вряд ли он мог бы теперь ссилить человека в единоборстве. Но все же, в ауле, где остались беззащитные женщины и дети, зверь мог натворить бед. Еще ускорили бег те, кто преследовали медведя по пятам: остальные помчались наперерез, в верхнюю улицу аула.

Испуганные шумом лошади и быки, пасшиеся на лугу, промчались, сломя голову, в горы.

Но загнанному зверю пришел конец. правда иной, не предусмотренный Мухтаром. С разбегу влетев на плоскую крышу дома, примыкавшую к горе, медведь свалился с высоты трех этажей на камни. Мухтар оглушил тяжело дышавшего зверя дубиной.

3. Изустная летопись

Удаман Гуссейн зазвал к себе гостей. В его доме, повисшем над Ганджаором, собралась веселая интернациональная компания. За столом, под влиянием бузы, разговаривали одновременно на четырех языках: на грузинском (среди гостей были две грузинки, прибывшие из Кахетии), на русском, на аварском и на тлядальском. Да, большинство говорило на тлядальском, или, правильнее сказать, на капучинском языке.

Тлядаль—необыкновенный аул. Тлядальцы сохранили свой язык, особые обычаи. Капучинская нация насчитывает

во всем мире едва ли полторы тысячи козьяств, и все они размещены в двух-трех аулах долины Ганджаор (Бежита — главный из них). Только в Дагестане можно натолкнуться на такие капризы истории.

Удивительно ли, что в такой интернациональной компании разговор зашел о тлядальской старине. Кстати, среди нас был Хочо — живая летопись целого века горской истории.

Ни в Тлядале, ни во всем Дагестане нет уже человека, который мог бы воссоздать историю этого крохотного народа, сохранившего свою индивидуальность на протяжении стольких веков. Тем более дороги клочья воспоминаний о прошлом, запечатлевшиеся в памяти стариков.

От деда к внуку идет предание, что капучинцев ранее других племен обратил в мусульманство великий шейх Абдул-Муслим. (Это VIII век нашей эры!) И будто бы в награду за это Абдул-Муслим освободил капучинцев от дани. Они прославились в боях с неверными — цумтинскими христианами, которые долго не хотели расстаться с крестом и иконами.

Крест на одной из крепостей в долине Ганджаора свидетельствует о том, что эти воспоминания — не пустые сказки.

Старик Хочо помнит еще, как после тревожного сигнала жители Тлядаля спешили к крепости, загоняли скот во двор крепостной башни, а сами отстреливались из бойниц.

И если враг был силен и не было надежды справиться с ним собственными силами, на башне зажигали сигнальные огни — палили сено. Крепости были расставлены по всему ущелью с таким расчетом, чтобы огни эти были видны из башни в башню. Говорят, во времена Шамиля эта сигнализация была приведена в боевой порядок, и уже через два часа Шамиль узнавал о тревоге и мог выслать подкрепление.

Хочо протягивает руку; трясущуюся, почерневшую, как все его тело, и показывает на высокую гору:

— Вот где тогда был Тлядаль. На горе. Выбрали самое узкое место. Толь-

ко дома и поместились. Черные дома, без печек, дым стлался по всей комнате. И тут же скот. Скота мало было — бандиты часто угоняли. Тесно было жить на горе. Раз подрались два быка и оба покатались вниз. Только не вспомню, когда там жили. Может быть, пятьдесят лет назад, может быть, семьдесят.

С этой гигантской горы, с высоты 115 лет, два десятилетия — не такой большой срок.

Стадо разрослось, жить в горах становилось все труднее. Тлядальские богачи захватили себе лучшие, самые близкие, поля, к тому же у них были лошади и не так уж трудно было им доставить урожай в саклю. Беднякам приходилось ходить дальше, носить на своих плечах навоз, ячмень, сено. Так возникли в ауле две партии, враждовавшие между собой. Мулла отыскивал невразумительные тексты корана и убеждал тлядальцев, что мусульманин обязан жить там, где похоронены его отец и дед. Богачи подкупали самых крикливых сторонников переселения. И все-таки Тлядаль построился в долине Ганджаор, где он стоит и по сию пору. Но когда жители переселились, близкие, хорошие земли оказались опять у богачей.

— Отвели мне покос там, в горах, где раньше стоял аул, — жалуется с опозданием на полвека старый Хочо. — У нас в народе так говорят: кто возле стада — тому вода с клежкой, а кто хозяин стада — тому несут в дом и мясо, и сыр, и мед.

Хочо устал. Трудно в 115 лет, да еще после сытной еды, выуживать со дна памяти эти давно забытые истории. Хочо просит пощады — он стар, он пойдет спать, а молодые пусть пьют вино и разговаривают, — их время!

— А ты, — говорит он мне на прощание, — приходи завтра, будешь гостем, расскажу про Шамиля. Только спрячь бумагу, а то кто тебя знает, что ты там записываешь, может, еще рисуешь меня...¹⁾

¹⁾ Коран запрещает изображать живые существа.

Старик совсем осовел, и двое односельчан берут его под руки, чтобы отвести со всем почетом домой. Но он внезапно отстраняет их помощь и вновь тяжело плюхается на свое место. Хочо выпил несколько капель бузы, он охмелел и желает на прощанье рассказать еще один старый, интересный хабар¹⁾.

— Давно был такой обычай: стариков сбрасывали с горы. Хлеба не было, скота мало. Зачем кормить старика? Он работать не может. Старший сын плел хех (корзину) из прутьев, говорил отцу: «Идем». Вел на высокую гору и прощался с отцом. Старик давал сыну совет, как дальше жить, молился богу. Потом сам садился в хех. Тах! Тах! — и сын сбрасывал отца со скалы.

Хочо прикрыл глаза ладонью, — видно, представил себе, как старик летит в воду.

— Дурной обычай. Разве есть такой старик, что хочет умирать? Да что поделаешь, — обычай! Но нашелся один умный старик. Сын сплел для него хех и повел на гору. А сын и сам был уже не молод, у него внуки пошли. Ну, простились. Помолились. Потом сын говорит: «Залезай, отец, в хех, знаешь сам: обычай». Старик ему отвечает: «Нет, ты меня без хеха столкни. Пусть хех останется в семье. Пригодится твоему сыну, когда будет тебя сбрасывать с горы». Сын задумался, испугался, что и его время скоро настанет. Пожалел старика и повел его домой: «Живи, отец!».

Все смеются над рассказом Хочо. Но старик не весел. Злым, надтреснутым голоском подводит он к морали из рассказанной им притчи:

— Видишь сам, нет народа хитрее стариков. Сто лет живут, все хитрость наживают. А внуки думают: выжил старик из ума, ничего уж не понимает в жизни...

Две горькие старческие слезы выступают на ресницах Хочо. Родственники берут его под руки и ведут, пьяненького, домой.

Старшему правнуку Хочо теперь 50 лет. Он пережил и сыновей, и вну-

ков. 50-летний правнук сам стал дедом. Но Хочо с прежней силой цепляется за жизнь, за прерогативы главы тухума. Хочо думает: сын его внука еще молод, чтобы жить своим умом.

Великая сила заложена в этом 115-летнем старце, который сохранил и ясное сознание, и самолюбие, и хитрость, и властный свой характер.

4. Хан-самозванец

Эту удивительную историю из недавнего тлядальского прошлого рассказал мне предсельсовета Мухтар. Мы грелись с ним под лучами солнца на крыше сакли, с которой открывалась панорама всего аула.

— Был у нас в Тлядале свой собственный хан. Все ишаки в ауле смеялись над ним. И мы, как вспомним, до сих пор смеемся. Но сам хан и род его пострадал, так что не смеяться — пожалеть, может быть, следует дурачка.

Я был тогда маленьким, всего не помню, но старики рассказывают подробно. Видишь дом на горе? Живет в нем колхозник Магомедов, — он тоже из этого ханского рода.

Дом бедный? Что ж, и сам хан не был богат. Простой человек, а приду-мал сесть крестьянам на шею. В его сакле было много мужской силы... Двенадцать сыновей, один другого крепче. Да еще от брата была подмога: у того тоже пять сыновей. Во всем их тухуме, выходит, было восемнадцать воинов.

И вот однажды чауш¹⁾ прокричал сверху:

«Да будет милость божия на вас. Алиев, Али-Махмуд об'являет: отныне он будет ханом Тлядаля. Все должны слушать его приказания и воздавать почет хану, его сыновьям и всему тухуму. А чтобы населению была память о ханстве и чтобы заслужить перед аллахом, хан приказывает построить новую мечеть. Хан жертвует на мечеть три больших ковра».

На очаре стали смеяться над ханом. Вот еще, — так каждый хромой потребует себе почета (старого хана в дет-

¹⁾ В смысле: новость, слух.

¹⁾ Глашатай.

стве ударила лошадь, он охромел). Пока так болтали на очаре, хан вышел к народу. Впереди пять сыновей, по бокам остальные, а сзади племянники. И у каждого оружие: или винтовка, или пистолет. И на поясе большой кинжал. Откуда это набралось столько оружия в одном тухуме? А голову хан повязал белой чалмой — неизвестно, может, задумал объявить себя еще и шейхом.

Тут наши шутники подавились насмешкой. Какой смех! Смерть спрятана была в ружьях сыновей хана. Кто был слабее духом, встал первым, а потом уже и храбрым стало неловко. Все почтили Али-Махмута, признали его ханом. И только двое Магометов, двое наших охотников, — Полярек Магомет и Гаджиев Магомет, — как играли в камешки, так и продолжали играть. Были оба знаменитыми стрелками, гордились своей славой. Тогда еще молодежь ходила грабить на перевал: не так добыча была дорога, каждый хотел показать свою ловкость.

Неизвестно, может быть, хан и не заметил непочтительных Магометов, а может быть, не захотел видеть то, что омрачит взор. Он приветствовал очар и объявил день, в который всему джамату¹⁾ следует приступить к постройке мечети. Хан удалился. Тлядальцы стыдились смотреть в глаза друг другу. Кто-то расхрабрился: «Вот еще, буду ему, хромому дураку, строить мечеть». Но тут старики зашумели: «Мечеть строится аллаху, не хану, это святое дело».

А два Магомета, как играли в камешки, так и продолжали играть: «Наше дело, нас не трогают, мы и молчим».

Неизвестно, пошли ли бы крестьяне строить мечеть, если бы хан не догадался позвать к себе стариков. Их угощали в ханском доме, уговаривали. Известно, уважишь стариков — и все тебе друзья. Старый Хочо (он и тогда был стариком) посмеивался, правда, что хан скормил все свои запасы гостям (небогато жил хан). Но все-таки джа-

маат решил строить мечеть: так угодно аллаху!

И в назначенный день чуть не весь аул пришел на гору и стал строить мечеть. Только двух Магометов там не было. Видишь, вон там, под домом хана, стоит новая мечеть. Ее тогда и построили по ханскому повелению.

А хан сидел у себя в доме и, верно, думал: что такое сделать, чтобы всякий сказал: это — хан! Нетрудно было догадаться: Али-Махмуд придумал отобрать у всех землю — пусть все будет ханским, пусть платят аренду. Для начала назначил небольшую плату: по барашку за участок.

Неизвестно, уплатил ли кто этот налог, но только наступило лето, и хан послал восьмерых сыновей обработать поля, принадлежавшие двум Магометам: Поляреку и Гаджиеву, — видно, затанул против них злобу. На полях как раз работали жены. Сыновья хана прогнали женщин и принялись пахать чужую землю. Но пахали они недолго. Раздались выстрелы, и двое сыновей хана свалились, будто их срезали косой. Опять раздались выстрелы, и еще двое упали на землю. Четверо сыновей хана, оставшихся в живых, легли за трупом убитой лошади и стали отстреливаться. Но Гаджиев и Полярек не даром слыли знаменитыми охотниками. Они выбрали себе высокое место, залегли за камнями, и ни одна пуля их не нашла. И еще троих сыновей уложили они из своих метких ружей, а последний, восьмой сын ушел в горы и, обжав кругом весь аул, пробрался ночью в отцовский дом.

Старый хан уже знал обо всем: жены сыновей пошли с хинкалом на поле и увидели семь обезглавленных, раздетых трупов.

Хан отсиживался в своем дворце с пятью сынами. Боязно было ему выйти на улицу. Два Магомета влезли на свай крыш и не спускали глаз с ханского дома. Видишь, по ту сторону речки стоит сакля Полярека! А дом Гаджиева вот здесь: все видно, что делается во дворе у хана.

Полярек и Гаджиев поклялись на народе, что не станут вкушать горячей

¹⁾ Общество.

пищи, пока останется в живых хоть один мужчина из ханского рода. Хан сделал два раза вылазку и напал на дом Гаджиева, но потерял еще двух сыновей и племянника. После этого брат велел передать хану, чтобы не ждал от него помощи: не может быть ханом тот, кто с двенадцатью сыновьями не умеет победить двух джигитов.

Магометы же не спускались со своих крыш, дни и ночи сторожили мужчин из ханского дома. Меткими, злыми пулями они убили еще двух человек. Последнего сына Магомет Полярек подстерег ночью у дома дяди и зарезал кинжалом. Вот каковы были джигиты оба Магомета.

Хан-самозванец потерял из-за своего хвастовства двенадцать сыновей. Нелегка такая потеря, но старому дураку ни за что не хотелось расстаться со своей жизнью.

Как-раз наступил канун пятницы, когда мулла собирался открыть новую мечеть. Оба Магомета следили за ханским домом. Но только женщины выходили оттуда. И вдруг Полярек услышал голос своей родственницы, не так давно отданной замуж за ханского сына. Говорили — она не любит мужа, старик обижает ее. Женщина шла по улице вдоль стены дома Полярека и кричала во весь голос:

— Слушайте меня, камни, слушайте, стены, слушай, вода в Ганджаоре. Хан оделся во все женское, закрыл бороду красной шалью и пошел в мечеть, взывая к алаху о помощи. Слушайте, камни, стены, земля и вода, но не передавайте людям, ибо я поклялась на коране, что не выдам отца моего мужа...

Полярек спустился с крыши и, не таясь, пошел к мечети. Там он скоро встретил в толпе женщину, высокого роста, прикрывавшую свое лицо красной шалью. Магомет Полярек одним ударом кинжала разрубил ей голову.

Народ содрогнулся:

— Нехорошо! Джигит убил женщину из чужого рода.

Но Полярек снял шаль, и все увидели бороду несчастливому хану.

— Теперь решайте сами, кто это: ваш хан или трусливый и блудливый

кот, с которого содрали шкуру за его грязные дела.

Так сказал народу Магомет Полярек и пошел в гости к своему другу Гаджиеву. Три дня подряд они праздновали свою победу и вознаграждали себя за свой пост.

После такого урока, — закончил свой рассказ Мухтар, — больше никто из тлядальцев не объявлял себя начальником.

5. Дурной обычай в Грузии

Но не довольно ли истории? События, происшедшие в Тлядале в давнее время, — общее достояние. Можно вернуться к ним и позже, тем более, что старый Хочо после вчерашней попойки чувствует себя неважно и даже не вышел нынче на очар. Вечером, накануне, он вел себя, как старый болтун. Так можно поступать в свежем 60-летнем возрасте. Хочо позабыл, что ему 115 лет, и расплачивается теперь за легкомыслие.

«Присутствие» на очаре уже началось. Не нужно думать, что здесь занимаются только бессмысленной, бесполезной болтовней. Очар — источник немалых жизненных познаний. Сто неграмотных горцев располагают все же неизмеримо большим опытом, чем каждый из них в отдельности. Очар — это пункт по обмену опытом, и работает он добрых двенадцать часов в сутки.

Чем это так недоволен очередной оратор, незнакомый нам горец? Он бросает короткие, желчные, саркастические фразы, и после каждого такого сообщения мужчины покачивают головами и с осуждением причмокивают языками. Иногда кто-нибудь усмехнется презрительно или в недоумении разведет руками.

Мы спускаемся вниз, чтобы присоединиться к заседающим на очаре. Но дорожку нам преграждает вереница женщин. Они отправляются на работу: собирать и носить сено. За спинами у них, в плетеных корзинках раскачиваются грудные дети (здесь поздно отлучают от груди). Десятилетние девочки шагают за матерями, и на детские их

спины навьючены уже тяжелые мешки. Чтобы время в пути не пропадало даром (путь далекий, иногда километра три в гору) женщины вяжут на-ходу пакай¹⁾. У женщин расчитан каждый час жизни с младенческого возраста, и даже на женском очаге работают без отдыха не только языки, но и руки: вяжут пакай, вываривают краски из местных цветов, трут крахмал. Ночью они должны еще принять в свою постель мужчину, нежившегося целый день на солнце и накопившего силу, — горцы славятся своим темпераментом. А на рассвете, когда повелитель еще спит, надо уже доить коров и выгнать их в поле.

Хотя мы были налегке, женщины уступали нам дорогу.

Очар, оказывается, обсуждает новость, привезенную Фархатановым Магометом, только-что вернувшимся из-за перевала. Неподалеку от Ткварчелл, в маленьком грузинском местечке, живет у Магомета кунак, аварец Зубаир из Тляроты. Не так давно он женился на грузинке и совсем переселился в Кахетию. У жены — дом, скотина и виноградники. Магомет навестил кунака и теперь исполнен негодования: совсем опустился человек, принял чужие обычаи, разве что еще не жрет грязной свинины.

Соседи охотно пересказывают мне сообщение Магомета и еще от себя комментируют его:

— Плохой грузинский обычай. Стыдный обычай. Мужчина трудится, как ишак. Выполняет всякую грязную женскую работу. Зубаир пришел поздно ночью с дальнего поля. В доме нет воды. Пришлось взять кувшин, пойти самому по воду. Такой несправедливый обычай в Грузии!

И все опять покачали осуждающе головой и презрительно поджали губы: до чего дошел горец! И не стыдно ему! Ведь Зубаир — мусульманин. Ну, грузины, известно, все чего-то работают, все работают, и отдохнуть некогда. Но Зубаир — природный горец, и как он переменился!

Вот уже правильно говорят в народе: воина оружие делает, всадника — лошадь, а мужчину — жена. Грузинская жена сделала из Зубаира бабу. Правда!

Так говорили мужчины, пребывая в праздности. Конечно, и тлядальские мужчины умеют работать. Приходится пасти скот или косить сено — это дело мужчины. Потом мужчины уходят на заработки в Грузию и там не брезгают никакой черной работой. Но у себя дома, в горах, заведен из века иной, твердый порядок. Зачем же мужчины женятся! — пусть жена поработает, а мужчина, хозяин жизни, «отдохнет», потреплет языком и хорошенько прогреет зад в лучах мягкого горского солнца.

Особенно неистовствует на очаге Гиреев Абакар, человек немолодой, сквернослов, прославившийся даже в горах неимоверной ленью. Он все никак не может примириться с изменой Зубаира. К тому же он пьян. Буза — хитрое питье: если на завтра после выпивки влить натошак в глотку стакан холодной воды, вчерашняя буза снова бросается в глотку.

— Хо! — кричит он. — Если дать бабам волю, они сделают из всех нас таких Зубаиров. Они сядут на нас верхом и будут погонять, как ишаков. Правда! Так пусть моя жена поработает за всех бездельниц. Правда! Характер у нее ворчливый, но муж должен найти на свою жену управу. Это такая баба — наташит с гор, не знаю сколько охапок сена: высушивай¹⁾ ей это добро. Пусть свинья работает за нее, что — у жены нет рук? И руки есть, и ноги, как у ишака, только что хвост еще не вырос!

Пришла вечером. Весь навес завалила травой. «Почему не просушил?» — и пошла чесать языком, как будто посыпает царапины перцем. Что я не хозяин, что ли? «Не приставай! У меня был важный разговор с друзьями о жизни, что ты в этом смыслишь?». Жена не унимается. Слова пристают ко мне, как колючки: «Бездельник, почему не работаешь?» — «Ажешь, — говорю, —

¹⁾ Горский вязанный ботинок.

¹⁾ Носят сено с гор женщины, сушат его мужчины.

а по ночам кто в постели с тобой работает? Это и есть мужское дело». Абакар прибавляет еще одну скабресную фразу и тут только замечает, что наболтал лишнее.

На очаре воцарилось неловкое молчание: нехорошо так говорить чужим о своей жене. И потом чересчур ленив Абакар, не хочет делать даже мужской работы. Будто он не из Тлядаля, а из горного селения Ратль. Там, говорят, мужских работ вовсе нет — все женщины делают. И косят, и сено сушат, и лес рубят. Шутят так: в Ратле и чурек баба разжует, и в рот мужу положит — скушай, пожалуйста. Но главное, неудобно все-таки мусульманину рассказывать такое про свою жену.

6. Большой день в Тляроте

Эта сказочная история произошла по соседству, в районном центре Тлярота.

... Коммунисты и комсомольцы заперлись в парткабинете. Целый вечер доносился оттуда рыкающий голос секретаря райкома, но слов не было слышно. Горячо говорил секретарь. После этого собрания коммунисты ходили по селу сумные, встревоженные, а при встрече друг с другом смущенно улыбались и о чем-то шептались.

В районном активе вдруг обозначилась небывалая тяга в аулы, но предрика запрещал отлучаться из селения.

Тут как-раз выпал прекрасный денек, и женщины с утра принялись переносить хлеб и сено с соседних полей в аул. В три часа, как всегда, закрылись районные учреждения и коммунисты потянулись прямо в горы, на поля, где работали женщины.

Мальчишки первыми пронюхали, в чем дело. Целыми стайками носились они по обеим сторонам реки, наблюдая невиданное и неслыханное. Мужчины — коммунисты, ответственные работники, возвращались с гор с постыдной женской ношей. Одним из первых, навьючив на себя стог сена, шел секретарь райкома. потом в толпе узнали предрика, райзу, учителей — всех **почитаемых** в ауле лиц.

Мужчины едва попевали за женщинами, их вьюки были вдвое меньше, и то они изнемогали под непривычной ношей. Кое-кто уже растерял половину снопов. Они хотели бы спрятать лицо от постороннего взора, но руки были заняты, а сгибать спину под прямым углом, как это делали их жены, мужчины не умели.

Коммунисты спустились с горы. Здесь их ждало новое испытание. Надо было с ношей перейти вброд горный поток. На том берегу толпились люди. Аул встречал необыкновенное шествие смехом, издевательскими шутками и ироническими аплодисментами.

— О-хо-хо! — кричали с того берега. — Тлярота закупила новую партию ишаков.

— Кто же у вас за погонщика? Надо бы позвать Бахо (это была аульская юродивая — дурочка).

— Жена, принеси свои шальвары и платье. Когда Магомет выйдет из воды, мы его нарядим, как приличествует женщинам.

Так кричал, давясь смехом, старый Амир-Али; его сын, комсомолец и джигит, выступал в первом ряду носильщиков-мужчин.

Скрыться бы от этих насмешливых возгласов, бросить ношу и убежать в горы. Но секретарь предупреждал, что впишет выговор всякому, кто не доведет дело до конца.

Под градом насмешек мужчины вошли в воду следом за женщинами. Не так-то легко овладеть искусством горянок. Надо нащупать на дне плоский камень и ступить на него, не раскачивая своей ноши, — поток бьет с большой силой, легко потерять равновесие.

Первым поскользнулся Ахмет. Огромное тело плохо повиновалось ему. Кто-то крикнул с берега, показывая на него пальцем. «Охо. Это не ишак, а целый мул!». Ахмет выпалил яростное ругательство по адресу насмешника и сразу же оступился. Сено очутилось в воде. Не удержался на ногах и сам Ахмет. Знаменитая папаха плыла следом за сеном. Ахмет сердито барахтался в воде под громкий хохот зрителей. Он вышел на берег в ста шагах ниже аула

и, отряхнувшись, стал задами пробираться к своему дому.

Еще один комсомолец потерпел аварию. Но остальные благополучно выбрались на правый берег и, как-то произвольно построившись в ряды (не так стыдно в строю), зашагали по аульской улице.

Возле райкома секретарь остановил процессию. Ношу сбросили на землю (женщины подберут!), открыли митинг. Митинга, собственно, не получилось. Говорил секретарь, народ слушал его сначала с веселыми улыбками, потом серьезно: все-таки говорил уважаемый в селении человек. В заключение на трибуну поднялась коммунистка Узлефат и сказала несколько слов от имени женщин. Беспартийные женщины шептались между собой — у них были растерянные лица.

Коммунисты и комсомольцы вздохнули было свободно: теперь можно пойти домой, отдохнуть, почиститься. Но не такой характер у секретаря райкома. Закрывая митинг, он объявил, что отныне труд в ауле делится между женщиной и мужчиной поровну, и нет больше женских работ, позорных для мужчин. Коммунисты и комсомольцы вновь отправляются в горы за сеном и приглашают с собой всех беспартийных мужчин.

Человек пятнадцать охотников нашлось и среди беспартийных. Когда вечером несколько комсомольцев потащили к себе домой тяжелые утраты¹⁾ с водой, их уже не провожали насмешливыми возгласами.

Говорят, жена комсомольца Фартахана быстро освоилась с новыми порядками. Не задумываясь, она сказала мужу:

— Принеси-ка воды. — Она как-раз занята была укладыванием сена в стоги: с востока нанесло тучи.

Фартахан удивился и сначала было обиделся. Но потом взял утрат и пошел к реке.

Таков был этот великий день бытовой революции в горном ауле. Но Тля-

рота — районный центр, пример его разителен...

... Небылицы! Разве могло все это случиться в аварских горах! — так скажет любой тляротинец. — Разве мыслимо, чтобы мужчины понесли копы сена с гор или воду из источника!

Прекрасный человек, стойкий коммунист — секретарь райкома Магомет Арбулиев. Сколько хороших, теплых слов нашел он, чтобы рассказать мне об участии горянки. Когда мы ездили по району и встречали женщин, навьюченных подобно ослам, он всегда останавливал лошадей и говорил сокрушенно: «Вот, видишь, как некультурны еще жители в наших аулах, ведь ни один мужчина не поможет своей жене и даже старухе матери».

И действительно, пока еще ни один мужчина, ни один коммунист в Тляроте не переступил через этот несправедливый горский закон. Правда, сам Магомет Арбулиев не ведет хозяйства, и жена его не таскает на своей спине тяжестей, но ведь это пустая отговорка.

Секретарь райкома подумывал, конечно, о том, что всем коммунистам и комсомольцам пора показать пример справедливого отношения к женщине. И все-таки боязно: как бы не уронить авторитет коммуниста в отсталых, темных аулах.

И вместо того, чтобы агитировать за уравнение женщин с мужчинами в аульском труде, секретарь райкома возлагает все надежды на закупку ишаков для тляротинских гор. «Ишаки облегчат участь горянок, — говорит Магомет Арбулиев и даже вспоминает родную хунзакскую поговорку: «Существование дагестанца зависит от спины осла».

Но я еще надеюсь, что Магомет Арбулиев будет первым из секретарей горных районов, который осмелится нанести отжившему свой век обычаю сокрушительный удар.

7. Студент и лоза

Еще один человек, приближаясь к Тлядалю, напевал ласковую песенку:

¹⁾ Кувшины.

Высоки горы в Тядаде,
Зелены леса в Тядаде,
Стройны девушки в Тядаде,
Где еще так вкусен хинкал!

Это Али-Мешдор, прекрасный парень, махачкалинский студент и комсомолец. Он отказался от бесплатной путевки на курорт и вернулся на лето в родное селение, подышать легким горным воздухом и, между прочим, выпить бузы и покушать вволю хинкала.

Два дня его не отпускали с очара: такой ученый человек, живет в самом городе, сколько интересных хабаров может рассказать! Позднее его предоставили самому себе, точнее — друзьям детства. С двумя кунаками болтался он по всему аулу, подкарауливал девушек, когда они возвращались с работы или от источника, пил бузу с приятелями, отдышал, загорал и между делом выступил перед односельчанами с докладом, — предсельсовета Мухтар не давал спуска приезжим.

В один из вечеров было, пожалуй, выпито чересчур много бузы, — можно ли ставить это в укор молодому человеку? Любимый кунак Али-Мешдора повздорил из-за какой-то безделицы с соседом. Слово за слово — и разгорелась ссора. Али-Мешдор принял, конечно, сторону кунака. У его противника тоже нашлись друзья. Уже забыта была пустяковая причина ссоры — началась драка. Когда Али-Мешдор очнулся, в руках у него был обагренный кровью кинжал. Обидчик зажимал рукав блузы, через материю проступила кровь. Драчунов сдерживали друзья, сразу протрезвившиеся при виде крови.

Кунаки проводили Али-Мешдора домой. Весь следующий день он не решался выйти из сакли. Между ним и родом Шерафутдиновых легла кровь.

Тут пришел в движение механизм джамаата. В джамаате нет председателей, секретарей и уполномоченных. Неизвестно, кто созывает джамаат, кто призван говорить от его имени. Но в таких случаях, как с Али-Мешдором, джамаат вмешивается в ход событий.

Джамаат решил, что для предотвращения крови между двумя родами необходимо наказать виновного. Но так

как пострадавший уже выздоравливал, а виновный имел перед аулом заслуги (ученый человек), то избрано было мягкое и необидное наказание. Пусть старший в роде Али-Мешдора (брат) высечет своего провинившегося родственника в присутствии представителя джамаата. После того кровь будет прощена, и оба рода смогут и дальше жить в мире и дружбе.

Неизвестно, какие мысли посетили студента и комсомольца Али-Мешдора, когда брат пришел сообщить ему решение джамаата. Неизвестно также, о чем разговаривали между собой братья и долго ли упирался Али-Мешдор.

Но на следующий день мимо очара прошел старший брат Али-Мешдора; в одной руке он нес пучок лоз, в другой — небольшой утрет с чистой родниковой водой, чтобы омыть родственной рукой раны. За ним шагал старший Муса, которому джамаат поручил, видимо, присутствовать при казни. На очаре сделали вид, что не замечают этой процессии, вошедшей в дом Али-Мешдора.

Али-Мешдор спустил портки и лег животом на нары. При этом из его кармана посыпались мелкие деньги и документы. Он так неловко нагнулся, что карман разорвался.

Али-Мешдор поднял комсомольский билет и студенческую книжку, положил их на подоконник вместе с мелочью и опять улегся на нары.

Потом ему пришлось немного покряхтеть и постонать — этого требовал обычай. Но в действительности ему не было больно, так как наказание было простой формальностью.

Старший брат постегал его гибкими лозами и посмотрел вопросительно на Мусу. Тот кивнул головой: хватит, мол. Брат побрызгал водой на зарумянившийся зад Али-Мешдора, студента и комсомольца, и объявил, что приговор джамаата приведен в исполнение.

В тот же вечер Али-Мешдор вышел на очар. Какой-то старик потеснился, чтобы дать место почетному человеку аула. Может быть, это и был негласный председатель джамаата. Он побайвался раньше, что молодой человек пре-

небрежет мнением стариков и оскорбит общество. Но опасения его не оправдались, и теперь он со всем пылом подчеркивал ученые заслуги Али-Мешдора. На следующий день юношу видели вместе с раненым Шерафутдиновым. Распря была окончательно забыта.

Один приезжий комсомольский работник стал укорять Али-Мешдора: «Не стыдно ли комсомольцу и студенту подчиняться адатам».

Али-Мешдор ответил ему так:

— Разве лучше было бы оставить кровь между нашими тухумами? И потом старший брат потерял бы авторитет на селе, раз младший ему не повинуется.

Али-Мешдор еще добавил:

— И вовсе не было больно.

Но, повидимому, юноша не был в ладах со своей комсомольской и студенческой совестью. Между прочим, он уехал из аула раньше срока и не обещал снова вернуться на следующий год — надо все-таки узнать, как там живут на курортах.

Ему одолжили лошадь до Анцуха. Засунув свои удостоверения в карман гимнастерки, студент выехал на Аваро-Кохетинскую тропу.

Тлядаль уже скрылся из виду, когда Али-Мешдор решил, видно, соблюсти честность с самим собой: зачем перекладывать свою вину на родной Тлядаль.

И он начал напевать ту же песенку, с которой он вернулся с учебы:

Найдешь ли поток — Ганджаора прекраснее,
Есть ли еще аул — Тлядаля милей...

Но на третьем стихе он поперхнулся. Навстречу по тропе шел дорожный техник Осман. Этого человека почитали не только в Тлядале, а по всей трассе Аваро-Кохетинской дороги, и в Чохе, и в Чароде, куда он провел колесный путь, и даже в Махач-Калу дошла его слава. Этот человек, конечно, осудит малодушие Али-Мешдора, а его мнением студент дорожил. Он покраснел, как озерный рак, которого бросили в котел с кипятком: кто знает, может быть, до Османа дошел уже хабар о порке!

Но об Османе следует рассказать особо.

8. Осман — строитель дорог

Вот что недавно случилось с Османом.

По должности дорожного техника он изучал «крышу» того участка трассы, где предстояли скальные работы. На горе, у самого обрыва, росли деревья. Обхватив рукой ствол сосны, Осман наклонился над пропастью. Гора обрывалась почти вертикально. Внезапно под тяжестью человека произошел обвал. Осман ухватился крепче за ствол дерева. Но и сосна лишилась опоры и сама рухнула вниз. До «дна» было не меньше 30 метров.

Осман не растерялся и еще крепче вцепился в падающую вместе с ним сосну. Широкая крона дерева замедляла полет, цепляясь за неровности скалы. Несколько раз техника швыряло о камни, но он не выпускал ствола. Осман отделался незначительными ушибами. «Прыжок с парашютом» — так окрестили в Дортрансе это приключение техника Османа — свидетельство его мужества и находчивости.

Когда говорят об Османе, то вспоминают, что он, простой горец, овладел наукой уже в зрелые годы. Бородатый человек, оставивший в Тлядале семью, привыкший командовать целыми батальонами дорожников, не постыдился сесть на учебную скамью рядом с безусыми мальчишками.

Уже в то время он был у всех в почете, прослыл замечательным практиком и зарабатывал много денег. И все-таки он поступил в дорожный техникум, чтобы полнее овладеть наукой.

Вот какова история его жизни:

Осман родился в сторожке ремонтера на Аваро-Кохетинской тропе.

Колесную дорогу Осман увидел впервые в юношеском возрасте: до того времени он ни разу не спускался с гор. Осман слышал, конечно, что грузы возят на арбах и автомобилях, но все-таки удивился, когда разглядел ширину дорожного полотна. Мимо него промчалась легковая машина: чудо! Впрочем,

не машина, а обыкновенная арба запомнилась ему лучше. Он нагнал обоз и долго приглядывался к нему. Быки шли медленно, но зато арба вмещала много грузов: только десяток ослов мог бы провезти эти товары во вьюках по знакомой ему тропе в Тлядадь.

Осман часто поднимался к перевалу, туда, откуда тшедушным ручьем вытекал Ганджаор. Карликовые поля в горной Аварии не могут обеспечить жителей хлебом. Так повелось издавна, что тляротинцы, тлядадьцы, бежитинцы кочуют зимой в Грузию — за хлебом, за работой.

С грустью глядел Осман на эти осенние караваны беженцев. На лошадях размещается жалкий скарб. Малых ребят рассовывают по карманам хурджин¹⁾. Десятилетние карапузы шагают следом за отцами. Женщины несут на спине грудных младенцев. Так, в непооду, идут эти караваны через горы, подгоняемые нищетой.

Осман любил рассказывать, навещая Тлядадь, о колесной дороге. Он говорил о дороге, как о чуде, как о невыразимом счастье. Но даже не смел мечтать о том, чтобы и в Тлядадь покатило колесо: высоки здесь горы!

Но когда до Тлядаля докатилась весть, что советская власть строит новые дороги в Чох и на Чароду, Осман протиснулся с отцом и, захватив бурку, запас сыру и чуреков, спустился вниз, в Гунибский район. Он был одним из тех добровольцев, которые бесплатно, на своих харчах подолгу работали на дагестанских дорожных строительствах.

Но, конечно, его трудолюбие отметили, он стал платным рабочим, вслед затем десятником, дорожным мастером и специалистом по скальным работам. Он побывал на зимних курсах в Махач-Кале и пользовался всяким случаем, чтобы позаимствовать опыт и знание у инженеров и техников — своих руководителей. Надо обладать талантом, чтобы без технической грамоты стать опытным прорабом-дорожником. Но надо быть еще умным человеком, чтобы не полагаться на одну практику и

сорока лет от роду сесть на школьную скамью.

Осман стал одним из самых известных дорожников в Дагестане.

Когда стали строить Аваро-Кахетинскую дорогу, он перебрался поближе к родным местам. Это было трудное предприятие. На километр пути приходилось 15 и 20 тысяч кубометров скальных работ.

Аварская горная дорога нуждалась в помощи местного населения. Никто не умел так хорошо раз'яснить значение дороги, как это делал сын ремонтера — техник Осман.

Снова слушали горцы рассказы Османа о колесной дороге. Много лет назад восторженный юноша описывал далекие чудеса. Теперь человек, чьи знания и мужество были проверены жизнью, рассказывал о том, что произойдет в ближайшие месяцы и годы. Грохот взрывов на трассе подкреплял его обещания.

120 тыс. трудодней подарили горцы своей дороге, они пожертвовали ей, кроме того, 60 тыс. рублей серебром, банантой и деньгами.

И теперь Аваро-Кахетинская дорога подбирается уже к Тлядадю, чтобы к следующему лету достигнуть перевала.

9. Абдур-Малей и Аша

Теперь я не могу не вспомнить о комсомольце Абдур-Малее и его жене — героях весьма путаной любовной истории, над которой потешается весь район.

Право же, Абдур-Малей — неплохой комсомолец. Во всяком случае этого мнения придерживается секретарь районного комсомола, и даже судебный приговор не изменил его. Абдур-Малей набедокурил по молодости лет. Но он понес заслуженное наказание. Народ в Тлядаде отсталый. Не так-то легко изменить обычай. И все! Если горцев исключать за такое поведение из комсомола, кто же будет работать!

Так думает Магомет, секретарь райкома. Он всегда останавливается в Тлядаде у Абдур-Малея и поручает ему, активисту, всякие трудные дела —

¹⁾ Вьючные мешки.

например, раз'яснить местным комсомольцам, что бога нет и в мечеть ходят просто от некультурности.

И Абдур-Малей остался в комсомоле, хотя и ходит по приговору суда на принудительные работы. Правда, не так легко найти в Тлядале подходящий объект для таких работ, но председельсчета Мухтар такой человек, что если и нет работы, он ее постарается выдумать.

Раза два в неделю Абдур-Малей безропотно карабкается в горы, чтобы скопсить общественный луг, или, напротив, спускается вниз к реке, чтобы отремонтировать школу и помочь на строительстве общественного скотного двора, — он исполнительный, покладистый комсомолец. А за Абдур-Малеем, в двух-трех шагах, идет жена и тащит за плечами инструмент, харчи и запасную одежду. Они трудятся наравне и, пожалуй, выполняют двойной урок. Работают они дружно, хотя жену суд не осуждал; напротив, суд видел в ней жертву, а в Абдур-Малее обидчика.

История этой четы такова.

Абдур-Малей вошел в возраст, когда молодые люди в горах женятся. Отца у него не было. Старший брат, человек тихого нрава, не исполнил обязанностей главы тухума и не позаботился о невесте.

С двумя закадычными своими друзьями Абдур-Малей бродил по вечерам возле родника: сюда приходили за водой аульские девушки. Скоро ему приглянулась невеста, по имени Аша. Любовь, или то, что называют этим именем, зарождается в горах мгновенно. Да иначе влюбленных и не было бы здесь, потому что девушке неприлично разговаривать с мужчиной. Хорошо, если успеешь обмолвиться двумя-тремя словами или как-нибудь иначе выразить друг другу внимание.

Приглядев девушку и оценив, как согласие, ее потупленный взор, Абдур-Малей стал готовиться к свадьбе. Но сват, посланный в семью Аша, вернулся с отказом. Аша еще с детства обручена с Магометовым Махачем из селения Бежита; глава тухума, старший брат Аша, приедет на-днях из Кахетии, тогда и справят свадьбу.

План дальнейших действий сразу же созрел в разгоряченной голове Абдур-Малея. Но все же, к чести юноши надо сказать, что он поинтересовался также мнением девушки. Два дня подстерегал он Ашу по дороге к роднику, но только на третий решился задать беспокоивший его вопрос. Это была не очень обстоятельная беседа. Всякую минуту им могли помешать. «Что ж, пойдешь за Махача?» — спросил Абдур-Малей у девушки. Аша ничего не ответила, но слезы выступили на ее глазах. Больше никакого разговора между ними не было. Приближалась какая-то женщина, и Абдур-Малею пришлось юркнуть за стену полуразрушенной мельницы.

Абдур-Малей счел слезы девушки убедительным ответом. К тому же он знал, что бежитинский Махач немолод и у него заячья губа; да и так ли уж важно мнение девушки, раз мужчина желает назвать ее своей женой!

Еще три дня продолжались приготовления. Потом двое парней, скрывавшиеся за мельницей, бросились в толпу женщин и на глазах у всех поволокли Ашу в горы — там с лошадьми дожидался третий участник преступления.

Неизвестно, испугалась ли Аша события или проявилась девичья ее стыдливость, или, наконец, этикет требует, чтобы похищаемые девушки оказывали сопротивление, — но Аша иступленно билась в руках Абдур-Малея, и, чтобы втащить ее в горы, понадобилось немало времени. Между тем женщины подняли крик, и проезжавшие невдалеке всадники бросились по следам похитителей. Скоро они их настигли и в последовавшей драке Абдур-Малею и его кунакам пришлось нелегко. Аша, когда ее, наконец, освободили, не побежала в аул и не скрывала сочувствия избиваемым. Впрочем, драка скоро закончилась. Абдур-Малей смотрел трезво на вещи: похищение не удалось. Абдур-Малея и его двух сообщников отвели в сельсовет, а девушку вернули в родной дом. Мухтар взял расписку с преступников, что они явятся по первому требованию в районный суд.

Суд присудил Абдур-Малея к году тюремного заключения. Тюрьму заме-

нили потом принудительными работами, с отбыванием их по месту жительства.

Через неделю после суда в Тлядале разыгрались новые события. Вернулся, наконец, старший брат Аши и, узнав о попытке похищения, потребовал немедленно сыграть свадьбу. И тут Аша, тихая, покорная Аша, впервые проявила свой характер. Она заявила брату, что не хочет идти за уродливого и старого Махача.

Брат выслушал ее слова, нахмурил брови, но не унижился до спора с девушкой.

Свадебные приготовления шли своим чередом. Накануне свадьбы Аша еще раз сказала брату: не пойду за Махача, пойду только за Абдур-Малея. Брат угрожал ей кинжалом. Девушка успела вырваться из сакли и легче горной козы помчалась к скале Слез, где несчастливые тлядалки кончают счеты с жизнью.

Брат, однако, одумался, не стал преследовать девушку. Аша не покончила с собой. Абдур-Малей привез ее на крупе своей лошади в Бежиту. В сельсовете они потребовали регистрации брака. Однако председатель сельсовета был в дальнем родстве с Магометовым Махачем, он не хотел ссоры с родственником и, чтобы уклониться от совершения формальности, заперся у себя в доме. Девушку увели к себе аульские женщины — она чуть не помешалась со стыда. Абдур-Малей решил сделать последний, хоть и опасный, шаг. Он поехал обратно в Тлядаль, созвал комсомольцев и вместе с ними пошел к председателю Мухтару. Они быстро сговорились. Ашу привезли под сильной охраной, наспех зарегистрировали ее брак с Абдур-Малеем и водворили в его доме. Потом Мухтар, председатель сельсовета, надел парадную чуху и пригласил с собой двух стариков, пошел к брату Аши.

О чем они говорили, можно только догадываться, но дымок, скоро показавшийся над домом, свидетельствовал, что готовится дружественный ужин, и, следовательно, спорный вопрос улажен. К вечеру на квартиру молодоженов от-

несли сундуки с приданым Аши. Ее брат не захотел обидеть неожиданного зятя.

Очень скоро все пришло в порядок. Говорят, Абдур-Малей зажил с Ашей дружно и любовно (впрочем, не так-то легко узнать об интимной стороне жизни горской семьи!). С председателем Мухтаром у них с того времени завязалась крепкая дружба. Но, когда прибыл приговор суда, Мухтар проявил себя человеком неумолимым и лицемерным.

И Абдур-Малей покорно шел на общественные поля отрабатывать свой урок (нельзя же в Советской стране потакать похитителям девушек!), а жена помогала ему в этой работе, потому что так заведено в горской семье, и еще потому, что Аша была не только жертвой, но также немного и участницей этого преступления.

10. О Шамиле-джигите

Старый Хочо окликнул меня со своего раги:

— Почему не приходишь? Обижает старика.

И еще добавил, пряча хитрую улыбку в подвижных складках кожи:

— Поторопись: скоро совсем состарюсь, забуду, что за человек такой Шамиль.

Перед вечером я пришел в гости к старику. Молодой горец, праправнук Хочо, принес на блюде немного овечьего сыра, чуреков и меда. Из комнаты донесся плач ребенка. Праправнук Хочо был чем-то расстроен.

Я протянул старику портсигар. Хочо принял папиросу в дрожащие свои руки и поблагодарил старинным, забытым теперь жестом: похлопал ребром ладони и растопыренными пальцами по рукаву моей куртки. Потом он прикурив и торопливо затушил, испытывая видимое наслаждение.

115-летний Хочо сохранил еще немало сил и желаний.

115 лет! Он родился в годы «Священного союза», и старший брат мог бы ему рассказать о восстании на Сенатской площади... (Конечно, если бы

он сам что-нибудь знал об этом.) Четыре волны революций прокатились по Европе на веку Хочо. Он пережил пятерых русских царей и дождался свержения самодержавия. Вся полувекковая борьба дагестанцев, под руководством трех имамов, прошла на его глазах. Он родился в эпоху раннего капитализма, пережил его развитие, вырождение, победу социализма на одной шестой части света. По своему возрасту он мог быть свидетелем победоносного шествия паровой машины, затем электричества, автомобиля, авиации и радио. Впрочем, ему ни разу в жизни не приходилось видеть ни паровоза, ни автомобиля, ни электрической лампы, ни радиоприемника, ни самолета, — вот уже 30 лет, как он не покидал Тлядаля.

Старик докурил папиросу и начал свой рассказ.

Странная память у Хочо. Она сохранила лишь внешний облик Шамиля. В воспоминаниях Хочо Шамиль живет, как храбрец и самоотверженный джигит. И только.

— Не было человека храбрее Шамиля. Когда умер имам Гамзат, собрались лучшие люди со всего Дагестана. Шамиль был мюридом у обоих имамов. Все знали, какой он храбрец. Сказали Шамилю: «Избираем тебя». Он стал отказываться. Тогда ему объявили: «Ты среди нас самый храбрый и совершенный». И он стал имамом. Конечно, не было человека храбрее его.

Родной дядя Хочо был одним из воинов Гамзат-Бека, а впоследствии и Шамиля. После сдачи Шамиля (1859 г., Гуниб) дядя Хочо вернулся в Тлядаль. Его свалила неизвестная болезнь. Тлядальцы собирались у лежанки старого воина и слушали рассказы о Шамиле. Среди них был и сорокалетний племянник.

Хочо рассказал мне об известном подвиге Шамиля в Гимринской теснине.

В тот раз русские войска окружили в Гимринском ущельи имама Кази-Муллу. Гамзат-Бек шел на помощь имаму, но ему не удалось прорваться через заграждения русских у горы Арак-Тау. Целый день длилось сражение. Дагестанцы были разбиты, и сак-

лю, в которой заперся с мюридами имам, окружили солдаты.

«Человек не может избежать смерти, — сказал имам своим мюридам. — Нам лучше выйти отсюда, напасть на русских и погибнуть. Иначе нас убьют в сакле, как притаившуюся, немощную старуху».

Имам совершил обряд, прочел несколько аятов¹⁾ и, обнажив саблю, бросился на русских. Но какой-то солдат швырнул в него с крыши сакли большим камнем. Имам упал, его закололи штыками.

Шамиль сказал тогда мюридам:

«Нам нет никакой пользы от жизни, раз убит наш вождь. Нам также следует умереть».

И, выбежав из сакли, Шамиль оттолкнулся от порога и совершил небывалый прыжок через головы ближайших врагов. И в него успели бросить камнем, но не попали в голову. Камень поломал ему восемь ребер и повредил плечо. Шамиль удержался на ногах и проворной рукой убил одного за другим трех солдат. Но четвертый ударил штыком в грудь Шамиля и пронзил его насквозь. Велики были гнев и ненависть Шамиля. Он еще глубже воткнул себе штык в грудь. Теперь он смог достать солдата саблей и разрубил его едва ли не пополам. Вытаскивая штык из своего тела, Шамиль заметил, что горец, служивший русскому царю, целится в него из ружья. Пуля пролетела мимо; Шамиль зарубил и этого — пятого с начала вылазки — врага. Все смешалось на поле битвы; остальные мюриды сделали вылазку из осажденного дома. Израненный, истекающий кровью Шамиль ушел от погони. Он залечил раны у отца одной из своих жен — Абдул-Авис Гимринского.

— Послушай, Хочо, — сказал я, выслушав этот, подтверждаемый и другими источниками, рассказ. — Но может ли человек совершать такие подвиги и прыгать так высоко?

— Так это Шамиль! Он с детства упражнялся в прыжках. В узких ауль-

¹⁾ Стихов корана.

ских улицах он никогда не ждал, пока пройдет ишак, груженный сеном: просто перепрыгивал через него. Говорят, в Гимрах стоит камень с высокой зарубкой: так высоко прыгал молодой Шамиль, что с того времени ни один юноша не может с ним сравняться.

И Хочо рассказал мне, как Шамиль пожертвовал сыном ради своего дела.

Спасаясь от преследований русских, Шамиль переходил на Ахульго. Всем женщинам он вручил по кинжалу, чтобы они могли убить себя, если приблизится враг. Солдаты чуть не схватили сестру Шамиля, Патимат, но она успела сброситься со скалы и разбилась насмерть. Пуля убила наповал жену Шамиля. С ней был маленький сын Саид. Он остался невредим и не понимал того, что случилось. Он тормошил мать и повторял все время: «Мама, дай мне грудь, я голоден». Ребенок пропал без вести в ту страшную ночь, — Шамиль не мог покинуть свое войско.

Хочо устал. Не так уж трудно болтать без-умолку, но слишком много подвигов, страхов и смертей. Хочо вкладывает в рассказ всего себя. Он говорит таинственно, с придыханием, прерывает речь драматическими паузами. И переживает вновь старинные события. И он утомлен этими переживаниями. Он больше не хочет рассказывать о героическом. Он роется в своей памяти и находит в ней иное воспоминание.

— Я тоже видел Шамиля, — говорит гордо Хочо.

Он помнит торжественный, праздничный выход Шамиля в мечеть. С пением ла-илаха иль-аллах мюриды выстроились двумя шеренгами от дома Шамиля до самой мечети. Имам вышел из сакли со всей свитой, с министрами, родственниками, почетными гостями. Мюриды пели «зикр», пока имам не вошел в мечеть, последовали за ним и стали молиться, повесив свое оружие на столбы, поддерживающие свод.

Хочо вспоминает с восторгом, что стоило Шамилю показаться на улице или в мечети, как все сразу вставали:

— Как ветром поднимало! Такой это был храбрец, такой великий начальник.

Хочо еще рассказывал мне, как Шамиль соревновался в плаваньи с Гази-Магометом, как он украл пушку с русской крепости в Гергебеле и как заставил пьяницу-отца не прикасаться больше к вину.

Но я до сих пор не уверен, знает ли, помнит ли Хочо, кем был Шамиль для Дагестана.

11. Неприятная справка

Забывчивость Хочо имеет глубокие корни.

Родственник Хочо, воин Шамиля, был среди капучинцев исключением.

Тлядаль и Бежита изменили Дагестану, изменили Шамилю. Они призывали к себе на помощь русские войска из Грузии. Сыновья бежитинских богачей служили царю, зарабатывали чины и ордена.

Один бежитинский старик, которого мы расспрашивали о прошлом его аула, сказал так: Шамиль был разбойником и жег аулы, а царские войска защищали от него мусульман.

Этот старик слывет в Бежите религиозным человеком. Он даже взял на себя добровольно обязанности будуна¹⁾. У него, несмотря на возраст, луж глотка; по вечерам он не давал никому покоя призывами к молитве.

Этот старик приходится родственником Кебид-Магоме, руководителю белых банд, наймиту империалистов.

Бежита во время гражданской войны была гнездом сторонников лже-имамана Нажмутдина Гоцинского. Тлядаль же говорит с Бежитой на одном языке. Бежитинские арабисты славились, как ученые, святой жизни люди. Правда, они изменили защитнику национальной свободы имаму Шамилю, но это им не помешало стать «защитниками веры» при контрреволюционере имаме Гоцинском. Тлядаль находился под влиянием этих людей.

Гоцинский собирал свое войско на территории Грузии. У него служили русские белогвардейцы. Он был в дружбе с грузинскими меньшевиками, денкинцами и интервентами.

¹⁾ Муэлзин.

Банды Гоцинского проникали в Дагестан по Ганджаорскому и Дидойскому ущельям. Гоцинский проезжал через Тлядаль и останавливался у бая Рамазанова.

Тлядаль дал имаму Гоцинскому больше воинов, чем в свое время Шамилю. Некоторые охотники прошли с бандами имама до самого Хунзаха и вернулись домой с добычей.

Тлядаль не дал Дагестану ни одного красного партизана.

Капучинцы были опорой Гоцинского. Немало партизан и красноармейцев полегло на Аварском Койсу.

Говорят, как-раз во время пребывания в Тлядале «святому» имаму пришла в голову мысль — неслыханная еще в горах провокация. Он послал военному Аварского округа незапечатанное письмо такого содержания:

«Мой дорогой сын, Абдул-Муслим!

Большой привет. То, что ты мне обещал, ты выполнил, но немного поторопился, и благодаря этому проскочили живыми несколько солдат. Устрой им еще раз ловушку.

Имам кавказский Нажмутдин».

В ноябре 1920 была объявлена советской властью — Сталиным — автономия Дагестана. Вскоре после этого партизаны и красноармейцы окончательно подавили восстание. Остатки разбитых банд прошли опять мимо Тлядаля в Грузию.

Тлядальцы не любят вспоминать об этой темной странице их прошлого.

Но уж если речь пойдет о восстании Гоцинского, то тлядальцы объясняют смущенно: в 1920 году они вовсе не знали, какова советская власть. Даже ни одного уполномоченного из города не видели в то время в тляротинских горах.

12. Баранга

Бешеные ветры дуют на перевале.

Удаман Гуссейн находит все же местечко на самом солнышке, защищенное от ветра. И сразу становится тепло и чуть ли не уютно — смешно это сказать — на высоте 3.000 метров, в са-

мом центре горной пустыни. Она оживлена сегодня, эта пустыня. Отары колхоза поднимаются к перевалу — они еще далеко, а навстречу им идет караван ослов, — чабанам везут харчи и все, что им необходимо для предстоящего праздника стрижки овец.

— Вот как у нас в горах, — сказал горделиво Гуссейн. — Теперь ты знаешь, как живет чабан. Просторно, и воздух пахнет вкусно.

Так бывает летом, в солнечный день, но пожалей чабана осенью, в дождь, когда падает снег.

Трудная эта чабанья работа. Зато доход и почет от общества! Погляди!

Гуссейн вытащил из-за пазухи замусоленную тетрадку. За прошлый год удаман выработал 350 трудодней и получил за каждый из них по 8 рублей, не считая сыру и шерсти.

Иной была жизнь Гуссейна до той поры, пока колхоз сделал его своим удаманом.

Тухум его был очень беден. Мужчины бродили по селениям Грузии и делали черную, случайную работу.

Сам Гуссейн юношей пас свиней.

Потом тлядальский овцевод Рамазанов взял его к себе в чабаны. Десять лет работал Гуссейн на этого хозяина.

Рамазанов нанимал чабанов сразу на долгий срок. Кроме харчей, чабан получал от хозяина 10 баранов за все три года. Рамазанов сам метил баранов: в собственность чабана поступали только те из них, которым он сумел сохранить жизнь.

Чабан жил и летом, и зимой где придется.

Чабан был последним человеком на селе. Ни одна аульская девушка не пошла за Гуссейна. Пришлось посватать нуцальзаби (тохумы, ведущие свой род от рабов, пленных грузин).

Гуссейн редко видел свою жену. Если и спустится вечером в аул за продовольствием, то к утру Рамазанов посылает спросить: разве хозяин разоряется на чабана для того, чтобы тот спал с женой?

Десять лет Гуссейн прослужил баю и нажил всего 15 баранов — скуп был

Рамазанов и умел обсчитывать своих работников.

Зажиточным хозяином и уважаемым на селе человеком сделал Гуссейна колхоз.

... Но вот первая отара поровнялась с нами. Вожак, сивый козел с огромными изогнутыми рогами, уставился на нас своим неподвижным, бессмысленным взором. Постояв так немного, он обошел препятствие по кругу, и вся отара повторила за ним это движение.

Одно за другим проходили мимо нас стада колхоза. Рыжие, малиновые и седые козлы шли впереди отары. За ними, низко опустив головы, высматривая и вынюхивая самые вкусные пучки травы, семенили овцы. Тряслись на ходу их жирные курдюки, переливалась грязная курчавая шерсть на распертых животах — хорошо раскормил свое стадо удаман Гуссейн! Но вот внезапно один комок грязной, свалявшейся шерсти, с запачканным в навозе курдюком, поднял голову. На нас взглянули невинные, девичьи глаза, украшающие тонкую, грациозную овечью мордочку.

Чабаны собрали на одно пастбище полторы тысячи овец, половину колхозных богатств. Они требовали, чтобы приезжие гости оценили упитанность стада и подтвердили их победу в соревновании с чабанами единоличников. Но мы не могли быть судьями. С непривычки все овцы казались нам одинаковыми.

Между тем удаман Гуссейн хранил в своей памяти приметы всех овец из своих стад: он мог даже вспомнить, кому принадлежала каждая овца до коллективизации.

Удаман развил кипучую деятельность. Зоркий его взор разглядел в стаде хромую овцу. Он тотчас же вошел в отару и, не поднимая переполоха среди овец, взвалил хромоножку на плечи. Он нащупал у овцы вывих и несколькими точными движениями вправил ей сустав. Затем он отнес больную овцу к костру («пусть отдохнет»), разожженному тем временем помощниками чабанов. Гуссейн перетасовал овец, изгнал из молодежной отары нескольких

незванных пришельцев. Он обнаружил подозрительную по чесотке козу и тотчас же изолировал ее от стада. Потом он занялся отбором овец для предстоявшей на следующий день стрижки. Гуссейн вернулся только к самому ужину. Отары были размежены на ночь за скалами, псы-володавы заняли свои сторожевые посты.

Навес защищал от ветра, хинкал доваривался в котле, благоухая бараньим жиром. Наступал час заслуженного отдыха, сытной еды и застольной беседы.

Заговорили об овечьем характере, и я узнал от чабанов много поучительного. Вот несколько записей не длиннее воробьиного носа, сделанных той ночью возле костра.

Тоска по материнству. Старые необъягившиеся матки испытывают запоздалый прилив материнских чувств. Случается, бесплодные «бабки» отбивают у молодых матерей новорожденных ягнят. «Бабка» вылизывает приемыша, ходит за ним, проявляет трогательную любовь. Неопытный чабан ни за что не отличит «бабки» от родной матери. Но при всем желании старая овца не может накормить ягненка. Тот худеет, слабеет и гибнет, если чабан не придет на помощь. Мнимая мать горько переживает утрату. А легкомысленная бабенка, родная мамаша, давно уже и не вспоминает о своем первенце.

Вольнолюбивая коза. Случается, горные туры уводят за собой козочек из стада. На туров здесь запрещено охотиться, и их развелось так много, что они иногда вытаптывают посева. Одну такую козочку-беглянку чабану удалось вернуть в стадо через год. С ней был козленок, прижитый от тура. Но коза все отставала от отары и пыталась уйти в горы. Однажды она вскарабкалась на высокую скалу, и никак не удавалось приманить ее. Пришлось убить непокорную.

Драчун. В отаре был рыжий козел, упрямец и драчун. Всегда затевал драки с товарищами, часто нападал и на чабана. Перед вечером, если чабан заезжает, драчун подкрадывался к нему и ударял медным лбом прямо в спину — это очень больно. Особенно часто доста-

валось от барана молодому чабану Юсуфу. Однажды, чтобы отомстить обидчику, Юсуф укрепил два старых рога в расщелине скалы и подвел к ней барана. Драчун разогнался и ударил лбом прямо в камень, верно, искры посыпались у него из глаз. Потом еще раз отбежал и снова ударил. Чабан, посмеявшись над своим врагом, пошел спать. Утром он нашел барана возле скалы мертвым. Всю ночь драчун бился головой о скалу, пока не расколол себе череп.

...Хинкал был уже с'еден и запит чаем. Взошла луна. Дежурный чабан пошел в обход. Мы поднялись еще раз на перевал, чтобы увидеть горные цепи при мерцающем лунном свете. Потом мы закутались в бурки и легли спать.

Рядом бесшумно дремали полторы тысячи овец. Изредка в полусне какая-либо овца отбивалась от стада и, шатаясь, брела к перевалу. Но тотчас же ее догоняла собака и коротким лаем отгоняла назад.

На высоте 3.000 метров звездное небо казалось совсем близким, как у нас зимой возле Москвы.

13. Исмаил и Гуссейн

Сыннишка Исмаила оседлал лошадь. Из дома вышел сам Исмаил и легко, несмотря на свою комплекцию, сел в седло. Жена подала ему повод. Как-раз в это время на улице показался Гуссейн, верхом на своем коне. Жена Исмаила посторонилась, и оба всадника поксакали через весь аул к подножью горы. Через несколько минут в лесу, на повороте тропы, еще раз мелькнули всадники. Впереди шла лошадь Исмаила.

— Два кровника поехали в горы, — сказал эпически Мухтар, заметив, что я слежу за всадниками.

— Как это — кровники?

— Ну, да. Между ними кровь. Исмаил убил младшего брата Гуссейна.

— Как же ты отпустил их вдвоем в горы?! — вырвалось у меня.

— Ничего не случится. Теперь они члены правления колхоза и кунаки.

Мухтар повел меня к себе на раги, напоил чаем и рассказал историю вра-

жды и дружбы двух тлядальцев: Исмаила и Гуссейна.

— У Гуссейна был брат, Шапи. Неплохой парень, но молод, и кровь в нем бродила. Неизвестно, почему Гуссейн его не женил. Молодому мужчине без бабы плохо; у нас в Тлядале строгие женщины.

Шапи приглянулась жена Исмаила, Гаибат. Исмаил уже в возрасте, но жену взял себе молоденькую.

Шапи выследил Гаибат, пошел за ней в горы. Неизвестно, может быть, раньше и разговаривали они между собой, но только Гаибат — честная жена. Парень подождал, пока с соседних полей ушли женщины. Навалился на Гаибат и имел с ней дело.

С темнотой Гаибат вернулась в дом Исмаила и сказала ему: Шапи сделал со мной, что муж с женой делает.

Горячий человек Исмаил. Не стал подкарауливать обидчика. Пошел прямо в саклю к Гуссейну и разрубил голову Шапи. Даже не посмотрел — есть ли еще в сакле кто из мужчин. Но некому было ему помешать, он свершил свое дело и вернулся к себе в дом.

Это случилось перед коллективизацией. Районный центр далеко, дел много. Так что и суда над Исмаилом не было.

По ночам он не выходил из сакли и в одиночку никуда не отлучался из аула.

Как-раз организовали колхоз. Исмаил — человек, известный обществу. Его всегда избирали в сельсовет. Теперь избрали в члены правления колхоза. А Гуссейн — лучший чабан в Тлядале и тоже грамотный человек. Его сделали удаманом.

Удаман часто приходит на правление колхоза. Так что кровники заседали под одной крышей. Конечно, на людях ничего не случается, это только Исмаил такой бешеный.

Кровники между собой не разговаривали. Но никто не мог сказать ничего дурного про их работу: душой болели за колхозное дело.

Как-раз подошел день стрижки баранты. Стада откочевали к горе Балутва-Меер. Все члены правления должны

подняться к баранте, надо помочь чабанам.

Как уберечься в горах от кровника! Исмаил задумался еще раз над своей судьбой. Горькие это были мысли.

Перед вечером Исмаил приказал жене открыть сундук. Он выбрал оттуда кусок белой мануфактуры. Оделся по-праздничному, обернул мануфактуру вокруг шеи и пошел, не таясь, в дом Гуссейна.

Там как-раз ужинали. Исмаил остановился в дверях и раскрыл грудь.

— Гуссейн, кровник мой, — сказал он, — убивай меня, если так надо. Я безоружный. Вот мануфактура, чтобы родным было, чем прикрыть мое тело.

Гуссейн уже успел вскочить с ковра и сорвать со стены кинжал. Но не вынул его из ножен и ждал, что еще скажет Исмаил.

— Я имел с Шапи особый мужской счет, — добавил тогда Исмаил. — Но нас с тобой роднит наше общее дело. Забудь обиду, я принесу тебе выкуп за Шапи, и мы станем друзьями.

Тот вечер Исмаил просидел с Гуссейном у его очага.

На следующее утро они оба уехали в горы.

Колхоз примирил кровников. Нет теперь в Тлядале дружбы крепче, чем у Гуссейна с Исмаилом.

14. Интересный хабар

Нерасседланные кони, привязанные к столбам посредине улицы, недовольным ржаньем призывают к себе своих хозяев. Но хозяевам не до них. В Тлядале большой день. Пятый час подряд идет общее собрание колхоза. Большой зал в доме кулака Рамазанова набит доотказа. Сехались и все хutorяне. Многие поместились снаружи, у окон. И они, не отрываясь, слушают ораторов.

Большой день в Тлядале! Не часто случаются такие собрания. 72 крестьянина вступают в тлядальский колхоз. Число его членов сразу удвоится, а стадо возрастет почти в три раза. Общее собрание решает, достоин ли каждый из этих 72 человек быть членом колхоза,

сколько баранов обобществить у него, какую работу дать в колхозе.

Наравне с колхозниками голосуют и остальные тлядальцы — все равно разногласий нет. Колхоз существует уже два с половиной года. Кто повторит теперь грязную сплетню кулака Рамазанова? Всякий видит, что удаман Гуссейн хорошо следит за стадами. Колхоз удвоил поголовье, улучшил породу и аккуратно выплачивал трудодни. Тлядальцы — неторопливы. Заявления от 72 единоличников доказывают, что аул признал, наконец, заслуги колхоза.

И вместе с тлядальцами сегодня голосуют даже гости, избашинцы. Они приехали сюда из соседнего селения с поручением от своего общества. Избашинцы не пропустили здесь на собрании ни одного слова мимо ушей, а теперь, когда кончился прием новых членов, они потребовали слова для своего бригадира. Он был немногословен и почтителен.

— Тлядальский колхоз славится по району. Хороший колхоз. Баранта жиреет. Избашинцы завтра будут выбирать правление нового колхоза. Избашинское общество просит вас как старших братьев помочь ему. Пошлите к нам вашего человека, пусть проведет собрание и скажет нам поучение.

Тлядальцам очень понравилось это обращение за помощью. Каждый с гордостью отглянулся на своего соседа: видишь, каков Тлядаль!

— Наши гости хвалят нас от своей доброты, и мы еще не заслужили такой похвалы, — скромно сказал председатель тлядальского колхоза Гитинов Испаги. — Мы сами еще неопытны, как подростки, которые еще только вступают на жизненный путь, но, конечно, мы поможем советом нашим почтенным гостям. Кого же мы пошлем в Избаши, товарищи?

— Поезжай сам.

— Пусть председатель поедет!

— Посылаем Гитинова Испаги!

Председатель отказался: у него много хлопот с оформлением новых членов.

— Ну, тогда пусть поедет Исмаил.

— Вот и хорошо! Исмаил все расскажет.

Исмаил, член правления колхоза, поблагодарил собрание за честь, но просил дать ему в помощь еще кого-нибудь: одному не справиться.

— Бери Гуссейна в помощь, — сказал председатель колхоза и объяснил избашинцам: — Гуссейн — наш удаман, он вам поможет.

Мухтар, сидевший в президиуме, улыбнулся и спросил Исмаила:

— Ну как, ты не станешь возражать против Гуссейна?

По лицам присутствующих поползли улыбки, и сам Исмаил рассмеялся:

— Как же возражать: самый подходящий человек. Поедем вдвоем, Гуссейн?

— Ну, что ж, поедем.

На этом и порешили.

Собрание продолжалось. Здесь было интереснее, чем на очере, даже когда там рассказывают самый свежий и увлекательный хабар. Поэтому никому не хотелось покидать собрания. Но наступили как-раз сумерки, час вечернего намаза. Чтобы не сорвать собрания, колхозники группами, по очереди выходили на раги и тут же, возле окон, подостлав под ноги кужгат, творили намаз. Потратив 2—3 минуты на это дело, они возвращались в зал. По чести сказать — это была халтура, а не сосредоточенный разговор с богом, предписываемый кораном.

Тлядальская кочевая жизнь породила одно затруднение, с которым столкнулся колхоз: шесть бывших граждан села умоляли собрание принять их в колхоз. Как и многие другие тлядальцы, они кочевали ежегодно в Грузию. Они построили себе в Кахетии дома и стали там на учет органов советской власти. Но летом они неизменно возвращаются из Ахалцупелли в Тлядаль. Сила этих хозяйств — в баранте; колхоз сулит им большие выгоды. Но как тут примешь в тлядальский колхоз этих граждан двух республик, когда они платят налоги в Кахетии, а в Дагестане даже вовсе не числятся?

Предсельсовета Мухтар долго бился над решением этой задачи и все же ничего не смог придумать. Даже в райисполкоме не могли дать Мухтару по-

лезного совета. Не иначе: надо ждать, чтобы сам Дагестанский ЦИК договорился с ЦИК Грузии. До тех пор этим трем незадачливым гражданам придется прожить как-нибудь без колхоза. Это и заявил с трибуны председатель колхоза.

А затем Мухтар, предсельсовета и вожак аула, взял себе слово.

15. Нетерпеливые машины

— Тлядальцы!

Счастливым мы прожили день!

Отец радуется, когда жена родит сына.

Наша колхозная семья приняла сегодня в свои ряды 70 сыновей. Ну, как же нам не быть счастливыми?

Наши вожды учат нас: посмотри вдаль, посмотри в будущее — и легче будет твой путь.

Когда нам взглянуть вдаль, как не сегодня? Ведь мы взобрались на пригорок, отсюда — виднее.

Наш отец Сталин учит: создайте себе зажиточную жизнь. И он указал нам путь: колхозы и культура.

Сначала скажу о культуре. Все дети учатся у нас в школе. Четыре года учатся. Разве это бывало раньше? Но надо смотреть вперед. Разве за четыре года выучишь все науки, которые нужны горцу? Разве у нас такая хорошая школа, что ее нельзя сделать лучше?

Мой сын учился в Тлядале 4 года. Я послал его в город, в Буйнакск. Но там его приняли снова только в 3-й класс. На плоскости за год выучивают вдвое больше, чем у нас в горах.

Почему так?

Я ничего не хочу сказать против нашего уважаемого учителя Абдурахмана. Но ведь он сам не так давно кончил нашу школу и учился только в трех классах. Мы посылали его на курсы учителей, но только один раз, и то на шесть месяцев.

К нам ехал один образованный учитель с плоскости. Он учился восемь или даже десять лет. Но доехал только до Анцуха. Увидел наши горы, наши дороги, нашу бедность и повернул назад.

Но посмотрите в будущее, разве вы не видите, что этот учитель едет опять в Тлядаль? И на этот раз он садится в машину в Буйнакске, а выходит из нее здесь, среди нас. Это директор! Он идет прямо в школу и сразу начинает учить наших детей. А уважаемый Абдурахман — я уже вижу по его лицу, что он успел с'ездить еще раз на курсы, — посильно помогает директору.

И я вижу: уже не один Али-Мешдор — муталим¹⁾, учится в городе. Нет, вот и твой сын, Гуссейн, и твой сын, Керим, и твой, Магомет, и если судьба не будет против, то и мои сыновья будут учиться в городе, станут учеными людьми. И разве так долго этого ждать? Колесо уже подкатывается к самому нашему аулу. Осман сказал, что еще до зимы в Тлядаль прикатит машина, а кто слышал когда-либо, чтобы Осман болтал попусту?

По новой дороге к нам в аул придет культура. Нам привезут дешевый хлеб и керосин.

Шесть скитальцев, бывших тлядальских граждан, так долго кочевали вдали от своей родины, что даже потеряли путь назад. Об этом сегодня все слышали, и это очень прискорбный случай. Но разве большинство из нас не кочует только потому, что наш Тлядаль еще не может прокормить своих жителей? Мы все хвалим наш колхоз. Он хорошо оплачивает трудодни, но кто может скрыть, что этих трудодней у колхозников пока мало. (Я не говорю, конечно, о чабанах.)

Однако посмотрим опять вперед. За два года баранта у нас удвоилась. Сколько же будет у нас отары через пять, через десять лет? Разве большая отара и большая ферма не зададут нам много работы? Я так думаю, колхоз непременно придушит горькую кочевую жизнь.

Я уже вижу: здесь, на горе, стоит прекрасная ферма, большая, как завод! И со двора выезжают машины, большие машины, и они везут наши тлядальские сыры.

¹⁾ Студент.

Посмотрите вместе со мной, разве не видите? Сколько здесь будущих машин! Они стоят возле фермы, они шумят, гудят и прямо-таки дрожат от нетерпения, так им хочется, чтобы они повезли, наконец, наши сыры в Грузию.

Мухтар еще долго говорил свою речь, а потом, в приподнятом, праздничном настроении тлядальцы разошлись по домам.

Но на следующее утро, — воспоминание о пережитой радости, надо думать, еще не выветрилось, — над Тлядалем пролетел самолет.

Неизвестно, откуда он взялся в долине Ганджаора. Тлядаль стоит в стороне от регулярных воздушных линий. Может быть, пилот заблудился, а может быть, он просто совершал утреннюю прогулку для возбуждения аппетита. Герой Советского Союза Громов, отдыхая в Сухуме, так именно объяснял свои ежедневные утренние полеты над Кавказским хребтом.

Самолет летел на большой высоте, опасаясь неразведанных воздушных течений, — они могли прижать машину к горам. Но если бы пилот знал, что его самолет пытается разглядеть слабыми старческими глазами человек, родившийся в 1821 году, он, возможно, снился и сделал бы несколько кругов над Тлядалем.

Старик Хочо, поддерживаемый праправнуком, тщетно разыскивал в небе аэроплан. Он отчетливо слышал шум, но самолета так и не увидел. В последующие дни он всегда избегал разговоров о самолете и, повидимому, не до конца поверил в людей, научившихся летать, подобно птицам.

Конечно, в Кахетии и в Азербайджане почти каждому тлядальцу приходилось видеть парящие в небе самолеты. Но над Тлядалем аэроплан появился впервые. И в какое время! Когда колхоз праздновал победу над недоверчивым единоличником, когда колесная дорога связывала его с миром и по аулу вместе с привычной тишиной разливался неуловимый и необъяснимо прекрасный запах, предвещающий счастливую жизнь, которой не знали никогда горы.

За рубежом

ИЗ ИСТОРИИ ИСПАНСКИХ РЕВОЛЮЦИИ

(Революция 1808—1814 гг.)

И. Трайнин

История испанского народа, героически борющегося сейчас за свою свободу и независимость против фашистских мятежников, богата революционными выступлениями народных масс. Революционные традиции испанского народа восходят еще к восстанию городов против абсолютистско-дворянского произвола в XVI веке (так называемые восстания коммунаров), к восстанию угнетенных национальностей (каталонцев) в середине XVII века. Эти традиции проявились особенно ярко в период первой буржуазной революции 1808—1814 гг., развернувшейся вскоре после французской революции конца XVIII века. Этой революции и посвящена данная статья.

Что представляла собой Испания к этому времени?

Абсолютная монархия Бурбонов опиралась на феодальные устои и хотя и пыталась в известной мере учитывать интересы буржуазии, однако вся политика абсолютизма ограждала интересы крупного феодального землевладения от поднимавшей голову буржуазии. Это препятствовало развитию промышленности и обусловило малочисленность пролетариата, который еще не представлял собой четко сформировавшегося класса. Главную массу народа составляло крестьянство, среди которого, под влиянием французской буржуазной революции 1789—1794 гг., ожили надежды на

получение земли, на освобождение от феодального гнета.

Положение обезземеленного крестьянства в Испании было крайне тяжелым. По данным, относящимся к концу XVIII века, церкви принадлежало 9.093.400 арпанов¹⁾ земли, дворянам — 28.306.700 арпанов, а у всего крестьянства значилось лишь 17.599.000 арпанов земли, или 45 проц. того, чем владели первые две группы. Аренда и подати достигали $\frac{5}{6}$ урожая. В руках помещиков находились и различные монополии.

Наряду с гнетом помещиков крестьянство испытывало сильнейший гнет церкви. По данным 1789 года, в Испании на 10,5 млн. населения насчитывалось 91 тысяча священников, 92 тысячи монахов и монахинь.

Тяжелым бременем ложился на плечи крестьянства и гнет военной, верхушка которой тесно срослась с крупными землевладельцами.

Голод и неурожай еще более обездоливали крестьянство и чрезвычайно усиливали его революционные настроения. Во главе государства находился король Карл IV (с 1788 г.), но преобладающее влияние на государственные дела имели его супруга, принцесса пармская Мария-Луиза, и ее фаворит Годой,

¹⁾ Арпан (земельная мера) = 40 ар (ар = 100 кв. метрам).

опиравшиеся на придворную камарилью и духовенство. При их власти страна была доведена до еще большего разорения и нищеты.

Французская революция конца XVIII века получила громкий отклик в соседней Испании. Королевская власть стремилась всячески воспрепятствовать распространению революционных идей. В 1789 г. издается королевское постановление, согласно которому революционные идеи объявляются «ересью», а все виновные в их распространении подлежат суду инквизиции. Ни одна газета, ни одна книга не должны были проникать в Испанию из-за Пиренеев. В 1791 году новое постановление запретило иностранцам, проживающим в Испании, главным образом французам, сношения с их отечеством под страхом строгих наказаний. Все иностранцы обязаны были присягать на верность королю и католической церкви. Гонения испанских Бурбонов против революции, против революционной Франции, особенно усилились в 1793 году после казни французского Бурбона (Людовика XVI) и привели к войне с Францией (1793—1795 гг.). Испанскую монархию провоцировал на эту войну и русский царизм. Екатерина II в особом рескрипте от 24 января 1794 года русскому послу в Мадриде — Зиновьеву писала:

«... Мы очень рады и готовы вступить во всякие соглашения с испанским королем как по всегдашнему личному к нему благорасположению, так и по долгу всякого государя пецись о сохранении совершенного и необходимо нужного для общего покоя Европы равновесия на море и на твердой земле... Невзирая на отдаленность нашу, мы уже сделали пособие преподанием помощи принцам французским и их преданным вооружением сильного флота и действием оною введением в море и другими мерами довольно деятельными. Мы еще находимся в необходимости содержать все наши военные силы в полном ополчении, дабы, с одной стороны, воздерживать в подлежащих пределах зло дальнейшему распространению заразы неистовств и развратов французских, а с другой —

дабы не допустить их сообщников и единомышленников, которым число в некоторых частях севера, а особливо на востоке, день от дня умножается, до какого-либо предприятия им полезного, а их противоборникам вредного»¹⁾.

Война с Францией, очень разорительная для испанского народа, кончилась поражением Испании. Государственная задолженность увеличилась на 1.269 млн. реалов и в дальнейшем все более прогрессировала. В то время как обычный ежегодный дефицит в государственном бюджете составлял 150 млн. реалов, ежегодный дефицит к 1797 г. достигал 800 млн. реалов. Но это обстоятельство мало затрагивало королевский двор, который сам пожирал четверть всех государственных доходов. Правление Карла IV отмечено насаждением придворных фаворитов и прихлебателей казны, массовым производством генералов, в свою очередь поедавших значительную часть государственных доходов. Достаточно отметить, что в одном только 1802 г., по случаю свадьбы принца, на армию в количестве 50 тысяч человек состоялось новое единовременное производство 57 фельдмаршалов, 26 генералов и несколько сот полковников. В 1807 г., т.-е. за год до революции, флотом, который имел всего 15 годных кораблей, командовали: 1 гросс-адмирал, 2 адмирала, 29 вице-адмиралов, 63 контр-адмирала, 80 капитанов линейных кораблей и 134 капитана фрегатов.

Фаворит Годой, министр иностранных дел с 1792 г., а затем и глава правительства, был в числе наиболее активных лиц, провоцировавших войну против революционной Франции. Он же после поражения Испании выступил с предложением мира. 22 июля 1795 г. он заключил мир (Базельский мир), уступив Франции испанскую часть Сан-Доминго. Годой использовала затем диктатура крупных французских спекулянтов — Директория, с которой Годой 19 августа 1796 г. заключил оборонительный и наступательный союз, направленный, главным образом, против

¹⁾ Трачевский, «Испания XIX в.».

Англии, что явилось поводом для столкновений с последней. За эту свою деятельность Годой был награжден необычным титулом «князя мира».

Наполеон I, осуществлявший впоследствии свои захватнические планы в Западной Европе, всемерно стремился использовать Годоя для захвата и Пиренейского полуострова (Испании и Португалии). Наполеон, зная алчность и честолюбие Годоя, обещал ему княжество, добившись таким образом подписания договора о прохождении французских войск через Испанию в Португалию для борьбы с Англией. Но, вступив в Испанию, Наполеон начал прибирать ее к своим рукам. В 1808 г. количество французских войск в Испании достигло 100 тысяч человек.

Наполеон, с целью установления своей власти в Испании, использовал также распри и интриги в королевской семье. Сын Карла IV, Фердинанд, стремившийся привлечь симпатии народа на свою сторону, всячески выступал как против ненавидимого народом Годоя, так и против своего отца и матери, доверявших и покровительствовавших Годю. Все возраставшее народное недовольство привело к тому, что король и королева, по совету Годоя, сделали попытку бежать из столицы. Возмущенные толпы народа потянулись в Аранхуэс, где в то время находилась королевская семья. Годой — «колбасник», как его звали в народе, — был схвачен и арестован. Его дворец был сожжен. Карла IV вынудили отказаться от престола в пользу сына — Фердинанда.

19 марта 1808 г. отречение Карла IV было оформлено особым актом. Фердинанд, чтоб подчеркнуть разрыв со старой политикой, приказал конфисковать все имущество Годоя.

Но, отказавшись от короны из страха перед собственным народом, Карл IV все же не думал совсем от нее отречься. Он обратился за помощью к Наполеону. В письме к последнему Карл IV писал, что «бросается в объятия великого монарха и, полный доверия к великодушью и гению великого человека, во всем подчиняется его решениям, которые

одни только могут составить его счастье».

Династическая распря была на-руку Наполеону. Он пригласил Фердинанда для разрешения «семейных споров» в Байонну (Франция), обнадеев его, что спор будет разрешен в его пользу. Он пригласил также в Байонну Карла IV, его жену и Годоя. Заманив их таким образом на французскую территорию, Наполеон принудил Фердинанда отказаться от короны в пользу своего отца. Вслед за этим при посредстве Годоя он заставил и Карла IV отказаться от испанской короны в свою пользу. Карл выставил лишь следующие условия: 1) должна быть обеспечена целостность Испании; 2) принц, который Наполеоном будет назначен для управления Испанией, должен считаться независимым; 3) римско-католическая религия должна считаться единственно признанной в Испании. За свой отказ от короны Карл получал императорский замок в Компьене (Франция) с парком и окружающими его лесами и цивильный лист в 30 млн. реалов. В случае смерти Карла его супруге обеспечивалось два миллиона реалов в год и каждому из инфантов 400 тысяч франков.

Что касается Фердинанда, то Наполеон распорядился отправить его в замок Валенсей, написав Талейрану, чтобы все устроить для его забавы. «Если бы принц Астурийский¹⁾, — писал Наполеон, — привязался к какой-нибудь хорошенькой девушке, это было бы недурно, в особенности если она надежна. Для меня чрезвычайно важно, чтобы он не наделал глупостей. Поэтому я желаю, чтобы его забавляли и занимали».

Фердинанд, сыгравший впоследствии столь роковую роль в истории Испании, не особенно упорствовал. Из Испании шли тревожные слухи о подеме народных масс. Дворянство и духовенство, стремившиеся влиять на народ, выставляли лозунг «освобождения из плена Фердинанда», как лозунг народной борьбы. Но личные советники Фердинанда подсказывали последнему бесполезность борьбы против мощного Напо-

¹⁾ Таков был титул наследного принца.

леона. Да и самому Фердинанду больше улыбалась перспектива веселого времяпрепровождения во Франции, нежели хлопотливого управления в Испании. Его сторонники в Испании из сил выбивались, чтобы устроить ему побег из Франции, но Фердинанд отказался от побега, оставив, однако, при себе присланную для этой цели крупную сумму денег. Он ограничился лишь тем, что через пробравшегося в Байонну испанского курьера передал в Испанию декрет, в котором уполномочивал создающуюся хунту управлять от его имени. Сам он, решив остаться во Франции, написал об этом Наполеону, прося у него, кстати, и руку его племянницы.

Покончив таким образом с королевской семьей, Наполеон решил посадить на испанский трон своего брата — Жозефа Бонапарта. Наполеон решил это обставить «ходатайством» от имени «испанского народа». Он приказал Мюрату, стоявшему во главе французских войск в Испании, собрать представителей испанской знати, заседавших в хунте, в совете Кастилии и в мадридской ратуше, и от их имени инсценировать «волю народа» о приглашении на испанский трон Жозефа Бонапарта. Продажная знать легко пошла на это.

«Короли в Байонне, — писала хунта Наполеону, — не могли лучше доказать своей любви к нации, как признав, что счастье Испании неразрывно связано с политикой императора. Долой Пиренеи! — вот вечная заветная мечта истинных испанцев. К счастью, мы знаем, что ваше величество не только все предвидит, но и все осуществляет с величайшей быстротой. Всякий принц императорской фамилии принес бы Испании ручательство в могуществе. Но Испания имеет право на привилегию: так как ее трон стоит на величайшей высоте, то, кажется, на нем подобает восседать старшему из высокых братьев вашего величества, мудрость и добродетели коего внушают всем чувство уважения и восторга».

И когда Жозеф Бонапарт явился из Неаполя в Испанию, та же знать встретила его заискиванием и лестью.

«Государь, — говорил Бонапарту от лица депутации грандов герцог Инфентадо, — гранды Испании всегда славилась верностью своему королю; так же и теперь ваше величество найдет в них прежнюю верность и привязанность».

Но в то время, как короли и знать раболепствовали перед завоевателями, предавали интересы нации и умоляли лишь об оставлении им их старых привилегий и льгот, испанский народ поднялся на защиту своих национальных прав.

Испанский народ вынужден был отстаивать свободу против французов, которые до тех пор служили примером для всего, что было прогрессивного в Испании, против страны, которая была провозвестницей свободы.

2 мая 1808 г. в Мадриде вспыхнуло восстание против французов. По приказу Наполеона командующий французской армией в Испании, Мюрат, должен был действовать, «как некогда в Египте». Французские войска подавляли это восстание с беспрецедентной жестокостью. Испанская знать была заодно с французами. Трибунал инквизиции в своем воззвании в свою очередь клеймил «революционные выходки, которые прикрывались маской патриотизма и любви к королю».

Но восстание 2 мая было сигналом для всей Испании.

Поднялись астурийцы. В полночь 24 мая 1808 г. загудели колокола Овиедо, и народ, захватив оружие в цейтгаузе, провозгласил войну против Наполеона.

За Астурией последовала Сарагосса. Толпы крестьян встали на защиту народа. Французский генерал Лефевр все же сумел прорваться в город, но в узких улочках он был встречен градом пуль, камней, брусев. Из окон и с крыш женщины обливали французских солдат кипятком. Французам с боем приходилось брать каждый дом. Особенно пострадал в этих боях отряд польских кавалеристов, составлявших часть армии Лефевра. Отряд этот оказался окруженным вооруженной толпой, образовавшей живую стену. В то же время ребяташки пробирались под лошадей и распарыва-

ли им животы. Генерал Лефевр отступил перед этим сопротивлением.

17 июня 1808 г., получив подкрепление, генерал Лефевр предложил городу сдаться, заявив, что «иначе все жители будут переколоты». Когда власти Сарагоссы созвали народ, объявили ему этот ультиматум и спросили, продолжать ли оборону, единодушный ответ был: «До смерти!».

26 июня французы вновь пошли в наступление. Город отбил атаку. 30 июня французы открыли канонаду из 30 тяжелых и 16 других орудий. В этот и последующий день они выпустили по городу 1.400 бомб и гранат. Пробив бреши в отдельных укреплениях, французы пошли на штурм. Первые испанские батареи на окраине города были взяты. Но дальше французы не могли двинуться. Улицы были преграждены баррикадами. Каждый дом был крепостью, из которой огонь косил наступающих французов. Командовавший на этот раз французский генерал Вердье, не будучи в состоянии сломить сопротивление, отдал приказ об отступлении и написал Наполеону о присылке подкреплений.

Пример Сарагоссы укрепил веру испанского народа в свои силы. Поднялись Галисия, Валенсия, Кордова, — скоро вся Испания полыхала огнем восстания против чужеземных захватчиков.

Еще с конца мая 1808 года по всей Испании начался набор рекрутов и борьба против тех, которые мешали организации отпора. В Севилье толпа убила главу городского самоуправления, графа Агвила, за то, что он колебался в оказании помощи народу. В Кадиксе народ расправился с генерал-капитаном Андалузии, маркизом дель Сокорро, за то, что он отказался открыть огонь против французских судов, находившихся возле порта.

При этом дело не обходилось и без крупных поражений. Маневренное искусство французских генералов брало верх в открытых боях над наспех составленными испанскими отрядами. Так, в середине июля, благодаря ловким обходным движениям французов, испанцы были разбиты у Риосеко, где они оста-

вали на поле сражения свыше 4 тысяч убитых. Наполеон с удовлетворением принял весть об этой победе, считая ее решающей. Но он глубоко ошибся. Борьба только начиналась, и французы вновь терпели поражения, когда им приходилось сражаться в горах или брать города.

Уже через несколько дней после французской победы у Риосеко маршал Монсей во главе 9-тысячного корпуса подошел к Валенсии. Оросительные каналы оливковых и цитрусовых садов были первыми преградами, за которыми окопались вооруженные крестьянские отряды. Преодолев их сопротивление, Монсей, невзирая на потери, добрался до стен города. Здесь, как и в Сарагоссе, каждая улица была преграждена баррикадами, а дома превращены в маленькие крепости. 28 июня первые две французские штурмовые колонны были отброшены населением города. Дальнейшие наступления также окончились неудачей. Между тем партизанские отряды беспокоили тыл и фланговые части французов. Отчаявшись добиться успеха, маршал Монсей отдал приказ об отступлении и вернулся в Мадрид.

20 июля 1808 г. Жозеф Бонапарт, окруженный раболопной лестью испанских грандов, предателей своего народа, вступил в Мадрид. Но в этот же день, когда Жозеф Бонапарт обосновался в Мадриде, наполеоновская армия понесла тяжелое поражение в Андалузии. Французы, в количестве 14 тыс. человек, под начальством генерала Дюпона направились из Толедо в Кадикс, чтобы помешать высадке английского десанта. На всем пути фланговые части французов попадали под огонь герильеров (народных повстанцев, партизан). В узких ущельях Сиерры-Морены французы оказались окруженными со всех сторон. Генерал Дюпон слал гонцов в Мадрид с просьбой о помощи. В это время его армия, чтобы прокормиться, грабила население, увеличивая к себе ненависть. Наконец, помощь пришла, но недостаточная для того, чтобы овладеть положением. Французы вынуждены были лишь обороняться. Повстанческие отря-

ды, под начальством Кастаньеса, перешли в генеральное наступление. Французская армия, истощенная голодом, в конечном счете потерпела поражение и в количестве 17 тыс. человек вынуждена была сдать и сложить оружие возле Байлена. Это еще больше подняло дух и настроение восставших. Победители при Маренго, Аустерлице и Йене оказались побитыми крестьянскими отрядами.

Это поражение вызвало злобное возмущение Наполеона. 3 августа 1808 г. он писал своему брату Жозефу: «Дюпон осрамил наши знамена. Что за глупость и подлость! Такие события требуют моего пребывания в Париже. Германия, Польша, Италия и другие подают друг другу руку. Мне больно, что в этот момент я не могу быть с тобою и среди своих солдат. Я посылаю тебе Нея и сто тысяч солдат. К осени Испания должна быть завоевана».

31 июля 1808 г. Жозеф Бонапарт, спасаясь от восставшего народа, вынужден был бежать из Мадрида в Бургос. Французы вынуждены были очистить вскоре всю южную и центральную Испанию и отступили за линию реки Эбро.

«Таким-то образом,—пишет Маркс,—случилось, что Наполеон, подобно всем людям своего времени, считавший Испанию безжизненным трупом, роковым образом должен был с изумлением убедиться, что если испанское государство было мертво, то испанское общество было полно жизни, и в каждой его части били через край силы сопротивления»¹⁾.

Победы народных масс внушили новые страхи господствующим классам Испании. Чтобы удержать народ под своим влиянием, они, еще вчера робко ползавшие перед французами, быстро переметнулись на сторону народа, объявили себя его защитниками, вступали в хунты, но с тем лишь, чтобы на деле изменять народу, доверявшему им.

«Народ,—пишет Маркс,—был до того проникнут сознанием своей беспо-

мощности, что инициативу он проявлял только в том, что принуждал высшие классы к сопротивлению против французов, вовсе не претендуя на участие в руководстве этим сопротивлением»¹⁾.

Героическое сопротивление испанского народа расстраивало захватнические планы Наполеона. Его больше всего приводило в бешенство выступление «голландцев», как он называл народные массы, в то время как господствующие классы готовы были пойти с ним на соглашение. Наполеон усилил свой натиск на Испанию, пытаясь любой ценой раздавить народное движение, но посылаемые им все новые полки встречали повсюду яростное сопротивление крестьян, рабочих и мелкой буржуазии городов. Стоило появиться французскому отряду, как колокольный звон созывал народ, и начиналась смертельная борьба. Наполеоновские войска разбивали герильеров в одном месте, но повстанческие отряды вырастали в других местах.

Особенные трудности испытали французские войска в Каталонии и в провинциях басков. Ущелья гор и ложбины зачастую становились могилой французских отрядов. Оставшиеся в живых французы были обречены на голод, поскольку население отказывало им в продовольствии.

Опытные генералы Наполеона отступали перед этой яростью народных масс. Самая территория Испании, изрезанная горами, создавала повстанцам выгодные условия для борьбы с врагом. Наполеоновский маршал Келлерман, один из участников победы над прусскими войсками при Вальми в 1792 г., признавался:

«Тщетно отсекаешь головы гидре: они снова вырастают, не здесь, так там... Долго не удастся подчинить этот большой полуостров... Я все думаю, что тут нужна голова и рука Геркулеса».

Маршал Ланн, ранее сопровождавший Наполеона в его египетских и итальянских походах, писал императору:

«Государы! Это совсем не то, чему мы научились в войне. Я не видал та-

¹⁾ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. X, стр. 722.

¹⁾ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. X, стр. 729.

кого упорства. Несчастные защищаются с яростью, которой нельзя себе представить. Я видел, как женщины отдавали себя на смерть... Это война, приводящая в содрогание».

Наполеон неистовствовал по поводу медлительности и малой эффективности военных операций французских войск в борьбе против испанского народа. «Мои войсками командуют не генералы, а почтмейстеры», — заявлял он. Во главе новых сил 5 ноября 1808 г. он лично явился в Испанию, чтобы поднять дух своих войск. Напрягая силы, Наполеон снова отвоевывает город за городом. 30 ноября он достигает подножья Гвадаррамы. Наполеон решил овладеть снова Мадридом с севера, что представляется очень сложным предприятием. Один за другим направляет он против города батальоны, которые падают под огненным дождем защитников. Невзирая на потери, Наполеон 2 декабря 1808 г. добрался до предместья Мадрида. Народ защищал каждую пядь земли, в то время как руководящая хунта, сама создав панику, бежала. Народу пришлось бороться не только против французов, но и против измены хунты, состоявшей большей частью из знати. Отдельные члены хунты, скрывшиеся в самом Мадриде, с тем чтобы выждать занятия города Наполеоном, были обнаружены и, как изменники, расстреляны.

Женщины, дети строили баррикады. Два раза Наполеон предлагал сдачу Мадрида, и оба раза получался отказ защитников города. Наконец, ожесточенным штурмом, терпя крупные потери, Наполеон 4 декабря врывается в город. Жозеф Бонапарт снова занял свой шаткий трон в столице. Но Наполеон уж не доверял брату. Он вскоре сместил его и провозгласил себя самого королем Испании.

Чудеса героизма вновь показала Сарагосса с ее 55-тысячным населением, которое изо дня в день укрепляло город. Улицы покрылись баррикадами и канавами. Нижние этажи в домах были заколочены, а верхние превращались в укрепления. Крестьяне оказывали помощь продовольствием.

В конце декабря 1808 г., т.е. через пять месяцев после первой осады, французский генерал Жюно во главе 18-тысячной армии вновь появился под стенами города.

2 января 1809 г. французы с большими потерями преодолевают первые препятствия предместий. 11 января, после кровопролитной схватки, они овладевают монастырем Сан-Хозе, находящимся вне города. Их продвижение к самому городу задерживалось партизанами, которые тревожили тыл и препятствовали снабжению французов. Силы французов оказались недостаточными для того, чтобы сломить сопротивление населения Сарагоссы. После трехнедельной осады города маршал Лани, сменивший Жюне, вытребовал новые войска. Лишь 26 января вновь начался генеральный штурм, приведший французов в предместье города. Дальше они двинуться не могли, так как из каждого дома, с крыш и окон по ним стреляли, обливали кипятком, забрасывали камнями. Штурмовать пришлось каждый дом. Прорвавшись в нижний этаж, они встречали затем сопротивление забаррикадировавшихся в верхних этажах. Приходилось брать с бою каждую комнату. Отчаявшись взять штурмом дома, французы начали взрывать их, но население создавало огневые препятствия, задерживая французов пожарами. В течение двух недель французам удалось завоевать только 2 улицы. Среди французских солдат обозначилось недовольство. Ежедневно выбывало из строя около 300 человек не столько уж от боев, сколько от болезней. И среди защитников только одна треть могла продолжать сопротивление. И все же, когда через 1½ месяца осады отдельные лица подняли вопрос о сдаче, это вызвало всеобщее возмущение. Лишь 21 февраля хунта обороны города, учтя продовольственное положение и отсутствие боевых припасов, постановило о сдаче. Мимо победителей прошли исхудалые, измученные защитники города, побежденные голодом, болезнями и сознанием, что одними голыми руками нельзя уже защищаться. Сами победители понимали,

что этим борьба не закончена. Взят был еще один город, но народ не был побежден. Он сторожил их по всем дорогам и тропинкам гор. Расширялась война герильеров.

Маленькие отряды от 10 до 500 человек рыскали по дорогам, причиняя большой урон французам, перехватывая их обозы, почту, курьеров и нападая на отдельные части. Иногда эти отряды соединялись под руководством отдельных зарекомендовавших себя подвигами лиц. Такими вождями были крестьянин Дон-Хуан Мартин Диас и офицер Дон-Хуан Порлиер. Маршал Ней пробовал было предпринять «очистку» одной местности от герильеров. Но стоило ему уйти со своими войсками, как они снова появлялись на старом месте. Сила герильеров была в том, что почти все население им сочувствовало, помогало.



Сокрушая с большими человеческими потерями сопротивление испанцев, Наполеон вместе с тем призывал их «образумиться». Он доказывал, что несет им свободу. Еще в Байонне, когда Наполеон устраивал на испанский трон Жозефа Бонапарта, он предложил создать конституцию, в которой некоторые идеи французской революции и испанские феодальные пережитки переплетались вместе. Наполеон, например, предложил созыв испанского парламента в количестве 172 депутатов, из которых 80 должны были назначаться королем по спискам, представленным торговыми палатами, университетами и высшими правительственными учреждениями. Рядом с парламентом должен был функционировать сенат из 24 человек, пожизненно назначаемых королем. Провозглашалось равноправие колоний. Католичество попрежнему объявлялось государственной религией, хотя на практике Наполеону во всех завоеванных странах пришлось вести упорную борьбу против католических учреждений, — борьбу, которая усилилась после пленения Наполеоном папы римского (1809 г.) и захвата так называемой

Церковной области в Италии. Это не могло не поднять против него и значительную часть испанского духовенства. Даже трибунал инквизиции, пресмыкавшийся вначале перед Жозефом Бонапартом, вынужден был, под давлением верующих масс, занять враждебное положение. Наполеон не оставался в долгу: он закрывал в Испании монастыри, упразднял монашеские ордена, уничтожал инквизицию.

По выработанной им конституции Наполеон сохранял права дворянства на землю, но лишал их отдельных феодальных привилегий. Он уничтожал вотчинные суды и пытки, вводил новые административные и судебные учреждения, напоминавшие французские. Он уничтожал и внутренние таможи и наметил создание торгового законодательства для всего государства.

Всем этим Наполеон делал уступку землевладельческому классу и в то же время хотел привлечь на свою сторону буржуазию и крестьянство.

«Испанцы, — говорил Наполеон в своем воззвании, — ...ваши государи уступили мне права на испанскую корону. Я не хочу властвовать над вами: я желаю приобрести право на вечную любовь и благодарность ваших потомков. Ваша монархия устарела, и мое назначение — обновить ее. Я улучшу ваши учреждения, доставлю вам благодеяния реформ без потрясений и беспорядков. Я дам вам конституцию, которая соединит священную и благотворительную власть государя с свободой и привилегиями народа. Испанцы! Вспомните, чем были ваши отцы, чем стали вы сами. Это вина не ваша, а дурных правительств. Будьте вполне уверены в будущем, ибо я хочу, чтобы память обо мне дошла до ваших отдаленнейших потомков и чтобы они воскликнули: он — возродитель нашего отечества!».

Но все эти призывы звучали впустую для испанского народа. Грабежи наполеоновских войск, их расправы с населением, пренебрежение к национальному чувству широких масс населения вызывали повсеместно все возрастающее возмущение и сильный под'ем патриотизма, особенно среди крестьянства.

Наполеон вынужден был вскоре оставить Испанию. Уже в январе 1809 г., когда военные операции в Испании были в разгаре и его армии двигались к Португалии, Наполеон получил вдруг известие, что Австрия решительно готовится к новой войне с Францией. Он поспешно возвращается во Францию, оставляя дальнейшие операции своим маршалам Сульту, Сюше, Ланн, Массене и Мормоне.

Война, продолжавшаяся с прежней жестокостью, вызывала вместе с тем и политическое возрождение испанского народа.

Еще с первых дней национально-освободительной борьбы по всей стране начали возникать провинциальные и окружные хунты (собрания). Национально-революционное движение стало началом первой испанской буржуазной революции, с которой крестьянство связывало свои надежды на получение земли. Но под'ем масс заставил буржуазию насторожиться. В слабо развитой капиталистической Испании того времени буржуазия не представляла собой такой крупной силы, как во Франции. К тому же крупная буржуазия хотя и выступала за экономии в государственном аппарате и против расточительности двора, но, наживаясь на займах государству и земельной аристократии, она считала себя связанной с ними. В хунтах представители крупной буржуазии вместе с представителями феодализма боролись за сохранение старых порядков. Крупная буржуазия соглашалась лишь на те реформы, которые должны были убрать рогатки, мешавшие ей занять равное положение с земельной аристократией.

Буржуазия не использовала под'ема народных масс по всей Испании, чтобы привести страну к национальному единству, как это сделала французская буржуазия. Пережитки феодальной раздробленности сказывались и во время революции. В различных районах Испании возникли сразу 16 «высших правительственных хунт», которые начали спор между собою за руководство в качестве наместников короля Фердинанда. «Высшая хунта Испании и Индии», ор-

ганизовавшаяся в Севилье и получавшая оружие и деньги от Англии для войны против французов, ничего не дала каталонским повстанцам, — оказывавшим отчаянное сопротивление наполеоновским войскам, — на том основании, что каталонцы — «чужие». В Арагонии хунта откопала даже старый статут арагонского королевства, который намеревалась положить в основу управления. Когда 25 сентября 1808 г. в Аранхуэсе собралась центральная хунта, то в качестве представителей от местных хунт оказались гранды, прелаты, сановники и т. п. Во главе хунты очутился придворный Карла IV Флоридабланка. Естественно, что в таком составе центральная хунта в сложнейший момент национально-освободительной борьбы и борьбы против интервенции не могла подняться до роли французского Конвента. Последний хотя и стоял на страже собственности, но все же в интересах национальной обороны и защиты революционных завоеваний, в интересах поднятия на борьбу масс бил по феодализму, проводил конфискацию земли у церкви и у эмигрантов. Центральная же хунта в Испании под видом национальной защиты противилась социальным изменениям, ограждая тем самым интересы крупного землевладения, церкви и монархии.

Центральная хунта посылала на места комиссаров, которые устанавливали контрреволюционные порядки там, где делались попытки выйти за пределы старых порядков. В Астурии, например, провинциальные и окружные хунты, под давлением народных масс, объявили всеобщую воинскую повинность без различия классов, обложили налогами помещиков и богачей, повели борьбу против бюрократии, наложили руку на доходы духовенства и т. д. Центральная хунта послала в Астурию генерала Романа, которого солдаты прозвали «маркизом де ла Ромериас»¹⁾, потому что он всегда предпринимал марши, избегая сражений. Этот генерал Романа, прибыв в Астурию, распустил прогрес-

¹⁾ От слова «ромерна» — паломничество, хождение по святым местам.

сивные хунты, а ее членов заменил своими ставленниками. Аналогичными контрреволюционными подвигами отличался в Валенсии другой уполномоченный центральной хунты — барон Лабадору. Сама центральная хунта обставила себя внешней театральной декоративностью, которая присуща была всем феодальным испанским верхушкам.

«Как напыщенные герои Кальдерона, — пишет Маркс, — которые, принимая условные титулы за настоящее величие, докладывают о себе утомительным перечислением всех титулов, так и Хунта прежде всего занялась присвоением себе почестей и отличий, соответствующих ее выдающемуся положению. Ее президент получил титул «высочества», прочие члены — «превосходительства», а всей Хунте в целом был присвоен титул «величества». Ее члены нарядились в маскарадный костюм, похожий на генеральский, украсили грудь значком, изображающим Старый и Новый свет, и назначили себе годовое содержание в 120.000 реалов. В полном согласии с духом старой испанской традиции они считали, что величественно и достойно вступить на историческую сцену Европы вожди восставшей Испании могут, только задрапировавшись в театральные костюмы»¹⁾.

Что могло дать это шутовское собрание лиц, на которых история возлагала обязанность быть рулевым в такой важный и поворотный момент общественного развития Испании? Хунта ослабляла революционную энергию масс, вызывала среди крестьян сомнения в целесообразности движения.

«Но Центральная хунта, — пишет Маркс, — мало того, что мертвым грузом повисла на испанской революции, она в буквальном смысле действовала в пользу контрреволюции: восстанавливала прежние власти, снова ковала уже разбитые цепи, старалась тушить пламя революции всюду, где оно загоралось, бездействовала сама и мешала действовать другим»²⁾.

Кто же двигал революцию?

«Если крестьянство, — пишет Маркс, — жители маленьких городов внутри страны и многочисленная армия нищих в рясах и не в рясах, глубоко пропитанные религиозными и политическими предрассудками, составили огромное большинство национальной партии, она содержала также деятельное и влиятельное меньшинство, видевшее в борьбе народа против французского нашествия сигнал к политическому и социальному возрождению Испании. Это меньшинство состояло из жителей портовых и торговых городов и отчасти тех провинциальных центров, где при Карле V отчасти развились материальные условия современного общества. Они подкреплялись культурными элементами высшего и среднего классов, писателями, врачами, адвокатами и даже священниками, которым Пиренеи не преградили доступа к философии XVIII века... Наконец, в Испании была еще буржуазная молодежь, как, например, университетское студенчество, с увлечением примкнувшая к стремлениям и принципам французской революции и одно время даже питавшая надежду возродить родину с помощью Франции»¹⁾.

Прогрессивная часть буржуазии представляла меньшинство в центральной хунте. Ее виднейшим представителем был старик Ховельянос — ученый и публицист, который еще при Карле III вел борьбу за обложение духовенства, а при Карле IV, будучи недолгое время министром юстиции, вынужден был уйти в отставку из-за борьбы с Годзем. Но это был человек не революционного действия, человек, сторонившийся масс. Ховельянос был кабинетный реформатор, не шедший дальше буржуазных либеральных теорий, не способный к практической борьбе, в особенности в такие моменты, когда нужно было непосредственно руководить поднявшимися массами, когда нужно было направлять их на ломку старых, феодальных устоев.

Было, правда, несколько представителей хунты, главным образом из ин-

¹⁾ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. X, стр. 733—734.

²⁾ Там же, стр. 739.

¹⁾ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. X, стр. 727.

телигенции, которые более решительно выступали с требованиями политического и социального обновления. Среди этой интеллигенции выделялся представитель Сарагоссы — Кальво да Росас. Но и эта более активная часть буржуазии и интеллигенции не шла до конца с народом. Даже тогда, когда волна национально-революционного движения поднялась особенно высоко, буржуазная интеллигенция не сумела направить это движение народных масс в русло борьбы против феодализма, как это сделала в свое время французская буржуазная интеллигенция.

Центральная хунта стала скоро столь ненавистна народу, что по переезде из Аранхуэса в Севилью члены ее чуть не подверглись растерзанию. Ее спас командующий английскими войсками на Пиренейском полуострове — Веллингтон.



Те же причины, которые обусловили слабость хунт, породили затем и беспомощность созданных кортесов. Новые кортесы были уже не представителями сословий, как это было до сих пор, а выбирались всеобщей подачей голосов, с теми, конечно, ограничениями, которые вообще присущи буржуазному «всеобщему» избирательному праву. Правом голоса на выборах пользовались граждане, достигшие 25 лет. На каждые 50 тысяч граждан полагалось по одному депутату. Кроме того, провинции и 37 городов посылали по одному депутату. Было также дано представительство колониям и жителям территорий, занятых неприятелем.

Выборная кампания, в условиях национально-революционной борьбы и явного предательства феодальных слоев и крупной буржуазии, давала возможность средним и мелким слоям буржуазии мобилизовать крестьянские массы вокруг демократических требований и тем самым направить их против феодализма. Так поступали революционные слои французской средней и в особенности мелкой буржуазии во время французской революции. Чем больше была опасность, тем глубже вклинились

они в массы. Этим создалось впоследствии положение, при котором сама масса диктовала свою волю Конвенту. В Испании же буржуазия, наоборот, покорно уступала власть духовенству, старой чиновной бюрократии и др., которые, как и в центральной хунте, составили большинство кортесов.

Социальный состав выбранных кортесов был следующий: священников — 97, дворян — 8, военных — 37, профессоров — 16, юристов — 60, высших чиновников — 55, крупных землевладельцев — 15, моряков высших рангов — 9, торговцев — 5, писателей — 4, врачей — 2.

Такой состав, в котором около трети было одних священников, предрешил и политику кортесов. 24 сентября 1810 г., под возгласами народа «Viva la Nación!» («Да здравствует нация!») кортесы приступили к работе.

Главнейшей задачей была, конечно, задача обороны страны, борьба за национальную независимость. Кортесы, однако, не столько пытались опереться на народные массы, сколько на англичан, которые заинтересованы были в том, чтобы отстоять Португалию, укрепить свои позиции против Наполеона и на всем Пиренейском полуострове.

Англичане, занимавшие под командой Веллесли (будущего лорда Веллингтона) крепкие позиции в Португалии, сумели оттеснить французов и начать их преследование. В 1811 г. англичане вступили в Испанию, взяли пограничную крепость Бадахос, разбили французов и при Альмейде. Веллслей, в соединении с испанскими силами, нанес поражение французам и у Талаверы, за что получил титул лорда Веллингтона. Но и англичане грабили население, вызывая к себе неприязнь народа. Это была одна из причин, из-за которой победоносные английские войска вынуждены были затем отступить обратно к португальской границе, к Бадахосу.

Но к тому времени дела Наполеона пошли хуже. Война с Россией оттягивала все его внимание, и он даже распорядился перебросить на восток 25 тысяч солдат из Испании. Началась грызня и между его маршалами в Испании. В

1812 г. решительная победа Веллингтона у Саламанки продвинула английские войска и испанских повстанцев к Мадриду, который и был занят 12 августа 1812 года.

Освобождение значительной части территории от французов подняло на время дух либеральных элементов. Формально считалось, что носителем верховной власти является нация. Но продолжаясь колеблющаяся позиция либералов, не дерзнувших опереться на нацию, на ее большинство, на крестьянские массы, продолжала их держать в колеснице реакционной монархии.

24 сентября 1810 г. чрезвычайные кортесы собрались на острове де-Леон. Либералы не выступали против предложенного и утвержденного положения о том, что «законодательная власть передается кортесам совместно с королем». Король Фердинанд, проявивший себя как изменник в плену у Бонапарта, продолжал считаться «законным королем». Кортесы ограничивали лишь его полномочия на время плена. 1 января 1811 г. кортесы приняли постановление, лишающее законной силы всякий документ, подписанный королем за время его пленения, но тут же добавили: «Нация будет повиноваться ему лишь тогда, когда увидит его среди своих верных подданных, в кругу конгресса или правительства, установленного кортесами».

20 февраля 1811 г. кортесы перенесли свои заседания в Кадикс, а 19 марта 1812 г. они приняли первую конституцию испанского государства, которая осталась непревзойденным для испанской буржуазии документом в течение всего XIX века.

В силу затруднений, чинившихся французскими оккупантами, в кортесах оказались представленными не все провинции. Большинство представителей, сумевших принять участие в обсуждении конституции, были на этот раз демократического направления. Но и это большинство не решалось резко порвать со старыми, консервативными установлениями.

Конституция 1812 г. предоставляла избирательное право всем гражданам.

за исключением прислуги, обанкротившихся и преступников. Начиная с 1830 г., конституция устанавливала для избирателей и образовательный ценз, т.-е. умение читать и писать (ст. 25). Порядок выборов был намечен трехступенный: по приходам, округам и провинциям. Чтобы иметь право быть избранным в депутаты, требовалось иметь от роду 25 лет, ценз оседлости или занятия в течение 7 лет в данной провинции (ст. 91) и соответствующий годовой доход от личной недвижимой собственности, что откладывалось, однако, до того времени, когда кортесы объявят о применении этого условия (ст. 92 — 93).

Принятием конституции 1812 г. кортесы провозглашали ряд революционных мероприятий. Уничтожались внутренние таможи, что приближало страну к объединению в единый национальный рынок. Уничтожались феодальные привилегии, как охотничье, рыболовное и мельничное право. Провозглашалась всеобщая воинская повинность. Конституция ввела прогрессивный налог, отменяла «вотум Сан-Яго», т.-е. налоги лучшим хлебом и вином, которые население вносило на содержание архиепископа и капитула Сан-Яго. Кортесы посягнули на королевские домены с тем, чтобы передать их в собственность крестьянам и демобилизованным солдатам. Признаны были равные права за американскими колониями. 90 голосами против 60 кортесы высказались также за несовместимость инквизиции с конституцией 1812 года.

Конституция 1812 г. во многом напоминает первую конституцию (1791 г.) французской революции. «Конституция 1812 г., — пишет Маркс, — представляет воспроизведение древних «fueros», понятий, однако, в духе французской революции и приспособленных к нуждам нового общества»¹⁾.

Принимая под давлением масс смелые решения, большинство кортесов все же уступало реакции, оставляя открытыми двери для сил прошлого. Конституция,

¹⁾ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. X, стр. 751.

например, в отношении религии заявляла:

«Религия испанского народа есть и будет всегда и навеки католическая, апостолическая, римская — единственная истинная религия. Народ защищает ее мудрыми и справедливыми законами и запрещает исповедывание других религий...» (ст. 12).

Так были вновь подтверждены права церкви. Кортесы, приняв множество прогрессивных постановлений, приняв конституцию, ничего, однако, не сделали, чтобы практически провести их в жизнь, чтобы очистить государственный аппарат от старой бюрократии, стремившейся дискредитировать кортесы и их революционные мероприятия, которые, таким образом, оставались только на бумаге. Тем самым оставалась благодарная почва для реакции.

К тому же военное положение создавало экономические затруднения, которые усложнялись и обострялись в связи с революцией. Духовенство, сторонники монархии, заседавшие в государственном аппарате, использовали все эти затруднения для наступления. Каждый удобный случай использовался ими для того, чтобы направить 'низы населения против революционных новшеств, выставляя их причиной всех неурядиц, в частности продовольственных. Достаточно отметить, что в начале 1813 г. двухфунтовый хлеб стоил в Мадриде 8—9 реалов, а в марте цены на хлеб поднялись до 12—13 реалов. Цены на другие продукты первой необходимости поднялись в 5—6 раз. Давили и возросшие военные налоги. Контрреволюция направляла недовольство масс против кортесов, которые ничего не сделали, чтобы опереться на массы, на крестьянство, чтобы поднять их на борьбу с феодализмом и церковью. Кортесы лишались, таким образом, поддержки социальных слоев, вынесших самые кортесы на вершину власти.

В то время как представители прогрессивной буржуазии захлебывались от пышных фраз, рисовавших «новую эру», «царство свободы» и т. д., реакция готовилась к решительному удару. Этому содействовал и Наполеон. Поход послед-

него в Россию поглотил все его внимание. Сложное положение, создававшееся в связи с неудачами, заставило его в конечном счете махнуть рукой на Испанию и отпустить находившегося у него в плену короля Фердинанда, с условием, что тот не вступит в соглашение с Англией, заключит с Францией торговый договор и восстановит в должности всех подвергавшихся преследованию приверженцев его брата, Жозефа.

22 марта 1813 г. Фердинанд переступил границу Испании и тут же, при активной роли духовенства, стал центром сплочения всех реакционных сил. Кортесы же, больше всего боявшиеся не Фердинанда, а влияния Наполеона, заявляли:

«Король не будет считаться свободным и ему никто не станет повиноваться до тех пор, пока он не принесет присяги, предписанной конституцией».

24 марта 1814 г. Фердинанд пересек границу расположения французских и испанских войск. Кортесы предписали устраивать повсюду королю торжественные встречи и молебствия и постановили ежегодно праздновать знаменательную дату возвращения короля в Испанию. 16 апреля 1814 г. Фердинанд прибыл в Валенсию, где духовенство устроило ему торжественную встречу, демонстративно направленную против кортесов. Нерешительность действий прогрессивных элементов кортесов способствовала возрастанию престижа «мученика-короля, возвращенного народу».

Фердинанд и не думал присягать конституции 1812 г. В самих кортесах реакционные депутаты выступали уже с заявлениями о «незаконности» конституции 1812 г. и о том, что все постановления кортесов являются «изменой в отношении короля и его прав». Все, на что решились прогрессисты, это лишь настоять на уменьшении ассигнований на содержание двора. Если раньше эти ассигнования составляли 90 млн. реалов, то теперь ассигнования были снижены до 40 млн. Но это еще больше озлобило Фердинанда против кортесов.

4 мая 1814 г. Фердинанд опубликовал манифест, где наряду с обещаниями «справедливого правления» и т. п. он

провозгласил кадикскую конституцию 1812 г. и все законы, принятые на ее основе, несуществующими. Неповинуящимся грозила смертная казнь. Вместе с конституцией сошли на-нет и кортесы. Фердинанд повел жестокую борьбу против «бунтовщиков» и герильеров, которых сотнями кидал в тюрьмы и отправлял на казнь. Зато Фердинанд призвал обратно изгнанных до того иезуитов, закрыл все газеты, кроме клерикальных и явно реакционных.

20 июля 1814 г. Фердинанд VII восстановил и инквизицию. Декрет об этом, между прочим, гласил:

«Из всех христианских королей одни лишь испанские монархи носят славный титул «католических королей», потому что они никогда не допускали в своем государстве иной религии, помимо католической, апостолической, римской... Недавние беспорядки, шестилетняя война, истощившая все мои провинции, столь же продолжительное в них пребывание иностранных солдат, принадлежавших к различным сектам и почти поголовно относившихся враждебно к католической религии, беспорядок, являющийся неизбежным результатом подобных несчастий, безучастное отношение к религии в течение всего этого времени, — все это в сильной степени способствовало разнузданности страстей,

дало возможность скверным людям жить так, как им хотелось, и вызывало появление в Испании испорченных и отвратительных взглядов, которые распространены в других государствах. Желаю избавить мою страну от этих ужасных зол и сохранить для нее в чистоте святую религию Иисуса Христа, которую так любит мой народ... я решил, что при настоящих обстоятельствах крайне важно восстановить святой трибунал и дать ему возможность действовать в том объеме, в каком он действовал ранее»¹⁾.

Все пошло по-старому, как будто и не было революции. Все документы, напоминавшие о существовании кортесов и кадикской конституции 1812 г., все либеральные печатные излияния буржуазии были собраны на площади и под пение «Te Deum» («Тебе бога хвалим») сожжены так же, как когда-то в XV веке инквизиция в зловещем ауто-да-фе сжигала научные труды и следы культуры многих столетий.

Так, благодаря нерешительности буржуазии, благодаря ее трусости перед народом и нежеланию опереться на последний, бесславно закончилась в Испании первая буржуазная революция 1808—1814 годов.

¹⁾ Проф. Лозинский. «Святая инквизиция». Изд. «Атенст». 1927 г.

Литература и искусство

1. Н. ГЛАГОЛЕВ — „Пушкин и современность“. 2. Б. МЕЙЛАХ — „Литературные взгляды Пушкина“. 3. А. ВОЛКОВ — „О пушкинском „Временнике““. 4. Г. ГЕОРГИЕВСКИЙ — „Пушкин в Ленинской библиотеке“. 5. ГЕОРГИЙ ЧУЛКОВ — „Народный поэт“. 6. М. ЦЯВЛОВСКИЙ — „Новое о Пушкине в Кишиневе“.

1. ПУШКИН И СОВРЕМЕННОСТЬ

Н. Глаголев

Многие сотни книг, исследований, статей написаны о Пушкине. Но чем объяснить столь часто наблюдаемый разрыв между истолкованием творчества великого поэта «пушкинистами» и восприятием читательских масс? Почему так возмущают читателя привычные для социологов схемы, в которые пытаются втиснуть творчество великого народного поэта? У нас так мало работ, в которых прекрасный облик Пушкина был бы донесен до читателя в неискаженном, неизуродованном виде. У нас так мало работ, в которых бы хоть в какой-то мере уяснялось значение Пушкина для нашей современности, для нашей великой советской эпохи.

В наших школьных программах еще до последнего времени изучение лирики Пушкина ограничивали только произведениями политической лирики («Деревня», «Послание в Сибирь», «Чаадаеву» и др.). Авторы программ и учебников по литературе для средней школы забыли о замечательных статьях Белинского, забыли о прекрасных его словах о воспитательном значении поэзии Пушкина для молодого поколения.

«Ни один из русских поэтов, — писал Белинский, — не может быть столь-

ко, как Пушкин, воспитателем юношества, образователем юного чувства. Поэзия его чужда всего фантастического, мечтательного, ложного, призрачно-идеального; она вся проникнута насквозь действительностью; она не кладет на лицо жизни белил и румян, но показывает ее в естественной, истинной красоте» (т. XI, стр. 395).

Наши вульгарные социологи смертельно боятся всего, что не укладывается в привычные схемы, всего, что говорит о простых человеческих чувствах, что открывает в поэзии мир человеческой личности в бесконечно разнообразных ее проявлениях. И в самом деле, что делать вульгарным социологам, привыкшим талмудически рассуждать о капитализирующемся дворянстве, что делать им с чудной лирикой Пушкина? Что может сказать о необычайно богатой, многосторонней, насыщенной мыслью и эмоциями лирике Пушкина вульгарный социолог? Ничего! Вот почему он и спешит поскорее отвернуться от нее и отдохнуть взором на немногочисленных образцах гражданской поэзии Пушкина.

Вульгарного социолога мало интересуют личность поэта, его думы, его волнения, его переживания, отразившиеся в поэзии, как отражается небо в ясном

зеркале реки. Его не интересует типическое в произведениях поэта и противоречивость его творчества.

Пока разговор идет о прозе, вульгарный социолог с грехом пополам, кое-как еще «философствует» о том, о сем, о хлебных ценах и нашествии Наполеона, о декабристах и крепостниках, о помещиках мелкопоместных и среднепоместных, о «разоблачении» и «примирении», об образах основных и образах второстепенных и т. д. Однако стоит только вульгарному социологу прикоснуться к поэзии, — и он сразу становится втупик. В самом деле, чем может помочь вопрос о хлебных ценах, когда заходит речь о пушкинской «Элегии»? Нет, уж лучше оставить «Элегию» в стороне! Остается гражданская лирика. Но, однако, нужно сказать что-то о художественной ценности и этих произведений. И вот вульгарные социологи начинают усердно выискивать «красоты» и, будучи лишены эстетического такта и художественного вкуса, сразу попадают впро�ак. Не курьезно ли, в самом деле, что авторы учебника для 6-го и 7-го классов средней школы С. Флоринский и Н. Трифонов, разбирая стихотворение «К Чаадаеву», усмотрели свидетельство «значительной художественной силы» именно в том, что Пушкин «вводит в стихотворение слова, в те времена уже вышедшие из употребления в живой разговорной речи (архаизмы): «упование», «отчизна», «внеземлем», «призыванья» и тем самым придает своему произведению несколько необычный, торжественный тон» (стр. 24).

Нередко вульгарный социолог полагает, что весь разбор поэтического произведения сводится лишь к отысканию и перечислению лучших эпитетов. И хорошо еще, если он сумеет отыскать действительно лучшие и самые яркие эпитеты и метафоры. А ведь случается и так, что злополучный автор попадает, что называется, пальцем в небо, и примеры его оказываются на-редкость неудачно подобранными.

Но допустим, что сей подводный камень удачно обойден, эпитеты и метафоры заботливо отысканы, рассортированы, перечислены. Автор, проделав эту утомительную

работу, с облегчением вздыхает, полагая в простоте душевной, что его миссия окончена. А на самом-то деле настоящая работа еще и не началась. Эпитет, вырванный из текста произведения, теряет сразу свое поэтическое звучание, тускнеет, становится мертвым, ненужным. А главное, поэтическая идея стихотворения после всех этих манипуляций нимало не уясняется читателем. Неудивительно, что читатель отворачивается с досадой и нелестными словечками по адресу этаких «анатомов» от литературы.

Поэзия — всегда жизнь, богатая содержанием, мыслью, эмоциями, жизнь, бьющая ключом. И как же сильно она мстит за свое поругание литературным фармацевтам, старательно приготовляющим бесцветные и безвкусные социологические пилюли. Поэзия не терпит холодных, чопорных, надутых рассуждений о ней, рассуждений, умертвляющих ее живую красоту. И чем выше поэт, чем прекраснее его гений, чем ярче горит он, — тем труднее писать о нем, тем более ответственна задача критика, тем больше страсти, огня, критического проникновения в самую сущность поэтического пафоса требуется от него. Тем труднее писать о таком гиганте поэзии, как Пушкин, слово которого живет в веках, продолжая волновать сердца огромных человеческих масс.

Критика — не акафист, не панегирик писателю. Но критика — и не статистическое описание, не социологический комментарий, не простой сухой перечень «красот», не перечисление мотивов, не комбинация определений. Критик должен показать читателю, почему поэзия Пушкина жива сегодня и Пушкин остается любимым народным поэтом, почему на его произведениях воспитываются миллионы, почему и в чем именно он созвучен нашей великой эпохе, почему он близок, понятен, доступен массам, почему он остается «великим учителем искусства» (Белинский).

Колоссальный, ни с чем не сравнимый интерес широких народных масс к творчеству Пушкина в наши дни, размах, который приняла подготовка к ознаменованию столетия со дня смерти вели-

кого русского поэта, превратившаяся в дело исключительного общественного значения, — все это свидетельствует о том, что только с победой великой социалистической революции наследие классиков прошлого становится подлинным достоянием масс. Более того: все это говорит нам о том, что только освобожденные от капиталистического рабства массы трудящегося человечества являются подлинными наследниками всего прекрасного, что создала человеческая культура «под гнетом капиталистического общества, помещичьего общества, чиновничьего общества» (Ленин, т. XXV, стр. 387).

II

Пушкин ознаменовал собою начало новой эпохи в истории русской литературы. Величие совершенного им дела как родоначальника новой русской литературы и создателя русского литературного языка, прекрасно выяснил еще Белинский. Его статьи о Пушкине и сейчас сохраняют значение монументальной работы о творчестве великого мастера искусства, и мимо этой работы не сможет пройти ни один серьезный исследователь. В огромном наследии Пушкина ничто существенное не ускользнуло от внимания Белинского, ничто не осталось незамеченным, все получило свою блестящую, выразительную, всегда страстную, всегда самостоятельную оценку: лицейские стихотворения и романтические поэмы, «Евгений Онегин» и «Борис Годунов», повести и маленькие трагедии — все создания пушкинской поэзии и прозы.

В работах Белинского о Пушкине нас восхищает все: и исключительная научная добросовестность, и громадность проделанного труда, и страстная любовь к Пушкину, и тонкость и меткость суждений о пушкинском стихе, суждений, в свою очередь становящихся поэтическими, — настоящих шедевров художественной критики, — и страстная защита революционной, проникнутой передовыми идеями своего века, поэзии, и изумительные по своей конкретности, всегда субъективные и вместе с тем глу-

бокие характеристики героев пушкинских творений.

Путь Пушкина к реализму, к реалистической простоте, ко все более полному и широкому охвату действительности, ко все более глубокому осознанию ее противоречий и уродств, — вот что для Белинского остается в центре внимания, вот что он выдвигает как главное, ведущее в творческом развитии Пушкина, когда говорит о романе «Евгений Онегин», названном критиком «энциклопедией русской жизни». «Евгений Онегин» — это, по словам Белинского, «поэтически воспроизведенная картина русского общества, взятого в одном из интереснейших моментов его развития... В ней Пушкин является не просто поэтом только, но и представителем впервые пробудившегося общественного самосознания»¹⁾. Вот почему Белинский считает этот роман подлинно национальным произведением. Для него понятие о народности теснейшим образом было связано с его понятием о реализме, о правдивости художественного произведения.

Однако вовсе не всякое произведение, по Белинскому, может быть названо подлинно национальным, хотя бы оно и было реалистическим. «Евгений Онегин» потому именно и может быть с полным правом назван народным в самом полном и глубоком смысле этого слова, что в нем «поэт взял жизнь, как она есть, не отвлекая от нее только одних ее поэтических мгновений», взял жизнь во всей многосложности ее элементов, «так верно умел схватить действительность известного мгновения из жизни общества»²⁾. Вот почему «Евгений Онегин», как и «Горе от ума», «был первым образцом поэтического изображения русской действительности в обширном значении этого слова»³⁾.

Мысли Белинского о реализме Пушкина, о реалистической ценности его художественных шедевров до сих пор сохраняют для нас во многом значение образцов литературной критики, в ко-

¹⁾ Полн. собр. соч. Белинского под ред. Венгерова, т. XII, стр. 74.

²⁾ Там же, стр. 79.

³⁾ Там же, стр. 84.

торых замечательно тонко подмечено существенное в пушкинском реализме и значительное в нем для той эпохи. Но Белинский был прежде всего пламенным якобинцем, борцом за революционное ниспровержение самодержавно-крепостнического строя. И он в просветительный период своей деятельности требовал от литературы прежде всего непримиримого отрицания крепостнической действительности, беспощадной критики ее. Этой беспощадности отрицания он не нашел у Пушкина. Напротив, он упрекает поэта в идеализации, в прикрашивании помещичьего быта, особенно сурово критикуя под этим углом зрения повести Пушкина.

Белинский упрекает поэта за то, что тот не порвал со своим классом полностью, не рассчитался с ним до конца.

«Везде вы видите в нем человека, души и телом принадлежащего к основному принципу, составляющему сущность изображаемого им класса; короче, везде видите русского помещика... Он нападает в этом классе на все, что противоречит гуманности, но принцип класса для него — вечная истина... И потому в самой сатире его так много любви, самое отрицание его так похоже на одобрение и любованье»¹).

Вот почему Белинский, а вслед за ним и Чернышевский рассматривали Пушкина как поэта чистой художественности, а пафос его поэзии — как «чисто артистический, художнический». Поэзия Пушкина, по словам Белинского, «отличается характером более созерцательным, нежели рефлектирующим, выказывает более как чувство или как созерцание, нежели как мысль. Вся насквозь проникнутая гуманностью, муза Пушкина умеет глубоко страдать от диссонансов и противоречий жизни, но она смотрит на них с каким-то самоотрицанием (*resignatio*), как бы признавая их роковую неизбежность и не нося в душе своей идеала лучшей действительности и веры в возможность его осуществления»²).

В этих словах Белинского — ключ к его пониманию пушкинского гуманизма, равно как и вопроса о границах пушкинского отрицания. Нам дорога революционная целеустремленность великого критика, дорога его страстная любовь к угнетенным, страдающим народным массам. Нам так понятны мотивы, заставившие Белинского сурово отнестись к некоторым сторонам мировоззрения Пушкина и обвинить великого поэта в отсутствии у него идеала лучшей действительности. Ведь этот идеал Белинский мыслил себе в виде общества, освобожденного от власти крепостников, от гнета русских царей и помещиков. Мечты об этом обществе, о победе революционных народных масс — вот что так глубоко волнует нас, когда мы читаем пламенные статьи неистового Виссариона. Но мы не можем теперь согласиться с Белинским в оценке пушкинского гуманизма, как и подлинного пафоса пушкинской поэзии. Не можем мы согласиться и с тем, что поэзии Пушкина чужд «дух анализа», чуждо «страстное, полное вражды и любви мышление», чуждо «неукротимое стремление исследования».

Нам открыты теперь страницы истории жизни и творчества Пушкина, не известные Белинскому. Мы знаем теперь хорошо, как неосновательны упреки Пушкина в недостатке «современного европейского образования». Нам известны многочисленные данные из переписки Пушкина, его критических заметок, его дневника, свидетельствующие об изумительной разносторонней эрудиции Пушкина, его живейшем интересе к вопросам философии и эстетики, его знакомстве с работами Аристотеля, Буало, Вольтера, Руссо, Дидро, Лессинга, Шлегеля и др. Мы не говорим уже о прекрасном знании им творчества художников античности и классиков западноевропейской литературы. Многие суждения Пушкина-критика поражают самостоятельностью и широтой взгляда, глубиной философской мысли, тонкостью эстетической оценки, строгостью художественных требований.

Мы знаем теперь хорошо, как несправедливы обвинения Пушкина в том, что

¹) Белинский. Полн. собр. соч., т. XII, стр. 144.

²) Полн. собр. соч., т. XI, стр. 399.

он свысока, пренебрежительно относился к народным массам, что он пел лишь «про себя и для себя», что он, наконец, был реакционным проповедником теорий чистого искусства. Обычно в подтверждение этих обвинений приводились стихотворения «Поэту» и знаменитое «Чернь». Теперь очевидно, что Пушкин не мог иметь в виду в этих и других аналогичных своих произведениях народных масс, не мог обращаться к ним с гневными словами:

Подите прочь! Каков дело
Поэту мирному до вас?
В разврате камнейте смело,
Не оживит вас лиры глас.

Поэт ненавидел великосветскую чернь, общество придворных холопов, николаевских лизоблюдов и льстецов, общество, окружавшее его атмосферой вражды и сплетен, мелких укулов и гаденьких слушковых, общество, систематически и неутомимо травившее его, общество, достойными представителями которого были Булгарин, Бенкендорф и Дантес.

Пушкин чувствовал себя безмерно одиноким в этой среде, он не мог не презирать ее, и он заклеил эту человеческую шваль в замечательных стихах «Евгения Онегина», в стихотворении «Ответ Анониму» и других своих произведениях.

Привычки этого общества, его традиции и кумиры, его мелкие интересы — все вызывало в поэте отвращение, брезгливость. Он жил в среде этих людей, и он часто соприкасался с ними. Бросая этому обществу дерзкий вызов, бичуя его в своих стихах, Пушкин не находил в себе сил порвать с ним до конца, но никогда Пушкин не спускался до этих интересов в своих лучших думах, в своей внутренней жизни поэта. Он ревниво и бережно хранил от прикосновения грязных лап великосветской черни свои творческие замыслы, свои поэтические мечты, свои действительные взгляды.

Великий художник не находил поддержки и понимания в «свете», ему не на кого было опереться, он не видел и сил, способных продолжать борьбу с

самодержавием с какими-нибудь шансами на успех; его друзья, декабристы, были в изгнании, на каторге, в ссылке, в далекой Сибири. В стране торжествовала оголтелая, свирепая крепостническая реакция. И в этой обстановке, когда всякое сколько-нибудь свободное слово влекло за собой немедленные репрессии и преследования николаевской камарильи, Пушкин находил в себе смелость настоящего сына своей родины писать о николаевских порядках так, как они этого заслуживали. В 1827 году Пушкин обращается к декабристам в пламенном стихотворении, предсказывая в нем конечную победу революционного дела:

Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье,
Не пропадет ваш скорбный труд
И дум высокое стремленье.
Несчастье верная сестра,
Надежда в мрачном подземелье
Разбудит бодрость и веселье,
Придет желанная пора,
Любовь и дружество до вас
Дойдут сквозь мрачные затворы,
Как в ваши каторжные норы
Доходит мой свободный глас.
Оковы тяжкие падут,
Темницы рухнут — и свобода
Вас примет радостно у входа,
И братья меч вам отдадут¹⁾.

III

Пушкин никогда не был лакеем самодержавия. Он был пленником его — и это прекрасно понимал Николай I, знавший, что ни лаской, ни чинами ему не купить пушкинского гения, не превратить поэта в одного из раболепных и послушных слуг своих. История гибели Пушкина свидетельствует, как установлено теперь неопровержимо, что вешатель декабристов явился вместе с тем действительным вдохновителем и организатором подлого убийства величайшего русского поэта, организатором величайшего преступления.

Но Пушкин был сыном своего класса, и ему были свойственны многие предубеждения и воззрения, справедливо расценивавшиеся Белинским, Чернышев-

¹⁾ Полн. собр. соч. А. С. Пушкина, ГИХЛ, 1934 г., т. II, стр. 19.

ским, Добролюбовым как взгляды, далеко не передовые, как отражение влияния карамзинских традиций, как проявление известной ограниченности в решении вопросов литературной политики и общественно-политических проблем. Но не это является для нас сейчас основным, когда мы говорим не только об общем историческом значении и художественной ценности творчества Пушкина, но даже о его роли как общественного деятеля, литератора, журналиста.

В рукописных фрагментах о Пушкине Алексей Максимович Горький справедливо указал, что «лично Пушкин вкладывал в понятие дворянства чувство собственного достоинства, сознание своей человеческой ценности и внутренней свободы». Об этом красноречиво говорят приводимые Горьким выдержки из письма Пушкина Рылееву от 1825 г. и его заметок периода 25—30-х годов.

Вопрос о так называемых «генеалогических предрассудках» Пушкина значительно сложнее, чем он представлялся даже, например, Добролюбову, вслед за Белинским подчеркивавшему именно эту сторону дела. Тем более упрощенно было бы думать, что Пушкину было присуще сословное высокомерие, узколобое чванство шестисотлетним дворянством. Образ мыслей великого поэта был несравненно шире, и круг его идейных интересов исключал возможность таких представлений о своих сословных правах и преимуществах, дворянских преданиях и дедовских заветах.

Пушкин не мог чувствовать себя довольным и счастливым в чужой и враждебной ему великосветской среде, среди мелких, пошлых, ничтожных людишек. В его лирике конца 20-х и 30-х годов все отчетливее и резче звучат мотивы грусти, духовного одиночества, неудовлетворенности настоящим:

Дар напрасный, дар случайной,
Жизнь, зачем ты мне дана?
Иль зачем судьбою тайной
Ты на казнь осуждена?
Кто меня враждебной властью
Из ничтожества воззвал,
Душу мне наполнил страстью,
Ум сомненьем взволновал?..
Цель нет передо мною:
Сердце пусто, празден ум,

И томит меня тоскою
Однозвучный жизни шум¹⁾.

Самодержавие держит Пушкина под полицейским надзором, наряжает над ним следствие. Поэта терзают мрачные предчувствия. Его волнуют думы о будущем — туманном и безотрадном, сулящем ему новые преследования, новые невзгоды и страдания:

Снова тучи надо мною
Собрались в тишине;
Рок завистливый бедоу
Угрожает снова мне...

Сохраню ль к судьбе презренье?
Понесу ль навстречу ей
Непреклонность и терпенье
Гордой юности моей²⁾?

Буржуазные исследователи Пушкина склонны были зачастую объяснять пессимистические настроения в пушкинской лирике мотивами, главным образом, личного, преимущественно любовного, характера, и они старательно обходили как-раз те стихотворения, в которых с особенной ясностью вырисовывается перед читателями лицо Пушкина как поэта-гражданина, ревниво охраняющего свое достоинство человека и художника. Приведенные нами строки лучше всего отражают эту черту пушкинского гения. Общественные корни пессимистических настроений Пушкина здесь проступают со всей своей рельефностью, непосредственно, выпукло, не требуя никаких специальных доказательств и комментариев.

Если одна линия настроений печали и грустного раздумья в лирике Пушкина питается прежде всего мотивами общественно-политического характера в условиях разгула николаевской реакции, то другая проникнута глубоким философским содержанием. Поэта волнуют «вечные проблемы», проблемы жизни и смерти. Мысль о смерти, ее неизбежности, настойчиво звучит в пушкинской лирике конца 20-х и 30-х годов.

Всем известно классическое стихотворение «Брожу ли я вдоль улиц шум-

¹⁾ 26 мая 1828 г., т. II, стр. 40—41.

²⁾ «Предчувствие». 1828 г. Т. II, стр. 42. Изд. ГИХЛ. 1934 г.

ных», в котором эта мысль поэта о смерти выражена с такой напряженностью и остротой ощущения и вместе с тем с такой философской примиренностью!

Такой особой, необычно звучащей нотой в жизнерадостной, солнечной поэзии Пушкина врывается этот стих:

День каждый, каждую годину
Привык я думой провожать,
Грядущей смерти годовщины
Меж их стараюсь угадать¹⁾.

Все стихотворение проникнуто мягкой, сосредоточенной грустью, философским раздумьем, находящим свое разрешение в примиренном заключительном аккорде:

И пусть у гробового входа
Младая будет жизнь играть,
И равнодушная природа
Красою вечною сиять.

И самый поэтический строй стихотворения, его ритм так хорошо гармонирует с развитием поэтической мысли, с настроением поэта.

Такая же тихая примиренность с неизбежным, с вечным законом жизни и смерти звучит в прекрасном стихотворении «Вновь я посетил». Иногда это настроение сменяется чувством однотонной, тихой печали, как, например, в стихотворении «Стою печален на кладбище»²⁾, где это настроение гармонирует с картинами унылого деревенского кладбища и отчасти навеяно им.

Проблема смерти волновала, занимала умы многих великих мыслителей и поэтов. Но Пушкин слишком любил жизнь, и он никогда не отдавался надолго во власть тоскливых настроений. Пессимизм как мировоззрение, как преобладающий тонус творчества, как философия жизни и как господствующее восприятие ее никогда не был свойственен ему. Вот почему так быстры и резки переходы в его поэзии от печали к радости, от гнетущих дум, обволакивающих мир тьмой и безнадежностью, к бурным проявлениям воли к жизни, ос-

троду наслаждению ее земными радостями, ее красотой, наслаждению любовью, творчеством, всем прекрасным, что дает человеку природа и что может дать человеку человек. Как характерно для этих переходов, смен настроений стихотворение «Элегия»:

Безумных лет угасшее веселье
Мне тяжело, как смутное похмелье.
Но, как вино — печаль, минувших дней
В моей душе чем старе, тем сильней.
Мой путь уныл. Сулит мне труд и горе
Грядущего волнуемое море.
Но не хочу, о други, умирать;
Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать,
И ведаю, мне будут наслажденья
Меж горестей, забот и тревоженья:
Порой опять гармонией упьюсь,
Над вымыслом слезами обольюсь,
И, может-быть — на мой закат печальной
Блеснет любовь улыбкою прощальной¹⁾.

Поэзия Пушкина вся насыщена оптимизмом, преодолевающим все, бурно прорывающимся сквозь все преграды, отбрасывающим в сторону все темное, все, что мешает человеку жить и дышать. Этим Пушкин близок и дорог трудящимся массам Советской страны, строящим новую жизнь, жизнь, в которой снесены прочь перегородки, разделяющие людей, сословные, религиозные, имущественные и другие ограничения, в которой впервые в истории человечества перед людьми открылись безграничные возможности творческого развития всех их сил и способностей.

IV

Жизнерадостность, оптимистичность пушкинской поэзии ярче и нагляднее всего проявляется в его лирике. Белинский дал в своих статьях о Пушкине блестящую характеристику художественных достоинств пушкинской лирики. Белинский принадлежал к числу немногих критиков, чувствовавших себя в области поэзии, как в родной, своей сфере. Он прекрасно понимал, что «тайна» пушкинского стиха заключается вовсе не в искусстве «сливать послушные слова в стройные размеры и замыкать их звонкой рифмой». Поэзия, — по опреде-

¹⁾ Том II, стр. 73.

²⁾ Том II, стр. 229.

¹⁾ Т. II, стр. 86.

лению Белинского, — это «улыбка жизни, это светлый взгляд, играющий всеми переливами быстро сменяющихся ощущений». От взора Белинского не укрылась музыкальность пушкинской лирики, «пластическая рельефность» ее, полнота и оконченность целого, мелодия и гармония стиха, простота и естественность поэтического выражения мысли, делающие ее доступной пониманию самых широких масс читателей. Стих Пушкина — это, по замечательно удачному, образному определению Белинского, «музыка в стихах и скульптура в поэзии». Уже в ранних лирических произведениях поэта он, находясь еще под влиянием Жуковского и Батюшкова, как показал Белинский, неизмеримо превосходит их простотой и естественностью поэтического языка, истиной чувства.

Но Белинский, умевший чувствовать поэзию так, как это было доступно лишь немногим, умевший так полно передать своему читателю это восприятие поэзии, — что еще труднее, — Белинский не совсем прав там, где он говорит о «елейности» и «кротости» как преобладающем колорите пушкинской поэзии. Нет, не елейность, а величайшая искренность в поэтическом выражении чувства, — страсти, печали и радости, непосредственность в самом лучшем и глубоком смысле этого слова, нежность, никогда не переходящая в сентиментальность, — вот что очаровывает и волнует читателя, создает то особое чувство близости к поэту, какое умеют вызвать только гениальные художники слова. Совершенная полнота и вместе с тем изящная простота поэтического выражения чувства и мысли — вот что отличает лирику этого гиганта русской поэзии и придает ей вечную, неумирающую прелесть.

Какую сосредоточенную энергию приобретает пушкинский стих, какую концентрированность мысли и чувства получает он в таких, например, изумительных стихах:

Когда для смертного умолкнет шумный день,
И на немые стогны града
Полупрозрачная наляжет ночи тень
И сон, дневных трудов награда,
В то время для меня влачатся в тишине

Часы томительного бденья:
В бездействии ночном живей горят во мне
Змеи сердечной угрызенья;
Мечты кипят; в уме, подавленном тоской,
Теснится тяжких дум избыток;

Воспоминание безмолвно предо мной
Свой длинный развивает свиток:
И, с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклинаю,
И горько жалуясь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю¹⁾.

Какой энергичный порыв поэтической самокритики, сколько здесь сдержанного — и все-таки прорывающегося со всей силой — чувства, какая краткость и вместе с тем полнота выражения мысли, какая совершенная гармония формы и содержания; никакой расплывчатости, неясности, приторной сентиментальности, никакой риторики. Это настоящий голос человеческого сердца, настоящая поэзия, чуждая всяких побрякушек, излишних украшений, натянутости и вычурности.

Поэтическому гению не нужно пытаться, становиться на ходули для того, чтобы выразить какое-либо чувство. Непосредственность гения в поэзии заключается именно в совершенной простоте и истине чувства, вылившегося с максимальной силой творческой страсти. В Пушкине этот пафос творчества неразрывно связан с удивительной многогранностью его личности, умением поэта воспринять и передать поэтически самые разнообразные стороны, явления природы и жизни человека.

Величайшая искренность в поэтическом выражении самых сокровенных, интимнейших своих переживаний — характернейшая черта поэзии Пушкина. И в этом во многом объяснение ее очарования, объяснение любви к поэту огромных читательских масс. Но, понятно, не только в этом. Исключительная субъективность пушкинской лирики неразрывно сочетается в ней с общечеловеческостью восприятия ее читателем. Понятие общечеловеческого в поэзии, в литературе захватано и затрепано буржуазными публицистами и историками литературы. «Общечелове-

¹⁾ Т. II, стр. 40.

ское» понималось ими как отрицание классового, служило своего рода основой для построения теорий о внеклассовой роли русской интеллигенции. «Общечеловеческое» толковалось ими часто мистически, реакционно. Другие историки вслед за Чернышевским рассматривали «общечеловеческое» как выражение неизменно присущих человеческой природе стремлений и потребностей. В последнем случае мы имеем дело уже с материалистически-фейербахианской основой и революционно-демократическим содержанием, нашедшим свое выражение в учении Чернышевского о заложенном в природе человека стремлении к «любви, счастью и улучшению своего быта».

Мы знаем, что если люди суть продукт обстоятельств и воспитания, то, с другой стороны, обстоятельства изменяются именно людьми», что человеческая сущность «есть совокупность общественных отношений» (Маркс). Идеалы социализма суть возможность, на наших глазах становящаяся действительностью. Новый человек, человек будущего, рождается в огне борьбы трудящихся масс за свое освобождение, борьбы, которую они ведут под руководством партии революционного пролетариата, партии Ленина и Сталина. Борьба за построение социалистического общества — это борьба за настоящего человека, достойного этого имени, борьба за человечество, освобожденное от грязи буржуазного общества, покоящегося на угнетении, на эксплуатации человека человеком.

Социалистическое общество открывает путь для небывалого еще расцвета человеческой личности, могучего развития всех его творческих сил и способностей. Человек в социалистическом обществе — это не узколобый догматик, не педант, действующий и чувствующий в рамках строго определенных инструкций и предписаний. Это — человек, которому доступно, близко и дорого все прекрасное в мире природы, искусства и науки, тончайшие аккорды в музыке и чудные переливы красок, все упоение творчества, все очарование поэтических шедевров, все богатство мелодии стиха

и гармонии ритма, все величие мысли, покоряющей творческой энергии человека природу.

V

Только метод марксизма-ленинизма дает возможность взять художественное творчество во всей его широте и глубине, в его противоречиях, во всем богатстве его идейного содержания и эмоционального звучания. «Общечеловеческое» в литературе прошлого мы видим там, где поэт выступает зеркалом той или иной исторической эпохи. Мы видим «общечеловеческое» там, где у художника прошлого прорывается пламенный протест против общественной лжи и фальши, против угнетения человека человеком, где у него звучит предчувствие, пусть даже неясное и неопределенное, возможности иной жизни, мечта о лучшей действительности. Но мы воспринимаем как «общечеловеческое», близкое и ценное для нас в поэзии, всякое проявление настоящего человеческого чувства во всей его непосредственности и истине — и голос подлинной дружбы, и крик любовной страсти, вырвавшийся из души, и радостную слиянность с природой, и звуки лирической печали.

Но какое же богатство «общечеловеческого» в самом полном и глубоком значении этого слова оставил нам Пушкин! Ни у кого из наших поэтов мы не найдем такой гаммы переживаний, таких неожиданных и быстрых переходов от искрометной дерзости и обнаженной страсти, от бурного кипения крови — к тихой нежности, трогательной и очаровывающей, побеждаемой и побеждающей. Вас поражает эта внутренняя чистота и красота чувства. В самой высшей точке развития страсти, задыхающейся исповеди поэта — ни границинизма. В этом замечательная особенность, своеобразие пушкинской лирики. Как жалки слизняки, для которых существует только Пушкин — молодой повеса, автор эротических безделушек, фривольных шалостей пера, экспромтов, мало подходящих для печати. Они рисуют Пушкина по своему образу и подобию. И им невдомек, что настоящий

Пушкин в своем существенном содержании, в главном для него и для его читателей вовсе не здесь, что и сам поэт рассматривал эти стихотворные шалости как недостойные ни своего имени, ни поэтического гения:

Каков я прежде был, таков и ныне я:
Беспечный, влюбчивый. Вы знаете, друзья,
Могу ль на красоту взирать без умиления,
Без робкой нежности и тайного волнения.
Уж мало ли любовь играла в жизни мной?
Уж мало ль бился я, как ястреб молодой,
В обманчивых сетях, раскинутых Кипридой,
А не исправленный стократно обидой
Я новым идолам несу мои мольбы...¹⁾

Здесь — весь Пушкин, с его жадным восприятием красоты, его порывистостью, непреходящей пылкостью, быстрой сменой увлечений, всегдашней искренностью в них, чуждой всякой искусственности и игры. И его поэзия, как зеркало, отражает эту интенсивнейшую жизнь сердца, это чистое восхищение перед красотой, и бурные вспышки любви, и ее острые уколы, «ревнивые мечты», язык «страстей безумных и мятежных». Какой непередаваемой прелестью дышит стихотворение:

Редает облаков летучая гряда.
Звезда печальная, вечерняя звезда!
Твой луч осеребрил увядшие равнины
И дремлющий залив, и черных скал вершины.
Люблю твой слабый свет в небесной вышине;
Он думы разбудил, уснувшие во мне:
Я помню твой восход, знакомое светило,
Над мирною страной, где все для сердца мило,
Где стройны тополи в долинах вознеслись,
Где дремлет нежный мирт и темный кипарис,
И сладостно шумят полуденные волны.
Там, некогда в горах, сердечной думы полный,
Над морем я влачил задумчивую лень,
Когда на хижину сходила ночи тень,
И дева юная во мгле тебя искала,
И именем своим подругам называла²⁾.

Сколько в этой поэтической картине сосредоточенного, глубокого чувства! Сколько силы в этой сдержанности проявления его, какая истина переживания, этой поэтической задумчивости и

бережной мечты — воспоминания. Какая строгая обдуманность красок южного пейзажа! Ничего надуманного, болезненного и расплывчатого, никакого «упрямства фантазии». Сколько здесь мягкости и нежности в самой художественной отделке стихотворения.

Стихи, которые мы заучивали еще в детстве, в средней школе, ставшие такими обычными, приобретают новую прелесть, новое звучание, предстают в новом, преображенном свете, когда начинаешь вчитываться в них теперь. Вспомните пушкинское стихотворение «Осень», хотя бы вот этот замечательный отрывок его:

Унылая пора! Очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса —
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и золото одетые леса,
В их сенях ветра шум и свежее дыханье,
И мглой волнистою покрыты небеса,
И редкий солнца луч, и первые морозы,
И отдаленные седой зимы угрозы¹⁾.

Как хорошо сказал поэт в «Осени» об этом волнующем и сладостном пафосе творчества, этом творческом нетерпении, этой жадности ума, боящегося упустить что-нибудь из стаи мыслей, образов, вихрем пронесшихся в голове, как бы дразнящих поэта, этой горячке вдохновения, заставляющей забывать обо всем на свете:

И забываю мир, и в сладкой тишине
Я сладко усыплен моим воображеньем,
И пробуждается поэзия во мне:
Душа стесняется лирическим волненьем,
Трепещет, и звучит, и ищет, как во сне,
Излиться, наконец, свободным проявленьем,
И тут ко мне идет незримый рой гостей,
Знакомцы давние, плоды мечты моей²⁾.

VI

Подлинный гений не боится обыкновенного, будничного; под пером его обыкновенное, будничное, прозаическое становится предметом поэтической характеристики. В этом искусстве Пушкин не знал себе равных. Достаточно напомнить стихотворение «Зима. Что делать нам в деревне?» или целый ряд от-

¹⁾ Т. II, стр. 52.

²⁾ Т. I, стр. 303.

¹⁾ Т. II, стр. 163.

²⁾ Т. II, стр. 164.

рывков из «Евгения Онегина», например описание жизни супругов Лариных:

Они хранили в жизни мирной
Привычки милой старины;
У них на маслянице жирной
Водились русские блины;
Два раза в год они говели;
Любили круглые качели,
Подблюдны песни, хоровод;
В день Троицын, когда народ
Зевая слушает молебен,
Умильно на пучок зари
Они роняли слезки три;
Им квас как воздух был потребен,
И за столом у них гостям
Носили блюда по чинам¹⁾.

Некоторые критики наши писали о сатирическом элементе «Евгения Онегина». Правильнее будет говорить не о сатире, а о своеобразном, исполненном особой прелести, не поддающемся точной характеристике, юморе Пушкина. Этот юмор окрашивает весь поэтический строй «Евгения Онегина». Он дает нам ключ и к правильной оценке пушкинского отрицания. Белинский был не совсем прав, когда он писал, что в самой пушкинской сатире «так много любви, самое отрицание его так похоже на одобрение и на любование». Нет, не одобрение и не любование чувствуем мы, когда читаем в «Евгении Онегине» строки, посвященные жизни семейства Лариных. Возьмите хотя бы только-что приведенный нами отрывок. Сколько в нем тонкой, такой, казалось бы, снисходительной и тем не менее уничтожающей поэтической иронии! Привели другой отрывок, еще более характерный:

Он в том покое поселился,
Где деревенский старожил
Лет сорок с ключницей бранился,
В окно смотрел и мух давил.
Все было просто: пол дубовый,
Два шкафа, стол, диван пуховый,
Нигде ни пятнышка чернил.
Онегин шкафы отворил:
В одном нашел тетрадь расхода,
В другом наливку целый строй,
Кувшины с яблочной водой,
И календарь осьмого года;
Старик, имея много дел,
В иные книги не глядел²⁾.

Вот вам черта поэтического гения! — в одной строфе романа дана, по сути дела, история целой жизни. Не нужно никаких пояснений, длинных описаний и характеристик. Читателю так ясен, так отчетливо обрисовывается перед ним образ этого старого помещика, родного брата гоголевского Плюшкина, весь идиотизм этого существования, не тревожимого ни единой мыслью. Небольшая, удивительная по своей сжатости картина — но в ней, в сущности, сказано все. Какая краткость и какая законченность в ней! Пушкин раскрывается здесь, как великий художник-реалист, сумевший с такой спокойной беспощадностью показать своему читателю гниение крепостнической среды.

Конечно, это совсем другой реализм, другой угол художественного зрения, чем, например, в сатире Некрасова и Щедрина. Потому-то мы и говорим об особом характере пушкинского юмора, который нельзя рассматривать вне связи с характером пушкинского гуманизма. Пушкин стоял бесконечно выше помещичьего общества, но он слишком многим был связан с ним. В отношении поэта к деревенскому помещицкому обществу, ничтожество, жалкие и смешные стороны которого он ясно видел, все же не было той злости, а тем более ненависти, которая придает особую силу сатире Салтыкова-Щедрина. Иначе относился Пушкин к свету, к великосветской черни, травившей и третировавшей его на каждом шагу. Ее поэт ненавидел, и он отвечал ей в свою очередь щедро рассыпаемыми меткими эпитафиями, в которых звучит уже убийственный сарказм. Не даром этих эпитаграмм так боялись сиятельные холопы, придворная челядь Николая I.

«Евгений Онегин» больше, чем какое-нибудь другое произведение из крупных художественных шедевров Пушкина, говорит нам о силе пушкинского оптимизма, его неистребимой любви к жизни, его удивительной способности поднимать на щит, поэтически отражать все прекрасное, что дает жизнь человеку. В «Онегине» так много личного. Это во многом — поэтическая автобиография. В нем много легкой, лирической

¹⁾ Т. IV, стр. 50.

²⁾ Т. IV, стр. 36.

грусти. В нем чувствуется уже зрелый Пушкин, хорошо познавший ничтожество окружающей его среды и знающий, чего можно ждать от нее. И, несмотря на это, весь роман — это одно из самых жизнерадостных произведений во всей мировой художественной литературе. Может быть, ни в одном своем произведении не отразился так полно и живо весь Пушкин, как именно в «Евгении Онегине», ни одно из них не дает нам так много для понимания пафоса его творчества. Это — сама жизнь, кипучая, сверкающая задором, полная энергии, дерзости, жизнь, бьющая ключом. Это — художественная щедрость, не знающая предела. Это — творческий пафос, преодолевающий все трудности. Это — произведение, в котором Пушкин прежде всего является самим собой, художником, воплотившим в нем свои задушевнейшие думы и поэтические мечты. Это — поэтическое воплощение любимых идей Пушкина и это — художественная история идейной жизни целого поколения эпохи.

VII

В «Онегине» Пушкин рассчитался с целым периодом своей интеллектуальной жизни. Поэт прошел через многое из того, что было сродни его герою, что волновало его, над чем он задумывался долгими часами, что увлекало и пленяло его в шумной жизни света. «Онегин» — это критическая художественная история молодого человека того времени. Может быть, нигде не выступает с такой ясностью критическое отношение поэта к своему герою, как в известных, столь часто цитируемых стихах:

Чудак печальный и опасный,
Созданье ада иль небес,
Сей ангел, сей надменный бес,
Что ж он? Ужели подражанье,
Ничтожный призрак, иль еще
Москвич в Гарольдовом плаще,
Чужих причуд истолкованье,
Слов модных полный лексикон?..
Уж не пародия ли он? ¹⁾

Онегин для Пушкина — сын своего времени, своей среды. Но он — бан-

крот, и это ясно и читателю, и самому автору, так любовно относящемуся к своему герою. Банкротство Онегина, полнейшая бесплодность, пустоцветность и никчемность его существования, как и полное его одиночество в свете, раскрыты художником до конца. В этом огромное положительное значение романа, которого не понял Писарев, обрушившийся так яростно на Пушкина в своей знаменитой статье «Пушкин и Белинский». И сила поэтического гения Пушкина заключается именно в том, что он сумел создать образ глубоко типический, образ, в котором, как в фокусе, отражено характерное для целой группы лишних людей дворянского общества. А то, что многое было самим поэтом пережито и пережито, лишь помогло ему глубже проникнуть в сущность этого социального типа, сделать его предельно жизненным и полнокровным.

Но Онегин и для Пушкина никогда не являлся представителем передовой, активной части дворянства, именно той его части, которая видела выход на путях революционного выступления против самодержавия. X глава «Онегина» дошла до нас лишь в отрывках, частью зашифрованных. Но и то, что мы имеем, — а главное, весь роман в целом, — не дает никаких оснований к тому, чтобы сделать вывод о дальнейшей эволюции Онегина в направлении превращения его в политического деятеля, активного участника декабристского движения. Онегину могли сочувствовать декабристам, отдавать дань передовым идеям своего времени, в лучшем случае быть временными, ненадежными допутчиками этого движения, но не более. Во всяком случае от Онегина до Пестеля — дистанция огромного размера.

Если Онегин — одиночка, чужой дворянскому обществу в его массе и в какой-то мере стоящий над ним, то Ленский, в сущности, — плоть от плоти этой среды, и это прекрасно видят дворянские обыватели деревни, ласкающие юного романтика. Его романтические грезы, «всегда возвышенные чувства», «порывы девственной мечты» и т. д. все это — эффектное оперение, скоропреходящее цветение юности, не имеющее

¹⁾ Т. IV, стр. 142—143.

никаких прочных и глубоких корней. Ленские не в состоянии изменить ничего в окружающей их обстановке и, напротив, с самого начала становятся игрушкой в руках действительных хозяев положения — крепостников и пошляков. И Пушкин, в таких теплых тонах нарисовавший читателю этот образ, прекрасно рассказал о его будущем, если бы пламенный романтик остался жив:

А может быть и то: поэта
Обыкновенный ждал удел.
Прошли бы юности лета:
В нем пыл души бы охладел.
Во многом он бы изменился,
Расстался б с музами, женился,
В деревне, счастлив и рогат,
Носил бы стеганый халат;
Узнал бы жизнь на самом деле,
Подагру б в сорок лет имел,
Пил, ел, скучал, толстел, хирел,
И наконец в своей постели
Скончался б посреди детей,
Плаксивых баб и лекарей¹⁾.

Из двух перспектив, намеченных поэтом, последняя, конечно, имела бы все шансы на осуществление. Остается добавить лишь, что Ленские, подобно Валентину Бурмакину из «Пошехонской старины» Щедрина, прекрасно уживались с безобразиями крепостничества под боком у них и предоставляли делам по управлению крепостными итти своим, заведенным еще их дедами и отцами, порядком.

Ленские никогда не были активной силой, никогда не вступали в борьбу с действительностью, чтобы изменить ее. Наоборот, крепостническая действительность в конце концов лепила их по своему образу и подобию.

В Ленском поэту милы эта детскость ума, непосредственность и искренность юности, «юный жар и юный бред», т.е. все то, что отличает Ленского от лицемерного, лживого и холодного света. В образе Татьяны черты, противопоставленные психологии и морали великосветских кругов, выступают еще более резко и отчетливо. В Татьяне гордая стыдливость чувства и его исключительность, ее простота и естественность,

составляющие самую сущность ее натуры, и неотъемлемые от нее ее неспособность увлекаться светской мишурой и полнейшее равнодушие к ней, чистота и девственная прелесть ее любви — все так не похоже на окружающую ее среду и возвышает ее над ней:

А мне, Онегин, пышность эта,
Постылой жизни мишура,
Мои успехи в вихре света,
Мой модный дом и вечера,
Что в них? Сейчас отдать я рада
Всю эту ветошь маскарада,
Весь этот блеск, и шум и чад
За полку книг, за дикий сад,
За наше бедное жилище,
За те места, где в первый раз,
Онегин, видела я вас,
Да за смиренное кладбище,
Где нынче крест и тень ветвей
Над бедной нянею моей...¹⁾.

Через образ Татьяны Пушкин так настойчиво противопоставляет бесцельной и бездушной, шумной и фальшивой жизни великосветского общества иную жизнь, иные идеалы, жизнь вдали от этих пародий на человека... Каким сарказмом, каким неумолимым презрением, каким знанием этой человеческой швали дышат следующие строки поэта:

Все в них так бледно, равнодушно,
Они клеветуют даже скучно;
В бесплодной сухости речей,
Распросов, сплетен и вестей
Не вспыхнет мысли в целы сутки,
Хоть незначай, хоть наобум;
Не улыбнется темный ум,
Не дрогнет сердце, хоть для шутки.
И даже глупости смешной
В тебе не встретишь, свет пустой!²⁾.

Онегин презирает светское общество, но его презрение, его отвращение к нему не связано с каким-либо положительным идеалом. Жизнь его бесцельна и пуста. Татьяна по всему складу своей природы, правдивой и честной, чужда этому кругу, равнодушна к его дешевым соблазнам и мелким интересам. Но Татьяна — жертва этих общественных условий, не более. В Татьяне воплощен пассивный протест против светской жизни и фальши, протест, глубоко запрятан-

¹⁾ Т. IV, стр. 129.

¹⁾ Т. IV, стр. 179.

²⁾ Т. IV, стр. 153.

ный в душе героини, протест, сочетающийся с тихой покорностью своей безрадостной доле. В Татьяне нет ничего, что бы делало ее способной хоть на какую-нибудь борьбу. И во всем романе нет, таким образом, ни одного образа борца, человека, который осмелился бы выступить против «света» и его морали, его тирании и его преступлений с каким-нибудь своим словом, с какой-то положительной программой, программой действия и борьбы.

Такой ясной положительной программой не было и у самого поэта. Но это не уменьшает огромного значения критических элементов романа, мотивов протеста, с такой силой звучащих в нем. Поэтому «Евгений Онегин» с полным правом может рассматриваться как произведение критического реализма и как одно из самых значительных произведений в нем.

VIII

Пушкин был одинок в свете. Он был бесконечно выше ничтожных, себялюбивых, живых людишек, окружавших его, людишек, не способных оценить все величие и силу его поэтического гения и отравлявших ему жизнь на каждом шагу. И взоры Пушкина — человека и художника — все чаще начинают обращаться к народным массам. Растет его интерес к народному творчеству, быту и обычаям, интерес к массовым крестьянским движениям, нашедший свое литературное выражение в песнях о Стеньке Разине, в его «Сказках» и в работах над «Историей пугачевского бунта». Живой, неутомимый интерес к фольклору проходит красной нитью через все творчество Пушкина. И этот интерес нельзя понять, нельзя объяснить себе вне связи с оценкой общего характера пушкинской поэзии, ее народности, ее демократического духа.

Свести вопрос о демократических тенденциях поэзии Пушкина только к вопросу об интересе поэта к фольклору и народному быту значило бы затронуть лишь часть этой большой проблемы, узко, односторонне решить ее. У нас зачастую понятие демократического в

поэзии трактуется слишком бедно, односторонне, вульгарно-социологически, — только как наличие ясно выраженных политических устремлений, определенных симпатий и настроений художника.

Между тем поэзия Пушкина демократична, народна в самом широком смысле этого слова. Поэзия Пушкина означала собою гигантский шаг в деле демократизации русской литературы и по форме, и по содержанию. Пушкин был создателем русского литературного языка. Язык Пушкина — это язык поэта, понятного и доступного миллионам, язык поэта, сумевшего заботливо отыскать, отобрать, отшлифовать в своей поэтической лаборатории все лучшее, самое бытное, яркое, полновесное, что создавалось словесным творчеством народных масс, что отражало их юмор, наблюдательность, опыт целых поколений, что отлагалось веками и запечатлелось в сокровищах народной поэзии. Это была поистине гигантская работа, работа, бывшая по плечу лишь такому гению поэзии, каким был Пушкин.

Эту гигантскую работу способен был проделать лишь поэт, любивший народ и его творчество, поэт, чуждый сословной спеси, поэт, отличавшийся широтой взгляда, чутко прислушивавшийся к тому, что делалось в низах, в толщах народных масс; поэт, для которого музыка народной песни, образы сказок воспринимались как нечто родное, кровное ему, поэт, впитывавший в себя народное творчество и умом, и сердцем. Таким и был Пушкин — и потому-то он и оказался способным совершить целую революцию в области русского литературного языка. Ее размах, ее значение, ее объем с трудом поддаются характеристике. Дать сколько-нибудь полную характеристику Пушкина как создателя русского литературного языка значило бы показать читателю, какое огромное богатство новых понятий, образов вошло вместе с ним в литературу, как смелой рукой художника были опрокинуты, отброшены в сторону перегородки и литературные традиции прошлого, и в поэзию ворвался преображенный, очищенный гением поэта язык масс, язык самых разнообразных слоев общества.

Один только роман «Евгений Онегин» может быть темой специальных исследований в этом плане; он дает богатейший и интереснейший материал для изучения пушкинского языка. «Евгений Онегин» — это настоящая жемчужина с точки зрения обогащения поэтического языка, прокладывания новых путей в поэзии, ломки установившихся приемов и литературных традиций, как и с точки зрения поэтической типизации обыденной, будничной действительности.

Простота пушкинского языка — это такая простота, которая вместе с тем несет с собой и предельную точность поэтического выражения мысли, наиболее совершенное ее выражение. В поэзии Пушкина это всегда соединяется с той исключительной взволнованностью, глубоким и искренним до конца чувством, что так действует на читателя, вызывает особое доверие к поэту и любовь к нему, обуславливает особую силу восприятия произведения.

Много было сказано в свое время о всеобъемлющем характере творчества Пушкина, об изумительном богатстве и разнообразии его мотивов, его идейно-философском содержании. Горький назвал Пушкина «всеведавшим». Это слово так хорошо передает величие Пушкина как поэтического гения, проникновение его в сущность создаваемых характеров и способность принять в себя и поэтически отразить сумму впечатлений, полноту бытия.

Мы говорили о многогранности, о богатстве мотивов пушкинской лирики. Но возьмите его прозу. Белинский, а вслед за ним и Чернышевский к прозе Пушкина подходили с более суровыми оценками, чем к его поэзии. Белинский полагал, что повести в прозе Пушкина «не могут равняться в достоинстве с лучшими стихотворными его произведениями даже первого периода его деятельности». Великий критик видел в них преобладание «пафоса помещичьего принципа», и это заставило его в высшей степени сдержанно оценить их художественную ценность. Эта точка зрения, как мы уже говорили выше, находит свое объяснение в условиях борьбы общественных групп и классов того времени.

Вот почему и Чернышевский в своих «Очерках гоголевского периода» подчеркивал, что повести Пушкина «не имели большого художественного достоинства» и не оказали значительного влияния на последующее развитие русской прозы. По мнению Чернышевского, отцом русской прозы был Гоголь, который «не имел ни предшественников, ни помощников в этом деле»¹⁾.

Как видите, Чернышевский, давший в своих замечательных статьях о Пушкине глубокую оценку художественных достоинств его поэзии, иначе отнесся к его прозе и склонен был отрицать влияние ее на последующее литературное развитие. Неосновательность, несправедливость этой точки зрения в наше время уже очевидна. Мы не говорим уже о ряде бесспорных данных, свидетельствующих о личном влиянии Пушкина на Гоголя в области формирования гоголевского стиля. Несомненно, что Пушкин сыграл огромную роль в области обогащения русской прозы новыми мотивами, новой тематикой.

Проза Пушкина была огромным шагом вперед по сравнению с предшествовавшей русской прозой. Пушкин и здесь прокладывал новые пути. Его повести — очень важный этап в развитии не только пушкинского реализма, но и русского реализма в целом. Конечно, «Дубровский», «Капитанская дочка», «Пиковая дама» и другие повести Пушкина не могли сыграть в литературе той огромной роли, какую сыграли, например, «Мертвые души» Гоголя. Чернышевский был прав, когда отказывался отнести эти произведения пушкинской прозы к так называемому сатирическому или критическому направлению в русской литературе. Но вопрос гораздо сложнее.

Повести Пушкина — огромный шаг вперед в деле демократизации русской прозы, как и в деле реабилитации обыденной, будничной действительности. Герои этих произведений — обыкновенные, малочиновные и бесчиновные люди, люди из народа. Впервые эти герои предстали перед читателем в художе-

¹⁾ Поли. собр. соч. Н. Г. Чернышевского, т. II, стр. 10.

ственном изображении, правдивом и реалистическом, со всеми своими характерными черточками, заговорили присутствующим им языком. Пушкин показал этих людей в действии, в обстановке жизни, типичной для этих общественных групп, он заставил их переживать и бороться, радоваться и страдать, любить и ненавидеть.

Спокойная и изящная простота повествования, жизненность характеров, реализм деталей, гуманность в изображении жизни простых, непритязательных людей, «маленького человека», — все это выступает перед нами, как новая ступень в развитии пушкинского реализма, в развитии русской прозы.

С какой теплотой обрисован Пушкиным образ стационарного зрителя. Сколько правды, сколько художественной силы в изображении драмы, пережитой этим незаметным человеком. Сколько в этой небольшой повести драматизма. Сколько презрения, горькой иронии художника по адресу тупых, бездушных, пустых людей светского общества. Сколько понимания, глубокого сочувствия, подлинной гуманности в отношении автора к своему герою, в изображении этого всепоглощающего, бесхитростного и такого непосредственного и вместе с тем возвышающегося временами до подлинного величия чувства отца к покинувшей его дочери. Трагедия этого скромного старика, катастрофа, которую пережил он, сразу рисует нам образ этого человека, серенького и незаметного, совсем с другой стороны. Художник с исключительной силой показал читателю, как человеческое в лучшем смысле этого слова обнаруживает в этом человеке новые стороны, новые черты, обнаруживает упорство и силу духа, каких, казалось бы, никак нельзя было ждать от этого доброго, но недалекого старика, от этого «мученика четырнадцатого класса».

Белинский, сурово отнесшийся к пушкинской прозе, дал резкую характеристику многих героев его повестей: Гринева с его «ничтожным, бесцветным характером», Швабрина с его «мелодраматическим характером», Дубровского, которого критик также считает «лицом

мелодраматическим». Если повесть «Дубровский», по мнению Белинского «сильно отзывается мелодрамой», то «Пиковая дама» «не повесть, а анекдот: для повести содержание «Пиковой дамы» слишком исключительно и случайно»¹⁾. Но и Белинский не мог не подчеркнуть замечательного знания Пушкиным помещичьего быта, не мог не отметить изумительного мастерства рассказа в «Пиковой даме», мастерства художника с точки зрения совершенствования прозаического языка, верности и красоты многих отдельных картин.

IX

Эпическая объективность пушкинской прозы придает ей особый колорит. Гений поэта обнаруживает себя по-другому, чем в его лирике, такой субъективной по преимуществу. Пафос пушкинской прозы иной. Личность художника непосредственно здесь вовсе не выступает. Плавное, спокойное разворачивание повествования отличает повести Пушкина не только от произведений Щедрина или Глеба Успенского, но даже, например, Гоголя, в прозе которого момент субъективности прорывается с большой силой. Эта эпическая объективность пушкинской прозы может вызвать у поверхностного читателя впечатление бесстрастия, равнодушия художника к проявлениям общественного зла, язвам крепостничества, изображенных им. Но дело обстоит гораздо сложнее. Художник заставляет факты и явления говорить самих за себя. И, несмотря на эту сдержанную, спокойную манеру повествования, отвратительные черты крепостнического быта, например, в «Дубровском», выступают в изображении самодурства Троекурова, его развлечений и его системы управления с поразительной верностью и четкостью рисунка. Но мягкая гуманность, свойственная гению Пушкина, угол его художественного зрения, особенности его мировоззрения обусловили тот особый колорит его повествования, который лишает его элементов сарказма, духа ненависти, духа

¹⁾ Т. XII, стр. 216.

непримиримости, идущей до конца, что так захватывает, воздействует на ум и чувство читателя в произведениях Салтыкова-Щедрина. Пушкин никогда не был сатириком по преимуществу, и в его повестях сатирический элемент вообще не занимает сколько-нибудь заметного места.

Едва ли, однако, можно согласиться с Белинским там, где он пишет о «пафосе помещичьего принципа» в «Дубровском» и «Капитанской дочке». Если бы это было так, то развитие идеи этих произведений получило бы совсем другой характер. В совершенно другом свете предстали бы перед читателем как картины крепостнического быта в «Дубровском», так и художественная характеристика пугачевского восстания в «Капитанской дочке». Между тем образ Пугачева — один из интереснейших, колоритных образов пушкинской прозы — ясно говорит нам не только о живом интересе Пушкина к этому вождю крестьянского восстания, но и о попытке художника подойти к своему герою совсем с другой стороны, чем подходили к нему дворянские историки. Внимательному читателю сразу бросается в глаза, что Пугачев Пушкина — это вовсе не какой-то кровожадный злодей, сделавший убийство людей своей профессией и забавой. Нет, это умный, энергичный, сильный волей и духом мужик, с типичной для крестьянина хитрецой и наблюдательностью, не лишенный и чувства юмора в чисто народном вкусе. Это человек из самой гущи народной, в котором ярко выступают черты простой человечности, это человек, способный на великодушный поступок, натура широкая, с размахом, удалью, человек действия, борьбы. Вспомните сказку, рассказанную Пугачевым Гриневу в дороге:

«Слушай, — сказал Пугачев с каким-то диким вдохновением, — расскажу тебе сказку, которую в ребячестве мне рассказывала старая калмычка. Однажды орел спрашивает у ворона: скажи, ворон-птица, отчего живешь ты на белом свете триста лет, а я всего-навсего только тридцать три года? — Оттого, батюшка, отвечал ему ворон, что ты

пьешь живую кровь, а я питаюсь мертвечиной. Орел подумал: давай попробуем и мы питаться тем же. Хорошо. Полетели орел да ворон. Вот завидели палую лошадь; спустились и сели. Ворон стал клевать да похваливать. Орел клюнул раз, клюнул другой, махнул крылом и сказал ворону: нет, брат, ворон; чем триста лет питаться падалью, лучше раз напиться живой кровью, а там, что бог даст!»¹⁾

Как хорошо отражает эта народная сказка настроение Пугачева. Смысл ее ясен — лучше раз попытаться счастья, разгуляться, разметать по белу свету народных обидчиков — помещиков и чиновников, разорить их усадьбы и крепости, чем весь век покорно гнуть шею, терпеливо перенося гнет, голод, нужду, постоянные обиды и унижения со стороны крепостников.

Конечно, Пушкин не был сторонником крестьянского восстания. Известно, что он рассматривал его как «бунт бессмысленный и беспощадный». Но в своей художественной характеристике Пугачева великий художник сумел приблизиться к исторической истине, сумел создать яркий и впечатляющий образ, в котором явно выступают черты, выгодно выделяющие, подчеркивающие в Пугачеве проявления человечности, простоты, народной сметки и удали, черты вождя крестьянской противупомещичьей партизанщины.

Наоборот, помещичий лагерь в «Капитанской дочке» представлен людьми недалекими и бездарными, вроде генерала, оренбургского коменданта, добродушными простаками, вроде капитана Миронова, беспринципными авантюристами вроде Швабрина, людьми посредственными и бесцветными вроде Гринева — типичного «среднего человека» мелкопоместной дворянской среды. Ни одного сильного, яркого характера. Правда, патриархальные нравы обитателей Белогорской крепости обрисованы художником в теплых тонах мягкого юмора. Это простые, глубоко мирные, по существу, люди, добродушные обыватели, живущие, что называется, без затей,

¹⁾ Т. IV, стр. 628.

не обременяющие себя излишними думами и запросами. Но и Иван Кузьмич, благодушствующий под башмаком своей энергичной капитанши, и Иван Игнатьич, кривой гарнизонный поручик со своим забавным гарнизоном, в котором не было «ни шмотров, ни учений, ни караулов», а солдаты не могли отличить, которая сторона правая и которая левая, — честные служаки, умеющие спокойно глядеть в глаза смерти и до конца исполнить свой долг.

Но эта патриархальная простота, эта невинность ума, не тронутая мыслью, это добродушное убожество существования, эта нетребовательность человека к жизни — все это так хорошо, живо рисует нравы российской глуши XVIII века, неподвижный и косный строй жизни, вопиющую культурную и экономическую отсталость крепостнической России. Здесь Пушкин обнаруживает себя как зрелый реалист, как писатель, умеющий понять и художественно отобразить существенное для этой эпохи. Только ограниченный, недалевидный исследователь может представлять дело таким образом, что Гринева, в сущности, — рупор идей автора, что жизненная философия Гринева — отражение взглядов и идей самого Пушкина. Это — явное принижение Пушкина, обеднение идейного содержания его творчества.

В сущности, в повестях Пушкина нет ни одного образа положительного героя из дворянско-помещичьей среды. Странно было бы видеть такой образ в лице Гринева. Мелкость его жизненных идеалов, его ограниченность, бедность понятий и представлений в форме эпически спокойной прекрасно раскрыты художником. Дубровский, конечно, значительно ярче Гринева. В этом образе нашел свое выражение активный, энергичный протест против произвола и самодурства всемогущих крепостников. Но Дубровский — не типический характер. В нем нет достаточной художественной убедительности, правдивости художественного изображения. Люди, подобные Дубровскому, могли появляться лишь как исключение в помещичьей среде. И Белинский проявил большую

критическую наблюдательность, остроту критического зрения, когда подметил в характере Дубровского черты мелодраматического порядка.

Помещичья среда не давала художнику достаточного материала для создания мощных, сильных, ярких характеров. Потому-то ими и бедна пушкинская проза. Гораздо богаче характерами драмы Пушкина. Достаточно напомнить читателю «Скупого рыцаря», произведение, по словам Белинского, достойное гения Шекспира:

«По выдержанности характеров, по мастерскому расположению, по страшной силе пафоса, по удивительным стихам, по полноте и оконченности, — словом, по всему эта драма — огромное, великое произведение, вполне достойное гения самого Шекспира».

Но создание характеров людей обыкновенных, незаметных, незначительных, людей, не выделяющихся ни сильными страстями, ни блеском дарований, ни сильной волей в борьбе с действительностью, — это дело больших трудностей, дело, посильное только выдающимся художникам слова. Величие Пушкина как поэтического гения состоит именно в том, что он в своей прозе сумел создать жизненные, полнокровные характеры людей, не поднимающихся над уровнем представлений, понятий, предрассудков рядовой массы своего времени, среднего русского обывателя. И он сделал это так, что эти характеры живут, что в них схвачено глубоко типичное для значительных слоев провинциального общества, уездного дворянства, что исторический колорит сохранен во всей своей свежести и своеобразии. В этом — огромное историческое значение Пушкина как прозаика-реалиста, которое в полной мере еще не оценено и до настоящего времени.

Х.

Наследие Пушкина монументально. Его разработка, его изучение — дело, огромность которого уясняется тем больше, чем глубже и внимательнее вчитываешься в его великие творения, чем больше расширяется круг исследо-

ваний и работ о Пушкине. Но никогда еще работа над Пушкиным не волновала так умы нашей молодежи, умы самых широких слоев советской интеллигенции. Пушкин как бы открывается заново и воспринимается по-иному нашей помолодевшей страной. И это так естественно. В Советской стране люди растут не по дням, а по часам. Трудно себе даже представить ту необычайную жадность к знанию, особую чуткость ко всему лучшему, подлинно даровитому, свежему, сильному, что появляется у нас в области художественной литературы. Вот почему подготовка к ознаменованию столетия со дня смерти великого народного поэта находит сейчас свое отражение во всех областях нашей общественной жизни. Вот почему так колоссально вырос спрос огромных масс читателей на сочинения Пушкина. Вот почему так много энергии, темперамента, любви к великому нашему поэту проявляют в деле подготовки к столетней годовщине люди самых разнообразных профессий, занятий, положений.

Пушкин получил сейчас аудиторию, какой он не имел никогда. И эта аудитория растет с каждым днем. Эта аудитория — все народы нашего великого Советского Союза.

Исполнилось пророчество поэта:

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,
И назовет меня всяк сущий в ней язык.
И гордый влук славян, и финн, и ныне дикий
Тунгуз, и друг степей калмык.

Нам дорог Пушкин, восславивший свободу, ненавидевший самовластие и его холопов, Пушкин, друг декабристов, поэт, любивший народ и его прекрасное творчество.

Нам дорога его чудная лирика, ибо она помогает нам ближе узнать облик великого поэта, ибо она заставляет нас острее, полнее, многостороннее воспринимать все прекрасное, что дает человеку природа и что может дать человек.

Нам дорога, близка, нужна его поэзия, зовущая вперед к жизни, к радости, действию, счастью.

Юношу и старика, нашу прекрасную молодежь и зрелое поколение, знающее

жизнь, — каждого по-своему волнует поэзия Пушкина, вечно юная, ясная, солнечная, вся обращенная в светлое, счастливое будущее человечества.

Каждая эпоха вносит что-то новое в изучение Пушкина, каждая воспринимает его по-своему. Но только теперь Пушкин встает перед нами во весь свой рост, только теперь начинает по-настоящему звучать его поэзия, только теперь она становится достоянием миллионов людей, освобожденных от гнета капиталистического рабства.

Человек в великой стране социализма спокойно и уверенно глядит в будущее, полной грудью дышит он и радостно работает, зная, что открыты перед ним широчайшие просторы творчества, что нет в мире ничего более прекрасного, чем радость труда и борьбы для блага трудящихся. Искусство, поэзия умножают эту радость, вдохновляют человека к новым победам, новым достижениям, придают его жизни особый вкус.

И Пушкин, наш Пушкин, приходит к нам в своей поэзии как лучший друг наш. И радость приходит вместе с ним, чистое наслаждение красотой, и то глубокое волнение, какое вызывают в нас только произведения гигантов поэтической мысли, и кровь начинает быстрее обращаться в жилах:

Что смолкнул веселня глас?
Раздайтесь, вакхальны припевы!
Да здравствуют нежные девы
И юные жены, любившие нас!
Полнее стакан налейте!
На звонкое дно
В густое вино.
Заветные кольца бросайте!
Подыдем стаканы, содвинем их разом!
Да здравствуют музы, да здравствует разум!
Ты, солнце святое, гори!
Как эта лампада бледнеет
Пред ясным восходом зари,
Так ложная мудрость мерцает и тлеет
Пред солнцем бессмертным ума.
Да здравствует солнце, да скроется тьма!¹⁾

Солнце разума, свободы, социализма сияет над великой советской страной. И знамя этой страны — красное знамя коммунизма. И имя любимого вождя ее народов — Сталин.

¹⁾ Т. I, стр. 408—409.

2. ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВЗГЛЯДЫ ПУШКИНА

Б. Мейлах

«Писать я начал с 13-летнего возраста и печатать почти с того же времени. Много желал бы я уничтожить как недостойные даже и моего дарования, какое бы оно ни было. Иное тяготеет как упрек на совести моей...». В этих словах Пушкина нет ни рисовки, ни ложной скромности: в его частой неудовлетворенности результатами своего труда, в постоянных поисках новых творческих путей, в неутомимой умственной жажде сказались неистощимые силы гения, для которого всякое созданное произведение является лишь ступенью к еще более высшим достижениям. «Поэму свою кончил и только последний, т. е. окончательный, стих принес мне истинное удовольствие» — писал Пушкин, окончив «Руслана и Людмилу». «Бахчисарайский фонтан» он назвал в письме к Дельвигу «бесвязными отрывками». Не менее суров и отзыв о «Цыганах»: «Сегодня кончила я поэму «Цыганы». Не знаю, что об ней и сказать. Она покамест мне опротивела».

Желая охарактеризовать лучшее в Шиллере, старик Гете, сам не переставший учиться до самой смерти, отметил его «fruchtbares Fortschreiten», его постоянное стремление к движению вперед. Это высокое качество было свойственно Пушкину на всем протяжении творческой деятельности.

Ничто не было ему так враждебно в художественном творчестве, как однообразие, статичность, окаменение форм. Главной причиной бедности современной ему русской литературы он считал влияние французских придворных писателей XVII века, боявшихся нарушить застывшие традиции и робко прислуживавших «утонченным вкусам» публики: «Ни один из французских поэтов не дерзнул быть самобытным, ни один, подобно Мильтону, не отрекся от современной славы. Расин перестал писать, увидя неуспех своей «Гофолии». Публика (о которой Шамфор спрашивал так забавно: сколько нужно глуп-

цов, чтобы составить публику?), легкомысленная, невежественная публика была единственной рук-водительницей и образовательницей писателей». Увлечение Байроном быстро сменилось у Пушкина разочарованием, благодаря «однообразию» этого писателя: «Байрон бросил односторонний взгляд на мир и природу человеческую, потом отвратился от них и погрузился в самого себя. В К а и н е он постиг, создал и описал единый характер (именно свой)... Когда же он стал составлять свою трагедию, то каждому действующему типу роздал он по одной из составных частей сложного и сильного характера — и таким образом раздробил величественное свое создание на нескольких лиц, мелких и незначительных». Писателям же, неустанно стремившимся к поискам новых творческих возможностей и пренебрегавшим мнением «почтеннейшей публики» (так Пушкин иронически называл враждебную ему «светскую чернь» и реакционную критику), он неоднократно высказывал свое одобрение. Так, например, о П. А. Катенине, который ввел «в круг возвышенной поэзии язык и предметы простонародные», Пушкин писал: «Что касается до несправедливой холодности, оказываемой публикою сочинениям г. Катенина, то во всех отношениях она делает ему честь: во-первых, она доказывает отвращение поэта от мелочных способов добывать успехи, а, во-вторых, и его самостоятельность. Никогда не старался он угождать вкусу в публике, напротив: шел всегда своим путем...».

Новаторство Пушкина, которое он так страстно защищал и которое является одной из самых ярких особенностей его творчества, не было новаторством бесстрастного мастера, удаленного от живой жизни. К созданию южных поэм, «Евгения Онегина», «Бориса Годунова», «Повестей Белкина» Пушкин подходил с точки зрения значения этих произведений в развитии национальной литературы. Основоположник русского

реализма смело шел против установленных норм придворной эстетики и морали, не считаясь с требованиями цензуры, не ожидая одобрения критики и узких кругов «читающей публики». Появление каждого из произведений Пушкина знаменовало важный этап в развитии всей русской реалистической литературы, в создании простого, ясно-го литературного языка, разрушающего каноны и нормы феодально-дворянской эстетики. Можно лишь удивляться прозорливости М. Каченовского, в 1820 году уподобившего появление Пушкина в литературе «вторжению в Московское благородное собрание гостя с бородой, в армяке и в лаптях». Беспокойство приверженцев старого порядка было вполне обоснованным. В творчестве Пушкина оттачивался тот язык, образование которого было одной из сторон процесса, ускорившего разгром «благородного собрания» и превращение «гостя с бородой, в армяке и в лаптях» в хозяина дворянских поместий.

В нашей прессе уже были подвергнуты критике попытки некоторых «социологов» свести прогрессивное значение творчества Пушкина к сравнительно немногим политическим стихотворениям («Вольность», «Нозель», «Деревня», «Кинжал», эпиграммы и др.). «Социологи» не понимают того, что революционными и были сами творческие принципы Пушкина, противостоявшие политическим и литературным регламентам феодально-крепостнической России. Именно потому царское правительство с подозрением относилось ко всем произведениям поэта. Именно потому «светская чернь» и организовала убийство его Дантесом.

Непримиримость творческих позиций Пушкина с существовавшими социальными порядками, быть может, наиболее убедительно подтверждается его собственными мотивировками создания первой русской реалистической трагедии «Борис Годунов». «Признаюсь искренно, — писал Пушкин в набросках предисловия, — неуспех драмы моей огорчил бы меня, ибо я твердо уверен, что нашему театру приличны народные

законы драмы Шекспировой — а не придворный обычай трагедий Расина — и что всякий неудачный опыт может замедлить преобразование нашей сцены». Здесь выражена большая ответственность, которую чувствовал Пушкин, готовя к печати трагедию, написанную с целью совершения переворота в русском театре, где традиции придворной морали, казалось, были незыблемы. Сомнения Пушкина в успехе «Бориса Годунова» полностью подтвердились. Ни реалистический метод трагедии, сюжетом которой был один из «мятежных» периодов русской истории, ни «политическая точка зрения», с которой Пушкин, по его признанию, смотрел на характер Бориса, ни, наконец, смелое сокрушение традиционных принципов драматургической композиции не могли быть приняты «светской чернью», во главе с царем. Николай I не разрешил ее печатать, написав подказанную сотрудником III отделения издательскую резолюцию: «Я считаю, что цель г. Пушкина была бы выполнена, если бы с нужным очищением переделал комедию свою в историческую повесть или роман наподобие Вальтер Скотта». Так было понято новаторство Пушкина, замышлявшего своей трагедией «преобразовать» русский театр... Когда же через пять лет трагедия была, наконец, напечатана, Пушкин, за это время окончательно отчаявшийся в возможности реализации своих творческих устремлений, писал в письме к Е. М. Хитрово: «Вы говорите мне об успехе Бориса Годунова, по правде, я не могу этому верить. Успех совершенно не входил в мои расчеты, когда я писал его... К тому же все хорошее в ней [трагедии. — Б. М.] так мало рассчитано на то, чтобы поражать почтеннейшую публику (то есть ту сволочь, которая нас судит), и раскритиковать меня вполне основательно так легко, что я думал доставить удовольствие только дуракам, которые могли бы выказать свое остроумие за мой счет...».

Причины противодействия «почтеннейшей публики» попыткам создания народной реалистической трагедии Пушкин представлял вполне отчетливо. В

набросках программной статьи о народной трагедии прямо указаны причины: «Для того, чтобы она [народная трагедия. — Б. М.] могла расставить свои подмостки, надобно было бы переменить и испровергнуть обычаи, нравы и понятия целых столетий...».

На фоне литературы разлагавшегося феодализма, требовавшего от писателя реакционной идеализации прошлого и тенденциозного восхваления «сущего», прогрессивный политический характер литературного новаторства Пушкина выступает вполне отчетливо.

Отсюда понятно, почему Пушкин так много внимания уделял вопросам о праве художника на свободу творчества и на критическое отношение к действительности. В его заметках и письмах разбросаны признания, свидетельствующие о том, что он сам довольно ясно сознавал революционизирующую общественное сознание роль своего новаторства. И здесь он был «с веком наравне». Передовые люди своего времени — декабристы, считавшие литературу одним из средств изменения существовавшего социального порядка, — понимали связь литературной политики правительства со всей политической системой российского самодержавия и не верили в возможность свободного развития литературы без коренного изменения этой системы. Рылеев, А. Бестужев, В. Кюхельбекер в своих показаниях на следственной комиссии прямо признались, что одной из причин декабристского восстания были крайне стеснительные условия для свободного развития литературы. Об этом же говорили и другие декабристы. Но о том, что без изменений политических не может быть изменений в положении литературы, Пушкин писал более откровенно, чем кто-либо из его современников! Считая, что цензурный террор был одной из непосредственных причин роста недовольства правительством и возникновения мятежей, Пушкин опасался, что смягчение цензурного гнета может ослабить политическую оппозицию правительства. «Хотелось мне поговорить о перемене министерства, —

писал он Вяземскому в июне 1924 г., — что ты об этом думаешь? Я рад и нет. Давно девиз всякого русского есть — чем хуже, тем лучше. Оппозиция русская, составившаяся, благодаря русскому богу, из наших писателей, приходила уже в какое-то нетерпение, какое я исподтишка поддразнивал, ожидая чего-нибудь». Эту же мысль он повторяет и в письме к брату: «... ожидаю перемены цензуры; а жаль..., чаша была переполнена... Это долго не могло продолжаться...».

О том, что Пушкин признавал огромную общественно-политическую роль искусства, свидетельствует целый ряд его высказываний, относящихся к различным отрезкам творческого пути. Еще в несколько тяжеловесной оде «К Лицинию», носящей следы ученического подражания, 16-летний поэт декларативно заявляет о своей готовности, следуя примеру римских сатириков, обнажить потомству «нравы сих веков». Далее, в письмах к друзьям он протестует против взгляда на поэзию «как на записную прелестьницу», призывая поэтов к «постоянному труду» и наполнению творчества глубоким идейным содержанием. К 1824 г. относится стихотворение Пушкина, которое по своей исключительной поэтической темпераментности и пафосу обличения, бесспорно, является одним из ярчайших манифестов гражданского искусства:

О, муза пламенной сатиры!
Приди на мой призывный клич!
Не нужно мне гремящей лиры,
Вручи мне Ювеналов бич!
Не подражателям холодным,
Не переводчикам голодным,
Не беззащитным рифмачам
Готовлю язву эпиграмм!
Мир вам, несчастные поэты!
Мир вам, смиренные глупцы!
А вы, ребята-подлецы, —
Вперед! Всю вашу сволочь буду
Я мучить казнию стыда,
Но, если же кого забуду,
Прошу напомнить, господа!
О, сколько лиц бесстыдно-бледных,
О, сколько лбов широко-медных
Готовы от меня принять
Неизгладимую печать!

А в 1831 г. Пушкин писал, что «дружина ученых и писателей» должна быть

«всегда впереди во всех набегах просвещения», несмотря на то, что «вечно им [писателям] определено выносить первые выстрелы и все невзгоды, все опасности ремесла». Верный традициям передовых просветителей Запада, — Дидро, Вольтера, Лессинга, — Пушкин неустанно подчеркивал и в своих художественных, и в критических произведениях, и в письмах решающую роль писателя в историческом прогрессе. Теперь легко обнаружить здесь ошибку: судьбы истории решаются далеко не одними только писателями, эти судьбы решаются в борьбе классов, в каковой, разумеется, участвуют и писатели. Но в условиях феодально-крепостнического государства пушкинское противопоставление авторитета «просвещенного человека» авторитету официальной власти имело огромное прогрессивное значение. «Аристократия самая мощная, самая опасная — есть аристократия людей, которые на целые поколения, на целые столетия налагают свой образ мыслей, свои страсти, свои предрассудки. Что значит аристократия породы и богатства в сравнении с аристократией пишущих талантов? Никакое богатство не может перекупить влияние обнародованной мысли. Никакая власть, никакое правление не может устоять противу все-разрушительного действия типографического снаряда». Эти строки Пушкина, написанные им незадолго до смерти, являются лучшим свидетельством того, насколько органически он впитал идеологию просветительства.

Еще в 1826 г. Бенкендорф от имени Николая I предостерегал Пушкина от переоценки значения просвещения и роли гения («Его величество изволил заметить, что принятое Вами правило, будто бы просвещение и гений служат исключительно основанием совершенству, есть правило, опасное для общего спокойствия, завлекшее Вас самих на край пропасти»). Но предостережения эти, как мы знаем, были тщетны. В стихотворении «Я памятник себе воздвиг нерукотворный», в котором Пушкин как бы подводит итог своей литературной деятельности, именно верностью этому «правилу» мотивируется уверенность

поэта в том, что его «нерукотворный памятник» вознесся выше царского монумента — «александрийского столпа».

Приверженцы теории «чистого искусства» на протяжении десятилетий стремились доказать, что эстетические взгляды Пушкина соответствовали эстетике субъективного идеализма, противопоставляющей искусству реальной действительности теорию «чистой красоты». Соответствующе комментируя стихотворения «Пророк», «Поэт», «Чернь», «Поэту», представители буржуазно-дворянского литературоведения от П. В. Анненкова до М. О. Гершензона игнорировали декларации и высказывания Пушкина, в которых понимание им высокой общественной роли искусства нашло прямое отражение. «Доказательства» принадлежности Пушкина к сторонникам «чистого искусства» ограничивались, главным образом, столь многократно цитированными строками стихотворения «Чернь»¹⁾:

Не для житейского волнения,
Не для корысти, не для битв,
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв.

Фальсификаторы эстетических взглядов Пушкина иногда пытались опереться на авторитет Писарева, который подчеркивал огромное значение творчества Пушкина-реалиста и отводил ему роль жреца «звуков сладких и молитв». Но нигилизм Писарева, конечно, ничего общего не имел с отношением к Пушкину революционно-демократической критики. Белинский еще в «Литературных мечтаниях» признавал, что Пушкин был «сыном своего века», «представителем современного ему человечества». Чернышевский высоко ценил творчество Пушкина и неоднократно говорил о его влиянии «на образование русской публики». «Творения Пушкина, создавшие новую русскую литературу, образовавшие новую русскую публику, будут жить вечно, и вместе с ними незабвенной останется личность Пушкина», —

¹⁾ Как выяснилось, Пушкин впоследствии озаглавил это стихотворение «Поэт и толпа».

писал он. Чернышевский, вслед за Белинским, пытался подойти исторически к рассмотрению значения идеи независимости поэта от «толпы» в творчестве Пушкина.

Насколько нелепым является утверждение Писарева, что «черную» Пушкин именовал «неимущих соотечественников» и даже «все трудящееся человечество», показал Плеханов в статьях «Литературные взгляды Белинского» и «Искусство и общественная жизнь». Но полностью преодолеть традиции домарксистской критики Плеханов не смог: он все же соглашался с тем, что после декабристского восстания Пушкин стал приверженцем «чистого искусства». Словно не замечая противоречия между провозглашенным в стихотворении «Чернь» принципом и всем, тесно связанным с реальной действительностью и жизненной борьбой, творчеством поэта, Плеханов писал: «Пушкину не раз предлагали писать полезные для славы отечества нравоучительные произведения. Он предпочитал чистое искусство и именно этим доказывал, что был выше ходячей тогда морали». Что Пушкин отказывался выполнять реакционные заказы, — это, конечно, так. Но значит ли это, что он «предпочитал чистое искусство»? Ведь Пушкин, как мы знаем, не только не чуждался изображения «прозы жизни», но даже отдавал ей предпочтение перед «возвышенными предметами». Нельзя игнорировать того, что стихотворения, в которых защищается свобода поэта от притязаний «толпы», написаны Пушкиным в годы, когда вопрос о примате фантазии над действительностью категорически был решен им отрицательно. Приближение Пушкина к реалистическому изображению «прозы жизни» вызвало усиление травли его консервативной критикой, негодовавшей по поводу того, что он в «Графе Нулине» «опустился» до изображения «черного барского двора», и предостерегающе заявлявшей поэту: «Мало ли в природе есть вещей, которые совсем нейдут для показу?.. Дай себе волю, пожалуй, залезешь и — бог весть куда! — от спальни недалеко до девичьей, от девичьей — до перед-

ней — до сеней, от сеней — дальше и дальше!..».

Очевидно, своеобразие позиций Пушкина, в своем творчестве стремившегося к изображению «житейского волнения», а в стихотворных декларациях отвергавшего это же «житейское волнение», не может быть объяснено зачислением великого поэта в лагерь сторонников «чистого искусства».

Не возражая против мнения о принадлежности Пушкина к сторонникам теории «чистого искусства», Плеханов находил этому историческое оправдание, утверждая: «В известные исторические эпохи нежелание метать бисер перед холодной и неразвитой толпой необходимо должно приводить умных и талантливых людей к теории искусства для искусства». Исходя из этого, он приходит к выводу, что теория «искусства для искусства» в эпоху Пушкина — эпоху «общественного индифферентизма и упадка гражданской нравственности» — играла прогрессивную роль. Это положение Плеханова, связанное с его кантианскими ошибками, конечно, не может быть принято нами, ибо, как известно, теория «чистого искусства» во все эпохи играла реакционную роль и была направлена против деятельности прогрессивных писателей, видевших в искусстве оружие общественной борьбы. Немецкие реакционные романтики — Вакенродер, Тик, Новалис — под «чистым искусством» подразумевали искусство проникновения «за грани видимого мира» и подмену изображения реальной действительности субъективной фантазией поэта. «Да здравствует искусство! Оно возносит нас над землей и делает нас достойными нашего неба» — писал Вакенродер. Вождь «парнасцев» Теофиль Готье считал, что единственной задачей художника является бесстрашная, чеканная отделка своего произведения, и утверждал: «Все исходит от формы». Разумеется, проведенная Плехановым аналогия между эстетическими позициями Пушкина и Теофиля Готье не может быть убедительной: уж формалистом Пушкина никак назвать нельзя. Даже к поэзии, которая, по его шутливому определению, в отличие

от прозы «должна быть глуповата», он предъявлял требование идейности: «...не мешало бы нашим поэтам иметь сумму идей гораздо позначительней, чем у них обыкновенно водится». Это было написано в 1822 г. А с 1827 г., т.-е. к тому году, когда он начал работать над стихотворением «Чернь», относится его сердитое замечание: «У нас употребляют прозу как стихотворство: не из надобности житейской, не для выражения нужной мысли, а только для приятного проявления форм». Далее, оригинальность Баратынского Пушкин мотивирует тем, что он «мыслит по-своему, правильно и независимо». Наконец, забвение Малерба и Ронсара потомством находит у Пушкина следующее объяснение: «Сии два таланта истощили силы свои в борении с усовершенствованием стиха... Такова участь, ожидающая писателей, которые пекутся более о механизме языка, на наружных формах слова, нежели о мысли — истинной жизни его, не заисящей от употребления!».

И если Пушкин в известном сонете «Поэту» восклицал:

... ты сам свой высший суд.
Всех строже оценить умешь ты свой труд.
Ты им доволен ли, взыскательный художник?

Доволен? Так пускай толпа его бранит,
И плюет на алтарь, где твой огонь горит,
И в детской резвости колеблет твой треножник, —

то этими обличающими, полными негодования словами он выражал свое презрение к «светской черни», ждавшей от него выполнения своих заказов, а никак не преданность тому равнодушному формализму, который впоследствии нашел воплощение в творчестве «парнасцев».

Только изучая произведения Пушкина о «поэте» и «поэзии», на фоне литературы конца XVIII и первых десятилетий XIX века, можно понять их своеобразие ¹⁾.

И до 1825 г., и после поражения восстания декабристов апологеты теории

«чистого искусства» сознательно использовали ее как орудие борьбы с деятельностью прогрессивных писателей, считавших искусство одним из средств коренного изменения социальных порядков. Более того, Карамзин и Жуковский успешно сочетали пропаганду принципов чистого искусства с реакционной тенденциозностью. Защита поэзии, удаленной от «земной суеты», механически совмещается в произведениях Карамзина с требованиями, предписывавшими художнику восхвалять «необходимость самовластия и прелести кнута». Воспевая «чистую красоту» и утверждая, что поэтам нет дела до «истины», Жуковский, в то же время, подчеркивал необходимость для поэта быть «почитателем бога» и «сыном отечества», ибо: «Горе поэту, если одобрение судьбы не будет для него столь же важно, как и одобрение критика». Несомненно реакционной была пропаганда чистого искусства и на страницах выходившего в 1827—30 гг. «Московского вестника», призывавшего писателей уйти от реальной действительности в мир мистической фантастики. Характерно, что в первом же номере этого журнала содержится полемика с критиками, требовавшими, чтобы поэзия «восставала против предрассудков» и имела целью «изгнать все нечистое из языка и общества». «Не такова цель сего благородного искусства» — декларировал журнал: «Поэзия любит средства положительные», должна петь «языком гармоническим и чистым», «не поэзии дело истреблять плевелы». В другой статье, «О достоинстве поэта», соответственно этим установкам указывается, что «поэт живет отшельником от действительного мира, в мире своей фантастики», ибо «несчастный, горестный опыт убеждает нас, что счастья нельзя искать в предметах внешних»... Эти же идеи воплощены в целом ряде помещенных в журнале поэтических и прозаических произведений.

Совершенно иным является содержание пушкинских стихотворений о «поэте» и «толпе». В то время как идеи чистого искусства служили у Карамзина,

¹⁾ Более подробно об этом см. в III главе нашей книги «Пушкин и русский романтизм», выходящей в издательстве Академии Наук СССР.

Жуковского и группы поэтов «Московского вестника» руководящими принципами творческого метода, Пушкин путем отставания «автономности» искусства сознательно проводил определенную литературную политику. С момента возвращения из ссылки Пушкин испытывал давление со стороны правительства и реакционных литературных кругов, требовавших от поэта «перестройки» не на словах, а на деле. С каждым годом усиливает ожесточенную травлю Пушкина «Вестник Европы», для которого он чуть ли не вождь «литературного нигилизма», покушающегося «ниспровергнуть до основания священный оплот общественного порядка и благоустройства». Подходя к поэзии Пушкина с критерием «пользы», «Вестник Европы» характеризовал ее как бесполезную, а самого Пушкина называл «стихотворным мастером стихотворной «мозаической тафты», «фигурных балас». Во время военных кампаний 1828—29 гг. реакционная критика пред'являла Пушкину прямое требование «воспеть успехи нашего оружия» и «великие подвиги современных русских героев». На этом фоне стихотворения «Поэт и толпа», «Поэт», «Поэту» наполняются конкретным социальным содержанием. Содержавшиеся в целом ряде стихотворений Пушкина мотивы одиночества поэта и независимости поэзии интересно конкретизированы в автографе стихотворения «Из Пиндемонте» (1836), где мечта поэта выражена следующим образом:

... Никому

Отчета не давать, себе лишь самому
Служить и угождать, пред силою законной
Не гнуть ни совести, ни мысли непреклонной.

Правда, и в автографе, и в окончательном тексте осталось противопоставление себя и властям, и народу:

Зависеть от властей¹⁾, зависеть от народа
Не все ли нам равно? Бог с ними...

Однако необходимо иметь в виду, что даже лучшие люди этого времени — декабристы, были, как писал Ленин,

«страшно далеки... от народа»¹⁾. Выход из социальной изоляции Пушкин видел не в «чистом искусстве», отрешенном от реальной действительности, и не в устремлении «туда», «в лучшие миры», а в своем труде, в создании произведений, наполненных живой жизнью, двигавших вперед литературу, будивших сознание читателей, ставивших острые социальные проблемы.

Интересный материал для суждения о том, как Пушкин относился к «пользе» искусства и что служило для него критерием художественности, дает его полемика с Жуковским и Рылеевым.

Почти во всех письмах Жуковского к Пушкину содержится призыв с «высокостью гения» соединить «высокость цели». В апреле 1826 г. Жуковский прямо писал Пушкину: «Я ненавижу все, что ты написал возмутительного для порядка и нравственности... ты уже многим нанес вред неисцелимый — это должно заставить тебя трепетать. Талант ничто, главное величие нравственное». Но и до декабристского восстания Жуковский, хотя и менее открыто, старался добиться политического поправления Пушкина. Так, в 1825 г. по поводу поэмы «Цыганы», наполненной романтическим социальным протестом и поэтому высоко ценимой декабристами, Жуковский писал: «Я ничего не знаю совершеннее по слогу твоих «Цыган». Но, милый друг, какая цель! Скажи, чего ты хочешь от своего гения? Какую память хочешь оставить о себе отечеству, которому так нужно высокое?» На это Пушкин ответил ему: «Ты спрашиваешь, какая цель у Цыган? Вот на! Цель поэзии—поэзия. Думы Рылеева и целят, а все невпопад».

В этих словах некоторые исследователи увидели враждебность Пушкина «высокому», гражданскому искусству. На самом деле суть здесь не в этом. О том, почему «Думы» «целят невпопад», Пушкин писал в письме к Рылеву: «Что сказать тебе о Думах? Во всех встречаются стихи живые, окончательные строфы Петра в Острогском же чрезвычайно оригинальны. Но

¹⁾ В автографе вместо слова «властей» есть вариант: «царя».

¹⁾ См. Ленин, т. XV. 3-е изд., стр. 468.

вообще все они слабы изобретением и изложением. Все они на один покрой: составлены из общих мест (loci topici). Описание места действия, речь героя и нравоучение. Национального, русского нет в них кроме имен (исключая Ивана Сусанина, первую думу, по коей начал я подозревать в тебе истинный талант). Ты напрасно не поправил в Олеге герба России. Древний герб, св. Георгий, не мог находиться на щите язычника Олега; новейший, двуглавый орел, есть герб византийский и принят у нас во время Иоанна III, не прежде. Летописец просто говорит: Тоже повеси щит свой на вратах на показание победы».

Общезвестным является огромное агитационное значение «Дум» Рылеева. Резко различными были политические позиции Пушкина и Рылеева, с каждым годом все более эволюционировавшего влево. Но критика Пушкиным художественных недостатков «Дум» была несомненно верна.

«Думы» Рылеева именно потому и целили «невыпад», что в них в жертву «идеи» приносились исторические факты. Как мы знаем, для большинства «Дум» Рылеев черпал материал в «Истории Государства Российского». Сочетание же карамзинского консерватизма с политически прогрессивной тенденциозностью обусловило возможность использования ряда «Дум» в реакционно-патриотических целях. Любопытно, что горячий поклонник творчества Рылеева Н. П. Огарев, признавшийся в стихотворении «Памяти Рылеева»:

Рылеев был мне первым светом...
Отец по духу мне родной.
Твое название в мире этом
Мне стало доблестным заветом
И путеводною звездой —

в предисловии к нелегальному изданию «Дум» писал:

«В «Думах» Рылеев поставил себе невозможную задачу сочетания исторического патриотизма с гражданскими понятиями своего времени; отсюда вышло ложное изображение исторических лиц, ради постановки на первый план глубоко сжившейся с поэтом граждан-

ской идеи» («Думы», изд. Искандера, Лондон, 1860, стр. XV).

К оценке «Дум» Пушкин подходил не как эстет, которому враждебна целеустремленность искусства, а как художник-реалист. Он одобрительно отзывался о замечательных строфах думы «Петр Великий в Острогожске», в которых соблюден «местный колорит», и о думе «Иван Сусанин», написанной живым разговорным языком, но признал, что в целом они схематичны и лишены исторического правдоподобия. Таким образом, Пушкин был не против произведений «с целью», а против тенденциозного искажения исторической правды. Более того, считая, что «цель» не должна быть искусственно введена в произведение извне, Пушкин прямо отвергал бесцельные произведения. Так, на полях «Опытов» Батюшкова, против «Послания к И. М. Муравьеву-Апостолу», он отметил: «Цель послания не довольно ясна: недостаточно то, что выполнено прекрасно», а против заключительной строфы стихотворения «Странствователь и домосед» написал: «Конец прекрасен. Но плана никакого нет, цели не видно — все вообще холодно, растянуто, ничего не доказывает и пр.».

Со всеми этими особенностями взглядов Пушкина на роль художника и на сущность искусства связана и его трактовка «народности».

Осваивая богатейшее наследие великого реалиста Шекспира, Пушкин уделял много внимания «народности» и «правдивости» не только в своей творческой практике, но и в критических опытах. В своей заметке «О народности в литературе» (1826) он справедливо возражает критикам, которые полагали, что народность состоит «в выборе предметов из отечественной истории», или видели народность «в словах» (т.-е. в употреблении русских выражений).

Этому пониманию народности Пушкин противопоставил народность шекспировскую, основанную на правдивом изображении действительности во всем ее многообразии: «Есть образ мыслей и чувствований, есть тьма обычаев, поверий и привычек, принадлежащих исклю-

чительно какому-нибудь народу. — Климат, образ правления, вера дают каждому народу особенную физиономию—которая более и менее отражается в зеркале поэзии».

До такого глубокого понимания народности русская литература конца XVIII и начала XIX вв. не поднималась. Корни этих теоретических настроений Пушкина — в европейской литературе, и прежде всего в творчестве Шекспира. Мысль о необходимости изображения «особенной физиономии» народа, как об основном принципе народности, между прочим, нашла отражение в заметке о трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта», которую Пушкин высоко ценил за то, что «в ней отразилась Италия, современная поэту, с ее климатом, страстями, праздниками, негой, сонетами, с ее роскошным языком, исполненным блеском и concetti¹⁾». Необходимо отметить, что близость художественного произведения к действительности служила Пушкину критерием оценки своего творчества и в начале 20-х гг., когда он еще не начал систематически изучать Шекспира. Так, критикуя в письме к Горчакову свое стихотворение «Кавказский пленник», он отмечал, как лучшие, именно те места, в которых нашла отражение подлинная действительность: «Черкесы, их обычаи и нравы занимают большую и лучшую часть моей повести, но все это ни с чем не связано и есть истинный hors d'oeuvre²⁾. Вообще я своей поэмой очень доволен».

На творчество Шекспира Пушкин опирался, пытаясь осмыслить основные вопросы художественного творчества. «Твердо уверенный, что устарелые формы нашего театра требуют преобразования, я расположил свою трагедию по системе отца нашего Шекспира»—писал он в наброске предисловия к «Борису Годунову». Условному правдоподобию, как принципу формальному, основанному в поэтике классицизма на единствах места, времени и действия, он

противопоставил правдоподобие характеров и обстоятельств. Против поэтики классицизма направлено утверждение Пушкина, что правдоподобие несовместимо с самой природой драмы. «Не говоря уже о времени и пр. какое, черт возьми, правдоподобие может быть в зале, разделенном на две половины, из коих одна занята двумя тысячами человек, будто бы невидимых для тех, которые находятся на подмостках». Далее Пушкин приводит другие, опровергающие принцип наивного правдоподобия, доказательства: язык (например, у Лагарпа Филоклет, выслушав тираду Пирра, говорит на чистом французском языке: «Увы! Я слышу сладкие звуки греческой речи»), условность трагических масок, речи «в сторону» и т. д. Отвергая свойственное поэтике классицизма ложное понимание правдоподобия, Пушкин пишет: «Правдоподобие положений и правда диалога — вот настоящие законы трагедии».

В том же, написанном в 1825 г., черновом письме Н. Н. Раевскому, где содержатся все эти мысли о правдоподобию, Пушкин говорит о необходимости индивидуализации героев: «Каждый человек любит, ненавидит, печалится, но каждый на свой образец — читайте Шекспира». Писатель должен изображать характер героя во всей противоречивости: чуждый угловатой прямолинейности характеров в классических трагедиях. Это положение подробно развито Пушкиным в одной из заметок из «Table Talk» (1834), где тонко вскрыты различия в изображении героев Шекспиром и Мольером. Односторонности Мольера Пушкин противопоставил разнообразие Шекспира: «Лица, созданные Шекспиром, не суть, как у Мольера, типы такой-то страсти, таксо-го порока, но существа живые, исполненные многих страстей, многих пороков; обстоятельства развивают перед зрителем их разнообразие и многосторонние характеры. У Мольера Скупой скуп — и только; у Шекспира Шейлок скуп, сметлив, мстителен, чадолюбив, остроумен. У Мольера лицемер волочится за женой своего бла-

¹⁾ Concetti — блестящие выражения.

²⁾ Hors d'oeuvre — приправа, нечто добавочное.

годетеля — лицемера; принимает имение под сохранение — лицемера; спрашивает стакан воды — лицемера. У Шекспира лицемер произносит судебный приговор с тщеславной строгостью, но справедливо; он оправдывает свою жестокость глубокомысленным суждением государственного человека; он обольщает невинность сильными, увлекательными софизмами, не смешною смесью набожности и волокитства».

Принципы «правдоподобия положений и правды диалога», индивидуализации героев и показа их характеров во всем многообразии были для Пушкина основными критериями оценки художественного творчества и неустанно пропагандировались им. Бедность русской литературы не позволяла Пушкину достаточно полно развернуть на конкретных примерах свои теоретические взгляды: приходилось использовать для этой цели произведения, далеко не отвечающие его высоким требованиям. Так, в 1830 г. им была написана статья о романе Загоскина «Юрий Милославский». Статья эта начинается с теоретической декларации, осуждающей писателей, которые искажают в своих произведениях историческую действительность. Еще ранее в заметке «О романах Вальтер-Скотта» (1827) Пушкин писал: «Что нас очаровывает в историческом романе — это то, что историческое в них есть подлинно то, что мы видим — Шекспир, Гете, Вальтер-Скотт»¹⁾. В рецензии же на «Юрия Милославского» он пишет о подражателях Вальтер-Скотта, которые «подобно ученику Агриппы...», «...вызвав демона старины, не сумели им управлять и сделались жертвами своей дерзости». Дальнейшие едкие замечания Пушкина по адресу подобных писателей могут быть весьма полезными для некоторых современных «теоретиков» исторического романа, полагающих, что «история есть политика, обращенная в прошлое»:

«В век, в который хотя бы они перенести читателя, перебираются они сами с тяжелым запасом домашних привычек,

предрассудков и дневных впечатлений. Под беретом, осененным перьями, узнаете вы голову, причесаную вашим парикмахером; сквозь кружевную фрезу à la Henri IV проглядывает накрахмаленный халстух нынешнего dandy. Готические героини воспитаны у Madame Campan, а государственные люди XVI столетия читают Times и Journal des Débats. Сколько несообразностей, ненужных мелочей, важных упущений! сколько изысканности! а сверх всего, как мало жизни!»

Этот же прием использования рецензии для развертывания теоретической декларации нашел выражение и в имеющей значение литературного манифеста статье о народной драме и драме М. П. Погодина «Марфа Посадница». Статья эта не была окончена, несмотря на то, что Пушкин в письме Погодину обещал разобрать в журнале его драму «как можно пространнее». Едва ли цензура пропустила бы статью, представлявшую собой как бы обличительную речь писателя против существовавших социальных порядков, при которых развитию подлинно народного искусства ставились «непреодолимые преграды». Меньше всего в набросках статьи говорится о драме «Марфа Посадница»: все внимание сосредоточено на развитии ряда теоретических положений о социальном смысле и законах развития драматического искусства.

«Драматическое искусство родилось на площади для народного увеселения» — таков первый тезис программы этой статьи. Цель драмы — «изображение судьбы человеческой, судьбы народной». На площади драма была свободной («вольность мистерий» — конспективно записывает Пушкин). Народная трагедия изображала «тяжкие злодеяния, страдания сверхъестественные», затем «стала заведывать страстями и душою человеческой». Но, перенесенная с площади в чертоги «по требованию образованного, избранного общества», драма изменилась, «голос ее понизился», она сделалась «благопристойна и важна». Поэт уже не мог «предаваться вольно и смело своим вымыслам» и лишь старался угадывать

¹⁾ Подлинник на французском языке.

вкусы публики «высокого звания» и идеализировать «людей высшего состояния»¹⁾. Из искусства для народа драма превратилась в искусство для избранных. Так вкратце Пушкин охарактеризовал деградацию драматического искусства в Европе. Переходя же к обзору истории драматического искусства в России, он замечает, что «драма никогда не была у нас потребностью народною», так как трагедия сразу образовалась «при царском дворе». Отсюда Пушкин делает вывод, что при существующих «обычаях, нравах и понятиях» в России не может быть народной трагедии: «Трагедия наша, образованная по примеру трагедии Расина, может ли отвыкнуть от аристократических своих привычек (от своего разговора размеренного, важного и благопристойного)? Как ей перейти к грубой откровенности народных страстей, к вольности суждений площади — как ей вдруг отстать от подобострастия, как ей обойтись без правил, к которым она привыкла, где, у кого выучиться наречию, понятному народу, какие суть страсти сего народа, какие струны его сердца, где найдет она себе созвучие, — словом, где зрители, где публики?»

После такого пессимистического заключения Пушкин переходит к рассмотрению «опыта народной трагедии» — драмы М. П. Погодина «Марфа Посадница», тема которой — изображение одного из мятежных периодов русской истории — «падения Новгорода, решившего вопрос о единодержавии России». Развернутая в теоретической части статьи мысль Пушкина о враждебности публики романтической драме далее конкретизируется. Самую попытку Погоди-

¹⁾ В рукописи статьи, показывающей мучительную работу Пушкина над тем, чтобы придать своим мыслям «благонамеренность» и избежать придинок цензуры, имеются еще более острые по своей социальной направленности места. Так, в одном из вариантов Пушкин осуждает привычку писателей «смотреть на Царей и Государей с лакейским подобострастием», в другом говорит о том, что трагедия для того, чтобы стать народной, должна усвоить свойственное народу «шутливое равнодушие к высшим званиям» и т. д.

на написать народную «романтическую драму» Пушкин рассматривает как подвиг («без сего самоотвержения в нынешнем состоянии нашей литературы ничего нельзя произвести истинно достойного внимания»). Разбор драмы Погодина краток и в отличие от предыдущей части статьи несколько вял. Это вполне понятно, так как «Марфа Посадница», конечно, не соответствовала высоким требованиям Пушкина и рассмотрению ее после обзора развития драматического искусства было не совсем уместным. Однако и на материале этой драмы Пушкин смог развернуть свои взгляды на задачи драматического писателя, обязанного, по его мнению, правдиво изображать историческую действительность. Но, утверждая, что писатель должен быть объективным и «не клониться на одну сторону, жертвуя другой», Пушкин не защищал здесь равнодушный объективизм. Наоборот, он доказывал, что автор «Марфы Посадницы» не должен был ограничиться показом исторических лиц, но изобразить «отпор погибающей вольности, как глубоко обдуманый удар, утвердивший Россию на ее огромном основании». Замечание «не его [писателя] дело оправдывать, обвинять и подсказывать речи» было направлено, с одной стороны, против реакционной тенденциозности классицизма, не считавшегося с реальными историческими фактами, а с другой, явилось повторением неоднократных попыток Пушкина противопоставить подозрительности III отделения и цензуры к реалистической литературе фактическую достоверность материала.

Отсюда ясен смысл и начала статьи, где Пушкин, опираясь на авторитет Канта и Лессинга, выступил против теоретика немецкого классицизма Готшета и его последователей, утверждавших, что «прекрасное есть подражание изящной природе и что главное достоинство искусства есть польза». Все содержание этой статьи свидетельствует о том, что понятие «польза» не было для Пушкина однозначным понятием «идейная направленность». Пушкин прямо говорит о большой воспитательной роли искус-

ства: «изображение страстей и излишний души человеческой... всегда ново, всегда занимательно, велико и поучительно».

Статья эта, являющаяся по глубине мыслей исключительной для всей русской классической литературы и предвосхищающая некоторые высказывания о народности литературы не только Белинского, но и Чернышевского, до сих пор по достоинству не оценена. Между тем она является основой для понимания идейной творческой эволюции Пушкина; содержащееся в ней отождествление народной драмы с драмой романтической помогает раскрыть пушкинскую трактовку романтизма.

В понятие романтизма в пушкинскую эпоху вкладывали самое различное содержание. «У нас журналисты бранятся именами классиков и романтиков, как старушки бранят повес франк-массонами и вольтерьянцами, не имея понятия ни о Вольтере, ни о франк-массонстве» — писал Пушкин. Создав поэмы «Руслан и Людмила», «Кавказский пленник», «Бахчисарайский фонтан», «Цыганы», сыгравшие решающее значение в развитии прогрессивного, наполненного протестом против феодально-крепостнической действительности романтизма, Пушкин в связи с изучением Шекспира изменил свое понятие о романтизме, вкладывая в него то содержание, которое позднее получило название реализма. «Истинно романтической трагедией» он считал «Бориса Годунова», основанного на «народных законах драмы шекспировой». Если в первой половине 20-х годов Пушкин полагал, что «романтический трагик принимает за правило одно вдохновение» и что школа романтическая «есть отсутствие всяких правил», то в 1830 г. он так формулирует свое понимание романтизма: «истина страстей, правдоподобие чувствований в предполагаемых обстоятельствах — вот чего требует у нас от драматического писателя». Пушкину так и не удалось определить романтизма: ограничение понятия романтизма родами поэзии, «которые не были известны древним» и в

коих прежние формы изменились и заменены другими», конечно, не является решением вопроса. Но важно то, что к 1825 году относится попытка Пушкина отмежевать свое понимание романтизма от того литературного направления, которое развивалось в России под влиянием немецких реакционных романтиков. «Наши критики не согласились еще в ясном определении различий между родами классическим и романтическим — писал Пушкин. — Сбивчивым понятием о сем предмете обязаны мы французским журналистам, которые обыкновенно относят к романтизму все, что им кажется ознаменованным печатью мечтательности и германского идеологизма или основанным на предрассудках и преданиях простонародных: определение самое не точное». Если мы вспомним, что как-раз в эти годы Кюхельбекер вел ожесточенную атаку на этот род романтизма, ярчайшим выражением которого явилось творчество Жуковского, то значение этого «отмежевания» станет вполне очевидным. А в 1826 г. в VI главе «Евгения Онегина» по поводу стихов Ленского Пушкин заметил:

Так он писал темно и вяло
Что романтизмом мы зовем,
Хоть романтизма тут не мало
Не вижу я...

Характерно, что и Жуковскому Пушкин не мог простить «темноты» и мистицизма, стремясь приблизить певца «мечтательного мира» к живой действительности и выделить в его творчестве элементы реалистические. Так, в письме к Л. С. Пушкину и П. А. Плетневу в 1825 г. Пушкин хвалил первую строфу стихотворения Жуковского «Мотылек и цветы», не выходящую за грани простой поэтической условности, но здесь же оговорил: «к о н ц а не люблю». А «конец», который Пушкин «не любил», как-раз и является выражением свойственного поэзии Жуковского стремления в «потусторонний мир», противопоставленный «низости настоящего»:

О милое воспоминание
О том, чего уж в мире нет,
О дума, сердца упование
На лучший, неизменный свет!

Блажен, кто вас среди губящего
 Волненья жзни сохранил
 И с вами низость настоящего
 И пренебрег и позабыл.

Пушкин относился отрицательно и к реакционно-романтической идеализации. В статье «Джон Теннер» он писал: «Нравы северо-американских дикарей знакомы нам по описанию знаменитых романистов. Но Шатобриан и Купер оба представили нам индийцев с их поэтической стороны и закрасили истину красками своего воображения». «Дикари, выставленные в романах — пишет Вашингтон Ирвинг — так же похожи на настоящих дикарей, как идиллические пастухи на пастухов обыкновенных». Это самое подозревали и читатели, и недоверчивость к словам заманчивых повествований уменьшала удовольствие, доставляемое их блестящими произведениями».

Свое понимание романтизма Пушкин неизменно связывал с понятием новаторства, смелого сокрушения канонов. Недаром в одном из стихотворений он назвал романтизм «парнасским афеизмом». В 1825 г. Пушкин писал Катенину: «Послушай, милый... примись за романтическую трагедию... Ты сделаешь переворот в нашей словесности... Считаю, что «истинный романтизм» обязывает писателя к созданию произведений полных «истинных страстей, правдоподобия чувствований», Пушкин отрицательно оценивал современных ему французских романтиков, которые, как он писал, «полагают слишком большую важность в форме стиха, в цезуре, в рифме, в употреблении некоторых старинных слов, некоторых старинных оборотов и т. п. Все это хорошо; но слишком напоминает гремушки и пеленки младенчества». Таким образом, Пушкин отказывался считать истинно романтической как «темную» и «вялую» поэзию, так и поэзию вообще бессодержательную, основанную только на игре, на формальных «гремушках».

Простота, ясность, понятность — таковы требования Пушкина, в которых выразилась его ориентация на народность литературы. «У нас лите-

ратура не есть потребность народная» — с горечью констатировал Пушкин. Поэтому понятно, что, желая вывести литературу за пределы узкого круга избранной публики, он уделял такое большое внимание вопросам языка. Позиции Пушкина не могут быть уложены в рамки борьбы между «шишковистами» и «карамзинистами». Салонная ограниченность «нового слога» карамзинистов была ему чужда, а перефразистический стиль сентиментализма он подверг едкой критике в заметке «Д'Аламбер сказал однажды»... «Я не люблю видеть в первобытном нашем языке следы европейского жеманства и французской утонченности. Грубость и простота более ему пристала» — писал Пушкин в 1823 г. Вяземскому. Но в пушкинском стремлении к «грубости просторечия» было совсем иное содержание, чем в него вкладывал «старовер» Шишков, стремившийся ограничить языковую стихию книжной словесностью и утверждавший, что «чтение книг... есть единственный путь, ведущий нас в храм словесности». Призывая писателей изучать язык на городских площадях, вслушиваться в «простонародные наречия» и изучать песни и сказки, Пушкин являлся выразителем не карамзинской и не шишковской, а третьей линии — линии борьбы за широкую демократизацию языка на основе синтеза книжной культуры и «слога простонародного». Кропотливая работа Пушкина над своими произведениями показывает, с какой тщательностью он, исходя из этого принципа, подбирал отдельные слова и выражения соответственно характеру изображаемого героя и всему художественному замыслу.

Правдивость изображения действительности являлась основным критерием художественности у Пушкина. В его творчестве этому принципу были подчинены все художественные средства. «Что касается до слога, то чем он проще, тем будет лучше. Главное: истина, искренность» — писал Пушкин В. А. Дурову. Как положительные качества художественных произведений в пушкинских отзывах отмечены «сме-

лость», «сила», «гармония», «поэтическая точность», «чистота в отделке»... Но совершенство формы никогда не было для него решающим. Об одной из высоко оцененных им повестей Н. Ф. Павлова, развязка которой казалась ему неправдоподобной, он заметил: «занимательность этой повести не извиняет несообразности». Требование «истины», «простоты» и «точности» Пушкин предъявлял не только к сюжету и к обрисовке характеров, но и к художественным деталям, эпитетам, метафорам.

Весьма ценны для понимания эстетики Пушкина его критические замечания на стихотворение Вяземского «Нарвский водопад», в котором, по его мнению, много неточных и темных выражений. Ему не нравится, что Вяземский говорит о водопаде — «Сердитый влаги властелин», несмотря на удачное звучание строки: «вла—вла звуки музыкальные, но можно ли, например, сказать о молнии: властительница небесного огня? Водопад сам состоит из влаги, как молния сама огонь». О строке «Но ты, питомец тайной бури...» Пушкин заметил: «не питомец, скорее родитель — и то нехорошо — не соперник-ли? Тайной, о гремящем водопаде говоря, не годится; о буре физической также». «Ты не приемлешь их лазури», — выражение, по мнению Пушкина, неточное: «точность требовала бы — не отражаешь».

Еще более интересны пометки Пушкина на полях второй части «Опытов в стихах и прозе» Батюшкова. Изучение этих пометок является прекрасной школой для молодых поэтов. Восхищаясь такими стихотворениями Батюшкова, как «Гезиод и Омир», «Привидение», «Тень друга» и др., Пушкин одновременно отмечает неудачные слова, выражения, обороты. Против ряда строк и целых стихотворений Батюшкова Пушкиным сделаны отметки: «вяло», «пошло», «не живо», «темно», «дурно»... По поводу сравнения

Как ландыш под серпом убийственным жнеца
Склоняет голову и вянет

Пушкин пишет: «Не под серпом, а под косою: ландыш растет в лугах и рощах, не на пашнях засеянных». Внимание Пушкина останавливает не только нелепый перенос:

И гордый ум не победит
Любви, холодными словами —

— но и тяжеловесные образы, натянутые сравнения, «темные» обороты. Против лирического восклицания Батюшкова «Тогда я с сільфами взлечу на небеса», Пушкин замечает: «Вот сунуло куда!» Особо Пушкин отмечал нередко встречающееся у Батюшкова перенесение мифологических образов в конкретную бытовую обстановку и ложную стилизацию. О стихотворении «Пленник» Пушкин сказал: «Он неудачен, хотя полон прекрасными стихами. Русский казак поет как трубадур, слогом Парни, куплетами французского романса». А послание «Мои пенаты» вызвало следующее замечание Пушкина:

«Это стихотворение дышит каким-то упоением роскоши, юности и наслаждения — слог так и трепещет, так и льется — гармония очаровательна. Главный порок в сем прелестном послании есть слишком явное смешение древних обычаев мифологических с обычаями жителя подмосковной деревни. Музы — существа идеальные. Христианское воображение наше к ним привыкло, но норы и кельи, где лары расставлены, слишком переносят нас в греч. хижину, где с неудовольствием находим стол с изорванным сукном и перед камином — суворовского солдата с двухструнной балалайкой. Это все друг другу слишком уже противоречит».

С теми же требованиями Пушкин подошел и к стихотворениям Виктора Теплякова «Фракийские элегии», о которых написал разбор в «Современнике». Отмечая «самобытный талант» поэта и выраженную в некоторых его стихах «истину чувств», он подробно останавливался на недостатках — небрежности и неточности. Выписывая из сборника стихотворение, в котором поэт

«приветствует незримую гробницу Овидия», Пушкин отмечает небрежность выражений: «Тишина гробницы, громкая, как дальний шум колесницы; стон, звучащий, как плач души; слова, которые святее ропота волн... все это не точно, фальшиво или просто ничего не значит». С исключительной внимательностью подходил Пушкин к творчеству начинающих писателей, стремясь воспитать в них высокую ответственность за каждое слово и обращающая внимание даже на мелочи. Так, например, он советовал Н. А. Дуровой назвать ее книгу не «Записки амазонки», что, по его мнению, «как-то слишком изысканно манерно», а «За-

писки Н. А. Дуровой»: «просто, искренно и благородно».

Работая над своими произведениями, Пушкин строго следовал выдвинутым им положениям. Он стремился к созданию политически действенного искусства, исполненного простоты и ясности, нужного и понятного народу. Творческие принципы Пушкина — родоначальника новой русской литературы — нашли свое развитие и углубление в деятельности гениального писателя нашей эпохи А. М. Горького, завещавшего советской литературе идеалы социалистической народности, исторической правдивости и высокой художественной простоты.

3. О ПУШКИНСКОМ „ВРЕМЕНИКЕ“ И О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ПУШКИНОВЕДЕНИЯ

Ан. Волков

Последние годы, прошедшие под знаком подготовки к столетию со дня гибели великого народного русского поэта Пушкина, вызвали заметное оживление в советском пушкиноведении. Это станет особенно заметным, если вспомнить положение, существовавшее на этом участке истории литературы всего два-три года тому назад.

Дело изучения Пушкина было монополией небольшой группы пушкинистов-текстологов и еще более узкого круга «социологов» пушкинского творчества. Между этими двумя отрядами пушкиноведения существовал разрыв: они работали принципиально различными методами. Текстологи сводили задачу работы над наследием Пушкина к изучению «микрорельефа», т. е. к собиранию и обработке автографов, к систематизации фактов из биографии Пушкина, его близких и современников. Очень часто эта работа превращалась в самоцельное копание в мелочах жизни поэта, его родственников и даже случайно упоминаемых Пушкиным лиц. Считая себя «пушкинистами», текстологи оставляли за пределами пушкиноведения всякие по-

пытки теоретического анализа творчества поэта. Рецидивы такого ложного, в корне ошибочного понимания пушкиноведения сохранились еще до сих пор. Наглядным свидетельством этого является статья Г. Винокура «Об изучении Пушкина», напечатанная в 1936 г. на страницах журнала «Литературный критик».

Вот запоздалое «credo» Г. Винокура:

«Только в применении к представителям этой особой научной профессии, которая посвящает свои силы сборанию и обработке первоисточников для изучения жизни и творчества Пушкина, можно с известным правом употреблять термин «пушкинист». В этом собирании, регистрации и научной обработке первоисточников для изучения Пушкина заключается, в сущности, действительная обязанность лиц, которых мы называем пушкинистами. Конечно, не возбраняется каждому отдельному пушкинисту заниматься любыми вопросами, выходящими за рамки его профессиональной обязанности. Я буду очень рад, если мои товарищи по Пушкинской комиссии

Академии наук в соответствии с публичными обещаниями некоторых из них займутся писанием статей на тему о том, «за что мы любим Пушкина». Это — их полное право, и я не сомневаюсь, что они сумеют внести известное оживление в обсуждение этого запутанного вопроса. Но это их право, а не обязанность. Никто не в праве требовать такого рода литературных выступлений от пушкинистов в принудительном порядке. Пушкинист — это человек, к которому прежде всего применимы определение типа «эрудит», «знаток» в узком смысле¹⁾.

Итак, за пределами кругозора пушкиниста оказывается все, что выходит за рамки текстологии, «микрорельефа», по образному выражению Томашевского. Г. Винокур узаконивает такое цеховое, и з в р а щ е н н о е понимание пушкиноведения.

Справедливость требует отметить, что текстологическое пушкиноведение проделало за годы революции большую, поистине самоотверженную работу, которая оказалась не под силу дореволюционным пушкинистам. Благодаря кропотливой работе текстологов советский читатель увидел подлинного Пушкина, свободного от искажений царской цензуры, многочисленных дореволюционных фальсификаторов и «издателей». Найдены новые произведения Пушкина, оставшиеся в течение многих десятилетий неизвестными. Начато издание академического собрания сочинений великого поэта, которое явится одновременно итогом исследовательско-текстологической работы многих лет.

Все это входит в актив советского пушкиноведения.

Успехи текстологического пушкиноведения, однако, вовсе не дают права превращать текстологию в основной метод изучения Пушкина, на что претендуют некоторые «исследователи». Даже неблагоприятное положение на участке теоретического пушкиноведения не служит доводом в их пользу. Надо прямо сказать, что дальнейшие успехи пушкин-

ской текстологии возможны в том случае, если пушкинисты преодолеют свой эмпиризм, заслоняющий от них живого Пушкина, если они вооружатся правильной историко-литературной перспективой. Иначе с окончанием работы над академическим изданием Пушкина им грозит опасность упасть с парохода пушкиноведения. Ироническое отношение к проблемам вроде — чем нам дорог Пушкин — достаточно характеризует некоторых пушкинистов, их полный отрыв от миллионов советских читателей. Это по их адресу бросил злую реплику Маяковский, умевший по-настоящему ценить живого Пушкина, а не «мумию»: «Бойтесь пушкинистов!»

Слепота к живому Пушкину, каким его воспринимает сегодняшний советский читатель, — основной порок и той части пушкинистов, которая сосредотачивает все внимание только на «социологии» творчества Пушкина, на отыскании социальной прослойки, к которой можно было бы прикрепить поэта. В последнее время много говорилось в этой связи о работах Д. Благого. Но Д. Благой не единственный, а, пожалуй, наиболее характерный представитель вульгарной социологии в пушкиноведении. Вульгарный социологизм проходит мимо художественного и объективно познавательного значения пушкинского творчества, проходит мимо Пушкина — родоначальника новой русской литературы и создателя русского литературного языка. Он демонстрирует свою нелюбовь к Пушкину, объявляя великого поэта, на основании вульгарного толкования цитат, то представителем великосветской знати, то приспособленцем, то реакционером. Чего стоит версия Д. Мирского о лакействе и сервиллизме Пушкина!

Тезис о реакционности Пушкина, столь откровенно сформулированный Мирским, в разных вариантах еще имеет хождение в среде пушкинистов. Так, И. Сергиевский в статье «Эстетические взгляды Пушкина» пишет: «В своих политических воззрениях в самую цветущую полосу своего вольнолюбия он, в лучшем случае, — умеренный конституционалист в духе Монтескье». В этой же статье Сергиевский пишет: «В куль-

¹⁾ «Литературный критик», № 3, 1936 г., стр. 68.

турно-бытовом укладе (?) николаевской монархии он видел множество несовершенств. Но при всех ее несовершенствах, когда перед поэтом вставала дилемма: или николаевская монархия со всеми ее несовершенствами, со всем ее гнетом, или крестьянская революция, новая пугачевщина, он безоговорочно становился на сторону первой»¹⁾.

Что это не случайная обмолвка И. Сергиевского, а его концепция, свидетельствует другая статья «Проблема тенденциозности у Пушкина», напечатанная годом позже. В ней мы находим «знакомую» мысль: «В результате перед выдвигаемой конкретными условиями переживаемого исторического момента дилеммой: или николаевская монархия, со всеми ее несовершенствами, со всем ее полицейским гнетом, или — жакерия, новая пугачевщина, он склонялся на сторону первой»²⁾.

Итак, Пушкин — сторонник николаевской монархии, да еще вдобавок «со всеми ее несовершенствами», с полицейским гнетом, — что может быть чудовищнее! Нужно ли доказывать нелепость подобной вульгаризации, ее явно клеветнический характер. Не удивительно, что автор цитированных строк является составителем тома «Литературного наследства» с пресловутой статьей Мирского, но удивительно, что он вместе с тем выступает в роли борца с вульгарным социологизмом.

Легенду о политической реакционности Пушкина нужно окончательно отбросить. Пушкин никогда не был сторонником режима III отделения. Именно этим объясняется та кампания травли, которую вели самодержавие и его приспешники против великого поэта на протяжении всей жизни. После поражения Декабрьского восстания Пушкин был поставлен самодержавием на колени, но и на коленях он стоял с гордо поднятой головой. Пушкин не видел в эти годы реальной базы для борьбы с ненавист-

ным ему самодержавием в условиях жестокой расправы царизма со всеми вольномыслящими и массового ренегатства бывлых поборников освободительных идей.

«В противовес» вульгарным социологам, отождествляющим политические взгляды писателя с его творчеством, И. Сергиевский создает теорию двух Пушкиных — политика и писателя. Обвиняя Пушкина-политика в реакционности, он признает, что «в своих эстетических и литературных взглядах он часто носитель в подлинном значении этого слова революционных начал». Но это всего лишь новейшее «исправленное и дополненное» издание теории Анненкова о двух Пушкиных — творце и человеке. Пушкин и в творчестве, и в своих общественных взглядах оставался врагом самодержавия, другом декабристов, горячим поборником свободы.

Отвергая классовые «палочки» вульгарных социологов, Сергиевский устанавливает свои, не менее вульгарные. Например, не решаясь прямо выразить свою мысль, что Пушкин буржуазный писатель, и опасаясь как бы его в этом не обвинили, И. Сергиевский прячется за каучуковой формулировкой: «Пушкин — это уже решительная победа новых, буржуазных начал на всех основных участках борьбы»¹⁾. Версия о буржуазности Пушкина так же заимствована у Мирского, она обогащает вульгарно-социологический арсенал. Включение Пушкина, а заодно и Карамзина в «буржуазный стиль» Сергиевский сопровождает характерными для него оговорками. Он прилетает к ним «груз традиций феодально-крепостнической культуры», который «отягчает литературное поведение этих писателей»²⁾. Вспомним, что термин «феодально-крепостнический» у него употребляется почти в ругательном смысле.

Можно было бы пройти мимо «работ» Сергиевского, если бы их автор не претендовал на роль борца с вульгарным социологизмом, что на деле лишь укреп-

¹⁾ «Литературный критик», № 4, 1935 г., стр. 31 — 32. (Выделено нами. — А. В.).

²⁾ «Литературный критик», № 5, 1936 г., стр. 65. (Выделено нами. — А. В.).

¹⁾ «Литературный критик», № 10, 1935 г., стр. 43.

²⁾ Там же, стр. 44.

пляет позиции вульгарного социологизма. Претензии эти кое-кем принимаются всерьез. На пушкинской конференции, проведенной секцией критиков ССП в декабре 1935 г., основной докладчик, небезызвестный путаник и троцкист А. Селивановский, противопоставил вульгарному социологизму позицию И. Сергиевского, по выражению Селивановского, «одного из самых вдумчивых пушкинистов».

Вульгарный социологизм достаточно продемонстрировал свое неуважение к памяти основоположника и гения русской литературы. Только преодолев вульгарный социологизм во всех его разновидностях, советское пушкиноведение сможет коллективными усилиями воссоздать подлинный образ великого поэта.

Вышедший два года тому назад пушкинский том «Литературного наследства», на страницах которого впервые была поставлена борьба с вульгарным социологизмом в пушкиноведении, сам, однако, содержал много вульгарно-социологических ошибок. Он наглядно продемонстрировал разрыв между теоретическим и текстологическим пушкиноведением. Но вместе с тем он имел свои положительные стороны. Он повернул внимание в сторону важнейших проблем пушкинского творчества — реализма Пушкина, эстетической ценности его творчества для нашей современности. Этот том при всем его несовершенстве можно считать первой вехой поворота в пушкиноведении. Именно в необходимости такого поворота заключается смысл дискуссий в пушкиноведении накануне юбилея великого поэта.

Понятен интерес, который вызвал к себе первый том пушкинского «Временника», вышедший после горячих дискуссий о Пушкине и пушкиноведении в дни подготовки к юбилею великого поэта. Естественно желание увидеть на его страницах разрешение или хотя бы постановку стержневых проблем творчества Пушкина. Однако это желание «Временник» не удовлетворяет. В отличие от пушкинского тома «Литературного наследства», дерзнувшего на постановку принципиальных проблем, «Вре-

менник», имеющий на это больше оснований, являющийся органом Пушкинской комиссии Академии наук, опирающийся на многочисленные кадры пушкинистов, даже не пытается поставить эти проблемы. Во «Временнике» не чувствуется организующей работы редакции накануне юбилея. Это сказалось на плане тома, на его тематике.

По типу издания «Временник» напоминает пушкинский том «Литературного наследства». Здесь также представлены пушкиноведческие работы различных жанров. Во «Временнике» мы находим теоретические исследовательские статьи, материалы и сообщения об отдельных моментах творчества и биографии Пушкина, рецензии и обзоры пушкинской литературы последнего времени и, наконец, очень важные публикации новых текстов Пушкина. Таким образом, дается широко разносторонний материал. По первому тому можно судить о типе и характере этого нового периодического издания, посвященного изучению творчества одного классика. Нужно сказать, что по сравнению с многочисленными прежними изданиями Академии наук, заполненными текстологическими изысканиями о мельчайших биографических фактах из жизни Пушкина, «Временник» значительно выигрывает.

Уже соотношение проблем в общетеоретическом отделе «Временника» свидетельствует об отсутствии строгого плана. Главное внимание в этом основном отделе уделяется проблеме западноевропейских литературных влияний в творчестве Пушкина. Зато совершенно оставлен в стороне Пушкин — родоначальник русской литературы и создатель русского литературного языка. Вообще нет ни одной работы, посвященной оригинальному пушкинскому творчеству. Это сосредоточение внимания на боковых проблемах наследия Пушкина и боязнь подойти к основным проблемам характеризует неподготовленность академического, профессионального пушкиноведения. Вспомним, что почти все теоретические статьи в пушкинском томе «Литературного наследства» были написаны не профессионалами-пушкинистами.

Проблема «Пушкин и западная литература», не являясь главной в пушкиноведении, представляет тем не менее огромный интерес. Великий национальный поэт в отличие от национально ограниченных шишковистов, сочетавших свой квасной патриотизм с консерватизмом художественной формы, имел широкий европейский диапазон, сумел критически освоить и переработать все лучшее в современной ему и прошлой мировой литературе, воплотить в своем творчестве передовые идеи западноевропейского просвещения. Но, испытывая влияние тех или иных художников западноевропейской литературы, Пушкин зрелого периода всегда оставался оригинальным национальным писателем. В этом плане представляет большой научный интерес содержательная работа Б. В. Томашевского «Маленькие трагедии» Пушкина и Мольера».

Томашевский убедительно показывает, насколько критически подходил Пушкин к традициям своих западных предшественников в разработке драматических характеров. Известно, как высоко расценивал Пушкин драматургическое мастерство Шекспира. «Шекспиризация» сказалась в работе Пушкина над «Борисом Годуновым». Но, как правильно отмечает Б. В. Томашевский, «апеллируя к Шекспиру, Пушкин в действительности не имел в виду реставрировать его систему». Шекспир был близок Пушкину, положившему в России начало так называемой романтической школе, причем романтизм этот понимался в смысле свободы художника от условностей, которые культивировал классицизм. Нужно учесть полемический характер и специфический для того времени смысл, вкладываемый Пушкиным в понятие «романтизм», чтобы не противопоставлять пушкинский романтизм реализму.

Вся борьба Пушкина в теории и художественной практике со сложностью, вычурностью и условностью современной ему реакционной литературы велась во имя утверждения реализма в художественном творчестве. Пушкин издается над неестественностью драматургических характеров классиков. О «Фед-

ре» Расина он писал: «План и характер Федры верх глупости и ничтожества в изобретении». Пушкин противопоставляет Мольера Шекспиру: «Лица, созданные Шекспиром, не суть, как у Мольера, типы такой-то страсти, такого-то порока, но существа живые, исполненные многих страстей, многих пороков; обстоятельства развивают перед зрителем их разнообразные и многосторонние характеры. У Мольера скупой скуп — и только; у Шекспира Шейлок — скуп, сметлив, мстителен, чадолобив, остроумен».

Но, противопоставляя Шекспира (как синоним трагедии) Мольеру (как синониму комедии), Пушкин и романтики выдвигали принцип — «смесь трагического с комическим». Б. В. Томашевский в своем исследовании убедительно показывает, как в разработке драматических характеров в «Маленьких трагедиях» Пушкин «совершенно не случайно отправлялся от характеров Мольера». Нужно учесть при этом, что Мольер был единственным из классиков, который был близок всем своим существом романтической литературе начала XIX века, оказавшим на нее большое влияние. Пушкин проявил большой интерес к Мольеру, но так же, как художественную традицию Шекспира, он воспринял опыт Мольера сквозь призму своего оригинального дарования. Совершенно правильно отмечает Б. В. Томашевский: «Пьесы Пушкина не могли быть ни в какой степени подражанием комедии Мольера, и в данном случае мы имеем дело не с вульгарным случаем «влияния». Задача Пушкина — преодоление классической схемы характеров. Классическому скупому он противопоставляет романтического скупого, классическому дон-Жуану — романтического».

Томашевский аргументирует свои выводы на сравнительном анализе произведений «Avare» и «Le festin de Pierre» Мольера — с одной стороны, «Скупой рыцарь» и «Каменный гость» Пушкина — с другой. Психологически сложные характеры Пушкина противостоят классической прямолинейности Мольера. В итоге мы имеем «две системы худо-

жественного творчества, соответствующие двум различным историческим формациям».

Таковы совершенно правильные установки работы Томашевского, хотя он и не стремится сделать из сравнительного анализа характеров Пушкина и Мольера больших методологических обобщений. Но, даже несмотря на эту характерную для всех работ Томашевского черту, его статья является наиболее ценной из статей теоретического раздела «Временника».

Она выгодно отличается от работы В. Ф. Переверзева «Пушкин в борьбе с русским плутовским романом», сосредоточившей главное внимание на социологическом объяснении факта литературной переклички Пушкина с английским писателем Бульвер-Литтоном.

К тому же статья Переверзева нам представляется порочной в своих главных установках и выводах. Переверзев правильно отмечает, что Пушкин не случайно дал своему, предполагавшемуся, но оставшемуся не осуществленным и дошедшему до нас в черновых фрагментах, роману название «Русский Пелама». «Данное Пушкиным наименование героев, — пишет В. Ф. Переверзев, — говорит прежде всего о том, что был какой-то еще другой «Пелама», не русский. Действительно, такой «Пелама» существовал. То был роман английского писателя Бульвер-Литтона, появившийся на английском языке в 1828 году. Отсюда можно сделать вывод, что, давая своему герою имя «Русского Пелама», Пушкин хотел сказать, что в его романе будет дано нечто русское, весьма схожее с английским «Пеламом» и столь же интересное».

Эта параллель романа Бульвер-Литтона с пушкинским замыслом, зафиксированным в тезисах-черновиках, дает Переверзеву основание с типичной для него логикой сделать заключение о социальной идентичности этих двух писателей.

Предоставим слово самому Переверзеву: «Представитель мельчавшей, прихорютившей в упадок английской аристократии, задыхавшейся в атмосфере буржуазного быта и капиталистических отно-

шений, Бульвер был чрезвычайно близок и созвучен Пушкину, гений которого складывался в аналогичных условиях существования русского хиревшего родовитого барства».

Вряд ли стоит доказывать порочность этого старого переверзевского взгляда на Пушкина как на представителя аристократической великосветской знати. Но Переверзев в своих натяжках идет дальше.

Считая Пушкина, подобно Бульверу, представителем знати, он устанавливает однородность содержания произведений этих писателей. И в результате все содержание произведений Пушкина он сводит к великосветской болтовне:

«Пушкин строил свои произведения из того же материала аристократического декаданса, из которого строились и произведения Бульвера, находя у него те же мотивы, положения, образцы, которыми жило и его творческое воображение. И в героях бульверовского «Пелама» Пушкин узнавал знакомые черты: их чувства, думы, поступки, самый воздух, которым дышали они, — все это было для Пушкина свое, давно известное в личном опыте и творчестве... Не один внешний прием привлек Пушкина к Бульверу, но и значительное сходство материала бытового и психологического. Если читатель, знакомый с творчеством Пушкина, возьмет в руки роман Бульвера, то, читая его, он сразу почувствует себя окруженным уже хорошо знакомой ему атмосферой. То же легкое, рассчитанное на салонные запросы, воспитание. Та же праздная жизнь с салонной болтовней, флиртом, закулисными похождениями, гурманством, застольными куплетами. Те же каламбуры и анекдоты, сплетни и злословие. Те же шалости и проказы, любезности и колкости, азартные игры и дуэль. То же щегольство с блестящими ногтями и блестящими цитатами, тот же вошедший в быт «лябруризм», — эта разменная на афоризмы философия, созданная служить украшением салонной беседы. И, наконец, налегший на весь этот блестящий карнавал мрачный тон социально-экономического упадка, физического и духовного истощения, усталости, раз-

очарования, облекающегося в поэтически-траурный плащ байронизма. На этом фоне выступают центральные фигуры романа, живо напоминающие излюбленных Пушкиным героев».

Таково представление Переверзева о творчестве великого русского писателя Пушкина!

Вместо того, чтобы увидеть в прозе Пушкина его органическую эволюцию к реализму, Переверзев рассматривает обращение Пушкина к прозе всего лишь как борьбу с мелкопоместной и мещанской прозой: «Обращаясь к построению своей прозы, Пушкин решал задачу не только, даже не столько мирного художественного строительства, сколько задачу полемическую: противопоставить грубоватой прозе среднего слоя общества более утонченную, изящную прозу стоящей на высоте европейской культуры верхушки дворянства, вырвать оружие прозы из рук мелкобуржуазного культуртрегера и использовать его для себя и своего класса».

Итак, Пушкин-аристократ противопоставил свою «изящную» прозу «грубой» и «пошлой» прозе мелкопоместного дворянства и мещанства. Отсюда идет его замысел написать «Русский Пелаг». А между тем Пушкин боролся с традициями не только мещанской прозы, как думает Переверзев, но и с традициями «светской», изысканной прозы Марлинского, с традициями Карамзина и его последователей, создав совершенно новый стиль прозы.

В переверзевской схеме мы видим обеднение, умаление роли пушкинской прозы, сведение ее значения к борьбе с нравственно-сатирическим романом типа Булгарина. По Переверзеву, проза Пушкина не закономерный этап в его творчестве, а результат приспособления Пушкина к рыночному спросу. Переверзев прямо говорит, что Пушкин не сам обратился к прозе, а был обращен к ней:

«Обращение Пушкина к прозе было не столько фактом его личного индивидуального развития, сколько результатом развития общественно-литературного. Пушкин не обратился к прозе, а был обращен к ней успехом прозаической

литературы, выдвинутой ростом мелкопоместной и мещанской культуры».

Между тем Пушкин пришел к прозе вполне органически. Еще в 1822 году в письме к Вяземскому он подчеркивает необходимость развития языка прозы, связывая это с необходимостью социального и культурного преобразования России: «В тишине самовластья образуй наш метафизический (читай: прозаический. — А. В.) язык, а там, что бог даст. Люди, которые умеют читать и писать, скоро будут нужны в России».

В дальнейшем высказывания Пушкина на этот счет еще более определенны и категоричны: «Положим, что русская поэзия, — писал он в 1825 году, — достигла уже высокой степени образованности: просвещение века требует пищи для размышления, умы не могут довольствоваться одними играми гармонии и воображения, но ученость, политика и философия еще по-русски не изяснились; метафизического языка у нас вовсе не существует. Проза наша так еще мало обработана, что даже в простой переписке мы принуждены создавать обороты для изяснения понятий самых обыкновенных, так что леность наша охотнее выражается в языке чужом, коего механические формы давно готовы и всем известны».

А Переверзев все дело сводит к борьбе аристократа с мещанской прозой. Таков типичный порок вульгарной социологии, в плену которой Переверзев остался до сих пор.

Проблемы западноевропейских литературных влияний на Пушкина касается и статья М. К. Азадовского, хотя по ее заглавию никак нельзя этого подумать. Она озаглавлена «Источники сказок Пушкина». Но между заглавием и содержанием статьи никакого противоречия нет. Азадовский именно старается доказать, что источником сказок Пушкина является не устное народное творчество, как это принято думать, а... сборник сказок братьев Гримм. Источники всех сказок Пушкина, за исключением одной «Сказки о попе и работнике его Балде», — книжные, литературные. Азадовский решил произвести переворот в традиционном представлении об источ-

никах пушкинских сказок: «По господствующему в нашей исследовательской литературе мнению, «Сказки» для Пушкина были материалом, на котором ему так блестяще удалось перевоспитать себя на родных началах»; они — «свидетельство о процессе полного усвоения им народного духа и склада», а русский сказочный фольклор — «последняя и высшая школа», «которая выпустила Пушкина великим национальным художником слова». Таков примерно общий тон высказываний историков литературы и критиков об этом цикле Пушкина. Пути пушкинского творчества в представлении многих исследователей были предопределены няней Пушкина, знаменитой Ариной Родионовой. Она была, согласно общепринятому мнению, и главным объектом «для наблюдений и изучения народности», и одним из стимулов в том новом этапе, который ознаменовался обращением к народным сказкам. Подобные утверждения и оценки играли в немалой степени и реакционно-политическую роль, придавая творчеству Пушкина шовинистическую окраску».

А вот новая концепция Азадовского:

«Из шести сказок, записанных Пушкиным, только одна («Сказка о попе и работнике его Балде») идет непосредственно из устного творчества, — все остальные идут из книги, от книжных и западноевропейских и даже восточных (вернее, принимаемых Пушкиным за восточные) источников».

Однако, факты упрямая вещь. Общеизвестно, какой громадный интерес проявлял Пушкин к устному народному творчеству. Это вынужден признать и Азадовский. Но, по его мнению, это ровно ничего не значит. В творчестве Пушкина этот интерес никак не отразился. «Поставщиком сказок, — пишет он, — обычно считают Арину Родионову, но, кроме того, Пушкин слушал певцов и сказителей на базарах и ярмарках, и в его бумагах сохранился ряд конспективных записей выслушанных им сказок. Однако непосредственно в его творчестве это отразилось недостаточно ярко». Во всяком случае, по мнению Азадовского, в пяти сказках это никак не отразилось. В качестве своего союз-

ника Азадовский использует В. В. Сиповского, который еще в 1906 году высказал подобный взгляд. Он считает нужным взять Сиповского под свою защиту от тех, кто указывал на ошибочность его точки зрения и подчеркивал национальный характер пушкинских сказок. Он считает, что «догадка В. В. Сиповского несомненно правильна».

Каковы же доказательства М. К. Азадовского в защиту своей концепции, представляющей собой расширенное и дополненное издание «догадки» В. В. Сиповского? Чтобы произвести перевод в существующем представлении, нужны солидные доказательства. Но у Азадовского их нет. Утверждая, что сказки Пушкина заимствованы из сборника братьев Гримм, Азадовский не смущается даже тем, что Пушкин не знал немецкого языка. По мнению Азадовского, это неважно. «У Пушкина могло быть много путей знакомства с знаменитым сборником. Прежде всего с этим сборником он мог познакомиться в своем дружеском литературном кругу. Немецким языком прекрасно владели его ближайшие друзья: Вульф, Жуковский, которые были у него в значительной мере посредниками между ним и немецкой литературой».

Вместо научного доказательства — гадание на кофейной гуще. Ничего, что Пушкин не знал немецкого языка. Его знал Жуковский. Наконец, Пушкин «мог познакомиться со сборником в своем литературном кругу!» Для Азадовского эти «факты» достаточны для объяснения версии о заимствовании Пушкиным из сборника братьев Гримм сюжетов и даже отдельных фраз, выражений и т. д. И только за одной сказкой («Сказка о попе и работнике его Балде») Азадовский признает фольклорный источник. Но этот «источник» нашего фольклориста не интересует, — он об этом говорит вскользь в сноске. Иначе это могло бы натолкнуть его на другие выводы, повести по другой линии.

Азадовскому следовало бы понять, что те сюжеты, на которые написаны разбираемые им сказки Пушкина, являлись достоянием мирового народного фольклора, в том числе и русского, и

через этот фольклор они проникли в творчество Пушкина. Это находится в тесной связи с интересом Пушкина к народному творчеству. Совпадение сюжетов, образов и изобразительных средств сказок Пушкина со сказками из сборника братьев Гримм вовсе не противоречит этому положению. Это толкование гораздо реальнее версии о заимствовании Пушкиным сюжетов через пересказы Жуковского и через литературную среду. Вспомним требование Пушкина «учиться русскому языку у просвирен и у лабазников». Вспомним его советы молодым писателям: «Вслушивайтесь в простонародные наречия, молодые писатели, — вы в них можете научиться многому, чего не найдете в наших журналах»¹⁾.

И. Сергиевский в рецензии на пушкинский «Временник» («Литературная газета», № 42, 1936 г.) писал о настоящей статье Азадовского: «Работа М. К. Азадовского об источниках сказок Пушкина прямо включается в круг вопросов, связанных с отношением Пушкина к народному творчеству, к фольклору, и, таким образом, занимает существенное место на подступах к одной из центральных проблем изучения пушкинского наследия — к проблеме народности Пушкина».

В чем Азадовский, а вместе с ним Сергиевский видят народность пушкинских сказок, где этот «подступ» «к проблеме народности Пушкина»? Оказывается, в стремлении Пушкина овладеть «богатством мировой литературы»: «В работе над сказками Пушкин шел тем же путем, каким шел во всей своей литературной деятельности, стремясь овладеть всем богатством мировой литературы. Устные и книжные источники, фольклор русский и западноевропейский стояли для него в одном ряду. Народность же отнюдь не выражалась в специфически подобранном «национальном» материале или в рабском воспроизведении «крестьянской» речи со всеми ее неправильностями и ошибками».

Вот вам и ответ на вопрос. Но разве это не похоже больше на увиливание от

ответа? Азадовский вынужден повторять банальные вещи об овладении богатством мировой литературы, уклоняясь от своей непосредственной темы. Непонятно, почему он считает нужным слово «национальный» поставить в кавычки, — как будто это слово можно трактовать только в дурном смысле. Если по методу Азадовского анализировать все творчество Пушкина, получится довольно своеобразное «овладение» богатством мировой литературы!

Между тем Пушкин никогда не доходил до книжного литературного подражания. Западноевропейские литературные влияния в творчестве Пушкина опосредствованы его реальной художественной практикой. Пушкин шел от реальной действительности, а не от книги. Его интерес к тем или иным произведениям мировой литературы вытекает из собственных оригинальных эстетических позиций. Мало того, что Азадовский объявил источники сказок Пушкина книжными, он утверждает, что их появление не органический этап в творчестве Пушкина, а результат литературной полемики: «Это его ответ и вмешательство в спор о народности в литературе».

Как видим, Азадовский приходит к тем же выводам, что и Переверзев, объяснивший причины поворота Пушкина к прозе литературно-групповой полемикой. И тот, и другой умаляют значение и роль великого национального русского поэта, давшего в оригинальных художественных образах энциклопедию русской жизни своего времени, поэта, тесными корнями связанного с устным творчеством русского народа.

В отличие от Азадовского и Переверзева А. А. Ахматова в своем исследовании «Адольф» Бенжамена Констана в творчестве Пушкина», не делает столь широких обобщений, а ограничивается констатацией фактов влияния на Пушкина «Адольфа» Констана, по-разному сказавшегося в отрывке повести «На углу маленькой площади», в трагедии «Каменный гость» и в VIII главе «Евгения Онегина». Ахматова аргументирует свои выводы скрупулезным сличением текстов Пушкина и Констана и интере-

¹⁾ Пушкин. том V, кн. II, стр. 527.

сом, проявленным Пушкиным к «Адольфу», сказавшимся между прочим в пушкинских пометках на полях этой книги. Ахматова правильно отмечает, что интерес Пушкина к «Адольфу» связан с его собственным стремлением к реализму, правдивости и психологической глубине и «поэтому сопоставление «Адольфа» с произведениями Пушкина вплотную подводит к принципиальным вопросам, связанным с проблемой реализма в творчестве Пушкина».

Повторяем, пробелом первого тома «Временника» является то, что в нем не представлены работы на темы о Пушкине как основоположнике русской литературы, об оригинальности пушкинского гения. Такие работы были бы крайне желательны, и они бы в известной степени уравнивали односторонний интерес к проблеме «Пушкин и Запад».

Две статьи из шести, напечатанных в теоретическом отделе, посвящены вопросу общественно-литературного окружения Пушкина. Мы имеем в виду работы А. Н. Шебунина «Пушкин и «Общество Елизаветы» и С. М. Бонди «Неосуществленное послание Пушкина к «Зеленой Лампе». Эти работы, хотя и не поднимают принципиальных проблем творчества и биографии поэта, но тем не менее каждая из них имеет свою ценность. Мимо них нельзя пройти при создании творческой биографии поэта. Работа Шебунина представляет известный интерес в плане изучения политических взглядов Пушкина в период написания им стихотворения «Ответ на вызов написать стихи в честь императрицы Елизаветы Алексеевны» (1819 г.), хотя и не вносят принципиально нового толкования в наше представление о политическом лице поэта. Работа Шебунина дает все основания для заключения, что упомянутое стихотворение Пушкина идейно перекликается с политической платформой части членов тайного общества «Союз благоденствия», провозгласивших культ Елизаветы. Шебунин объясняет этот факт близостью Пушкина в эти годы к Н. Ф. Глинке, члену «Союза благоденствия», состоявшему вместе с Пушкиным в литературном обществе «Зеленая Лампа» и оказавшему на Пуш-

кина известное политическое влияние. Н. Ф. Глинка выдвигал в качестве кандидата на престол жене Александра I Елизавету Алексеевну, связывая с ее именем надежду на преобразование России. В тесной связи с этими настроениями в пользу Елизаветы находится мотив пушкинского стихотворения, далекого от преклонения перед «волею монарха», а наоборот, проникнутого духом свободы:

На лире скромной, благородной
Земных богов я не хвалил;
И силе, в гордости свободной,
Кадилом лести не кадил.
Свободу лишь учаю славить,
Стихами жертвуя лишь ей,
Я не рожден царей забавить
Стыдливой музкою моей.
Но, признаюсь, под Геликоном,
Где Касталийский ток шумел,
Я, вдохновенный Аполлоном,
Елизавету втайне пел.
Небесного земной свидетель,
Воспламененною душой
Я пел на троне добродетель
С ее приветною красой.
Любовь и тайная свобода
Внушали сердцу гимн простой;
И неподкупный голос мой
Был эхо русского народа.

Шебунин показывает, что мотив этого стихотворения находится в связи с обличительной и пропагандистской деятельностью Глинки как члена «Союза благоденствия» и общества «Зеленая Лампа».

К теме о взаимоотношении Пушкина с членами вольнолюбивого общества «Зеленая Лампа» относится исследование С. М. Бонди. Автор путем кропотливой работы над черновиками Пушкина воспроизводит текст неосуществленного послания к «Зеленой Лампе». Пушкинское стихотворение, вошедшее в собрание сочинений под названием «Я. Н. Толстому», первоначально имело более широкий план. Оно адресовано к Толстому как председателю общества «Зеленая Лампа» и выходит за рамки личного послания, не содержа в себе по существу ничего личного. Уже по окончательному варианту можно заключить, что это стихотворение имело первоначально более широкое задание, нежели обращение к одному лицу. Из отрывков

и черновых набросков из записной книжки Пушкина Бонди конструирует целое — послание к членам «Зеленой Лампы».

С. М. Бонди известен как инициатор нового метода чтения рукописей Пушкина. Этот метод в отличие от старого «характеризуется стремлением понять смысл, значение и место каждого написанного слова, отдельной буквы». Именно с помощью этого метода Бонди проделал кропотливый анализ пушкинских черновиков и воспроизвел текст послания. Вместе со смелыми догадками Бонди свойственна научная осторожность. Получившееся послание он не выдает за пушкинский текст. В чем же, спрашивается, смысл и цель его исследования?

«Такая «реставрация», «реконструкция» пушкинского текста, — пишет Бонди, — и не претендует на то, чтобы стоять в ряду с текстами, подлинность которых бесспорна. Она, естественно, не войдет на равных правах с остальными в собрание сочинений Пушкина. Но все же ей найдется место в работах о пушкинском творчестве, где она будет жить до тех пор, пока ее не отменит или не исправит более точное, глубокое и принципиальное исследование».

Эта научная осторожность, переходящая в ограниченность, сказывается в боязни С. М. Бонди выйти за пределы факта, в том, что он даже не ставит перед собой вопроса, вносит ли это послание какие-либо новые моменты в существовавшие до сих пор представления о взаимоотношении Пушкина с членами «Зеленой Лампы» и какие более принципиальные выводы вытекают отсюда.

Если работы Переверзева и Азадовского характеризуют пороки теоретического пушкиноведения, то работа Бонди при всей своей добросовестности характеризует эмпиризм и теоретическую бесперспективность текстологического пушкиноведения.

Кроме больших статей и исследований, во «Временнике» опубликованы материалы и сообщения, проливающие свет на отдельные периоды и моменты творческой биографии Пушкина. Следует отметить публикацию Б. В. Казанского,

дающую некоторые новые материалы о дуэли и смерти Пушкина; из собраний П. Е. Щеголева — записки и письма современников: А. П. Дурново, кн. П. М. Волконского, М. А. Горчаковой. Эти записки характеризуют восприятие некоторыми из современников известия о смерти Пушкина. А. П. Дурново — дочь министра императорского двора — записывает в числе других эпизодов накануне, во время и после смерти Пушкина следующее: «1/II. — Говорят, что на похоронах Пушкина спрашивали, где этот иностранец, которого мы хотели бы растерзать». В сводке данных о дуэли Пушкина, писанной кн. М. А. Горчаковой, дается ряд новых подробностей, позволяющих оценить по достоинству некоторые эпизоды драмы, известной до сих пор в сбивчивых и неавторитетных пересказах, ставящих под сомнение датировку рокового письма Пушкина к Геккерну и хронологию связанных с ним событий.

Г. О. Винокур в статье «Кто был цензором «Бориса Годунова» приходит к выводу, что составителем докладной записки в III отделение, на основании которой был запрещен «Борис Годунов», являлся Булгарин. Этот факт, убедительно доказанный Г. О. Винокуром, проливает дополнительный свет на литературно-политическую борьбу Пушкина с Булгариным и наглядно подтверждает правильность обвинения Пушкиным Булгарина в плагиате, имевшего текст «Бориса Годунова» в цензурной рукописи.

А. Н. Шebuнин воспроизводит письма братьев Алексея, Сергея и Николая Тургеневых, в которых содержится характеристика молодого Пушкина в период 1817—1820 гг.

В отделе рецензий и обзоров дается разбор ряда работ о Пушкине последнего времени. Наибольший интерес, естественно, представляют статьи о теоретических работах пушкинистов. В статьях А. Цейтлина и Б. Мейлаха дается обстоятельный разбор двух работ: «Язык Пушкина» и «Стиль Пушкина» В. Виноградова — интересного исследователя, в работах которого, однако, сильны формалистские тенденции.

Порочность методологии Виноградова особенно сказалась в его последней работе о стиле Пушкина («Литературное наследство», № 16 — 18, 1934 г.). Это правильно отмечает Б. Мейлах. Уже порочно разделение пушкинского стиля на четыре категории, которыми, по мнению Виноградова, являются: 1) «прием культурно-бытового или литературно-эстетического намагничивания слова», 2) «прием пластической изобразительности», 3) «прием символических отражений и вариаций» и 4) «прием субъективно-экспрессивной многопланности». Б. Мейлах на фактическом материале стиля Пушкина опровергает построение В. Виноградова.

В заключение остановимся на публикациях новых пушкинских текстов, которыми открывается настоящий том «Временника». Нахождение и публикация поэмы Пушкина «Тень Фон-Визина», до сих пор остававшейся неизвестной, является крупной победой пушкиноведения. Поэма обнаружена Л. Б. Модзалевским среди документов Пушкинского лицейского музея. Она представляет собой острую сатиру на политический строй России и на литературных современников Пушкина. Реальная действительность дается в восприятии покойного Фон-Визина, вздумавшего от скуки покинуть рай и совершить путешествие по миру земному. Перед Фон-Визиним открывается картина России:

Мертвец в России очутился,
Он ищет новости какой,
Но свет ни в чем не применился,
Все идет той же чередой;
Все так же люди лицемерят,
Все те же песенки поют,
Клеветникам, как прежде, верят,
Как прежде, все дела текут;
В окошки миллионы скачут,
Казну все крадут у Царя,
Иным житье, другие плачут,
И мучат смертных лекаря,
Спокойно спят Архиереи,
Вельможи, знатные злодеи,
Смеясь, в бокалы льют вино,
Невинных жалобе не внемлют,
Играют ночь в сенате дремлют,
Склонясь на красное сукно;
Все столько ж трусов и нахалов,
Рублевых столько же Киприд,
И столько ж глупых генералов,
И столько ж старых волоки.

На этом фоне дается сатирическое изображение «певцов . российских» из реакционного лагеря — Кропова, издателя журнала «Демокрит», выдержанного в духе квасного патриотизма, князя Шаликова, сентиментально-слащавого поэта, издателя «Дамского журнала». Дается меткая злая характеристика шишковистов, деятелей и сторонников кружка «Беседы любителей русского слова» — Шишкова, Хвостова, Щеринского. Поэт зло издевается над бывшим мэтром русской поэзии Г. Р. Державиным, «отметившим и благословившим» молодого Пушкина. Пушкин рисует вышедшего из моды и устаревшего «певца Фелицы», высмеивая его архаизмы и литературный консерватизм. Строки, посвященные Державину, ярко характеризуют отношение Пушкина к этому поэту, сформулированное несколько лет спустя в письме к Дельвигу: «Этот чудак не знал ни русской грамоты, ни духа русского языка... У Державина должно сохранить будет од восемь да несколько отрывков, а прочее сжечь».

Только Батюшков, к которому поэт в то время относился с благоговением, рисуется в ином свете. Пушкин выражает сожаление, что муза Батюшкова затихла, а сам «он только пьет, смеется, спит и с Лилой нежится младою». Публикуемая поэма снабжена обстоятельным комментарием Л. Б. Модзалевского.

Кроме того, публикуется запись Пушкиным рассказов баснописца Крылова, сделанная со слов последнего в 1833 году в связи с работой Пушкина над историей Пугачевского бунта. В записи фиксируются личные воспоминания Крылова об осаде Яицкого городка, а также сведения о службе отца Крылова, армейского капитана, выведенного впоследствии Пушкиным в «Истории Пугачевского бунта».



Таковы положительные и отрицательные стороны современного пушкиноведения, нашедшие свое отражение в первом томе пушкинского «Временника».

Дело изучения Пушкина должно стать делом всего коллектива советских литературоведов и критиков, — вот



вывод, который нужно сделать. Расширение базы пушкиноведения, привлечение новых кадров к работе над изучением наследия великого русского поэта дадут возможность преодолеть цеховую замкнутость, особенно сказавшуюся на

этом участке истории литературы. Только тогда советская наука о Пушкине сможет коллективными усилиями создать хорошую марксистскую монографию о творчестве поэта, недостаток которой сейчас остро ощущается.

4. ПУШКИН В ЛЕНИНСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ¹⁾

Г. Георгиевский

I

Пушкин оставил большое рукописное наследство, Альбомы, записные книжки, тетради купленные и домашнего изготовления, отдельные листы и листочки, почтовая бумага — все это в огромном количестве исписано было рукою Пушкина и осталось наглядным свидетельством его усиленных трудов.

Где бы он ни был: в своей ли столичной квартире, или в своем имении, или в имении своих друзей и знакомых, или в гостинице, или в пути во время переездов, иногда на очень далекие расстояния, — с ним всегда были тетради и бумага в достаточном количестве. В часы досуга или в уединении Пушкин часто обращался к ним и на их чистые страницы записывал все, что в тот момент просилось у него под перо. Он сам писал Чаадаеву:

В уединении мой своенравный гений
Познал и тихий труд, и жажду размышлений.

И весь этот обильный материал, исписанный рукою Пушкина, хранит в себе плоды «его забав»:

Бессонниц легких вдохновений
Незрелых и увядших лет,
Ума холодных наблюдений
И сердца горестных замет.

Те же тетради и те же листы бумажных запасов служили Пушкину и для всех других письменных надобностей.

¹⁾ Помещенные в тексте статьи рисунки взяты из черновых тетрадей А. С. Пушкина. Некоторые из них публикуются впервые.

Он обильно покрывал их страницы рисунками и разного рода упражнениями в рисовальном искусстве. Сюда же он вписывал переводы и цитаты из произведений русских и иностранных авторов. Иногда в свои тетради он записывал копии интересовавших его документов, например, когда писал историю Пугачева. Будучи до крайности требовательным ко всему, что выходило в свет с его именем, Пушкин и письма свои, особенно к лицам официальным, предварительно писал начерно в своих тетрадях, выправляя их, зачеркивал то, что считал лишним или ненужным, и дополнял новыми вставками и поправками. Тут же он производил арифметические подсчеты своих финансовых дел, подсчитывал долги, составлял сметы доходов и расходов и записывал свои соображения насчет выхода из постоянных дефицитов в своем скромном бюджете. Здесь же он записывал любопытные рассказы и анекдоты, которые приходилось слышать, сказки и песни народные, которые Пушкин всегда любил и высоко ценил. Словом, тетради и бумаги нужны были Пушкину не только в моменты его творческих вдохновений — для записи его стихов и прозы в разные стадии их зарождения и обработки, — но и для отражения в них, как в зеркале, всех прочих элементов его многогранной жизни.

Неудивительно, что к моменту смерти Пушкина его кабинет оказался переполненным бумагами. А так как эти бумаги хранили на себе записи его собственной руки, которой уже дорожили в широких кругах современников Пушкина, записи которой уже оценили и любили настолько, что в предсмертные дни

и часы Пушкина его квартира осаждалась взволнованными петербуржцами, бежавшими узнать о здоровье поэта, — то понятно, что были приняты меры к охране письменного имущества Пушкина. Так как в семье не было способного к тому человека, а дети были слишком малы, то к этому делу привлечены были сторонние люди.

28 января 1837 года, когда смертельно раненный Пушкин в мучениях доживал свои последние часы, Николай I призвал к себе Жуковского и, давая ему поручение к умирающему поэту, прибавил:

«Тебе же поручаю, если он умрет, запечатать его бумаги, — ты после их сам разберешь».

Когда, на другой день, император получил печальное сообщение о кончине Пушкина, он тотчас дал распоряжение Бенкендорфу:

«Пушкин скончался; я приказал Жуковскому запечатать кабинет и предлагаю вам послать Дуббельта к Жуковскому, чтобы он [Дуббельт] наложил печать жандармскую для большей верности. Через неделю они оба снимут печати, и Жуковский сделает разборку бумаг».

Жуковский в точности исполнил поручение царя: через три четверти часа по кончине Пушкина он запечатал своею печатью кабинет покойного.

Когда прошли погребальные дни, полные печали, тревог и суеты, Жуковский и Дуббельт завершили возложенное на них поручение: Жуковский, став во главе опеки над имуществом и детьми Пушкина, приступил к разбору бумаг поэта, прорегистрировав их при помощи наемного писца, а Дуббельт проделал ту же операцию при помощи своих военных писарей III отделения, проставивших регистрационные цифры красными чернилами на середине каждого листка пушкинских автографов и вообще бумаг, сохранившихся в его кабинете.

С этого момента начинается история рукописей Пушкина.

Рукописи Пушкина оставлены были осиротевшей семье поэта и должны были служить обеспечением для воспитания и образования его сирот. Заботы об иму-

ществе и денежных средствах семьи возложены были на опеку. В состав опеки входили близкие к Пушкину люди, между ними доктор поэта Н. И. Тарасенко-Отрешков, а во главе опеки стал В. А. Жуковский. Первою заботой опеки стало посмертное издание всех сочинений Пушкина с тем, чтобы доходы от этого издания пошли в пользу семьи поэта. При редактировании пушкинских произведений издатель-опекуны пригласили себе в помощь А. А. Краевского, преемника Пушкина по редактированию пушкинского журнала «Современник».

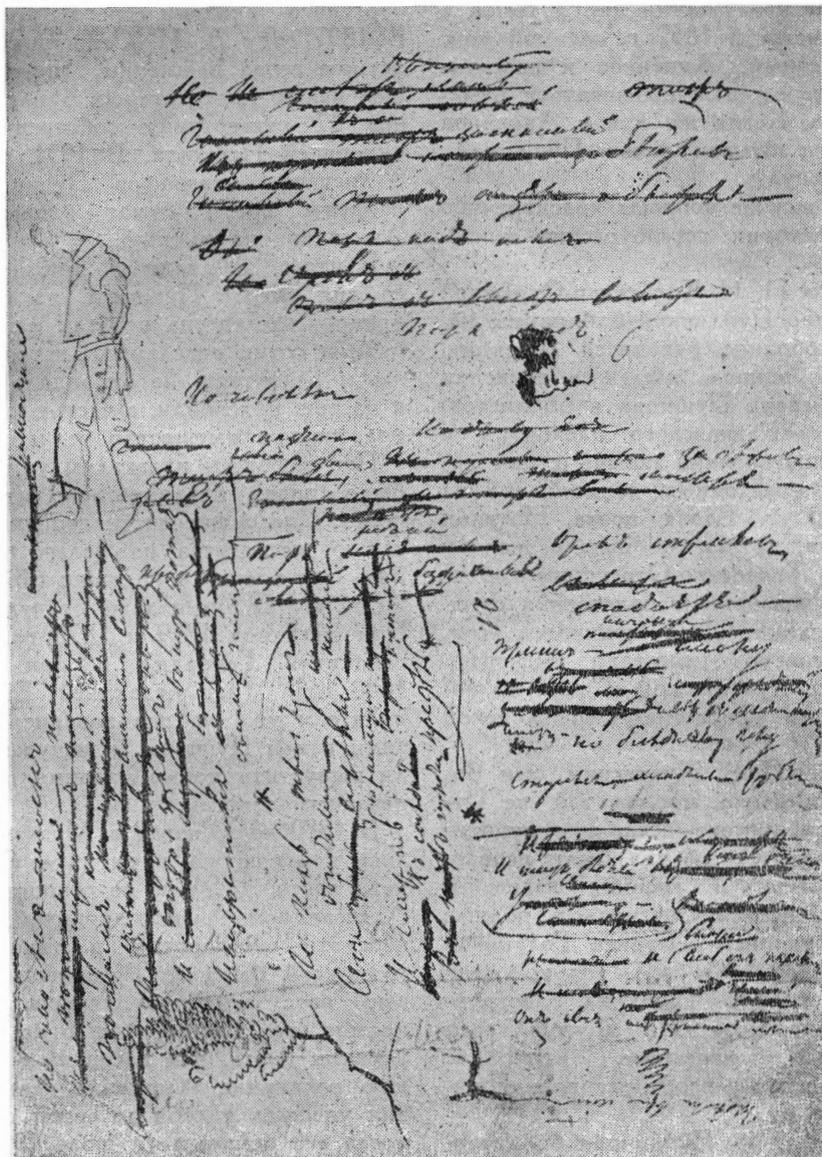
Редакторы и издатели широко пользовались рукописями Пушкина. И это было совершенно необходимо: рукописи Пушкина должны были стать основанием для посмертного и для всех последующих изданий его сочинений. Эти рукописи богаты были новыми, неизданными произведениями и дополнениями, так как сам Пушкин иногда по несколько лет не печатал уже совсем законченных и обработанных произведений. При печатании же ему нередко приходилось делать пропуски и изменения по цензурным соображениям и требованиям. Кроме того, в бумагах Пушкина хранилось множество черновых работ, первоначальных набросков, переделанных, неоконченных и необработанных. Сам Пушкин не находил нужным печатать их, но для последующих издателей положение существенно изменилось: по словам Белинского, всякая строка, написанная Пушкиным, для нас драгоценна.

Естественно, что хозяевами рукописного пушкинского наследства стали опекуны-издатели. С одной стороны, Жуковский производил «разборку бумаг», с другой — опека готовила посмертное издание сочинений Пушкина. И для той, и для другой цели пользовались рукописями поэта. Как пользовались? Никто не подумал, да никому и в голову не приходило создать порядок и правила пользования, выработать такие формы, которые обеспечивали бы сохранность бумаг, целость всего бумажного имущества, удобства пользования и своевременный возврат использованных материалов владельцам их — семье Пушкина. А раз не было ограничений, и на-

лицо была полная свобода самого небрежного отношения к рукописям настоящих владельцев: автографы Пушкина пошли по рукам опекунов и редакторов. И Жуковский, и Тарасенко-Отреш-

кина, все до единой, вернулись на свое надлежащее место — в кабинет Пушкина?..

Прошел десяток лет, и потребовалось новое издание сочинений Пушкина. На



ков, и Краевский брали к себе на дом драгоценные автографы и задерживали у себя. А когда вышло в свет посмертное издание 1838—1842 гг. и у редакторов отпала надобность в работах у себя на дому, — что же, рукописи Пуш-

этот раз подготовку текстов и редактирование взял на себя П. В. Анненков. Он купил у вдовы поэта право на издание его сочинений за 5.000 руб., с разрешением напечатать 5.000 экземпляров. Новый издатель забрал к себе все пуш-

кинские бумаги, а с переменной места своего жительства перевозил их по своим квартирам, которые нанимал для себя, и даже брал с собою в свое симбирское имение, где проводил часть года. Работа его над сочинениями Пушкина затянулась. После напечатания шести томов в 1855 г. вышел в 1857 г. седьмой том, дополнительный. Анненков и впоследствии не переставал пользоваться бумагами поэта. Когда же и как Анненков вернул эти бумаги семье Пушкина?.. Все ли вернул?

На эти жгучие вопросы красноречиво отвечает история петербургских книгохранилищ.

В 1855 г. Н. И. Тарасенко-Отрешков принес в дар Публичной библиотеке небольшое собрание рукописей Пушкина. Среди них, однако, оказалась записная рабочая тетрадь Пушкина в 66 листов, с текстом «Кавказского пленника» и других стихотворений поэта, и два листа приходо-расходных записей его за 1834—1835 гг. Вдова поэта, Наталья Николаевна, тотчас же подала жалобу на Н. И. Тарасенко-Отрешкова, обвиняя его в незаконном присвоении рукописей Пушкина. Дело кончилось тем, что в литературе перестали именовать эту тетрадь Пушкинской и дали ей новое название «Тарасенко-Отрешковской тетради»...

В 1884 г. П. В. Жуковский, сын Василия Андреевича, продал той же Публичной библиотеке несколько рукописей Пушкина. Среди них были первая, вторая, третья и восьмая главы и отрывки «Евгения Онегина» и полные беловые рукописи «Бориса Годунова» и «Анджело». Но это только одна часть автографов Пушкина, застрявших у Жуковского. Из другой части образовалось известное «собрание А. Ф. Онегина», перепроданное «Пушкинскому дому».

В 1889 г. та же Публичная библиотека купила «архив» А. А. Краевского. Среди этого нового приобретения оказались две записных рабочих тетради Пушкина, одна в 103 листа, другая в 8 листов, и отрывки из «Капитанской дочки» и из «Сцен из рыцарских времен».

После П. В. Анненкова в его «архиве» тоже оказались рукописи Пушкина. Из них составились два известных собрания автографов Пушкина, — одно — Л. Н. Майкова, другое — И. А. Шляпкина, впоследствии вошедшие в состав Петербургского академического хранилища. В 1897 году Д. И. Сапожников в каретном сарае в имении Анненкова нашел целую грудку старых бумаг и среди них 17 четвертушек собственноручных рукописей Пушкина. В 1931 году еще 8 листов автографов Пушкина были найдены среди бумаг вдовы соседа Анненкова по имению.

В итоге, за двадцать лет, протекших со дня смерти Пушкина, из его письменного наследия исчезли ценные тетради и сотни отдельных листов. Опекуны и редакторы не оправдали доверия и частью присвоили, а частью растеряли драгоценное имущество великого поэта.

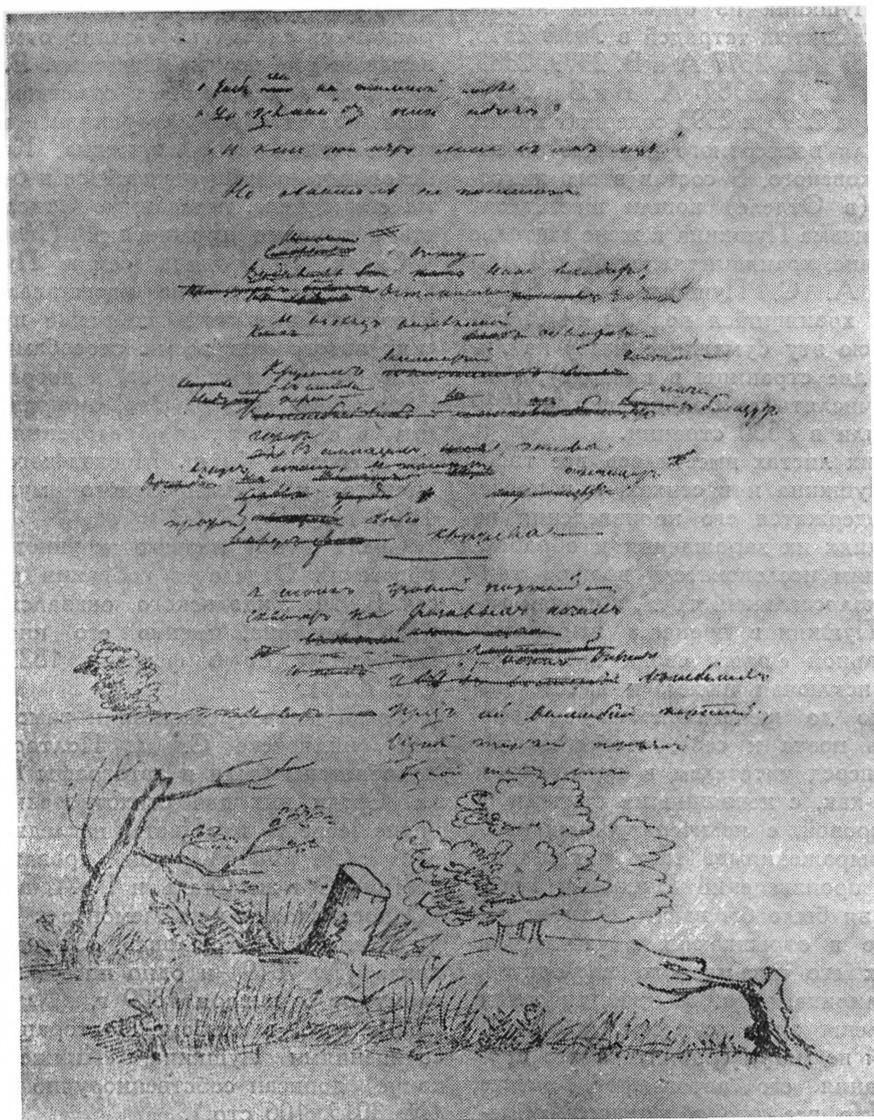
Последующим издателям уже не дано было право пользоваться рукописями поэта. Уцелевшие части вернувшегося в семью наследства на целых двадцать пять лет крепко и надежно скрыты были от чужих рук и даже от чужих глаз. При изданиях 1859 и 1870 годов (под редакцией Геннади) и при издании 1880 года (под редакцией Ефремова) издатели уже не пользовались рукописями семьи Пушкина и вынуждены были выпустить новые издания по первопечатным текстам.

В 1880 году, когда в Москве готовились к открытию памятника Пушкину, дети поэта, во главе со старшим сыном Александром Александровичем, решили передать государству, в лице Отдела рукописей бывшего Румянцовского музея, свое семейное сокровище — полностью все автографы отца. Только дневник поэта, как последнюю фамильную реликвию, Александр Александрович удержал у себя до своей смерти, а после его кончины (в июле 1914 года) и эта последняя рукопись Пушкина была передана в Отдел (№ 4419).

Это драгоценнейшее приобретение Отдела рукописей не стоило государству ни единой копейки расхода: ни дети, ни внуки Пушкина не просили за свой дар никакого вознаграждения.

С этого момента наследственная масса автографов Пушкина становится государственной собственностью. Изучение их и пользование ими делаются общедоступными и облегчаются всеми спосо-

Один этот дар поставил Отдел рукописей на первое место среди всех государственных и частных хранилищ автографов Пушкина. Отдел получил 16 цельных, крупных тетрадей, вошед-



бами и мерами, какими в состоянии располагать государственная библиотека¹⁾.

¹⁾ Необходимо оговорить, что в первые полтора года по передаче автографов Пушкина государству за П. И. Бартеневым, издателем журнала «Русский архив», оставлено было монопольное право пользоваться автографами, в

ших в хранилище под №№ 2364—2374, 2378, 2382, 2384, 2389, 2392; 43 мел-

благодарность за то содействие, которое Бартенева оказал государству в деле перехода к государству пушкинского письменного наследства. С осени 1882 г. монополия Бартенева прекратилась, и рукописи Пушкина стали общедоступными.

ких тетради, соединенных в 8 №№: 2377 Б, 2380 А и Б, 2381 1—13, 2385 А—Б—В, 2386—Г, 2388 А, Б, В, Г, Д, Е и Ж, 2390 1—10 и 2394—1—6; и 15 тетрадей, составленных уже после смерти Пушкина из отдельных листов или из несшитых тетрадей в №№ 2375, 2376, А, Б и В, 2377 А и В, 2379, 2383, 2386, А, Б и В, 2387 А, Б и В и 2391. Два номера 2393 и 2395 содержат копии, снятые для посмертного издания по заказу Жуковского. В состав этого же собрания (в Отделе) вошли шестьдесят четыре письма Пушкина к жене Наталье Николаевне, хранящиеся под № 7021, и дневник А. С. Пушкина за 1833—1835 гг., хранящийся под № 4419. Переводя всю эту бумажную массу на листы (по две страницы в каждом), придется исчислять ее больше чем в 4440 листов, или в 8880 страниц.

На этих листахместились все творчество Пушкина и в стихах, и в прозе. Здесь содержатся его произведения во всех стадиях их зарождения и обработки. По ним исследователь воочию увидит тот колоссальный труд, который затратил Пушкин в процессе выработки окончательной формы своих произведений, не исключая писем, и вместе повышенную до щепетильности требовательность поэта к себе, чтобы не появиться перед читателем в неряшливом виде, кое-как, с неизящными стихами, с грубой прозой, с нелитературным языком и выражениями. Нет каких-либо больших произведений Пушкина, которых нельзя было бы найти, если не целиком, то в отрывках и в частях, на страницах его письменного наследства. А его лирика, его мелкие творения представлены здесь с такой полнотой, с которой не могут сравниться все прочие собрания его автографов, вместе взятые. Но все это в процессе обработки, в черновом виде. Есть автографы и перебеленные поэтом, но их тут же он подверг новой обработке, новым переменам и заменам и в словах, и в стихах, и в целых выражениях. Только две рукописи из наследства Пушкина являются беловыми в собственном смысле,—это тетради поэмы «Медный всадник» в № 2375 и десять несшитых те-

традией истории Пугачева (№ 2390). Оба эти свои произведения Пушкин тщательно переписал своим красивым почерком начисто и набело с целью послать их своему главному цензору—Николаю I. Цензор читал, кое-где карандашом сделал небольшие отметки и замечания и вернул Пушкину. В таком чистовом виде, вместе с отметками цензора, оба автографа сохранились в письменном наследстве Пушкина. Конечно, беловыми должны почитаться и 64 письма его к жене, переданные Отделу вместе с другими рукописями (№ 7021).

Сверх этого дара семьи Пушкина Отдел рукописей не переставал и не перестает пополнять собрание пушкинских автографов всеми способами: и в виде безденежных даров, и посредством покупок за деньги. Это собрание началось с первых лет образования Отдела в составе бывш. Московского Публичного и Румянцовского музея, в 1861 году.

Среди бумаг первого крупного приобретения Отдела в собрании рукописей В. М. Ундольского оказался автограф Пушкина, именно его письмо к Вяземскому от 6 февраля 1823 года (№ 7020).

Тогда же в громадной и замечательной библиотеке С. Д. Полторацкого приобретены были и автографы Пушкина. Среди них два стихотворения «Ех ungue leonem» и «Цветы последние милей» (№ 7016), три прозаических статьи «О г-же Сталь и Г. А. М—ве», «О предисловии г-на Лемонте к переводу басен И. А. Крылова», «Записки Чухина» (№ 7019) и одно письмо Вяземскому от 7 января 1829 г. (№ 2599). Кроме того, в альбоме Полторацкого, с сочинениями Пушкина, «Кинжал» (в конце) дописан собственноручно поэтом (№ 3015, 106 стр.).

С библиотекою А. С. Норова поступили две собственноручные записки Пушкина к Норову от 1833 г. (№ 7020).

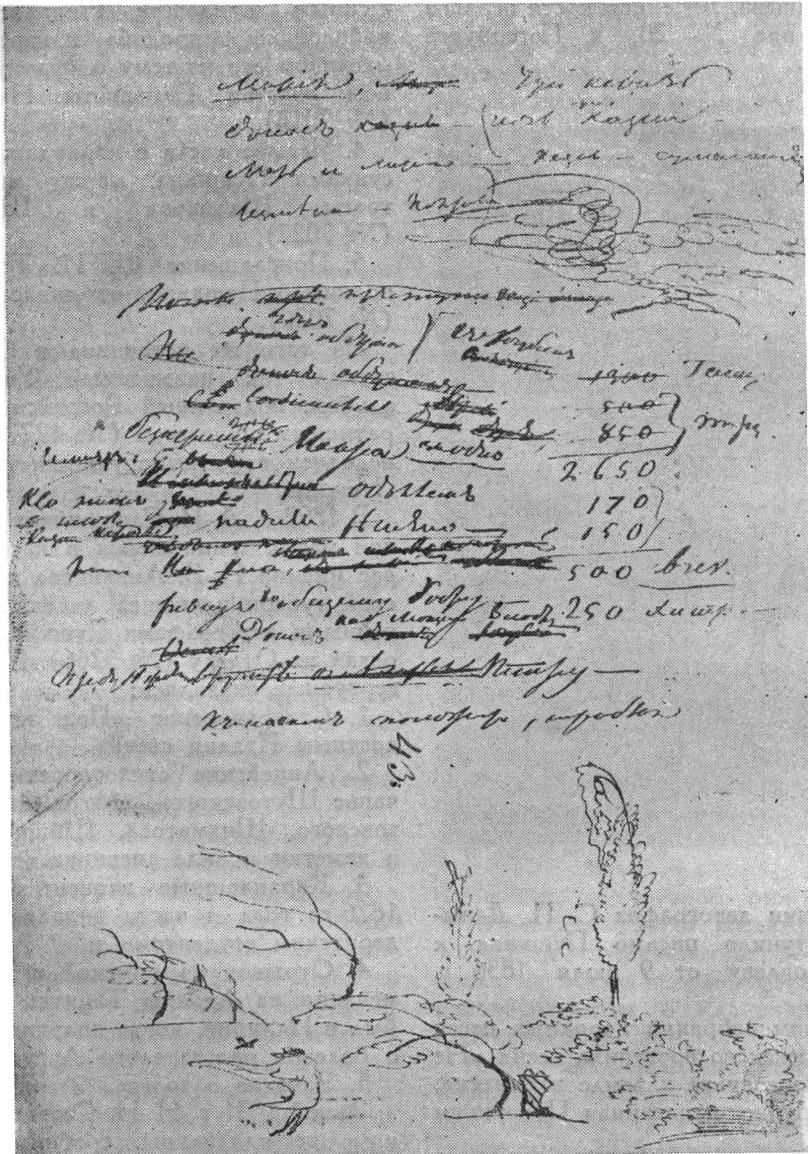
В 1870 г. у наследников брата поэта Льва Сергеевича были приобретены 34 письма Пушкина к нему (№ 1254).

В 1871 г. М. И. Жихарев передал Отделу письмо Пушкина к П. Я. Чаадаеву от 6 июля 1831 г. (№ 7020).

Разновременными передачами принес Отделу И. Е. Бедкий автографы стихотворения «Не пой, волшебница, при мне» (№ 7016), одного письма Вяземскому от 7 мая 1836 г. и приписку Пуш-

В переписке М. П. Погодина поступили 29 писем Пушкина к нему (№№ 3515—3519).

Вместе с автографами Н. В. Гоголя Отдел приобрел у П. В. Быкова одно



кина на приглашении Вяземского к обе-
ду (№ 7020).

П. Д. Голохвастов передал Отделу автограф народной песни «Как у нас было на улице» (№ 7016).

письмо Пушкина к Гоголю от 13 мая
1834 г. (№ 7020).

От наследников Любовниковой, род-
ственницы Л. С. Пушкина, Отдел по-
лучил одно письмо Пушкина к брату

Льву Сергеевичу от февраля 1825 г. (№ 7020).

От В. А. Венкстерна поступили два контракта, собственноручно подписанные Пушкиным 1 мая 1835 г. и 1 мая 1836 г., на наем квартиры в доме С. А. Баташева, Литейной части первого квартала под № 20, в Петербурге (№ 3735).



В собрании автографов С. П. Давыдовой поступило письмо Пушкина к А. А. Яковлеву от 9 июля 1836 г. (№ 3253).

В большом собрании народных песен П. В. Киреевского поступила песня «Не белинька березанька к земле клонится», собственноручно написанная Пушкиным (№ 7016).

Из собрания автографов П. С. Киселева в Отдел перешло несколько пушкинских материалов:

1. Альбом Д. Н. Киселева с автопортретом Пушкина и стихотворением «Ищи в чужом краю здоровья и свободы». (№ 7017).

2. Четыре рифмованных шутки (№ 7016).

3. Восемь листов из утраченного альбома Елизаветы Николаевны Киселевой, рожденной Ушаковой, среди них один с стихотворением Пушкина, посвященным Елизавете Николаевне: «Вы избалованы природой», и карандашным рисунком его на тему о будущем семейном счастье Елизаветы Николаевны (№ 7018).

4. Четыре листа с карандашными рисунками Пушкина, между ними портреты Шаликова и Шаховского (№ 7022), и

5. Приглашение Ф. И. Толстого с подписью Пушкина, от января 1829 г. (№ 7020).

Из того же источника в Отдел поступил так называемый Ушаковский альбом, подаренный Российским кооперативным обществом (№ 4222). Он переполнен собственноручными рисунками Пушкина.

В 1898 г. Д. И. Сапожников в бумажной массе, хранившейся в каретном сарае имения П. В. Анненкова в Симбирской губернии, нашел листки с несомненными автографами Пушкина. Он передал их Отделу (№ 3266). На 17 четвертушках оказались:

1. Стихотворение «Под небом сладостным Италии своей».

2. Лицейские стихотворения: «Венчанье Шутовского», эпиграммы на Шаховского, Шихматова, Шишкова и др. и заметки в виде дневника.

3. Карандашные записи: «В конце 1826-го года я часто видался с одним дерптским студентом» и

4. Отрывок из римской истории, замечания на Анналы Тацита: «Тиберий был в Илирии, когда получил известие о болезни престарелого Августа».

5. Заметка о холере.

Зимой 1931 г. Н. Н. Столов, по уполномочию владелицы, сообщил Отделу, что в Ульяновске проживает вдова, покойный муж которой, помещик, проживал в соседстве с имением П. В. Анненкова, дружил с ним, и они часто были гостями друг у друга и вместе проводили дни и ночи деревенского уединения. Сосед получил от Анненкова несколько

листочков, написанных собственною рукою Пушкина. Вдова желала продать их, поручила это дело Столову, а Столов считал самым подходящим местом для вечного хранения таких драгоценностей именно Отдел рукописей. Надежды и ожидания владелицы и Столова вполне оправдались, и весной 1931 года автографы были уже в Отделе. На них оказались:

1. Стихотворение

«Я думал, сердце позабыло
«Способность легкую страдать»

(№ 7705).

2. «Русский Пелам», глава и план работы над романом на 6 листках (№ 7706).

3. Черновые планы «Капитанской дочки» и «Золотого петушка» (№ 7707).

4. План статьи «О ничтожестве литературы русской» (№ 7708).

5. Критические замечания на статью Бестужева: «Б. предполагает, что словесность всех народов следовала общим законам» (№ 7709).

Отдельно от этих приобретений поступило письмо Пушкина к С. Д. Киселеву, начинающееся: «Отсылаю тебе твои книги с благодарностью» (№ 7723), и автографы из Радищевского музея в Саратове (№ 4835), именно: два стихотворения — «Делибаш» и «Послание цензору» («Угрюмый сторож муз, гонитель давний мой»).

Наконец, 1 июля истекшего 1936 г. Отдел купил печатную книжку из личной библиотеки Пушкина. Она содержит переплетенные в один корешок первые шесть глав романа «Евгений Онегин», которые выходили отдельным изданием каждая, кроме IV и V глав, вышедших вместе. Эта книжка содержит собственноручные изменения, поправки и дополнения к напечатанным текстам. При самых новейших изданиях сочинений Пушкина не все еще эти поправки поэта вошли в печать.

В дальнейшем Отдел будет продолжать свою линию собирания пушкинских автографов, в известном числе еще несомненно до сих пор остающихся в частных руках и небольших архивах. И только тогда, когда будет совершенно

исчерпан этот источник, сам собою встанет вопрос о концентрации рукописного наследства Пушкина.

II

1 июля 1936 г. Отдел рукописей Всесоюзной библиотеки им. В. И. Ленина приобрел новые автографы А. С. Пушкина. Явление чрезвычайно редкое за последние годы и тем более важное для биографии и истории творчества поэта, что автографы эти, равно как и



книжечка, в которой они находятся, оставались вне поля исследовательского внимания пушкинистов, и некоторое число их оставалось неизвестным и неиспользованным в изданиях творений Пушкина.

Книжечка — довольно необычная. По корешку и выходному листу это «Евгений Онегин». Но на выходном листе стоит дата: 1825 год. А в книжечке заключены в один переплет все первые шесть глав «Онегина». Известно, что в 1825 году напечатана только одна первая глава романа. Каждая из последующих печаталась постепенно вплоть до шестой главы, которая подписана цензурой в марте 1828 годѣ. Но, может

быть, было одно общее издание первых шести глав, не известное пока пушкиноведению и библиографии? Против этого говорят единственный выходной листок, помеченный не 1828, а 1825 годом, и пагинация книжечки. В книжечке каждая глава имеет свою собственную пагинацию, а не одну, общую для всех шести глав, как следовало ожидать, если бы в действительности существовало особое издание первых шести глав «Онегина». Очевидно, такого издания не было, а в нашей книжечке в один корешок вплетены первые шесть глав, появившиеся в разные годы, каждая в особом издании, с особой обложкой, каждая со своим собственным выходным листом, шмуц-титолом и каждая со своею собственною пагинацией. Все эти особенности каждого издания и признаки соединения пяти (четвертая и пятая главы в одном выпуске) разных изданий в одном переплете ярко видны при детальном изучении и подробном описании книжечки.

«Евгений Онегин, роман в стихах, сочинение Александра Пушкина» — вот заглавие книжечки, под которым в один переплет соединены первые шесть глав, I—VI, произведения Пушкина. Эти главы печатались каждая отдельным изданием, по мере их готовности к публикации, между 1825 и 1828 годами, каждая в особой обложке и с особым выходным листом. Переплетчик, быть может, по воле заказчика, не сохранил ни одной обложки, а из выходных листов оставил только один, именно первой главы, на котором имеются вышеприведенное заглавие и дата: «СПБ. В типографии департамента народного просвещения. 1825». На обороте этого выходного листа значится цензурное разрешение за подписью цензора Александра Бирукова 29 декабря 1824 года. Вместе с обложками были выкинуты во всех выпусках и листы шмуц-титула, на которых были напечатаны только два слова: «Евгений Онегин», хотя шмуц-титул первого выпуска был, повидимому, сохранен при переплете и в данном экземпляре был вырезан уже после переплета. Об этом говорят остатки отрезанного листка перед титульным

листом. Учитывая изъятые листки как при переплете, так и впоследствии, можно объяснить неполноту нумерации листов и их количества в каждом выпуске.

В первом выпуске нумерация римскими цифрами начиналась со шмуц-титула, продолжалась на титульном листе, на листе с посвящением «брату Льву Сергеевичу Пушкину», предисловии и оканчивалась на «Разговоре книгопродавца с поэтом», причем последняя страница отмечена цифрой XXII. Затем следует нумерованный листик, на котором напечатаны два слова: «Глава первая», и на обороте выдержка из французского письма. Со следующего листка начинаются строфы первой главы и новый счет листков арабскими цифрами, всего пронумеровано 49 страниц (страница 50-я осталась без текста и без нумерации). В нашей книжечке отсутствует лист шмуц-титульный.

Вторая глава в нашей книжечке начинается с третьего листка второго выпуска, отсутствуют титульный и шмуц-титульный листки. На третьем листке напечатано: «Глава вторая. Писано в 1823 году», и на обороте: «O rus! Hoc». С четвертого листка следуют строфы второй главы и нумерация листков арабскими цифрами, оканчивающимися страницей 42-й.

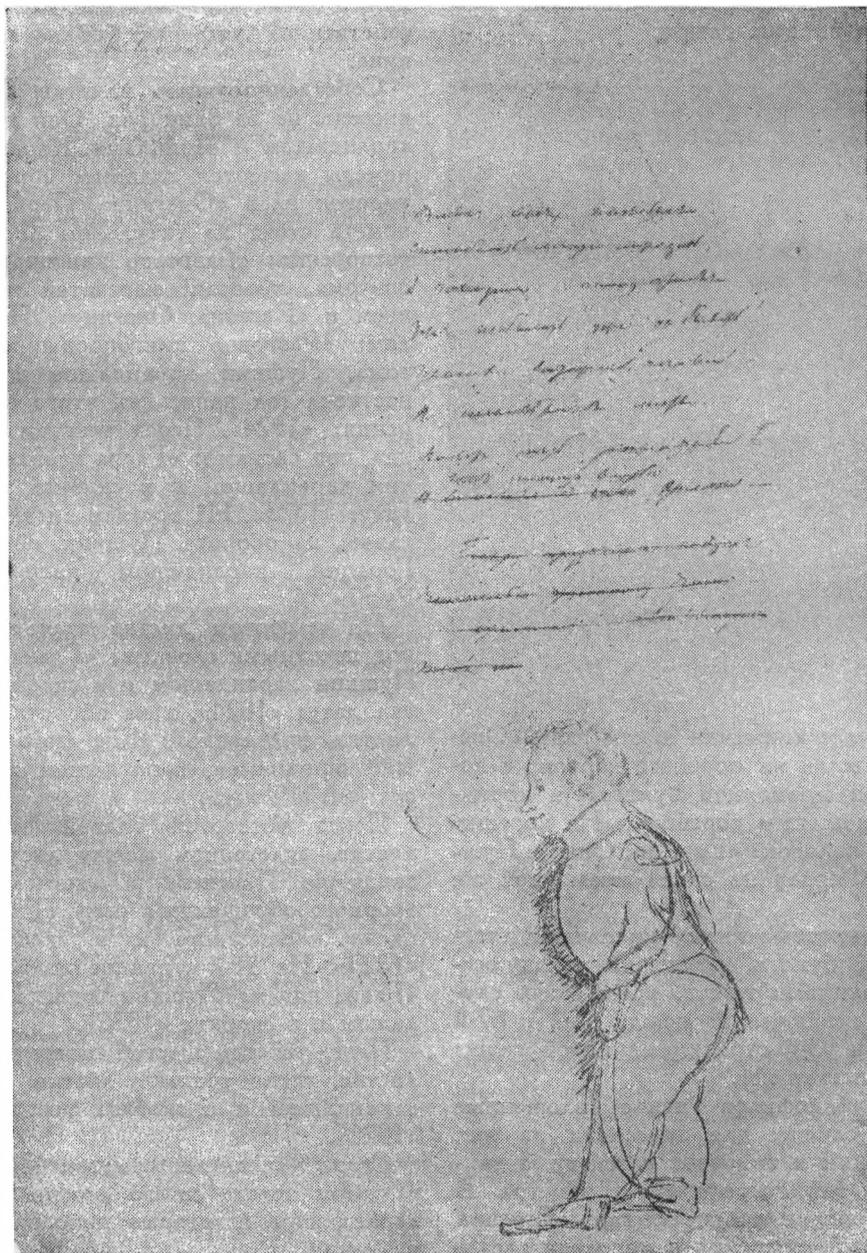
Третья глава в нашей книжечке начинается с четвертого листка, на котором напечатано: «Глава третья», и на обороте: «Elle était fille, elle était amoureuse». С пятого листка начинается текст третьей главы и нумерация, оканчивающаяся на 51-й странице. Таким образом, при переплете выкинуты три листа: шмуц-титульный, титульный и с извещением от автора о непрерывности дальнейшего издания глав романа.

Главы четвертая и пятая напечатаны были в одном выпуске 1828 года. В нашем экземпляре нет первых двух листков, шмуц-титульного и титульного. На третьем листке напечатано посвящение «Петру Александровичу Плетневу». На четвертом листке напечатано стихотворное обращение к Плетневу: «Не мысля гордый свет забавить...». На пятом лист-

ке: «Глава четвертая», и на обороте: «La morale est dans la nature des choses. Necker».

С шестого листка начинаются строфы четвертой главы и оканчиваются на 50-й странице. Страницы 51-я и 52-я заняты обозначением главы: «Глава пятая», и на обороте стихами: «О, не

знай сих страшных снов, ты, моя Светлана. Жуковский». Со страницы 53-й начинаются строфы пятой главы, которые и оканчиваются на 92-й странице. На 93-й странице напечатано примечание к 13-му стиху 48-й страницы (где допущена опечатка: заветы вместо зевоты).



Шестая глава в нашем экземпляре начинается с третьего листка, на котором напечатано: «Глава шестая», и на обороте два стиха: «Petr.»: «La Sotto giorni pubilosi e brevi Nasce una gente a cui l'morir non dole». С четвертого листка начинаются строфы шестой главы и оканчиваются на 46-й странице. Нижняя половина 46-й и следующие за ней 47-я и 48-я страницы заняты напечатанными опечатками во всех главах.



Переплет книжечки шести глав «Онегина» сделан из прочного картона с коричневой мраморной бумагой и коричневым кожаным корешком. На корешке тиснуто золотом: «Евгений Онегин Пушкина». Форзац из синей мраморной же бумаги.

Особенностью книжечки служат листки белой бумаги, вплетенные между всеми страницами текста, кроме двух случайных исключений: между 66-й и 67-й и 92-й и 93-й страницами пятой главы таких листков нет.

У библиофилов такие вложенные листки служат для занесения на них дополнений и поправок к тексту, а также для библиографических заметок. В данном экземпляре шести глав «Евгения Онегина» дополнения и поправки сдела-

ны на вкладных листках собственной рукою самого автора романа, А. С. Пушкина. Этот факт окончательно решает вопрос о собственнике книжечки. Очевидно, первые шесть глав «Евгения Онегина» переплетены в один корешок по распоряжению самого поэта, и белые листки предназначались им для собственноручных исправлений и дополнений, а самая книжечка входила в состав собственной домашней библиотеки Пушкина.

Собственноручные заметки Пушкина внесены не за один раз. Они писаны и карандашом и чернилами. Карандашные пометы касаются главным образом датировок глав «Онегина». Первая такая помета стоит на титульном листке стихотворения: «Разговор книгопродавца с поэтом», который напечатан предисловием к «Евгению Онегину». Под титулом: «Разговор книгопродавца с поэтом», Пушкин карандашом в скобках поставил год написания этого стихотворения: «1824». Перед текстом «Онегина», под словами: «Глава первая», Пушкин карандашом и в скобках поставил дату: «1823». На третьем листке второй главы, на обороте, Пушкин под стихом Горация карандашом написал: «О, Русь!»

На четвертом листке третьей главы под печатными словами: «Глава третья» Пушкин карандашом и в скобках написал дату: «1824», а на обороте того же листка, под стихом: «Elle était fille, elle était amougeuse», карандашом же написал: «Malfilatre».

Перед четвертой главой, на белом листке, вплетенном между листком посвящения Плетневу и листком стихотворного обращения к нему, Пушкин написал карандашом и в скобках год «1825». На 51-й странице под словами: «Глава пятая» Пушкин подписал карандашом и в скобках «1826».

Перед текстом шестой главы на белом листке, после третьего листка, Пушкин карандашом и в скобках поставил год «1826».

Сверх указанных отметок Пушкин и в самом тексте своего романа отметил карандашом некоторые поправки и дополнения.

На 36-й странице первой главы Пушкин, желая заменить слово «неподражаемая» (в шестом стихе XLVI строфы), написал карандашом на белом вставном листе, напротив шестого стиха, слово «неподражательная». После этого исправления 4-й—7-й стихи читаются так:

Мне нравились его черты,
Мечтам невольная преданность,
Неподражательная странность
И резкий, охлажденный ум.

На 49-й странице той же первой главы, в предпоследнем стихе, оканчивающемся в печатном виде запятой, Пушкин зачеркнул карандашом запятую и вместо нее карандашом же поставил две точки:

Иди же к Невским берегам,
Новорожденное творенье,
И заслужи мне славы дань:
Кривые толки, шум и брань!

На 9-й странице второй главы, в четвертом стихе III строфы, Пушкин карандашом зачеркнул две первые буквы последнего слова «давил», очевидно, намереваясь переправить это слово в «ловил», но что-то помешало ему произвести самое исправление и в замену зачеркнутых букв он ничего не написал ни на самом листке, ни на белой вставке. Предположительно начало строфы должно читать:

Он в том покое поселился,
Где деревенский старожил
Лет сорок с ключницей бранился,
В окно смотрел и мух ловил.

На 40-й странице второй главы, в четвертом от конца стихе XXXVIII строфы, Пушкин зачеркнул карандашом последнее слово «спешит» и под ним карандашом же надписал: «теснит»:

Так наше ветренное племя
Растет, волнуется, кипит
И к гробу прадедов теснит.

На 13-й странице третьей главы, в седьмом стихе V строфы, Пушкин исправил ошибку в последнем слове, зачеркнув букву «ять» и поставив вместо нее букву «ы»:

В чертах у Ольги жизни нет,
Как у Вандиковой Мадоны.

На 74-й странице пятой главы, в седьмом стихе XXIV строфы, Пушкин подчеркнул карандашом слово «ворон» и напротив этого стиха написал на белом вставном листке, взамен подчеркнутого слова, новое слово «ведьма»:



Татьяна в оглавленьи кратком
Находит азбучным порядком
Слова: бор, буря, ведьма, ель...

Более существенны чернильные поправки и дополнения, сделанные Пушкиным в книжке.

На белом листке перед строфами первой главы Пушкин написал чернилами эпиграф:

И жить торопится и чувствовать спешит.
К. Вяземский.

На белом листке, между 14-й и 15-й страницами второй главы, против пустого места после 8-го стиха VIII строфы, Пушкин написал чернилами стих:

Что есть избранные судьбами.

На пустом месте конца строфы Пушкин карандашными черточками отметил места ненаписанных стихов.

Пушкин на вставном белом листке написал только один стих для заполнения пустого места в VIII строфе. А между тем в то время, когда он делал поправки в своей печатной книжечке «Евгений Онегин», у него готов был уже не один вариант последних стихов этой строфы. И по черновым наброскам в рабочей тетради Пушкина¹⁾, и по беловику²⁾ эти стихи читаются так:

(Он верил избранным судьбами,
Мужам, которых тайный дар...)
(Что мало избранных судьбами...)
Что есть избранные судьбами,
Что жизнь их — лучший неба дар —
И мыслей неподкупный жар,
И Гений власти над умами
Добру людей посвящены,
И славе доблестью равны.

Позднее Пушкин набросал новый вариант этих стихов и записал их в такой форме:

Что есть избранные судьбами
Людей священные друзья,
Что их бессмертная семья
Неотразимыми лучами
Когда-нибудь нас озарит
И мир блаженством одарит.

Можно думать, что Пушкин еще не решил, какому из этих вариантов отдать предпочтение, когда вносил поправки в печатный текст первых шести глав поэмы, т.е. не раньше 1828 года.

На белом листке, между 32-й и 33-й страницами третьей главы, против второго стиха XXVII строфы, Пушкин чернилами написал два слова: «Читать журналы», имея в виду изменить напечатанные слова:

¹⁾ Хранится в Отделе рукописей Всесоюзной библиотеки имени В. И. Ленина под № 2369, см. л. 26-й, и № 2370, л. 58-й.

²⁾ Хранится в Ленинграде в Публичной библиотеке имени Салтыкова-Щедрина.

Я знаю: дам хотя заставить
Читать по-русски. Право, страх!

На обороте белого листка между 32-й и 33-й страницами четвертой главы, против первого стиха:

Так ты, Я — вдохновенный,

Пушкин чернилами написал: «Языков»¹⁾.

На обороте белого листка, между 36-й и 37-й страницами той же четвертой главы, против 6-го и 7-го стихов XXXVI строфы:

Кто бредит рифмами, как я,
Кто бьет хлопущей мух нахальных,

Пушкин написал чернилами новый вариант этих двух стихов:

Кто эпиграммами, как я,
Стреляет в куликов журнальных.

На обороте белого листка, между 78-й и 79-й страницами пятой главы, против 6-го стиха XXX строфы, в замену слов «тайный жар» Пушкин написал чернилами: «страстный огонь».

Она темнеющих очей
Не подымает: пышет бурно
В ней страстный огонь, ей душно, дурно.

На белом листке между 80-й и 81-й страницами той же пятой главы, против последних слов 5-го и 6-го стихов XXXII строфы — «пересоленной» и «засмоленной», — Пушкин внес в окончание поправку чернилами: «еной», отметив двумя параллельными чертами под этими четырьмя буквами, что поправка относится к двум стихам:

Но целью взоров и суждений
В то время жирный был пирог
(К несчастью, пересоленой)
Да вот в бутылке засмоленной,
Между жарким и блан-манже,
Цимлянское несут уже.

На обороте этого же белого листка есть еще поправка против десятого стиха той же строфы: Пушкин написал три

¹⁾ Первый стих 33-й страницы — это девятый стих XXXI строфы.

буквы «бно», выправляя слово «подобных»:

За ним строй рюмок узких, длинных,
Подобно талии твоей,
Зизи, кристалл души моей.

На белом листке между 90-й и 91-й страницами той же пятой главы, против предпоследнего стиха XLII строфы:

вы, против третьего от конца стиха последней XLVII строфы:

Расчетов, дум и разговоров,

Пушкин написал одно слово: «душ», имея в виду, очевидно, уничтожить и запятую, напечатанную между первыми словами стиха:

Расчетов душ и разговоров.



«Лихая мода, нам тиран», Пушкин, подчеркнув ногтем два последние слова, написал чернилами «наш».

На обороте белого листка, между 42-й и 43-й страницами шестой главы, против шестого стиха XLIV строфы: «Где, вечная вам рифма, м л а д о с т ь?» написал чернилами одно слово: «ей», имея в виду заменить этим словом неправильно напечатанное «вам».

Мечты, мечты! где ваша сладость?
Где, вечная ей рифма, младость?

Наконец, на белом листке между 46-й и 47-й страницами той же шестой гла-

Кроме цифровых и словесных автографов, книжка Пушкина содержит в себе на белых листах и произведения его рисовального искусства. Таких, зарисованных Пушкиным, листков в книжке два: между 28-й и 29-й страницами второй главы и между 60-й и 61-й страницами главы пятой.

На первом листке легким карандашом Пушкин набросал женский портрет в профиль и в рост. Пышная прическа, тонкие черты лица, грациозная фигура, венок на голове, изящество в рисунке напоминают тот опыт Пушкина в рисовании портрета, который Пушкин оста-

вил в Ушаковском альбоме и под которым подписал:

Грудясь над образом прелестной У.
И проч. и проч и проч.

Если припомнить время зарисовок Пушкина в Ушаковском альбоме и то, что наша книжечка не могла появиться раньше марта 1828 года, когда дано было цензурное разрешение шестой главы, то совпадение во времени может дать разрешение и на вопрос о совпадении портретов в альбоме и в книжке.

Гораздо проще решается вопрос о том, кого именно из своих героинь хотел Пушкин нарисовать на этом листке в образе изящной женской фигуры. Против рисунка, на 28-й странице второй главы, начинается XXV строфа, и первый стих ее читается: «Итак, она звалась Татьяной». Очевидно, Пушкин в рисунке хотел запечатлеть черты провинциальной девушки, изложенные с такими подробностями в XXV и последующих строфах.

Карандаш Пушкина или другого лица, повидимому, еще раз прошелся по чертам портрета Татьяны и несколько подновил рисунок венка и кружев, не нарушив, однако, основных деталей портрета. Рельефнее отразились следы пальцев, перелистывавших книжечку Пушкина и, очевидно, подолгу останавливавшихся на портрете Татьяны.

На другом белом листке, между 60-й и 61-й страницами пятой главы, на обороте листка, очень тонким карандашом

набросаны три рисунка. Вверху страницы нарисована ветряная мельница с четырьмя крыльями. Пониже мельницы нарисованы две фигуры не то скачущих, не то пляшущих каких-то фантастических чудовищ. Напротив рисунка, в печатном тексте пятой главы, как-раз находится X строфа. И в этой строфе, равно как раньше и позже ее, идет рассказ о святочных гаданьях и о «чудном сне» Татьяны. Очевидно, своими рисунками Пушкин хотел иллюстрировать или пляски ряженых на святках или «чудовища», приснившиеся Татьяне:

Один в рогах с собачьей мордой,
Другой с петушьей головой,
Здесь ведьма с козьей бородой,
Тут шевелится хобот гордой,
Там карла с хвостиком, и вот
Полу-журавль и полу-кот.
Там суетливый еж в ливрее,
Там рак верхом на пауке,
Там череп на гусиной шее
Вертится в красном колпаке,
Там мельница в мундире пляшет
И крыльями трещит и машет...

Просматривая последующие (за первым) издания «Евгения Онегина» вплоть до наших дней, легко убедиться, что далеко не все поправки и дополнения Пушкина вошли в печатные тексты этого творения поэта. А если учесть, что в известных доселе рисунках его нигде нет ни портрета Татьяны¹⁾, ни тем более иллюстраций к ее гаданьям и сну, то станет ясным значение нового приобретения Отдела рукописей для пушкиноведения.

5. НАРОДНЫЙ ПОЭТ

Георгий Чулков

I

Третьего февраля ночью А. И. Тургенев в сопровождении жандармского офицера повез тело Пушкина в Святогорский монастырь. А. В. Никитенко в дневнике своем сделал запись: «Жена моя возвращалась из Могилева и на одной станции, неподалеку от Петер-

бурга, увидела простую телегу, на телеге солому, под соломой гроб, обернутый рогожею. Три жандарма суетились на почтовом дворе, хлопотали о том, чтобы скорее перепрячь курьерских лошадей и скакать дальше с гробом.

¹⁾ «Сидящая Татьяна» из Пушкинской тетради № 2370 А. М. Эфросом не называется портретом, а только рисунком.

— Что это такое? — спросила моя жена у одного из находившихся здесь крестьян.

— А бог его знает что! Вишь, какой-то Пушкин убит — и его мчат на почтовых в рогоже и соломе, прости господи — как собаку...»

Далее тот же Никитенко записывает: «Мера запрещения относительно того, чтобы о Пушкине ничего не писать, продолжается. Это очень волнует умы...»

В «Северной пчеле», в которой не раз появлялись грубые и клеветнические заметки о Пушкине, на этот раз, когда смерть подкосила поэта, были напечатаны следующие строки: «Россия обязана Пушкину благодарностью за двадцатидвухлетние заслуги его на поприще словесности, которые были рядом блистательнейших и полезнейших успехов в сочинениях всех родов...»

Бенкендорф вызвал к себе Греча и сделал ему строгий выговор за неуместное восхваление Пушкина. А министр Уваров сделал такой же выговор А. А. Краевскому, редактору «Литературных прибавлений к Русскому Инвалиду». В «Литературных прибавлениях» было напечатано нечто ужасное с точки зрения николаевского правительства: «Солнце нашей поэзии закатилось! Пушкин скончался, скончался во цвете лет, в середине своего великого поприща!... Более говорить о сем не имеем сил, да и не нужно: всякое русское сердце будет знать всю цену этой невозвратимой потери, и всякое русское сердце растерзано. Пушкин наш поэт, наша радость, наша народная слава!.. Неужели в самом деле нет уже у нас Пушкина! К этой мысли нельзя привыкнуть!..»

Умер поэт — и вдруг стало ясно, что все его враги ничтожны, что убийство, совершенное ими, не победа, а жестокое поражение всей этой клики темных заговорщиков, ненавидевших гения. Умер Пушкин, но задушить его огромный ум и скрыть от мира сокровища его поэзии было не под силу даже царской цензуре и жандармам Бенкендорфа. В университете было получено строгое предписание, чтобы в день отпевания поэта

профессора не отлучались от своих кафедр и чтобы студенты не покидали своих лекций. Но это предписание не было исполнено. Один из студентов рассказывает в своих воспоминаниях, как он и его товарищи искали гроб Пушкина сначала в Адмиралтейской церкви, потом в Конюшенной и как многим удалось пробиться через полицейские пикеты. Граф Уваров явился в университет проверять распоряжение начальства, но там были только «казенные» студенты, которым никак уж нельзя было покинуть лекции. «Русские не могут оплакивать своего согражданина, сделавшего им честь своим существованием! — горько жалуется в своем дневнике А. В. Никитенко. — Иностранцы приходили поклониться поэту в гробу, а профессорам университета и русскому юношеству это воспрещено. Они тайком, как воры, должны были прокрадываться к нему...»

Испуг правительства был так велик, что даже предполагавшийся 1 февраля спектакль на Александринской сцене «Скупого рыцаря» был сначала перенесен на 2 февраля, а потом и вовсе отменен. А. И. Тургенев в письме к А. И. Нефедьевой объяснил причину запрещения этой пушкинской пьесы тем, что власть имущие «опасаются излишнего энтузиазма»...

Этот энтузиазм был решительно непонятен обитателям дворцов и салонов. Кн. И. Ф. Паскевич, обиженный тем, что Пушкин не воспел его кавказского похода, писал царю Николаю после смерти поэта, что «человек он был дурной», на что Николай Павлович ответил: «Мнение твое о Пушкине я совершенно разделяю...» Еще бы ему не разделять этого мнения — особенно после свидания с Пушкиным 25 января, когда поэт бросил в лицо царю свои грозные обвинения!

Да, в глазах царя Пушкин был дурной человек. И В. А. Жуковский напрасно уверял Пушкина, что будто бы царь его очень любит. Но даже благодушный Василий Андреевич не выдержал своего кроткого стиля, когда умер Пушкин. Об этом свидетельствует любопытнейшее письмо его к Бенкендор-

фу. К сожалению, неизвестно, послал ли он это письмо шефу жандармов, вернее, что не послал. По крайней мере в архиве Третьего отделения его не оказалось.

Пока Пушкин был жив, Жуковский все упрекал его за то, что поэт не ладит с царем, но теперь, когда убийство совершилось, Василий Андреевич вдруг прозрел. Правда, он все еще попрежнему чувствует себя верноподданным и царедворцем, но он уже не может молчать о страшном преступлении, совершенном в Петербурге среди белого дня на глазах у всех. Он понял, что дело тут не в Дантесе, а в тех «дьявольских кознях», которые готовили Пушкину его враги. Для него это стало тем очевиднее, что эти «козни» коснулись его самого, кн. П. А. Вяземского и других друзей Пушкина. Испуганное правительство искало заговора. Уже состряпан был донос на самого Жуковского. Царь поручил ему рассмотреть бумаги Пушкина, но Бенкендорф настоял на том, чтобы в разборе бумаг принял участие помощник шефа жандармов, Дуббельт. Жуковскому с трудом удалось отстоять право заниматься бумагами Пушкина у себя на квартире, а не в Третьем отделении. Гроб с телом Пушкина был немедленно вынесен из комнаты, где умер поэт, и комната была опечатана. Сыщики и жандармы толпились в квартире поэта все эти дни. Один из них заметил в шляпе Жуковского пачки каких-то писем и поспешил донести об этом Бенкендорфу. Жуковский вынужден был в своем письме дать объяснение по поводу этого доноса. Пакеты, замеченные шпионом, заключали в себе письма поэта к жене; Наталья Николаевна давала их Жуковскому для прочтения, и он их возвратил ей, как ее собственность. Пришлось объяснить по этому поводу. Пришлось оправдываться. «Само по себе разумеется, что такие письма, мне вверенные,—пишет Жуковский,—не могли принадлежать к тем бумагам, кои мне приказано было рассмотреть...». Впрочем, все эти письма были в свое время перлюстрированы, и Жуковский не без горькой иронии на это указывает.

Но Жуковский не ограничился самозащитой. Перечитав письма Бенкендорфа к Пушкину, он только теперь, после смерти поэта, понял до конца весь тот ужас, который тяготел над его умершим другом, и сам счел нужным выступить, как обвинитель.

«В Ваших письмах, — пишет Жуковский, — нахожу выговоры за то, что Пушкин поехал в Москву, что Пушкин поехал в Арзрум. Но какое же это преступление? Пушкин хотел поехать в деревню на жительство, чтобы заняться на покое литературой, ему было в том отказано...». «Какое спокойствие мог он иметь со своею пылкою, огорченною душою, с своими стесненными домашними обстоятельствами, посреди того света, где все тревожило его суетность, где было столько раздражительного для его самолюбия, где, наконец, тысячи презрительных сплетней, из сети которых не имел он возможности вырваться, погубили его...». Далее Жуковский решается говорить о царской цензуре. «Государь император назвал себя его цензором...». Но эта «милость» оказалась тяжкими цепями. «...Ваше сиятельство делали ему словесные или письменные выговоры», а вина его состояла лишь в том, что он не счел нужным представлять государю то или другое произведение и отдавал его «на суд общей для всех цензуры (которая, конечно, к нему не была благосклоннее, нежели к другим), или в том, что стихи его, ходившие по рукам в рукописи, были напечатаны без его ведома...». «Наконец, в одном из писем вашего сиятельства нахожу выговор за то, что Пушкин в некоторых обществах читал свою трагедию, прежде нежели она была одобрена. Да что же это за преступление? Кто из писателей не сообщает своим друзьям своих произведений для того, чтобы слышать их критику?..».

Если это письмо Жуковского не дошло до Бенкендорфа, зато письмо П. А. Вяземского на ту же тему было получено вел. кн. Михаилом Павловичем ровно через месяц после его написания — 14/26 марта 1837 года. Михаил Павлович Романов был в это время в Риме. Вяземский преследовал те же

цели, что и Жуковский, — во-первых, оправдать себя в виду обвинений, выдвинутых Третьим отделением против друзей Пушкина, и, во-вторых, разъяснить смысл интриги, погубившей поэта. «Некоторые из коноводов нашего общества, в которых ничего нет русского, которые и не читали Пушкина, кроме произведений, подобранных недоброжелателями и тайной полицией, не приняли никакого участия во всеобщей скорби» — пишет Вяземский, не сознавая, повидимому, что его адресат весьма близок к людям, ненавидевшим Пушкина. «Хуже того, — продолжает Вяземский, — они оскорбляли, чернили его. Клевета продолжала терзать память Пушкина, как терзала при жизни его душу. Жалели о судьбе интересного Геккерена, а для Пушкина не находили ничего, кроме хулы. Несколько гостиных сделали из него предмет своих партийных интересов и споров...».

Но все эти объяснения нисколько не повлияли на Михаила Павловича. По крайней мере летом того же года, встретив в Бадене Дантеса, великий князь писал о нем своему коронованному братцу весьма благожелательно, а кн. В. Ф. Одоевский в своем дневнике сообщает следующее: «Встретивши Дантеса в Бадене, который, как богатый человек и барон, весело прогуливался со шляпою набекрень, Михаил Павлович три дня был расстроен. Когда графиня Соллогуб-мать, которую он очень любил, спросила его о причине его расстройства, он ответил: «Кого я видел! Дантеса!» — Воспоминание о Пушкине вас встревожило? — «О, нет! Туда ему и дорога!» — Так что же? — «Да сам Дантес! бедный! — подумайте, ведь он солдат». Все это в нем было не притворство, но таков был склад идей.

Вот этот «склад идей» господ Романовых вполне гармонировал с настроением салона М. Д. Нессельроде и ее политических друзей.

II

В петербургской монархии был тот прусский «склад идей», который никак нельзя было примирить с народной поэ-

зией Пушкина. Но великий поэт принесит в мир не только сокровища своей поэзии. Биография поэта, как человека, иногда не менее значительна, чем его поэтический «послужной список», чем итоги его историко-литературных достижений. И личность Пушкина была так же несовместима с петербургско-прусским «складом идей», как и его поэзия. Пушкин был народен. И это было тягостно и страшно и Романовым, и Геккерену, и Нессельроде. И в этом противоречии надо искать те психологические мотивы, которые заставили светскую чернь травить поэта и в конце концов убить его.

Пушкин был народен не только потому, что создал поэтический мир, отвечающий народным стремлениям к положительному нравственному идеалу, но и по своему культурно-психологическому типу, как человек. Мужики любили Пушкина, и он чувствовал себя с ними легко и просто. В Царском Селе, в 1831 году, в первые же месяцы своей брачной жизни, Пушкин, совершая прогулку, встретился с каким-то обозом, шедшим в Петербург, увлекся разговором с извозчиками и дошел с ними до города. Он всегда искал встреч с простыми людьми. В Захарове он, будучи ребенком, водил дружбу с поваром; в Кишиневе знакомился с простыми молдаванами; в Тифлисе его встречали на улицах с местными рабочими; в годы своего заточения в Михайловском он так охотно общался с крестьянами, что это дало повод соседним помещикам распустить слухи про его злонамеренную агитацию. П. И. Долгоруков в своих воспоминаниях отмечает с осуждением, что поэт не стесняется рассуждать об ужасах крепостного права в присутствии слуг. Мнения Пушкина пугают мемуариста: «Штатские чиновники — подлецы и воры, генералы — скоты большею частью, один класс земледельцев — почтенный. На дворян русских особенно нападал Пушкин. Их надобно всех повесить, а если бы это было, то он с удовольствием затягивал бы петли».

Все эти разговоры Пушкин вел, правда, в юные годы. В николаевскую эпо-

ху он, пожалуй, не стал бы так решительно требовать виселиц для всех российских дворян, но в Пушкине изменялись его политические взгляды и убеждения, а сущность его характера и его личности оставалась неизменной. Он и в тридцатые годы был так же народен, как и в эпоху его подневольных скитаний по югу России. В 1836 году, в стихотворении «Мирская власть», по поводу часовых, поставленных около картины К. П. Брюллова «Распятие», Пушкин иронически спрашивает:

Иль опасаетесь, чтоб чернь не оскорбила
Того, чья казнь весь род Адамов искупила,
И, чтоб не потеснить гуляющих господ,
Пускать не велено сюда простой народ?

Нет, Пушкин был не с «гуляющими господами», а с «простым народом». В этом смысле он был и национальным поэтом. Белинский понял это. «Наконец, Пушкин, — писал он, — вполне национальный поэт, заключивший в духе своем все национальные элементы. Это видно не только из тех произведений, где чисто русское содержание выражал он в чисто народной форме и где не имел он себе соперника; но еще более из тех произведений, которые ни по содержанию, ни по форме, кажется, не могут иметь ничего русского». Цитируя Гоголя, который отметил это свойство пушкинской поэзии, Белинский с удивительной зоркостью указывает на самое существенное в Пушкине: «У Пушкина диссонанс и драма всегда внутри, а снаружи все спокойно, как будто ничего не случилось, так, что грубая, невосприимчивая или неразвитая натура не может тут видеть ни силы, ни борьбы, ни величия... Заметьте, что герои Пушкина никогда не лишают себя жизни, по силе трагической развязки, но остаются жить... Пушкин в этой черте бывает страшно велик... Не бывало еще на Руси такой колоссальной творческой силы, и так национально, так по-русски проявившейся...».

Эта психологическая сосредоточенность и эстетическое самообладание, в самом деле, глубоко народны. Никаких внешних жестов, никаких прикрас, никаких компромиссов со слабостями среднего

человека! Откуда эта художественная монументальность? Ее нашел Пушкин в народе. Ни дворянская среда, ни вольтеррианское воспитание, ни близость в тридцатых годах к придворным и дипломатическим кругам не могли, конечно, дать Пушкину ту духовную силу, которая сделала его выразителем народного гения. Будучи национальным поэтом, Пушкин, однако, не был склонен к тому национальному самомнению и высокомерию, которые не позволяют видеть в иных национальностях положительных начал. Нет, Пушкин не только высоко ценил и до конца понимал великую западноевропейскую культуру, но и с чрезвычайным вниманием искал все живое и творческое в других национальностях. Пушкин чутко прислушивался к говору и песням народностей, которые населяли тогдашнюю Россию. Песня Земфiry в «Цыганах» и романс «Черная шаль» свидетельствуют об интересе Пушкина к молдавской народной поэзии; поэт записывал украинские «думы»; он интересовался и кавказским фольклором: «песни грузинские приятны и по большей части заунывны» — пишет он в примечании к «Кавказскому пленнику»; во время поездки в Оренбург для собирания материалов о Пугачеве он записывает песни казаков, интересуется бытом и поэзией киргизов, башкир и калмыков. Поэт как будто предчувствовал наш современный интерес к культурам братских народов и предсказал в «Памятнике» свое будущее значение для всех племен, населяющих нашу страну.

Записи русских сказок и песен, сделанные Пушкиным, всем известны. Его постоянное внимание к русскому фольклору не было простым любопытством художника. Внутренняя связь поэта с истоками народного творчества вне всяких сомнений.

А что представлял собою тот «склад идей», который господствовал в салонах, враждебных Пушкину? В этих салонах, где никогда не говорили по-русски, где повторяли благоговейно политические афоризмы Меттерниха и где смотрели на русский народ, как на исторический «материал», годный для коло-

низации, но вовсе не предназначенный для «высоких целей», которые преследуют «избранные народы», принадлежащие к «привилегированной» расе,—в этих салонах ненавидели Пушкина. Социологи с достаточным основанием разъясняют нам те классовые противоречия, какие разделяли Пушкина и враждебный ему круг привилегированных. И не приходится, конечно, сомневаться в диалектике этой вражды. Идея «избранных народов» прикрывала стыдливо самый грубый классовый интерес, но этим социальным противоречиям соответствовали противоречия культурные.

«Культура» привилегированного помещичьего общества в тридцатых годах XIX века жила ненавистью к народам, ненавистью к революции, ненавистью к независимой мысли. Патриоты и националисты делались космополитами при первом громе революционного восстания и спешили объединиться для борьбы с мятежным народом, каков бы он ни был и где бы ни строился в это время баррикады.

Представители опустошенных, вырождающихся культур ненавидят те живые, органические культуры, которые возникают в истории вместе с пробуждающейся народной жизнью. Пушкин был ненавистен, потому что он был выразителем той новой и цельной

культуры, которая заявляла о себе, несмотря на террор николаевской монархии.

Пушкин был живым укором двухсотлетней петербургской истории. Фактом своего бытия он доказывал, что, несмотря на все старания романовской династии, которая являлась орудием класса помещиков-крепостников, новые социальные силы готовы заявить о своих исторических правах.

Не даром он писал из Михайловского, что Стенька Разин — «единственное поэтическое лицо русской истории». И как любопытно, что в 1826 году, только-что «помирившись» с правительством, он посылает царю для цензуры «Песни о Стеньке Разине», на что воспоследовал назидательный ответ о неприличии печатать подобные произведения, несмотря на их поэтическое достоинство. И в тридцатых годах, вопреки своей философии истории и своим тогдашним политическим взглядам, он не может скрыть своих известных симпатий к личности Пугачева, чувствуя в нем народную стихию, столь близкую ему, поэту.

Да, по сути дела, Пушкин был народный поэт. Вот почему с таким злобным страхом смотрели жандармы Николая I на тысячи паломников, шедших поклониться гробу поэта.

6. НОВОЕ О ПУШКИНЕ В КИШИНЕВЕ

(По дневнику кн. П. И. Долгорукова)

М. Цявловский

«Пушкин ругает публично и даже в кофейных домах не только военное начальство, но даже и правительство» — доносил по начальству из Кишинева в 1821 году секретный агент. Но ни в письмах современников, ни в воспоминаниях о поэте мы не имеем более или менее точных сведений, как же «ругал публично даже и правительство» ссыльный Пушкин. Перлюстрация писем и цензура служили, казалось, прочной гарантией, что все это умрет со свидетелями жизни поэта. Как он

был несдержан на язык, и на какие резкие выходы был способен, дает ясное представление рассказ тесно общавшегося с Пушкиным в Кишиневе И. П. Анпранди.

По свидетельству последнего Пушкин на обеде у бригадного генерала Д. Н. Болховского в присутствии не менее десяти человек предложил выпить шампанское за «11-е марта», день убийства Павла I, одним из участников которого был генерал. Рассказ этот в свое время был изъят из воспоминаний

Липранди и опубликован нами лишь в выходящем на-днях первом томе «Летописей Государственного литературного музея».

Этим же музеем, с особенным рвением собирающим материалы по Пушкину, недавно приобретен документ совершенно исключительного значения — дневник кн. Павла Ивановича Долгорукова (1787—1845)¹⁾. Сын довольно известного поэта, этот Долгоруков, по его словам, «наскучив жить двенадцать лет в столице в ничтожных канцелярских трудах», решил уехать в Кишинев, на службу в канцелярии бессарабского наместника И. Н. Инзова. Приехал сюда Долгоруков 1 августа 1821 года, а с 1 января 1822 г. «положил записывать важнейшие происшествия в виде повседневногo журнала».

«Человек добрый, довольно скучный», по словам мемуариста Вигеля, Долгоруков с аккуратностью исполнительного чиновника вел этот журнал в течение всего года, обстоятельно рассказывая о фактах своей однообразной, бесцветной жизни, часто сопровождая эти рассказы наблюдениями над окружавшей его кишиневской действительностью. Даже если бы среди записей дневника, размер которого не менее шести печатных листов, не было двадцати трех записей о Пушкине, дневник Долгорукова представлял значительный бытовой интерес, давая картину жизни провинциального центра годов аракеевщины и тайных политических обществ. К таким записям относится, например, жуткое описание наказания кнутом солдат, которое находим в дневнике Долгорукова под 20 февраля:

«У Акерманского в'езда против манежа, в котором Орлов давал нам завтрак в первый день нового года, сегодня происходила торговая казнь. Секли кнутом четырех солдат Камчатского полка. Они жаловались Орлову на своего капитана, мучившего всю роту нещадно, и сами, наконец, уставши терпеть его тиранство, вырвали прутья,

коиими он собирался наказывать их товарищей. Вот, как говорят, вся их вина, названная возмущением и буйством. Орлов, от'езжая в Киев, отдал в приказе по своей дивизии о предании к суду нескольких офицеров за жестокое с солдатами обращение. В отсутствие его Сабанеев, в пику ли ему, или в намерении жестокими и сильными примерами удержать войско в должном повиновении, решил участь подсудимых солдат. При собрании всего находящегося налицо здесь войска, тысяч около двух, прочитали преступникам при звуке труб и литавр сентенцию военную, вследствие коей дали первому 81, а прочим трем по 71 удару. Стечение народа было большое,—многие дамы не стыдились смотреть из своих колясок.—И меня привлекло любопытство, но едва имел я столько духу, чтоб несколько раз взглянуть издали на экзекуцию. Одно приговoreние ужасно, и если подумать, что иной подвергается такой казни по оговору или ослеплению судей, то невольно содрогнешься о лютости человеков. Имеющие власть приговаривать к смерти и истязанию должны бы быть люди отличного ума и нравственности, а не всякая сволочь, какая у нас сидит в Уголовной Палате; да и аудиторы, что иное суть, как секретари полковые, раболепствующие командирам и не имеющие ни души, ни голоса. — При мне сняли с плахи первого солдата, едва дышавшего¹⁾, и хотели накрыть военной шинелью. Всякой понесший уже наказание преступник вселяет сожаление, но полковой командир Соловкин закричал: «Смерть военная, не надобно шинели,—пусть в одной везут рубахе!». На другом конце солдат простой не мог быть равнодушным зрителем. Он упал, и его вынесли за фронт».

Но неизмеримо большее значение, чем документ по истории быта, имеет дневник Долгорукова как материал для биографии Пушкина.

С младшим братом автора дневника, Дмитрием Ивановичем, Пушкин был знаком в Петербурге, так как вместе с

¹⁾ Полный текст дневника с необходимыми комментариями в настоящее время подготавливается нами к печати

¹⁾ «Этот и другие его товарищи через двое суток померли».

ним состоял членом литературно-политического общества «Зеленая Лампа». В письме к С. И. Тургеневу от 21 августа 1821 года из Кишинева Пушкин жаловался: «Долгорукой меня забыл». Весьма вероятно, еще в Петербурге познакомился Пушкин и с Павлом Ивановичем, но особенной близости между ними не могло быть ни в Петербурге, ни в Кишиневе: слишком разные они были люди. Ведя уединенный образ жизни, Долгоруков в Кишиневе встречался с поэтом преимущественно за обеденным столом у бессарабского наместника, генерала И. Н. Инзова, под надзором которого находился поэт. Из записей Долгорукова о Пушкине наибольший интерес и представляют те, в которых он передает застольные речи пламенно негодующего Пушкина. Ценность этих записей в безусловной их достоверности. Сделанные под непосредственным впечатлением виденного и слышанного, они фиксируют эти речи с протокольной точностью. Первая запись о Пушкине, датированная 11 января, такого содержания:

«Обедал у Инзова. Во время стола слушали рассказы Пушкина, который не умолкал ни на минуту, пил беспрестанно вино и после стола дурачил нашего экзекутора. — Жаль молодого человека. Он с дарованиями; но рассудок, кажется, никогда не будет иметь приличного ему места в сей пылкой головушке, а нравственности и требовать нечего. Может ли человек, отвергающий правила веры и общественного порядка, быть истинно добродетелен? — не думаю. Пушкин прислан сюда, просто сказать, жить под присмотром. Он перестал писать стихи, — но этого мало. Ему надобно было переделать себя и в отношении к осторожности, внушаемой настоящим положением, а это усилие, встречая беспрестанной отпор со стороны его свойства, живого и пылкого, едва ли когда ему, разве токмо по прошествии молодости, удастся. Вместо того, чтобы придти в себя и восчувствовать, сколь мало правила, им принятые, терпимы могут быть в обществе, он всегда готов у наместника, на улице, на площади, всякому на свете доказать,

что тот подлец, кто не желает перемен правительства в России. Любимой разговор его основан на ругательствах и насмешках, и самая даже любезность стягивается в ироническую улыбку».

Характеристике этой при всей ее морализирующей благонамеренности, изложенной к тому же слогом канцелярских бумаг, нельзя отказать в известной меткости. Связанный словом, данным Карамзину, «два года ничего не писать противу правительства», Пушкин с тем большим жаром возмещал это лишение поэтического творчества своими бесстрашными, зажигательными речами.

К чиновникам канцелярии Инзова, людям во всех отношениях ничтожным, Пушкин относился с нескрываемым презрением. Особенно нетерпим им был старший член в управлении колониями, статский советник Иван Николаевич Ланов. По свидетельству И. П. Липранди, Ланову «было за 65 лет, среднего роста, плотный, с большим брюхом, лысый, с широким красным лицом, на котором изображалось самодовольствие». Под 28 января в дневнике Долгорукова имеется такая запись о столкновении Пушкина с Лановым: «... у Ланова с Пушкиным произошла за столом в присутствии наместника ссора, и Пушкин вызвал Ланова на поединок, но тому было не до пистолетов. Он хотя и принял предложение и звал Пушкина к себе на квартиру, но приготовил несколько солдат, чтобы его высечь розгами. Это проведал Пушкин и написал эпиграмму. Наместник грозил запереть его: «Вы это можете сделать, — отвечал Пушкин, — но я и там себя заставлю уважать». Долгоруков записал и эпиграмму на Ланова, которая «пошла по рукам»:

Бранись, ворчи, болван болванов;
Ты не дождешься, друг мой Ланов,
Пощечин от руки моей.
Твоя торжественная рожа
На бабе гузно так похожа,
Что только просит киселей.

Эпиграмма эта не новость. Ее привел в своих воспоминаниях А. М. Фадеев (первоначально напечатана в «Русском архиве» за 1891 г., № 3,

стр. 393), но ни один из редакторов стихотворений Пушкина не решался вводить эпиграмму в собрания сочинений поэта, считая свидетельство Фадеева недостаточно авторитетным. Запись Долгорукова подтверждает показание Фадеева, и принадлежность стихотворения Пушкину теперь не подлежит никакому сомнению.

Под 15 апреля Долгоруков записывает: «Пушкин рассуждал за столом о нравственности нашего века, — отчего русские своего языка гнушаются, отчизне цены не знают, порочил невежество духовенства, — говорил с жаром, но ничего не выпустил нового. Мы все слушали со вниманием...».

Под 30 апреля записано: «Пушкин и Эйсмонт спорили за столом насчет рабства наших крестьян. Первый утверждал с горячностью, что он никогда крепостных за собою людей иметь не будет, потому что не ручается составить их благополучие, — и всякого владеющего крестьянами почитает бесчестным, исключая отца своего, который, хотя честен, но не имеет на этот счет одинаких с ним правил. Эйсмонт ловил Пушкина на словах, но не мог выдержать с ним равенства в состязании. Что принадлежит до наместника, то он слушал и принимался также опровергать

его, но слабо и более шутками, нежели доводами сильными и убедительными.— Я не осуждаю с своей стороны таковых диспутов, соглашусь даже и в том, что многие замечания Пушкина справедливы, да и большая часть благомыслящих и просвещенных людей молча сознаются, что деспотизм мелких наших помещиков делает стыд человечеству и законам, но не одобряю привычки трактовать о таких предметах на русском языке. — Пушкин ругает правительство, помещиков, говорит остро, убедительно, а за стульями слушают и внимают соблазнительным мыслям и суждениям...».

В этой замечательной записи, дающей нам живой образ Пушкина, пламенно негодующего на рабство народа, мы узнаем великого поэта, автора знаменитой «Деревни», произведения, так красноречиво выразившего чаяния лучших людей того времени.

Наконец, революционные события в Европе вызвали такие слова Пушкина (27 мая): «Прежде народы восставали один против другого, теперь король Неаполитанский воюет с народом, Прусский воюет с народом, Гишпанский тоже — нетрудно расцесть, чья сторона возьмет верх».

Только в наши дни сбывается это пророчество великого русского поэта.

Библиография

1. ГЛ. ГЛЕБОВ — Массовые издания произведений Пушкина. 2. А. ВОЛЬДЕМ — „Пушкинская библиотека“ Детиздата. 3. Е. СИКАР — Национальные республики — к юбилею А. С. Пушкина. 4. Н. СЛАВЯТИНСКИЙ — Ю. Давилин. Театральная жизнь в эпоху Парижской Коммуны.

1. МАССОВЫЕ ИЗДАНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ПУШКИНА

Гл. Глебов

Социалистическая революция открыла Пушкина народу, дала Пушкина миллионам трудящихся. И Пушкин стал любимым народным поэтом. Любовь к поэзии Пушкина со стороны народных масс Советского Союза — факт огромного культурного значения.

Пушкина читают, изучают, знают не только ученые, учащие и учащиеся, но и на заводах, в колхозах, в семье. Его произведения дают радость всем — от мала до велика. Его поэзия воспитывает художественный вкус, помогает глубже понять человеческую природу, учит настоящему любить и ненавидеть, дает мощный творческий толчок.

Живое слово, искреннее чувство, умная мысль великого поэта ныне практически помогают нам в борьбе за большую советскую литературу, в борьбе за социалистическую культуру.

Спрос на произведения Пушкина не могли удовлетворить выпущенные за время революции (до января 1936 г.) 278 изданий, тираж которых во много раз превосходит все вместе взятые дореволюционные издания за 80 лет (1837 — 1918). Вот почему надо горячо приветствовать предпринятое Гослитиздатом в 1936 г. массовое издание Пушкина. Издание это выходит отдельными книгами.

«Избранные стихотворения» Пушкина выпущены Гослитиздатом в количестве 400.000 экземпляров

(предисловие Н. Степанова, редактор Г. Владыкин, М., 1936). В книгу вошло 41 стихотворение.

«Избранное» всегда зависит как от целевой установки издания, так и от вкуса составителя. Цель настоящего издания — дать массовому читателю лучшие, характерные образцы пушкинской лирики. Выбор стихотворений сделан обдуманно и потому удачно. Даны: ода «Вольность», острые эпиграммы на Аракчеева и Александра I, элегии («Воспоминание», «Брожу ли я...», «Безумных лет...»), песни о весте Олеге и Стеньке Разине, ряд лирических стихотворений («Редет облаков летучая гряда», «Я помню чудное мгновенье», «Я вас любил...» и др.), поэтические высказывания о назначении поэта («Пророк», «Поэт», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный»). Можно только пожалеть, что в сборник не вошли стихотворения «Погасло дневное светило», «19 октября 1825 г.», «Арион», «Труд». «Пора, мой друг, пора!» Они дали бы массовому читателю более полное представление не только о мастерстве поэта, но и об его отношении к друзьям, к движению декабристов, к труду, к собственной жизни.

Качество текстов сборника отражает достижения и недостатки современной текстологии. Советские текстологи проделали огромную работу по очищению пушкинских текстов от многочисленных

цензурных и редакторских искажений и ошибок. Но все же мы еще не имеем твердого («академического») текста произведений Пушкина, хотя все необходимые условия для этого давно налицо.

В связи с этим в текстах, напечатанных в сборнике, немало расхождений с текстами, например, последнего однотомного издания того же Гослитиздата (под редакцией Б. В. Томашевского). Так, в «Деревне», напечатанной в сборнике, читаем: «Везде невежества убийственный позор», и дальше: «С поникшею главой, покорствуя бичам». В однотомнике эти строки звучат иначе: «Везде невежества губительный позор» и «Склонясь на чуждый плуг, покорствуя бичам». Чрезвычайно существенна в смысловом отношении замена общего образа «С поникшею главой» конкретным, наполненным ярким социальным содержанием, — «Склонясь на чуждый плуг». В «Песни о вещем Олеге» — «хазарам» и «хозарам», «уздцам» и «узтцам». В стихотворении «Я памятник себе воздвиг нерукотворный» — «жестокой век» и «жестокий век», «приемли равнодушно» и «приемля равнодушно». Пушкин иногда, как, например, в оде «Вольность», слова «Свобода», «Судьба», «Рабство», «Слава», «Закон», «Народ» и др. писал с большой буквы. В тексте сборника это не сохранено. Наконец, не совсем благополучно в сборнике с пунктуацией: вместо пушкинской пунктуации иногда попадает явно «корректорская» (напр. в «Деревне», «Песни о вещем Олеге» и др.).

Небольшая вступительная статья Н. Степанова «Стихотворения Пушкина» показывает массовому читателю основные вехи жизненного пути поэта.

Примечания не всегда достаточно точны. Так, на стр. 16-й о словах «Преданный без лесты» сказано, что это «надпись на печати Аракчеева». В действительности Аракчеев сочинил себе девиз «Без лесты предан» (вызвавший в обществе язвительную замену «без» словом «бес»), который и поместил в гербовую печать. В примечании к «Анчару» (стр. 39) сказано: «Пушкин вос-

пользовался в этом стихотворении сведениями о ядовитом дереве, соком которого отравляли стрелы». Создается впечатление, что поэт описал существовавшее в действительности «дерево яда».

Некоторые слова, нуждающиеся в пояснении, как например «предрассужденья», «жрец», «единые музы», «басурманка», «пиит», остались непоясненными.

«Поэмы Пушкина» под редакцией, с вступительной статьей и примечаниями С. Н. Шевердина отпечатаны Гослитиздатом тиражом в 400.000 экземпляров (М. 1936). В книгу вошли все поэмы, включая неоконченную поэму о Тазите, и ряд вариантов. Текст взят из собрания сочинений Пушкина, выпущенного приложением к «Красной ниве». Перепечатка сделана тщательно. Некоторые отклонения (например, в «Братьях-разбойниках» — «затихло всё», а не «затихло все», в «Цыганах» — «постыли мне все девы мира», а не «постылы мне все девы мира», в пунктуации и т. п.) не имеют существенного значения с точки зрения целей, преследуемых данным изданием.

Поэмам предпослана статья С. Шевердина «Поэмы Пушкина». На ней необходимо остановиться.

Обобщающего характера статья в четырехсотом издании — весьма ответственное дело. Она должна четко, ясно, точно сообщать факты и разъяснять их связь и смысл. Домыслам тут не может быть места. Приходится, к сожалению, признать, что статья С. Шевердина этим требованиям не отвечает. В ней немало сумбура, произвольных толкований, ничем не оправдываемых домыслов. На некоторые «особенности» этой статьи совершенно справедливо указывалось уже в «Правде» («Спасибо Гослитиздату!», 1/VII, 1936 г.).

Всю биографию Пушкина С. Шевердин рассказывает в двух фразах, занимающих 39 строк (стр. 3 и 4). Чего только нет в этих фразах! «... Семилетие колеблющихся перипетий в отношениях окрепшего в своем сознании национального гения, — «вознесся выше он главою непокорной Александрийского столпа», — к представителям

тупого и мелочного, грубого и назойливого правительственного надзора...»; «... попытки отвязаться от придворной цепочки...»; «... грызущее безденежье при значительном потоке литературного гонорара...»; «... постоянные скитания поэта, не находящего ни отдыха, ни забвения, из Петербурга в Москву, в Тверь, Болдино, Михайловское, Полотняный Завод, вновь и вновь бег по этому кругу, напоминающий знаменитые строки поэта: «И днем и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом...»; «... снижение литературного успеха в критике...».

Нет, положительно не годится преподнести «семилетие колеблющихся перипетий», «отвязывание от придворной цепочки» и сравнение поэта с «котом ученым» ни массовому, ни даже единичному читателю!

Несколько дальше С. Шевердин говорит: «... его [Пушкина] недовольство политическим режимом имело большой и действенный общественный резонанс; свидетельство — 14 декабря» [стр. 12]. Выходит так, что восстание декабристов явилось «резонансом» на «недовольство» поэта...

Объясняя противоречивость и сложность «творчества Пушкина, мотивов и мыслей его творений» (стр. 4), С. Шевердин пользуется упрощенным «социологическим» рецептом. «Столкновение разлагающихся крепостнических отношений с нарождающимися капиталистическими Пушкин отразил в своем творчестве с точки зрения складывающихся новых общественных отношений. Несмотря на колебания, Пушкин в своем творческом пути оставался на буржуазно-прогрессивных позициях...». Получается очень просто: поэт, «поколебавшись», стал буржуа, и «точка зрения» его на действительность стала буржуазной. Отсюда, по С. Шевердину, повидимому, и сила пушкинского реализма, правда его художественных общений.

После 14 декабря Пушкин, — сообщает С. Шевердин, — сохранил «в общем и целом прежние позиции» (стр. 5). Однако «последекабрьское творчество Пушкина» «осложнено» чертами «безна-

дежности и упадка». Эти черты проявились в связи с тем, что «медовый месяц» радостей полученной свободы быстро выветрился. Какие радости какого «медового месяца», какой свободы? Вероятно, речь идет об «освобождении» поэта Николаем I из ссылки. В таком случае совершенно непонятно, в каких произведениях поэта видит автор отражение «медового месяца» радостей и где он нашел «выветривание» этих радостей и появление черт «безнадежности и упадка»? Ведь наиболее сильные и жизнеутверждающие произведения Пушкина написаны после возвращения из ссылки.

В другом месте (стр. 11) отсутствие «целостности в последекабрьском творчестве Пушкина» С. Шевердин объясняет тем, что поэт «переживает в этот период сложные и очень осложненные чувства и мысли». Что же это за «сложные и очень осложненные» переживания? В 1828 г. правительство устанавливает секретный надзор за Пушкиным и возбуждает дело о «Гавриилиаде». И вот, по С. Шевердину, Пушкин, чтобы угодить царю, решает написать подхалимское произведение. «Пушкин схватился за «Полтаву», — не помогла хитрость, поможет гений...» «Именно в этом — успех у Николая «Полтавы» — «предчувствие» не обмануло поэта, — дело о «Гавриилиаде» замерло... «Полтава» — искупление «Гавриилиады»; она официально зачеркнула, поставила крест на антирелигиозной юной дерзости поэта. Близость содержания «Полтавы» к официальной тогдашней идеологии несомненна» (стр. 13).

Вся эта «сложная и очень осложненная» концепция с начала и до конца надуманна. Во-первых, замысел «Полтавы» возник у Пушкина задолго до возбуждения дела о «Гавриилиаде» (работа над поэмой началась в первых числах апреля, дело — в июне). Во-вторых, мы не располагаем никакими документальными данными ни о предполагаемом С. Шевердиным «целевом назначении» поэмы, ни о «предчувствиях» поэта. В-третьих, дело о «Гавриилиаде» прекратилось после того, как поэт написал личное письмо царю (письмо это

до нас не дошло, мы можем лишь по результату догадываться, что оно привело впечатлением своей смелостью и прямотой). В-четвертых, в «Полтаве» нет никаких религиозных высказываний поэта, в силу чего она и не могла «зачеркнуть» а н т и р е л и г и о з н у ю «юную дерзость». В-пятых, наконец, взгляды Пушкина на русскую государственность не совпадали ни с мнениями обывателя, ни с «идеологией» царя. На русскую государственность он смотрел не как мракобес, а как просвещенный европеец, любящий свободу и свое отечество. И именно в этом поэт был близок декабристам. Не даром 20 октября 1830 г. Кюхельбекер писал Пушкину из крепости Динабург: «...Я тебя не только люблю, как всегда любил, но за твою «Полтаву» уважаю, сколько только можно уважать». Над этими словами заключенного декабриста-поэта стоит задуматься любителям интерпретировать «Полтаву» на свой лад...

Далее, на стр. 13-й, С. Шевердин утверждает, что «в «Полтаве» Петр дан в реалистических чертах», а на стр. 14-й говорит об «обожествлении личности Петра» в поэме. «Неувязка» явная, ибо от «реалистических черт» до «обожествления» — дистанция немалая.

Упрощенно и неправильно раз'ясняет С. Шевердин массовому читателю смысл «Медного всадника». «В «Медном всаднике» Пушкин ставит проблему столкновения личности... с государственностью и решает ее в пользу самодержавия, олицетворенного в образе Медного всадника» (стр. 15). Автор, рассматривая, очевидно, «Медного всадника» как своего рода продолжение линии «Полтавы», допускает серьезную ошибку: во-первых, проблема формулирована им неточно, во-вторых, никакого решения ее «в пользу самодержавия» в поэме нет. Ошибочно отождествлять «государственностью» с «самодержавием». Кроме того, нельзя сводить идею поэмы к «государственности». Поэт ставит вопрос об исторической необходимости, о конфликте личного и сверхличного, о ценности человеческой личности. И решает его не «в пользу самодержавия», а совсем по-

другому. Поэт показывает и личную правду «маленького человека», и несопадающую с ней правду, которую видел в необходимом историческом процессе.

В итоге читатель вступительной статьи получает путаное, неправильное представление о жизни и творчестве Пушкина.

Неудовлетворительны и примечания к поэмам. Много слов осталось непоясненными вовсе (например: «витязь», «Баян», «булат», «басурман», «Меркурий», «Эдем», «факир», «Коран», «Мекка», «Салгир», «Лета», «incognito», «паладин», «Патриций», «Кесарь», «женские и мужские слоги» и т. д.). О Гизо, Вальтер Скотте, Беранже, Россини, Тальма, Рембрандте, Тамерлане почему-то не сказано ни слова, хотя к ряду других имен даны, правда, скудные, примечания. Неудачны пояснения античных имен: «Паллада — греческая богиня мудрости, искусств», «Мельпомена — греческая богиня трагедии», «Диана — богиня луны». В одних случаях автор сообщает, что это имена богов греческих мифов, а в других — безоговорочно называет их богами. Но и в том, и в другом случае смысл олицетворений остается нераз'ясненным.

«Евгений Онегин» издан Гослитиздатом также в количестве 400.000 экземпляров (редактор А. Языков, М., 1936). Текст взят из четвертого издания собрания сочинений Пушкина (редакция Б. В. Томашевского, Гослитиздат, 1936). X глава не включена. Вступительной статьи и примечаний нет. Даны лишь переводы иностранных слов. Отсутствие хотя бы краткой справки об истории создания «Евгения Онегина» и месте, занимаемом им в творчестве поэта, — немаловажное упущение. Массовый читатель не может без надлежащих справок и пояснений разобраться в том многосложном целом, каким является этот единственный в своем роде роман в стихах.

Оформление массовых изданий Пушкина оставляет желать много лучшего. Обложка — унылая, бумага — плохая.

«Евгений Онегин» издан с иллюстрациями, но рисунки В. Свительского

удачными признать нельзя. Их манерность и вычурность находятся в резком противоречии со строгостью и простотой пушкинского стиля.

Массовые издания Пушкина — большое культурное дело. И потому качество массовых изданий должно быть безупречным.

2. „ПУШКИНСКАЯ БИБЛИОТЕКА“ ДЕТИЗДАТА

А. Вольдем

Они ярки и разноцветны — обложки этих небольших аккуратненьких книжек. Детские руки протягиваются к ним невольно. Такую книжку приятно потрогать, перелистать, унести домой и сесть читать, позабыв обо всем. Такими они и должны быть — книжки «Пушкинской библиотеки» для детей, издаваемой к столетию со дня трагической гибели нашего великого поэта. Давно уже Пушкин так специально для детей не издавался. Читатель получит 20 хороших книжек, изданных каждая тиражом в 300.000, где все продумано и придумано специально для детей — удобный формат, крупный шрифт, разноцветные обложки; каждая книжка иллюстрирована, к каждой приложен портрет Пушкина. Собравший всю библиотеку получит богатую иконографию поэта — здесь и портрет Кипренского, и гравюра Райта, и картина Черткова, и рисунок Серова и т. п. Это разнообразие прилагаемых портретов надо признать очень удачным принципом — раньше обычно пушкинские серии оформлялись одним и тем же портретом, — пример: издание Павленкова. С большим удовольствием констатируем, что во всех 9 вышедших книжках вовсе нет опечаток (корректора: Сапелкина А., Кашин А., Локшина С.), кроме одной, о которой речь ниже. Такую серию можно только приветствовать.

Но удивляет только одно — как ухитрилось издательство испортить всю эту серию, ухитрилось издать ее так небрежно, некультурно, с полным пренебрежением к читателю и... к памяти поэта.

В серии намечено 20 книжек. Вышли пока только девять. «Руслан и Людмила», «Кавказский пленник», «Полтава»,

«Братья-разбойники», «Бахчисарайский фонтан», «Цыганы», «Сказка о царе Салтане», «Сказка о золотом петушке», «Сказка о мертвой царевне». Должны еще выйти «Повести Белкина» отдельными книжками, три книги стихов и остальные сказки.

Уже отбор произведений вызывает недоумение — почему отсутствуют драматические произведения, ну хотя бы «Борис Годунов»? Крайне скупо представлена проза. Совершенно непонятно отсутствие в серии таких произведений, как «Дубровский», «Капитанская дочка».

Еще одна книжка вызывает полное недоумение.

Детиздат открыл для детей новую, неизвестную доселе сказку Пушкина «Сказку о спящей царевне». Конечно, сказки он не открыл, такой сказки Пушкин вовсе и не писал. Детиздат просто открыл читателям свое невежество, расписался в своей неграмотности и небрежности, расписался в своем незнании, что данная сказка Пушкина называется «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». Это искаженное название вошло в указатели, помещенные на последней странице обложки восьми вышедших книжек.

Трудно себе представить, мягко выражаясь, более некультурное отношение к выполняемой работе со стороны Детиздата (редактор серии К. Пискунов).

Нигде не указывается, что серия издается к юбилею. Вообще редактор с датами не в ладах. Они вовсе игнорируются. Их нет нигде — ни под самими произведениями, ни под иллюстрациями.

Отсутствие датировки портретов недопустимо вовсе. Ребенка надо приучать к внимательному и вдумчивому отношению к иллюстрациям, а помеще-

ние портретов Кипренского и Серова наравне, без указания дат, могут читателя только дезориентировать.

Вызывает большие недоумения принцип отбора иллюстраций самого текста. То это лубок, как в «Кавказском пленнике», то это безымянные, бледные, плохо воспроизведенные, не предназначенные для детей рисунки, как в «Сказке о царе Салтане» и «Сказке о золотом петушке», или это одновременно и рисунки, и воспроизведения картин.

Отсутствие тщательности и внимания резко сказалось и на такой простой вещи, как местоположение указания характера иллюстраций: то это указание помещается на титульном листе («Цыганы», рис. К. Клементьевой), то на обороте титульного листа («Кавказский пленник» — народный лубок), то имеются только подписи под самими иллюстрациями («Руслан и Людмила» — воспроизведение рисунков Нестерова, Малышева, А. Лебедева и др.).

Полную путаницу вносит указание, помещенное на обороте титульного листа «Бахчисарайского фонтана»: «Рисунки Галактионова и Брюллова». Подписей под самими иллюстрациями нет, и читатель никак не сможет догадаться, что рисовали они не вместе, а отдельно, что кисти Брюллова принадлежит лишь одна из помещенных иллюстраций — картина (а не рисунок) «Бахчисарайский фонтан», а остальные — действительно рисунки Галактионова, тоже современника Пушкина.

На каждой обложке имеется скромный и выразительный силуэт, но тщетно стали бы вы искать фамилию художника обложки, так же, как и фамилию художественного редактора, — их нет.

Отсутствует какой бы то ни было, хотя бы самый примитивный, литературный комментарий. (Небольшой исторический комментарий приложен к «Полтаве».) Примечаний в тексте, в общем, достаточно, объясняются исторические, мифологические имена, архаизмы. Более подробные примечания перегрузили бы текст. Примечания самого Пушкина, обычно помещаемые в конце, здесь даны в подстрочных примечаниях, что надо признать удачным.

Но насколько обогатились бы книжки, если бы к ним был приложен хотя бы элементарный литературный комментарий.

И за эту свою небрежную работу Детиздат берет с читателя-ребенка умопомрачительные цены: «Сказка о царе Салтане» стоит 1 р. 20 к., «Полтава» — 1 р. 60 к., «Бахчисарайский фонтан» — 80 коп., а «Руслан и Людмила» — 2 р. и т. д. Это тоже не меньшее пренебрежение к читателю, к его любви к Пушкину и к нему самому. Эти искусственные преграды должны быть отброшены, цена книг резко снижена, а при переиздании — которое, конечно, будет — мы надеемся, что издательство искупит свою вину перед читателем и поэтом культурой и изяществом издания, серьезной и глубокой продуманностью.

3. НАЦИОНАЛЬНЫЕ РЕСПУБЛИКИ — К ЮБИЛЕЮ А. С. ПУШКИНА

Е. Сикар

ГРУЗИЯ, АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН.

Вся страна деятельно готовится широко отметить столетнюю годовщину со дня смерти великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, бессмертное творчество которого вошло в золотой фонд социалистической культуры и по-настоящему оживает только в стране победившего социализма. Вокруг

предстоящего великого праздника-торжества советской культуры развернулась огромная, самая разнообразная работа. В национальных республиках СССР, где до революции А. С. Пушкин был известен лишь очень узкому кругу читателей, ныне его творчество — стихи, поэмы, романы и повести — проникло в самые отдаленные селения и аулы, духовно обогащая жителей их. Миллион-

ыми тиражами расходятся по стране книги Пушкина. Произведения поэта переводят на языки народностей, до революции не имевших даже азбуки. Всюду — в городах, районах, сельсоветах — готовятся к пушкинскому юбилею. Пушкинские дни проходят под знаком всенародной любви к гениальному мастеру художественного слова, под знаком массовой пропаганды среди трудящихся его произведений, изумительных по своей простоте и силе, мужеству и правде.

В Грузии, Армении и Азербайджане правительственные, общественные и литературные организации, рабочие, колхозники, интеллигенция и школьники отмечают память великого поэта целым рядом крупных культурно-просветительных мероприятий, широкой популяризацией творчества гениального поэта. Союз писателей Грузии проводит в Тбилиси и районах республики ряд литературных вечеров, лекций и докладов о творчестве Пушкина. Бригады писателей выехали в Каспи, Гори, Лагодехи, Сагареджо, Махарадзе, Телав, Душети и другие районные центры и села. На их долю выпала почетная и ответственная задача: ознакомить с творчеством и жизнью великого русского поэта десятки тысяч колхозников, пробудить интерес к нему у новых и новых кругов читателей. Интерес к Пушкину среди колхозников быстро растет. Огромное внимание, многочисленные серьезные вопросы о творчестве поэта, которыми забрасывают докладчиков, выступления читателей с отзывами о произведениях поэта, с требованиями более точных переводов, с чтением его стихотворений ярко показывают, как горячо любят и ценят его колхозники. Пушкинские вечера в колхозах — знаменательный факт огромного роста социалистической культуры в массах.

Государственная публичная библиотека Грузии открывает большую пушкинскую выставку. Один из отделов выставки покажет произведения Пушкина, переведенные на многочисленные языки народов Советского Союза. Устроители выставки собрали произведения поэта на 40 языках: таджикском, армянском,

тюркском, марийском, удмуртском, молдавском, калмыкском, цыганском, ингушском, лезгинском, узбекском, абхазском, мордовском, кабардино-черкесском и др. Здесь же представлены избранные сочинения поэта в переводе на французский, английский, немецкий, польский, итальянский, финский, эстонский и другие языки. В отделе, посвященном путешествию Пушкина на Кавказ и в Грузию, выставлена литература о Пушкине, в частности о его пребывании на Кавказе; различные, собранные в архивах, документы, воспоминания и переписка отдельных лиц с Пушкиным и о нем, портреты, зарисовки Военно-Грузинской дороги и селения Душети, где останавливался поэт, домов в Тбилиси, где он жил. В отделе «Пушкин и декабристы» собраны интересные материалы, характеризующие отношение поэта к восстанию декабристов и его взаимоотношения с отдельными участниками этого восстания. Историко-литературный раздел отобразит отношение Пушкина к тогдашней России и крепостничеству, к восстаниям Разина и Пугачева и окружавшей его литературной среде. Хорошую инициативу проявила публичная библиотека, организовав силами профессоров, научных работников цикл популярных лекций на тему: «Пушкин и его творчество».

В библиотеках Тбилиси — горячее время. На все произведения поэта колоссальный спрос. Из классической русской литературы первое место по читаемости, несомненно, занимают произведения Пушкина. Однотомники собраний сочинений поэта, шеститомники, избранная проза, лирика, драматургия быстро разбираются читателями. Редко можно увидеть на полках библиотек произведения Пушкина. Все они по обыкновению взяты, все на руках. Библиотеки лишь частично могут удовлетворять спрос на книги Пушкина. Неизмеримо выросший читатель не ограничивается чтением произведений. Он требует критическую литературу, интересуется, когда выйдет книга Тынянова «Пушкин», книга Вересаева о жизни поэта и т. д.

По решению республиканского Пушкинского комитета в ознаменование сто-

летия со дня смерти А. С. Пушкина в Тбилиси издается на грузинском и русском языках сборник «А. С. Пушкин в Грузии». В составлении его принимают участие виднейшие ученые, писатели, литературоведы Грузии. Авторы сборника, пользуясь целым рядом новых, найденных документов и исторических материалов из тбилисских архивов, широко осветят пребывание Пушкина на Кавказе. Так, будут затронуты вопросы: «Декабристы в Грузии», «Комментарии к Путешествию в Арзрум», «Пушкин и Грибоедов», «Пушкин в оценке грузинских критиков», «Пушкин и грузинская литература», «Пушкин в театре и грузинской музыке» и др.

Редакционно-издательская комиссия Пушкинского комитета готовит к изданию на грузинском языке полное собрание сочинений поэта: большой двухтомник избранных произведений в академическом издании, однотомник, массовое детское издание произведений поэта: серия школьной библиотеки — 12 названий — и сборник сказок и стихотворений для детей. Однотомники избранных произведений Пушкина выходят также на абхазском и осетинском языках. Отдельно издается поэма «Евгений Онегин». Работу огромной ценности проделали грузинские композиторы; они подготовили ряд музыкальных произведений, написанных на пушкинские тексты. Заслуженный деятель искусств, композитор-орденоносец И. Туския написал романс «К Чаадаеву», композитор Т. Шаверзашвили — романс «Зима», народный артист профессор Д. Аракишвили готовит кантату с хором, композитор А. Букия — романс «Цветок», Р. Табичвадзе — романсы «Желание» и «Соловей», И. Гокиели — романсы «Няне» и «Туча», Г. Киладзе — «Сибирь» (для хора), Ш. Тактакишвили — «Узник» (для хора); многие композиторы написали музыку на отрывки из «Евгения Онегина» и др.

В ознаменование юбилея республиканский комитет решил установить в Тбилиси новый памятник поэту.

Образность, красочность и простота пушкинского языка привлекают исклю-

чительное внимание детей-школьников. В детских пытливых умах прекрасные художественные сказки Пушкина оставляют массу впечатлений, возбуждают фантазию, вызывая желание выразить их в рисунках, зарисовках, скульптуре. Малыши из первых классов изображают то, что больше всего понравится в сказках. Тут и старик закидывает сеть в море и ловит золотую рыбку, тут и герои, и персонажи «Сказки о царе Салтане». В первой опытно-показательной школе ученик Сигуа сделал бюст А. С. Пушкина из мрамора, ученик Каландадзе вылепил бюст поэта из глины, ученик Сирадзе исполняет барельеф Пушкина из дерева. Интересную работу к пушкинским дням развернула 18-я школа. Школьники выпускают журнал с критическими статьями и заметками учащихся и педагогов о Пушкине. Ученик 1-го класса Отар Чиджавадзе переводит на грузинский язык отрывки из «Руслана и Людмилы» и «Испанских романсов». Учащиеся старших классов 57-й школы устраивают большой литературно-художественный вечер. В программе — литературный монтаж о жизни и деятельности поэта, инсценировка стихотворений «Бесы», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», отрывок из «Полтавы» и т. д. Во втором отделении вечера — творчество А. С. Пушкина в музыке. Школьники выпускают к юбилейным дням стенные газеты, посвященные памяти великого поэта, готовят инсценировки, учат наизусть его стихи, отрывки из поэм, готовят доклады на отдельные темы, например: «Пушкин, декабристы и самодержавие», с которыми будут выступать на пушкинских утренниках и вечерах.

Активное участие в пушкинских днях примут тбилисские театры. Театр имени Руставели готовит пьесу Шалвы Дадияни «Пушкин и Грузия», написанную на основе исторических материалов о пребывании Пушкина в Тбилиси, об его участии в Арзрумском походе и о связях с высланными на Кавказ декабристами и грузинскими друзьями.

Грузинский театр им. Марджанишвили и русский театр им. Грибоедова ста-

вят пушкинские пьесы: «Моцарт и Сальери», «Скупой рыцарь»; театр Красной армии — «Каменный гость» и «Пир во время чумы»; театр армянской драмы — «Каменный гость» и др.

Консерватория проводит вечера камерной музыки на тексты Пушкина. Оперный класс консерватории готовит оперу «Алеко» («Цыганы»), отрывки из «Евгения Онегина», «Пиковой дамы» и «Мазепы». Эти постановки также будут показывать в рабочих клубах и школах.

Национальные театры Грузии художественными средствами намного приближат к трудящимся необъятный мир замечательных творческих образов Пушкина.

По пути из Тбилиси в Ленинакан находится памятное место: Бзювдальский перевал, где Пушкин, направляясь на фронт в Арзрум, встретил тело убитого Грибоедова, которое везли на арбе из Тегерана в Тбилиси. К скале у места встречи будет прибита мраморная мемориальная доска. Эта встреча Пушкина с прахом мертвого друга воспроизводится на полотне народным художником Армении М. Сарьяном. В Ереване сооружается памятник А. С. Пушкину. Поэты и писатели Армении провели большую работу по переводу произведений великого русского поэта. Помимо уже вышедших из печати «Дубровского», сборника драматических произведений и др., издаются «Евгений Онегин», избранные стихи и проза, книга «Пушкин за сто лет в армянской письменности», статьи о нем В. Белинского и ряда других критиков, печатается популярная литература о жизни и творчестве великого поэта.

Пушкинский правительственный комитет Армении проводит большую работу по ознакомлению с литературным наследием великого поэта широких читательских колхозных масс. В колхозных клубах, МТС и школах проводятся литературно-художественные пушкинские вечера, коллективные читки произведений Пушкина, конференции читателей пушкинских произведений. В Кироваканском и Степанаванском районах

колхозники, не довольствуясь районной и колхозными библиотеками, приобретают произведения поэта для своих личных библиотек. Многие из них специально выезжают в город, чтоб приобрести пушкинские книги. Колхозники предъявляют огромный спрос не только на произведения поэта, но и на книги о Пушкине, его жизни, деятельности, творчестве. В театрах, учебных заведениях, рабочих клубах, на предприятиях — всюду готовятся к этой исторической дате. Первый государственный театр Армении готовит к постановке «Каменного гостя», Ереванский оперный театр — «Евгения Онегина». Во всех клубах организованы пушкинские выставки, проведены литературные вечера и конференции читателей пушкинских произведений. При Ереванском педагогическом институте создан специальный пушкинский кабинет, где студенты и преподаватели глубоко изучают жизнь поэта и его творчество. Здесь множество пушкинской литературы, материалов, документов, портретов поэта и его современников. При библиотеках и клубах заводов и фабрик Еревана, Ленинакана и Аллаверды созданы литературные кружки по изучению пушкинского наследия. С большой любовью изучают кружковцы творчество поэта и эпоху, в которой он жил.

Широко развернуло подготовку к пушкинским дням управление по делам искусств при совнаркоме Азербайджанской АССР. В Баку, в дворцах культуры, в рабочих клубах, на предприятиях, в школах с большим успехом проходит цикл пушкинских литературно-художественных вечеров, в коих участвуют артисты государственных театров, писатели, поэты, литературоведы, ученые и студенты консерватории.

В рабочих клубах, культурных будках буровых промыслов проходят беседы, посвященные жизненным пути и творчеству поэта, коллективные читки его произведений, литературные вечера, концерты. Среди рабочих нефтяных промыслов, студентов, красноармейцев, школьников, педагогов появилось немало прекрасных знатоков Пушкина —

своего рода пушкинистов. Они выступают с критическими докладами, оппонентами на пушкинских лекциях и т. д. Пушкина читают и изучают широчайшие массы, такие каквказские народности, населяющие Азербайджан, как: таты, талыши, цахурцы, курды, аварцы, айсоры, лезгины, не имевшие до революции своей культуры, своего родного языка, жившие в непроглядной тьме, дикой жизнью, ныне имеют свою художественную литературу, читают на своем родном языке творения величайшего поэта. Все они к пушкинскому юбилею обогатятся рядом новых переводов произведений Пушкина на их языках. Это большое культурное торжество для каждой народности.

В дворцах культуры открылись пушкинские выставки. Здесь произведения поэта на тюркском, армянском и русском языках, иллюстрации к его творчеству, различные портреты Пушкина и его современников и т. д. Создана также большая городская выставка произведений Пушкина на языках народов Азербайджана. Тут много интересных памятников пушкинской эпохи. Ежедневно выставки посещают тысячи рабочих, учащихся, колхозников.

Поэты Азербайджана закончили колоссальную по своему значению работу по переводу избранных произведений Пушкина. Эти переводы вошли в трехтомник, издаваемый юбилейной комиссией к столетию со дня смерти поэта. В I том вошла проза, во II — драмы, поэмы и стихи, в III — «Евгений Онегин». Над переводом пушкинских произведений работали лучшие азербайджанские поэты и писатели: Самед Вургун, Микали Мюшфик, Ордубады, Сулейман Рустам, Мамед Рагим, Расул Рза, Ахмед Джавад и др. Поэт-орденоносец Самед Вургун перевел на тюркский язык «Евгения Онегина», Ордубады и Ариф — «Бориса Годунова», А. Джавад — «Медный всадник». Сделан перевод всех повестей Пушкина. Переведены также статьи о Пушкине, написанные виднейшими русскими критиками. Отдельными изданиями на тюркском языке выйдет роман «Евгений Онегин», сборник сказок Пушкина, но-

вый биографический очерк В. Вересаева «Жизнь Пушкина», массовые брошюры, посвященные жизни и творчеству Пушкина, книжка «Пушкин и Азербайджан».

Бригады Союза советских писателей выехали для проведения пушкинских вечеров, читательских конференций в Кировабад, Куху, Маджерит, Ленкорань, Казах и другие районы Азербайджана. Управление по делам искусств проводит общебакинский конкурс на лучшего поэта произведений Пушкина. В конкурсе участвуют: молодые рабочие с нефтяных промыслов и заводов, школьники, студенты, красноармейцы, командиры и др. Театры Азербайджана покажут в пушкинские дни «Бориса Годунова», «Дубровского», «Каменного гостя», «Руслана и Людмилу», «Скупого рыцаря», «Моцарта и Сальери», «Сказку о рыбаке и рыбке» (в детском театре) и др.

Подлинно всенародной славой и любовью окружено имя Пушкина в нашей социалистической стране. Весь советский народ готовится к пушкинскому юбилею, как к празднику расцвета и побед культуры социалистического общества, как к большому общественному и культурному событию.

Пушкинские дни достойно отразят все величие сталинской эпохи и явятся наглядным свидетельством культурного роста трудящихся всех национальностей Союза.

Только сейчас, в эпоху сталинской Конституции, в эпоху грандиозного подъема материальных и культурных сил советского народа, мыслимо такое массовое и истинное усвоение богатств классического литературного наследства, такое глубокое почитание творчества гениального создателя бессмертных творений, родоначальника новой русской литературы.

Несбыточная при жизни поэта мечта, его вещи слова, вложенные в стихотворение «Памятник»: «Слух обо мне пройдет по всей Руси великой» — ныне претворились в жизнь. Творчество Пушкина ярко засверкало в самых отдаленных краях страны, стало любимым всеми народами СССР.

Ю. Данилин. — *Театральная жизнь в эпоху Парижской Коммуны*. Государственное издательство «Художественная литература». М. 1936 г. Тираж—7.000 экз. Стр. 354. Цена 6 руб.

Литература о Парижской Коммуне обогатилась в истекшем году незаурядным вкладом — специальным исследованием о художественной политике Коммуны в области театра.

Книга принадлежит перу литературоведа Ю. Данилина, на протяжении последних пяти лет выпускающего уже третий труд. Притом, за исключением, быть может, небольшой книжки, вышедшей к семидесятипятилетию со дня смерти Беранже, книги Данилина — это, действительно, исследовательские труды, написанные с полным знанием доступного исследовательского материала. Автора «Театральной жизни» отличает вообще умение найти свою оригинальную и вместе с тем социально значимую тему. Он не боится трудностей, связанных с взятой темой, трудностей, которые здесь были едва ли меньшими, чем в его «Поэтах июльской революции» — книге, вышедшей в 1935 году. В самом деле, тов. Данилин, разрабатывая данный вопрос, не мог опереться на труды предшественников, за их полным отсутствием. Ему приходилось проявлять величайшую осторожность, пользуясь сырыми буржуазными материалами, полными клеветнических извращений. Работая в этой области, он, само собой разумеется, не располагал и систематизированной библиографией, какой могут пользоваться другие литературоведы, работающие, скажем, над творчеством Стендаля, Бальзака, Гете или даже многих второстепенных писателей. Специфический характер темы и условия работы над нею требовали крайней кропотливости в ее разработке — учета мельчайших фактов, весьма часто противоречивых и неточных. Все это, естественно, привело к тому, что «Театральная жизнь в эпоху Парижской Коммуны» — это только фрагмент будущей большой работы автора на эту тему. Фрагментарность книги была бы, быть может, несколько меньшей, если бы автор использовал не только те материалы, которые ему посчастливилось найти в Москве, а обратился бы к ленинградским собраниям которые, будучи в этом отношении беднее ценнейших специальных собраний Института Маркса—Энгельса—Ленина, могли бы, говоря предположительно, все же хоть чем-нибудь обогатить исследование. Изолированность последнего возрастает в связи с еще одним обстоятельством, о котором сам Ю. Данилин говорит следующее (стр. 6): «Если бы можно было знать, каких взглядов на искусство и его задачи придерживался французский пролетариат до Коммуны хотя бы в годы Второй империи, вероятно, удалось бы уловить особый смысл тех или иных фактов театральной политики Парижской Коммуны, которые предстают пока только в чисто внешних своих очертаниях. Но такое исследование еще никем не сделано, и автор настоящей книги

не мог его «попутно» выполнить: оно представляет собою самостоятельную, чрезвычайно сложную и специальную задачу».

Вследствие всех этих вполне законных причин автору невозможно было преодолеть неизбежно фрагментарный характер данной книги, устранить некоторую изолированность в разработке взятой темы. Плохо еще и то, что автор не дал в начале книги популярного очерка о тогдашнем Париже, как театральной столице мира. Он оперирует названиями двадцати семи парижских театров, названиями, данными без аннотаций и притом во французской транскрипции, названиями, которые мало что говорят не-специалистам, хотя книга, выпущенная семитысячным тиражом, очевидно, предназначена не только для них. Впрочем, исследователь, в тяжелых условиях работавший над этой темой, не скрывает от читателя слабых сторон своей книги и ее стиля, стиля, который сам автор характеризует, как «по необходимости полный оговорки и предположений». Но в его власти было сделать книгу более популярной, более доступной читателю не-специалисту. В ряде случаев вместо суховатых рассуждений он мог, основываясь на материале, которым располагал, дать живые портреты тогдашних деятелей театрального движения, например, обаятельной артистки Агар и патетической Борда, которая пела революционные песни, «обернув свой стан красным знаменем и указывая протянутой рукой на вражеский Версаль». Но в одном случае, в рассказе о музыканте-коммунаре Сальвадоре, автор, уступая свое перо историку музыки, Фармеру, приводит живую, как бы овеянную героикой Стены коммунаров, оценку:

«В пять часов утра 24 мая семь коммунаров, как кажется, под командой Сальвадора, защищали баррикаду, воздвигнутую недалеко от его дома на улице Жакоб. Они удерживали ее до полудня, после чего Сальвадор в сопровождении одного из товарищей вошел в свой дом и забаррикадировался там. Часть населения квартала, враждебная Коммуне, тотчас же по появлении в нем регулярных войск (версальцев) стала выдавать ее приверженцев. Таким образом и Сальвадор был назначен жертвой реакции. Когда войска заняли улицу Жакоб, офицер с десятью солдатами приблизился к дому Сальвадора. Пренебрегая мыслью о бегстве, Сальвадор вместе со своим товарищем открыли огонь по нападавшим. Двери дома были взломаны, и солдаты вошли внутрь. Сальвадор, спокойно куривший папиросу, и его товарищ были захвачены с оружием в руках. Офицер допрашивая Сальвадора, сказал: «Вы, Сальвадор, член Коммуны... У вас три имени: ваше собственное, Клеман, которым вы подписывались в журналах, и Вайян, под которым вы работали в центральном комитете». Спорить сейчас было совершенно излишне. «Так как вы разоблачены — сказал офицер, — то вы, конечно, знаете, что вас ожидает». Сальвадор только повел плечами в ответ. «Следуйте за

мною» — сказал лейтенант, и отряд вышел на улицу, молча направляясь к баррикаде, в то время как Сальвадор спокойно пускал в воздух клубы табачного дыма. Отряд остановился, и Сальвадор, немного бледный, повернулся к офицеру и сказал: «Прекрасно, я все понимаю». Поправив свой развевающийся шелковый галстук, он повернулся и смело, даже вызывающе, взглянул на взвод солдат. Показав на шею, он просил их целить туда. Два солдата подняли ружья, раздался залп — и Франческо Сальвадор-Даниэль упал мертвым».

Ю. Данилин дает к этой сценке короткую заволнованную ремарку: «Пролетарский читатель не забудет Сальвадора, музыканта-революционера, ученого-коммунара, схваченного с дымящимся ружьем в руках».

Нет, не забудет. Свидетельством этому является самая книга Данилина, тот вдохновляемый нашей победоносной революцией интернационализм, который привел автора к трудной, неисследованной, плохо обеспеченной наличными материалами, всячески замалчиваемой или же компрометируемой буржуазными историками, теме. Книга эта — дань уважения советской науке революционному наследию.

Взятая, как литературное произведение, книга Данилина написана слабее остальных его книг. Даже с чисто стилистической стороны она могла бы быть лучше. Так, на первой странице первой главы, говоря об усилении пролетариата после 1867 года, автор пишет: «Тем не менее пролетариат еще оставался достаточно слабым». К чему это «достаточно», — разве данный факт (слабость пролетариата) доставляет удовлетворение автору? Или там же, на следующей странице: «Власть попала в руки либеральной буржуазии; образовав правительство национальной обороны, последняя (?) немедленно ликвидировала попытки зарождения революционного правительства». Автор проявляет чрезмерную

терпимость к вторжению газетных штампов, вроде «отрезок времени». Но это мелкие стилистические замечания, которые сделаны лишь в развитии той мысли, что автору, быть может, следовало идти по пути создания не столь трафаретного литературного «образа» книги.

Внешне книга издана опрятно. Удивляет лишь до отвращения липкий коленкорковый переплет и непрочность «золота» букв, пристающего к пальцам. Титул, заставки, концовки сделаны художником А. Радищевым и отвечают содержанию книги. В тексте дано несколько современных гравюр и помещен ряд портретов. Корректор оказался настолько старательный, что в списке опечаток поместил правильно напечатанные слова: Мы читаем: «Страница 142, строка 11—12 сверху, «председателя» — следует читать «председателя». Как в обоих случаях в списке опечаток, так и в самом тексте слово напечатано верно. Если статья на этот опасный путь, то без малого всю книгу можно было бы перепечатать в «списке опечаток», а потом дать новый, столь же обемистый, «список опечаток» и так далее, до бесконечности. Рядом с титульным листом дан другой, на французском языке. Это хорошо. Но не следовало на этом останавливаться. Книга, при всей ее незавершенности, вольной и невольной, представляет собой известный вклад в историю французского театроведения и следовало бы в конце ее дать короткое резюме на французском языке. Это резюме подчеркнуло бы «интернационализм» темы, и оно, будучи живо и содержательно составлено, было бы с интересом прочитано нашими друзьями, чтящими память Парижской Коммуны, во Франции и вообще, за границей. Наконец, почему автор, скорбящий об отсутствии «систематической библиографии» по данной теме, не потрудился дать библиографический свод материалов, которыми он пользовался?

Н. Славягинский.

НОВЫЕ КНИГИ ОБ А. С. ПУШКИНЕ

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

★ Пушкин. «Временник Пушкинской комиссии». I. Сборник. Москва — Ленинград. 1936 г. Стр. 420. Цена 12 р.

Первый номер «Временника Пушкинской комиссии» содержит новые тексты Пушкина: «Тень Фон-Визина», «Запись рассказов И. А. Крылова», «Пугачевщина». В сборнике помещен ряд исследований и статей о творчестве поэта.

★ Пушкин. «Временник Пушкинской комиссии». II. Сборник. 1936 г. Стр. 517. Цена 12 р.

Во втором сборнике в «Новых текстах» публикуется письмо Пушкина к издателю «Сына отечества», поправки Пушкина к тексту «Евгения Онегина», неизвестный экспромт поэта и др.

★ В. Голубев. «Пушкин в изображении Репина». Предисловие заслуженного деятеля искусств И. Бродского. 1936 г. 99 стр. текста + 12 стр. иллюстраций. Цена 2 р.

В книге собран большой документальный материал, характеризующий работу Репина над портретами Пушкина. Автор анализирует четыре основные картины Репина, изображающие Пушкина: «Пушкин на берегу Черного моря» (написанная им совместно с И. Айвазовским к пятидесятилетней годовщине смерти поэта), «Пушкин на набережной Невы», «Пушкин на экзамене» и «Пушкин у К. Брюллова». В приложении к книге даны репинские иллюстрации к «Евгению Онегину», «Каменному гостю» и письма Репина, имеющие отношение к его «пушкинским» произведениям.

* **Б. Мейлах.** «Пушкин и русский романтизм». Книга представляет собой исследование, основанное на изучении творчества Пушкина по первоисточникам, на разборе печатных и архивных материалов о русской литературе и общественности 10—20 г. Автор показывает отношение Пушкина к литературно-политической борьбе прогрессивных романтиков.

* **Пушкинские места.** Справочник-путеводитель под редакцией **Д. П. Якубовича.** Составлен **М. Калаушиным.** Книга содержит историко-литературный, краеведческий и музейно-архивный материал, освещающий пребывание поэта в Псковской губернии.

* **Рукописи Пушкина в собрании Пушкинского дома Академии наук СССР.** Научное описание. Собрание рукописей Пушкинского дома охватывает все периоды жизни поэта — начиная с автографов ранних лицейских стихов и кончая письмом к А. О. Ишимовой, написанным в день дуэли 27 января 1837 года. Это собрание объединяет стихи, прозу, планы художественных произведений, статьи, исторические материалы, автобиографическую прозу, письма, документы, деловые записи и рисунки.

**КНИГИ ОБ А. С. ПУШКИНЕ,
ВЫХОДЯЩИЕ
В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ
ИЗД-ВО «АКАДЕМИЯ»**

* **Первое фототипическое издание рукописей Пушкина.** К юбилейным дням будет воспроизведена черновая тетрадь Пушкина, хранящаяся во Всесоюзной библиотеке им. Ленина и отражающая работу поэта над рядом лирических произведений. Тетрадь эта содержит фрагменты стихов, посвященных Мицкевичу, наброски «Медного всадника», эпиграммы, наброски сказок и др.

* К юбилейным дням выпущены **5 томов юбилейного шеститомного полного собрания сочинений Пушкина.** Последний VI том (письма) выйдет в ближайшее время.

В течение 1937 года юбилейное издание будет переиздано. В новом издании материал будет перераспределен: вместо 6 томов будет выпущено 8 томов. Издание будет дополнено новыми иллюстрациями — всем тем, что даст советская графика к юбилейным дням.

Заканчивается печатание **миниатюрного издания сочинений Пушкина,** которое будет дополнено двумя томами писем (X и XI) и явится, таким образом, также полным собранием сочинений великого поэта.

Отдельными (иллюстрированными) изданиями выйдут: «Пиковая дама», «Сказки» (пять отдельных книг) — с иллюстрациями палешан, и «Маленькие трагедии».

ГОСЛИТИЗДАТ

* **Белинский.** «Статьи о Пушкине». 1843—1846 гг. Редакция и примечания Н. Мордоч-

ченко. Все тексты заново проверены по первопечатным текстам.

* **А. Лежнев.** «Проза Пушкина». Опыт стилистического истолкования. Автор рассматривает различие между прозой и поэзией Пушкина, дает анализ эстетических взглядов Пушкина. Прозу Пушкина автор исследует, главным образом, со стороны ее стилистических особенностей, языка, ритма, образа.

* **В Кирпотин.** «Наследие Пушкина и коммунизм». 1936 г. Стр. 309. Тираж 25.000 экз. Цена 3 р. 75 к.

Автор дает анализ мировоззрения Пушкина, характеризует положительные идеалы Пушкина — гуманизм, идеал политической свободы и равенства, — идеалы, нашедшие отражение в бессмертных произведениях поэта и поставившие его в непримиримовраждебные отношения с окружающей средой, с господствовавшим классом, в особенности с правящей его верхушкой. Последняя глава книги посвящена значению пушкинского литературного наследия в наши дни.

* **И. И. Пущин.** «Записки о Пушкине». Редакция, статья и примечания Р. Штрайха.

* **А. Глоба.** «Пушкин». Трагедия в стихах. Автор показывает Пушкина в последние годы его жизни, рисует мрачную обстановку николаевского режима, подготовившую гибель великого поэта.

* «**Пушкин в русской поэзии.**» Сборник. В книге собраны лучшие стихотворные образцы за 100 лет, в которых даны образ Пушкина и отклики поэтов на его смерть.

* «**Пушкин.**» Сборник Московского историко-философского института. В статье Д. Благого, Егорова, Л. Тимофеева, Винокура, Н. Бельчиковой, Нечкиной, Храпченко и др. даны исследования разнообразных проблем, связанных с творчеством Пушкина.

* **В. Вересаев.** Жизнь Пушкина. Биография. 1936 г. Стр. 183. (Выпущена первая часть, тираж—20.000 экз.). Цена 1 р. 50 к.

* **В. Кирпотин.** Александр Сергеевич Пушкин. 1799—1837. Биография. 1936 г. Стр. 156. Цена 1 р. 25 к.

* **Ю. Тынянов.** «Пушкин». Роман. Чч. I и II. 1936 г. Стр. 592. Цена 2 р. 75 к.

* **Пушкинские места.** Хрестоматия. Вступительная статья В. Якубовича. Гравюра на дереве — Л. Хаушинского. 1936 г. Стр. 158+15 вкладных листов иллюстраций. Цена—9 р. В книге собраны стихотворения и отрывки из прозаических произведений и писем Пушкина и его современников, связанных с местами, где жил Пушкин.

* В ближайшие дни в Гослитиздате выходит массовым тиражом новое миниатюрное издание Пушкина в шести книгах, содержащих отдельные произведения Пушкина — «Египетские ночи», «Каменный гость», «Пир во время чумы», «Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери», «Медный всадник». Все книги иллюстрированы гравюрами на дереве худ. Кравченко и заключены в общий ледериновый футляр.

★ **«Пушкин в воспоминаниях и рассказах современников».** Под редакцией и со вступительной статьей и примечаниями С. Я. Гессена. В книге собраны наиболее ценные, достоверные и интересные воспоминания современников Пушкина, посвященные творческой, политической и интимно-бытовой биографии поэта.

На языках народов СССР.

Гослитиздат выпускает серию художественно оформленных книг Пушкина на языках народов СССР. Книги издаются на хорошей бумаге, с иллюстрациями Бенуа, Кустодиева, Нестерова, Врубеля и др.

Изд-во «СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ».

★ **В. Вересаев. «Спутники Пушкина».**

В. Вересаев рисует галерею людей, окружавших Пушкина или так или иначе соприкасавшихся с ним. Книга является своего рода энциклопедией родных, знакомых и друзей Пушкина, составленной из небольших литературных портретов.

★ **А. С. Пушкин. «Сатира и юмор».** Сборник. В книге собраны художественные и публицистические произведения А. С. Пушкина сатирического и юмористического характера.

★ **В. Шкловский. «Заметки о прозе Пушкина».**

В. Шкловский анализирует важнейшие прозаические произведения Пушкина: «Арап Петра Великого», «Лягушья дама», «История Пугачева», «Капитанская дочка» и др.

★ **Сборник статей о А. С. Пушкине.** В сборнике помещены статьи: **И. Лежнев** — «Родоначалыник новой русской литературы», **В. Кирпотин** — «Мировоззрение Пушкина», **Б. Томашевский** — «Пушкин и французская литература», **Б. Казанский** — «Правда о смерти Пушкина», **С. Балухатый** — «М. Горький о Пушкине», **Н. Бельчиков** — «Чернышевский и Добролюбов о Пушкине» и др.

ДЕТИЗДАТ

★ **Однотомник Пушкина.** Под редакцией **В. Вересаева.** Книга богато иллюстрирована (около 400 иллюстраций).

★ **«Пушкинская библиотека».** В серии—20 книг произведений поэта и биография Пушкина, написанная Н. Г. Чернышевским. Серия издана на хорошей бумаге, каждая книга — в красочной обложке, с иллюстрациями.

★ **Трехтомное собрание сочинений Пушкина.** Издание богато иллюстрировано. Тираж 50.000 экз.

Редакция:
А. И. Безыменский.
Ф. В. Гладков.
В. В. Григоренко.
И. М. Гронский.
Л. М. Леонов.
А. Г. Малышкин.
В. П. Ставский.

Отв. редактор **И. М. Гронский.**

Издатель: «Известия ЦИК СССР и ВЦИК».